Алексей РЕМИЗОВ

МАРТЫН ЗАДЕКА

СОННИК

МИФЫ И СНЫ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

1

Обыкновенно люди живут с дырявым сердцем — из него высыпаются все мелочи жизни в прах и забвение.

Сердце большого писателя перегружено, перенатружено всем мусором — воспоминаний, снов, магии личных мифов.

Под тяжестью своего сердца, под наклоном его в смерть живет и трудится он.

И память становится мифом.

И сны отбрасывают свои тени в будущее.

И возвращаются эти сны, по Ремизову, как перелетные птицы, назад.

Когда сны становятся мифами — рождается такое особое, самобытное творчество, как ремизовские "Взвихренная Русь" или "Мартын Задека".

2

У Алексея Михайловича Ремизова более восьмидесяти изданных книг, и большинство из них написано под знаком московского Замоскворечья, где родился и вырос писатель.

Замоскворечье, купеческое Зарядье хранили, помнили и преображали и речь, и толки, и преданья русских людей, ушедших из разных сельских краев в горожане.

Деревня хранит и веру, и язык чаще всего недвижно и строго.

Город же, вернее посад, собравший на великий сход множество сел и деревень, спешит слить в себе самые различные предания, реченья, были и бывальщины в одно целое, дав ему свою душу и единый стиль.

Сны — особый вид купеческого суеверного фольклора. Сны отгадывали по семейным толковникам, по множеству распространенных (особенно в конце XIX века) сонников. Но популярней всех был сонник Мартына Задеки, где отгадывались сны как символы.

Отец Павел Флоренский писал в "Иконостасе", что символы — это отверстия, пробитые в нашей субъективности.

3

Так что же "Мартын Задека" А. Ремизова? Сонник? Записи снов уснувшего и наяву? Или личная мифология, фольклор собственного "я"?

Всё — в совокупности, скажем мы.

По Фрейду, сон является при ослаблении "цензуры" дневного.

Теософы, в частности Лидбитер, считали, что кажущееся сначала сном может стать вратами в те высшие области, где возможно одно только настоящее виденье ("Сны. Теософическое исследование").

Сон, виденье посредством сна — прорыв в иную действительность, это один из самых главных психологических методов творчества Алексея Ремизова.

Если в книге "Сны и предсонья" (1954) Ремизов исследует сны в произведениях Гоголя, Достоевского, Тургенева, их художественную значимость, их символический тезаурус (словарь), то в "Мартыне Задеке", изданном в том же году в Париже в количестве всего 300 экземпляров, он сам записывает и досочиняет сны, где чаще всего время пребывает, но не идет.

Каждый сон — метафора, и в этой метафоре — еще многочисленные

разветвления малых метафор, вроде: "и я иду по рельсам через строчки и не могу понять, на каком языке" Это из сна, названного "Для весу". Или из сна "По морю — цветам": "Тогда на автомобили поставили мачты, и я полез на мачту".

Эти сны — проекция творчества в подсознание, проекция человека куда-то вдаль и вглубь, в омут засознания, когда нужна "тихость душе, сердцу тепло".

4

Волновая действительность ремизовских снов, если так можно сказать, антисюжетность сна (метафора почти всегда антисюжетна) определяют и сам стиль творческого мышления писателя.

Сны его литературны, то есть ироничны, когда он "помещает" в зыбкую действительность сновиденья своих современников — Керенского или Иванова-Разумника, в его снах в искажении идей и судеб живут и Чехов, и Пушкин, и Блок. Но горько и страшно звучат строки: "мне больше не снятся святые, и двери в тайну судеб мира для меня закрылись".

Что это? Затмение фантазии? Пар на окнах сна сгустился — ничего не видно.

Сны Ремизова печные, душные — из-под полушубка, сны замоскворецкие в "Взвихренной Руси", там душа — в рабстве у сна.

А в "Мартыне Задеке" взял и стал творить мир из образов сна.

Или оскальзывается, как на льду у проруби, — в явь сна и видит там свое прошлое, перевернутое прошлое, где все переименовано иначе и надо после наяву долго и слепо отгадывать.

Пророчества о себе. Символы. Тайные знаки. Испещренные черными линиями лики дней и цитат.

Мир перевернулся и не стал сам себя понимать. Реставрация, как всегда, притворилась революцией. У сна появляется мораль, а черти какие-то выпотрошенные, как на его, ремизовских, картинках.

Сны не о человеке, сны отгадывают человека — "Человек человеку бревно"? Или "Дух-Утешитель".

А там, за пределами мира сна, — русский апокалипсис. Эсхатология времени.

Но и здесь нет предела. За концом что-то опять маячит.

Апокалипсис отодвигается, ибо в мире есть Дух-Утешитель и вся земля Русская, сто раз обреченная на самоспасение.

Таков стиль ремизовского понимания "климата" времен и времени.

Стиль души.

Душный и утешительный язык московского Замоскворечья.

Владимир ЦЫБИН.

Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека,
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.

"Евгений Онегин"

ПОЛОДНИ НОЧИ

Was von Menschen nicht gewusst
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.

(Goethe. An den Mond.)

"Полодни" говорят, когда весной с оттаявшей земли подымается густой теплый пар — земля дышит. А "полодни ночи" — сны, дыхание ночи.

1

Как помню себя, всегда мне снились сны. И не постучи в мое окно или звонок, я перестал бы различать, что сутолочная явь, что жаркие видения — моя тонь ночи. Ночь без сновидения для меня, как "пропащий" день.

После необходимых пробуждений в день, я и в "жизни" только брожу — полусонный: в памяти всегда клочки сна — бахрома на моей дневной одежде.

Завидная богатая доля — мой мир, какая большая реальность! — но зато и жестоко отмщается в жизни. Хотя сама явь не так уж ясна и математична, как это принято заключать с трезвого недалекого глаза, подумайте, одна "случайность" чего стоит! — а в сновидениях, под знаком как раз этой "случайности", — не одна чепуха и несообразность.

Сон — это как разговор с "тронувшимся" человеком: слушаешь, и все как будто по-человечески, но где-нибудь непременно, жди, сорвется какое-нибудь не туда без основания, потому что или определение уже очень неожиданное — будет рассказывать о говядине, и вдруг говядина окажется не мясная, а "планетное мясо".

Все-таки приходится жить, как же иначе: и сон и явь крепко связаны и друг другом проницаемы. Зря только хорохориться, носиться с какими-то непреложными "законами природы": жизнь ведь можно было бы подвести совсем под другие законы, взглянув на нее из сновидений, а не из лаборатории. Но и жить с одними сновидениями один пропад — каша и неразбериха, по себе знаю.

Часы у меня с одной стрелкой, большая отскочила, и всегда спешат, я живу приблизительно, отчетливо не различая дня — вещей и происшествий. Но что я заметил: когда я обрежу себе палец, чиня карандаш, или разрезая книгу, или чистя картошку, кровь меня сейчас же отрезвит. Вот я и подумал: кровь и есть явь, и никакой яви без крови.

Еще приводит меня к жизни холод, но это тоже связано с кровью. А без еды я могу оставаться неделями, не спохвачусь, — что такое голод, я не знаю, и только жажда.

И когда у меня есть кофе и папиросы, как-то само собой все идет — продолжается в кровавой яви вчерашнее призрачное сновидение.

И кажется, тут бы и должен начаться интересный рассказ со всякими вывертами и превращениями и со всем комическим смехом над воображаемой уверенностью: "правильный человек" — судии "меры и числа", души вещей живых и мертвых. А на поверку, мне и рассказать-то особенно нечего. Не от беспамятности — теперь я могу судить себя, памяти у меня на все хватает — и на дневное, и на ночное, нет, моя бедность по моей природе: душа у меня — не глубоко черпаю и вижу не далеко.

Или природа человека, весь его состав окостенел даже сравнительно со временем Шекспира и Эразма, огрубело восприятие другого мира, и только что под носом да на ощупь. Или самостоятельно, на свой страх, будь ты хоть бездонным, а мало чего достигнешь. А для успеха непременно надо лестницу — "матерьял", как у Новалиса и у Нерваля, какую-то кабалистически-оккультную подпорку. Или эпилепсию Достоевского, алкоголь Эдгара По и Э. Т. А. Гофмана. Вообще какой-то вывих, "порок", чтобы треснула кожа и воспламенилась кровь, а если переводить на речь, — чтобы отчетливо зазвучал первозвук слова.

А я прежде всего "нормальный" — здоровая кровь, крепкое сердце и легкие для певца, — мне как-то даже неловко перед теми "отмеченными", с рассеченной глубоко душой, кого люблю и чту. И в кабале, и в оккультизме я ничего.

2

Каждую ночь я вижу сны и поутру запишу. В течение нескольких лет вел графический дневник: рисовал сон, а вокруг события дня.

В книгах "По карнизам" и в "Взвихренная Русь" я сделал опыт: дать переплеск сна в явь — происшествия ночи и непосредственно события дня.

Кто видит сны, не может не обратить внимания и безразлично пройти мимо своих ночей, но обыкновенно вспоминается и рассказывают один сон, ну два, не больше.

Или бывает так: перед каким-то событием приснился сон, содержание испарилось, и только остается на всю жизнь: что-то особенное снилось, но не могу вспомнить.

Так случилось с С. Т. Аксаковым, в его воспоминаниях есть про сон роковой, бесследно канувший.

Сны очень коротки — или память на сны коротка? Но бывают сны "высокого дыхания" — если записывать, хватит на несколько страниц: одно за другим, точно разобранный день; бывают такие дни, начнется с утра и пойдет, все что-то совершается, и так до ночи.

И как бы ни был сон несообразен, а

чем неоправданнее, тем из снов он "соннее", мера дневного сознания держит его крепко: в самом сне можно ведь сказать: "это мне снится".

В литературных снах — сны в рассказах — всегда любопытно, где "сорвется" дневное (реальное) сна. В этом срыве все искусство. Большим искусством в описании снов владел Л. Н. Толстой, наблюдавший в жизни что самому снилось и подметивший закон "беззакония" сна.

То же большое искусство у Достоевского, Тургенева, Лескова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова.

Есть сны и у Горького, хорошие, как приближения к сонной душе, только "калибром поменьше".

Сонного дара лишен был до жалости Гончаров, назвавший лучшую главу "Обломова" сном Обломова, и Короленко со своим "Сном Макара", и, как это ни странно, Чехов, написавший "Черного монаха".

3

Во сне разрушаются дневные формы сознания или надтрескиваются, и сон как бы завязает в привычных формах яви: на 2х2 отвечаешь с большим раздумьем и неуверенно — "кажется, говоришь, 5". Но пространство со своей геометрией и тригонометрией летит к черту, — такое в горячем сне, из которого сна пробуждение, как от толчка, и скачет пульс. В будничном сне все остается на месте, как в жизни: "снилось мне, вяжу чулок..." (из снов нашей ягиной консьержки).

И нет ни прошедшего, ни будущего — время крутится волчком: на вчерашнее, которое представляется настоящим, наваливается, как настоящее же, и то, чего еще нет и не было, а только будет — ни впереди, ни позади.

Действие во сне не "почему" — то, а "здорово-живешь" и "ни-с-того, ни-с-сего". Закон "причинности" в жизни бьет в глаза — все, что делается, все из "потому что", но ведь и в жизни разве все объяснимо? А в снах полная неразбериха.

Действие во сне можно представить как ряды нагромождений вверх. И никакого, в принятом значении, смысла. Подлинный сон всегда ерунда, бессмыслица, бестолочь, перекувырк и безобразие.

"Кто ничего не делает, того нельзя судить ни за что". А на поверку-то выходит не то: судят, да еще и как — приговаривали к высшей мере наказания.

"Тот, кто молчит, не может проговориться". — А вот поди и разболтался и всех с головой выдал.

"Бас не пропищит дискантом!" — Слышите, пищит, невероятно, а ведь как отчетливо.

И все это неправда и о бездельнике, и молчальнике, и о пискливом басе, все это только из сонного "безобразия" — из правды сновидений.

Сон — образчик всякого преступления. Преступление — душа всех действий сновидения. И безнаказно. Но преступление — ведь это мечта жизни, в непреклонной, запутанной законом, яви, в царстве кары.

Макбетовское "убить сон" — последнее и окончательное слово смерти.

4

Связан ли сон только с жизнью или жизнь только схватывает сновидение, окрашивая или подмешивая в свой алый цвет и втискивая в свою форму. И "сниться" значит "быть". А будет "быть" и "видеть сны" одно. Тогда могу сказать, что человек, выходя из жизни, входит в чистый сон, или так: сон продолжается и после смерти, но без пробуждений.

А снится каждому сообразно с его представлением о загробной жизни, пока не исчерпается все содержание веры и тогда душа человека искрой летит в океан. А кто никак не связан с "небом", продолжает "штопать чулки" или раскладывать слова, вообще заниматься делом своей жизни.

Продолжающееся бытие мертвых открывается в снах у живых. В сновидении единственное общение "этой" жизни с "той" жизнью. Только так мертвые и могут входить в жизнь живых, и возможно, что и живые могут что-то изменить в судьбе мертвых.

5

В снах есть форма, и цвет, и звук, и запах — "повеяло морем". Цвет зеленый, красный, голубой, серебряно-снежный, но, я не знаю, мне не приходилось видеть во сне солнце.

Во сне всегда лунная ночь — Астарта, цвет мертвых. Из звуков — оклик, разговор, песня, музыка. А форма — от дня привычной и до чудовищной — все, что можно вообразить себе из нарушающего линейные представления. А бывает такое: опрокинуто и летит, — никакому воображению не поддается. Или надо сделать как-то так: прорвать бумагу и вывести рисунок на другую страницу, а на палочках вверх — мудрено.

6

Если только через сон я чувствую связь с миром мертвых, то что и говорить о связи с миром живых.

О себе и о другом узнаешь из сна такое, о чем и не подозревал. И никакой разговор, никакое присматривание и вглядывание не откроют того, что так и просто обнаружит сон.

Во сне нет дневной условности и ничего не застит, и самому себе стесняться нечего, — душа нараспашку, а другой, как на ладони, во весь рост и телешом.

О своей пражизни только и узнаешь что из сна, тоже не так отчетливо и подробно и о других; и о будущем своем, тоже и о других.

7

Сон — вернейший проводник мысли, только были б открыты двери, не загромождены вещами жизни.

Сны бывают вялые — безразличные, и жаркие: по жарким путям передается мысль. Конечно, надо, чтобы и другой — к кому направлена мысль — подхватил ее.

Бессонному — как стене горох.

Кто-то крепко подумал и написал мне письмо, а мне снится он, незнакомый. Наутро я получаю письмо — это письмо от него: стало быть, его мысль проникла ко мне.

Незаполненного пространства нет, но пути забиты дневной необходимостью. Связь порвана или, вернее, завалена.

Конечно, зачем сны, когда и самые подпонные мысли можно передать через радио, но в другой мир — туда только один путь и иного нет: сновидение.

8

Во сне открывается завтрашний день.

Вот пример из будничной жизни: вижу во сне каких-то неизвестных мне детей, помню двух девочек-близнецов. "Чудно, думаю, приснится и к чему?" — мой первый вопрос по пробуждении. И забыл, не важно. И что же вы думаете, еду в метро и вижу: входят в вагон мать и две девочки — ну как во сне.

Но в этот день ничего не случилось, стало быть, мой сон — ни к чему, а просто во сне прошло передо мной дневное завтра.

Мне случалось видеть во сне целые сцены из будущего и с подробностями и совсем не по пустякам.

Что же получается? Или все уже готово до моего последнего дня на земле с живыми людьми; и мое "хочу" и "не хочу" только самообман. Я и не захочу-то потому только, что я не властен "захотеть" и всякие мои предосторожности и расчеты только игра: тешиться самовольем. И это дано, но судьба (предначертанное) возьмет свое. И самые верные предсказания не из рассуждений, а из сновидений, только бы... только б приснилось!

Так было в древних Оракулах, где были собраны только сновидцы.

Но много ль на земле сновидцев! Я думаю, больше, чем думается. И что ж из того. В наше время предсказывают погоду — на предсказания мало кто обращает внимание. А о событиях человеческой жизни нигде не печатается. У Мартына Задеки есть общие: война, бедствия. Но мое — я могу только из себя или от тех, с кем связан — с кем проницаем. И не по глазу, а только из сна: сна о себе и сна обо мне.

Но о достоверности нечего говорить: прежде всего я сам себе не верю, а другому подавно.

9

В снах много игры в словах. Вот пример: я вижу Барановскую; она стоит передо мной, как сделанная из костей и косточек. И я начинаю думать во сне, как думается в жизни: что же ее держит и как она не распадется? — И вдруг понимаю и хочу высказать свою мысль, но в миг моего ответа возникает другой, кем-то заготовленный ответ: мне приносят связку б а р а н о к, а в окно я вижу: гонят стадо б а р а н о в, и под моим окном б а р а н, и сквозь курдюк мне ясно видно: цинковая стойка, рюмки — "да это бар", говорю. "Б а р а н - о в с к а я", — выстукивает музыка: бар с музыкой.

10

Есть сны календарные: предсказывают погоду. О ясной погоде я ничего не скажу, но о дожде и снеге — это мне открыто. Смешно сказать: всякий раз мне снится наш ученый испанист и критик-философ К. В. Мочульский. И мне не надо обзаводиться никакими мозолями и никакой ломотой — без них, как по барометру, скажу: по Мочульскому — дождь.

11

Можно ли установить символику снов? — или, что то же, составить "сонник для всех".

Символика передается по традиции — прививается с детства, значит, все-таки что-то можно установить и руководствоваться?

Можно, конечно, но не наверно: символика снов не постоянна. Как скорость света колеблется в зависимос-

ти от времени, меняясь в каждый час дня, так и символы меняются по человеку и его душевному состоянию.

Классическое "гуано" по всем сонникам верные "деньги". По-русски это понятно: слово "гуано" санскритское, означает "добро", как имущество. А ведь случается и так: снится, ногой попал в кучу или мажешься, а наутро не только никаких денег, а счет тебе подают, газовый или электрический, изволь платить. Вот тебе и "гуано"!

То же и с деньгами: деньги — серебро — слезы, и кажется, кроме неприятности ничего не жду, а хвать — чек на 1000 фр. Вот тебе и раз!

На сонниках, и даже на "восточных", далеко не уедешь.

12

Есть сны сухие и есть клейкие. Сухие исчезают при первом оклике, даже при первой мысли о пробуждении. А "клейкие", они как всадились, и крепко, по крайней мере до вечера, никакая суточка их не развеет. И под ними ходит человек, тычется или весь день горит в тоске.

13

Самое тягостное в снах: возвращение из прошлого: события и лица — казалось бы, из позабытого навсегда.

Или ничего-то не погибает — и прошедшее живет в настоящем какими-то наслоениями, не отмирая? Какой груз несет моя душа!

14

У писателей сны принимают литературную форму, привычка—ремесло; интересно, как у музыкантов? Но что удивительно, у людей, ничего общего со словом, вдруг снится — и часто единственный на всю жизнь памятный сон — полный поэзии. А ведь это все равно как камни, которым открыты только глаза, немые камни вдруг бы да запели!

Или "поэзия" и есть самая сердцевина нашей загадочной жизни — душа бесконечного мира.

15

Есть способ наловчиться припоминать сны, только это совсем не так, как вспоминаешь прошедшее в жизни.

Вот что говорит наш легендарный Мартын Задека:

"По пробуждении от сна напрягается ближе к макушке, откуда и надо зацепить, и тащи, не обращая внимания".

Попробую.

Сколь счастлив сочинитель, послушный моим внушениям, он не станет корпеть по ночам, он записывает все, что ему взбредет на ум, хотя бы даже собственные свои сны, тратя лишь свою бумагу, зная заранее, что чем больше будет вздорной чепухи в его писаниях, тем вернее угодит он большинству, т. е. всем дуракам и невеждам.

Эразм Роттердамский (1466 — 1536)
"Похвальное слово глупости"
(1508 — 1509)

ИВИЦА

Она и одета как-то странно: кукла. Такие куклы я видел в музее. Свой странный наряд: длинную ивовую палку, ожерелье и камнями продетые опуты повесила она в сенях на гвоздике. Мы ее давно не видели, и только слухом было странные истории, смеялись: "ведьма". И как это трудно разговориться после стольких лет. Но едва я проговорил: где за эти годы пропадала и что поделывала? — она смущенно поднялась и прощается. Мы смотрим долгими глазами — до белых глаз.

Наш дом среди поля. Прямо на земле, без фундамента, и нет ступенек. Много собралось гостей. Не всех узнаю. И только что хочу расспросить о тех... все куда-то ехать собрались. Прощаются. И один за другим — саней полон двор — в сани садятся. Колокольчики позванивают.

Выхожу и я. В сенях на гвоздике странный кукольный наряд: забыла! И мне чего-то беспокойно, что забыла. Прохожу во двор. А в санях полно́, и куда приткнуться, нет свободных, сани за санями отъезжают со двора. "Подсадил бы кто!" — я кричу. Нет ответа. Черной лентой сани кружат поворот.

Ночь. По дороге снег. Луна.

В черную дверь я вернулся. Опустелый дом. Веет ветер. Знаю, только я останусь, и не уйти мне. И из лунной дыми белыми глазами: "не уйдешь". И в слепой тоске я прохожу в сени. Снял я с гвоздика ивовую палку. И с палкой во двор. И стою.

Ночь. По дороге снег. Луна.

Я поставлю палку в снег — закручу и мчусь. И крутя, я мчусь. И я мчусь за ветром, шибче ветра и быстрей луны.

Черные по белому сани бегут — сани за санями — колокольчики позванивают.

На последних санях вижу: она закутала платком себе плечи — снег по серой печали припорошил серебром. И белые в серебре кусты. И я обгоняю поезд.

Остановился. Моя ивовая палка — луч в луну. А сани там — далеко впереди, и только черный след в глазах.

Мчится лунный свет, и я в луне, я сам как лунь, где снег, где я, и зеленый колокольный — беспощадный — мерный — безответно — безнадежно мчится белая дорога — путь.

Без дороги мчусь я: то обгоню, то отстану. И в отчаянном последнем взвиве моя ивовая палка пополам.

И крутя луной, кружу — ветер — я — луна.

МЕДВЕДИЦА

Все в гору и выше. За плечами тяжелый мешок. Будет ли мне когда отдых! На пути стала ель. И я остановился. И до меня доносит: кричит зверина. Я наклонился: а под обрывом, на самом дне, вижу плоский серый камень, и кувыркаются и пляшут на камне медвежата, их в серый комок закрутило. И все затаилось.

И я о тебе вспомнил.

От кишащего серого камня отделяется... или на дыбы стал камень? Но это был не камень, а серая медведица. Голубые глаза переливались в сталь и елочную зелень. Резко посмотрела она на меня, и под ее взблеснувшей сталью стою скован.

И опять я о тебе вспомнил: люблю тебя — до черной тоски.

И напрягши до белой жáри огонь моих непокорных глаз, я зеленой пригоршней кинул огонь в ее пучинную ледяную глубь. И я видел: крутя головой, она вскидывает лапы и — в глаза, по глазам себе, очень больно. И, вытянув перед собой лапы, пошла.

Я и зеленая ель, не отличишь, но и слепая она меня видит и идет, ловя. Она меня увидит, не ошибется. И стало между нами так тесно, разве что муравью перебежать. И не лед — теплом в меня дышит. И серая пуховая мякоть кутает меня — мои ноги, мои руки, мою грудь и плечи.

"Я беспощадная роковая сила!" — беспощадно прозвучало мне в сердце.

И под неуклонно-пронизывающей синью глаза мои закрылись.

И я увидел: не лапы, а тянутся ко мне, в венок сплетаясь, весенние ветви — твои алые руки. И легким веем, но я различаю, в горячих губах горький стон.

КОШКА

Ловили кошку. И поймали. Поставили на стол, как ставят цветы. Кошка постояла немного, съела цветы и ушла.

СПУТНИК

Наконец-то меня приговорили. И это будет не гильотина, не виселица и не расстрел, а мне самому себе найти казнь.

С каким тупоумием шел я по трамвайным рельсам, высматриваю, где бы половчей попасть под трамвай. Я был уверен, едва ли кому в голову придет, нашелся такой дурак, броситься под трамвай. Не ночь, а улицы вымерли, никого и никаких трамваев. И не находя другого выхода, время не ждет, я подымаюсь по стеклянным площадкам, не то это дворец, не то больница. И поднялся к самым трубам. Подо мной, я отчетливо вижу, и трамваи, и автобусы, и автомобили, и народу — одни обгоняют, другие топчутся на месте, и все в маленьком виде, а видно. "А как же мне спускаться?" — подумал я, и во сне я понимаю: высоты и провалы не по мне, готов как угодно, стану на четвереньки и ползком. И от одной мысли: "надо спускаться", я полетел вниз. И шваркнулся в черный сырой погреб.

В руках у меня электрическая лампочка, длинный провод. Все ниже по каменным ступенькам, освещаю себе под ноги, и выступы. В погребе спрятана лампа и никому не дается, а я должен найти эту Аладинову лампу, воспламенить ее оцепеневшую силу, и талисман откроет передо мной все дороги. И последнюю на — казнь. И я вспоминаю: эту лампу какой-то марид похитил у меня, а меня бросил в змеиный ров на медленное жало, и это случилось, когда я жил на Мадагаскаре.

И я вдруг очнулся: стою на площади у лотка: разложены на лотке красные пáрные куски, мадагаскарская говядина. Я выбрал себе почки, любимое кушанье людоедов. Но тут чьи-то руки, лица не вижу, под носом у меня расхватали весь мясной лоток. И я отхожу ни с чем. Ледяная мысль спускается до сердца: мысль о моей безвыходности.

Place Denfert Rochereau, Бельфорский лев. Или как сказалось во мне: Бельведерский и не один, вижу, два льва. И как буду между львов, один, подстриженный, куксился, а, другой, косматый, подает мне лапу и умильным голосом, как лапой по ушам, меня погладил.

"Послушай, спутник!" — сказал лев...

И я задумался: "спутник" от слова "путать"? И очутился в саду.

А какой это был сад — какой это садовник придумал. И мне страшно захотелось пить. А передо мной коло-

дец, стоит только повернуть колесо. И я верчу. Но с поднявшейся водой вспыхивает огонь. И я видел: как вода заливает огонь, а огонь слизнул воду.

Я верчу колесо: льется вода: вода и огонь.

И злая мысль ползет мне в сердце: "Ты покинула меня".

ВЕЛИКАН

Бег его так быстр, подогнуты колена, квадратом шея, трубою хвост, а голова — мышь: конь бежит, мышь бегает. Наскочил конь на быка. А бык не простой — рогом — серпами под небеса, сзади насиженная желтая клеенка, квелые ноги.

Я протянул было руку к засиженному хвосту погладить, но бык и конь сцепились. Белая и желтая ромашка запорошила поле. От быка клочья, но рога конь не сшиб: торчат.

Крутя квадратом, бежал белый конь, мышь впереди бежит — светляки, мигая, ей светят путь.

"Очередь за мной!"

Я приготовился на съедение коню, а попал на болото.

Золотые клочья по ватному парчовому одеялу. Бескрылые черные птицы бледной тоской черничек. И два серебряные серпа маятником по осеннему небу. Прислушиваюсь: вот закукует кукушка — моя, часы с кукушкой.

И одна из птиц, клювом говорит, показывая на руки:

"Вылови лягушек, выполи водоросль, проберись через осоку, тогда пробьет твой час".

"А сколько часов?"

"8 — 4 — 2..."

"Сущность вещей число!" и повторяя "8 — 4 — 2", вхожу в озеро и, сквозь тину, иду.

Грозя зеленой дубинкой, навстречу великан.

"Быка я не тронул, конь меня не съел, но теперь мне конец".

Великан высокого поднял руки и, ухватя серпы, уходит в землю. Ни рук, ни ног, одна голова из земли. А над головой маятником серпы, как и раньше, два рога.

И кукует кукушка.

Я считаю: 12.

И из озера выходят: их семеро, суровые, и сухи, крепки и белы — рыбья кость. Костяными тисками они окружили великана — его голову.

"Тебе за это вычтут там, из вечности".

И услышав себе приговор, вся моя память запылала. Пепельные мыши сверлякамя взблеснули в глазах.

"Ты в душу мою вошла, и я похороню тебя вместе с собой!"

И голова великана ушла под землю.

БЕСКРЫЛЫЙ

Палкой в спину — и тащусь домой. По-заячьи не прыгнешь. Но мысль не выбить никакой палкой. Заботы и тревога, встречи и слова ни к чему. Хочу все знать, а как люблю тебя, я знаю. Но почему ж такой сумрак?

"Земли под твоими ногами мало", шипом он из стены отвечает: я его не вижу, а он меня слышит.

Я обернулся. За моими плечами стена. И чувствую, как подымает, и это не стена, не серое, а синее небо в глазах.

"С крыльями земли не надо, говорит он глазами: глаза его звезды, посмотри!"

Я нагнулся.

И вся-то земля подо мной.

Так вот в чем дело: вера — крылья, а между нами нет веры, и вот почему сумраком задавлена моя бескрылая любовь.

ЗЕЛЕНАЯ ЗАРЯ

Он живет между одеялами: голубым и алым. На мне еще сверх голубого: вишневое — на него все любуются — и брусничное — в мои тревожные ночи на нем точила свои белые острые зубки усатая мышь.

Голубое и алое, знаю, с вами я никогда не замерзну. Потому он и выбрал себе это самое теплое местечко.

И все-таки, это он гнет мою спину, выговаривая, что я замерзну. И случится это так просто и незаметно, как осенний Чайковский вечер переунывывает в ночь — и, в ту последнюю ночь во мне все зазвучит — мой последний человеческий взлет.

Но я не хочу и не верю, что так будет и не может не быть. И во мне подымается весь мой упор. И сам подымаюсь.

Ни голубого, ни вишен, ни мышки и только белое, и на белом одно алое. И из алого торчат заячьи уши.

Я нагнулся над зайцем,

А это оказался вовсе не заяц, а заячьими ушами горят глаза: зеленоватый свет разгорается.

Он ничего не говорил, ни о чем меня не спрашивал — он только смотрит. И его зеленое волной катилось из, зеленью налитых, сияющих глаз.

И я подымаю руку, обороняясь — моя глазатая рука глубоко дышит.

Все подсердечные тайники моей души освещены.

И он читает:

"Без тебя и дня не могу прожить".

Зеленые волны паутинными нитями

вились и, завиваясь, кружили — плывут. И прямо в глаза мне не осенние паутинки, а ежиные иглы вливают свои студеные жала. Отравленный болью, вдруг я чувствую неизбежное — мой конец — и все во мне поет.

И в глазах не белое, не алое — моя не алая зеленая заря.

НА ЛУНУ

Квартира в пять комнат. Две заперты — "мебели не хватило". Другие две, не меньше концертного зала "Лютеции", обои розовые, местами, от сырости, оторвались, висят серые куски. И третья, одна только и запирается, и к ней длинный коридор, уставлен буфетами.

Вхожу без стуку.

"Зачем, говорю, вам пять комнат?"

"Когда большая квартира, виновато отвечает Блок, из кухни ничего не слышно".

"Да мне хоть бы десять, только ни к чему".

Комната больше тех двух розовых: на одном конце говоришь, на другом не слышно. Синие обои, лепные украшения на потолке: птицы, гады, травы. В полстены буфет: с одного конца цельный, с другого двухъярусный, набит книгами и птичьим пером.

"Не разрезанные, показывает на книги Блок, а это рояль, беспримесный, абсолютный звук".

Рояль пепельно-зеленый, привинчен к стене, ножками не касается пола.

"А как же играть?"

"Лунными руками".

И появляется весь в белом, синие глаза, похож на Блока, но губы тонко сжаты. Сел за рояль и, не сводя с меня глаз, будто читая с моего лица ноты, начал играть, пальцы розовые.

И еще четверо похожих, белые, они вышли из звуков, и, сплетаясь, закружились. И я невольно верчусь с ними и чувствую, как весь я переменился: мое лицо перелистывается, как ноты.

И мы впятером, кружась, подымались над роялем к потолку, и не потолок, а над нами ночь.

"Куда мы?"

"На луну!"

ЧУЧЕЛО

Моя комната в больнице для двоих. Я один. Кровать, столик и табуретка, а в головах чучело: тигр. Как живой стоит, не спускает с меня глаз — моя сиделка. За сиделку надо платить, а с тигром и так обойдется. И пыль не нужно смахивать, самораспыляется, и не курит.

"Ваша *Rue Boileau*, говорит Блок, ничуть не меньше 14-й линии Васильевского острова", и проходит в соседнюю комнату: там он собирается окончить свою пифагорейскую поэму: "Сам сказал". Поэма нигде не напечатана, и не войдет в полное собрание сочинений.

Лицом к тигру, я продолжаю свою мысль о Пифагоре. Про Пифагора говорилось, что "пришел на землю не бог, не человек, а Пифагор". А основанная им "обезьянья палата" называлась "Союз пифагорейцев": бесприкословное и упоённое повиновению царю Асыке, учителю Пифагору: "Сам сказал".

От Пифагора перехожу к "Слову", о тайне слова, Тигр внимательно следит за моими мыслями, по его глазам замечаю.

"Слово возбуждает дух, от слова умиляется сердце — и яснеет ум. Но тайнее тайны слова — тайна слуха к слову. Слово беззвучно, звучит только по чувству кто его произносит и по чувству того, к кому обращено: не любить — не слышать, любить услышать, даже больше, чем будет сказано. Вначале было слово, нет, вначале было чувство — расположение к слову: без твоего чувства никогда не прозвучит слово — оно и самое высокое, и самое громкое, и самое сокровенное останется безразличным знаком, а если перевести на литературу, "ничего не понимаем".

Тигр качнулся, и лапы его пригнулись.

"Оживает!" — подумал я.

И выхожу — "дверей не буду затворять, я сейчас!"

Слякотно, как осенью. Ветром наносило на тротуар желтые листья. Пустынно и тоскливо, как на выставке собак.

Ни ветер, ни листья, живые человеческие губы, вздрагивая, мне внятно повторяли:

"Буду я тоской томиться"...

Тигр по-прежнему стоял в головах, но голова его была глубоко наклонена. И я хожу по комнате и чувствую, что, и не глядя, он следит за мной.

"От любимого человека, продолжаю свою мысль, слово звучит совсем по-другому, и никогда не дойдет слово от нелюбимого".

И я выхожу к Блоку.

Комната в коврах и вся заставлена. Едва я пробрался к столу. Блок, не отрываясь, пишет: "Сам сказал".

Я говорю ему о моем Тигре: "Оживает, и что нам делать?".

"Потускнеет!" говорит Блок и поспешно свертывает рукопись уходить.

"И что же осталось, говорю, от гармонии числе и музыки небесных сфер?"

"Пифагоровы штаны", ответил, не обертываясь, Блок.

Стемнело. Или и всегда было темно, но только я сейчас так отчетливо понял всю мою темь.

Окно без занавесей — пустые глаза. И два зеленые огонька мне сверкают из тьмы.

Шепотом я покликал Блока и, не оглядываясь, тихонько вышел в коридор.

И у меня такое чувство, лучше было бы пропасть, эти глаза — истомили.

"Буду я тоской томиться..."

— звучит мне и во мне переговаривает.

По стенке пробирается кто-то, лица не вижу. Я коснулся до него рукой; шершавый.

"Не видали ли, говорю, Блока, сидел у меня с Пифагором?"

И тот, тряся лохмами, озирается, точно хочет сказать, что он не Блок и вовсе не Пифагор. И еще чьи-то руки и лохматая спина, и не одна, — как винные ягоды нанизаны, руками по стенке.

"Куда вы, говорю, там нет никого!"

И не могу понять, как они могли войти в дом, дверь заперта, или их впустил Блок.

И я отворил дверь в кухню.

Но войти и думать нечего. И все разряженные и говорят, понять ничего нельзя, и уверенно, без возражений.

"Кто вас пустил, говорю, и разве я вас звал?"

И слышу в ответ и все понимаю:

"Кого захочет наградить Бог, в окошко пошлет".

"Дверь не заперта, вдруг вспоминаю, да ее сам, выходя, оставил открытой".

И ощупью пробираюсь медленным коридором к себе, повторяя: "Потускнеет!" И дойдя, наконец, до своей тигровой комнаты, и прикрыл дверь, и тянусь рукой зажечь электричество.

И я видел: как желе, тряслись и таяли зеленые огоньки, и Блок над Пифагором. Я очень обрадовался и смело вошел — вошел и пропал: у меня на глазах тигр меня съел.

АЛЬБОМ

Альбом со стихами. Стихи не написаны: разноцветные кружки и фигурки. Читает Блок. И мы летим. Над головой прямо на нас спускается огненный шар — черные гривой космы делают его еще несговорней, как для моих глаз месяц на ущербе. Я повернулся на спину, лечу, как плыву. А шар в глаза, не миновать, перережет. Блок, обратившись в лягушку, нырнул в воду. А я только и успел, что закрыл глаза и под толчком очутился в водосточной трубе. Свинцово-сыро и зелень — крыжовник.

"Слава Богу, говорят, теперь вы хорошо устроились".

ТУФЕЛЬНИК

Когда бы я ни проснулся, всякое утро он сидит в моей туфле: вроде он крысы, только шерсти на нем нет, по голому редкие длинные волоски.

Проснулся я — мое жестокое утро! — и он так и бегает, да скоро так бежит, то в сторону и назад, то наискосок и кругом, очень забеспокоился: видит, я проснулся, а туфли и нет, сидеть-то ему негде, и мучит меня.

Вы, мои беспросветные при утреннем свете мысли и неизбывные — о тебе, ты моя крылатая лазурь! — и почему в твоем голосе мне слышится загубленная жизнь?

Вот отыскал он туфлю, вот он уселся в ней, сидит и смотрит, облезлый караульщик мой.

Нет, не продам я его — нашелся один, сосед просит: продай. Как же расстаться нам, погасить мою мысль?

Знаю, я бессилен поправить в твоей судьбе и в моей с тобой, но не думать я не могу.

И вдруг я понял, что чудак сосед мой скоро с ума сойдет.

У ХВОСТА

Магазин "Hotel de Ville". Почтовую бумагу взял, а пакет с конвертами забыл. А у нас ни жеванного, а писать письма надо, и не "описания природы", а все о деньгах. Придется вернуться.

Подходит нищий: голова тыква, голая, ни волоска, а уши — тоненькие красные ручки. А у меня нечего подать, все ухлопал на бумагу и конверты, только что на метро. И я скорее назад в *"Hotel de Ville"*. Да никак не могу найти, пропал из глаз. А этот нищий оборвал себе уши и сует мне в руку красные ручки.

"Да на что они мне, говорю, мне надо конверты".

"А как же, отвечает нищий, ходить с ручкой".

Тут наехала на меня лошадь: тележка — камни и песок возят. Ухватился я за край — думаю: "Продержусь как-нибудь". А какая-то мышиная бабушка, черная бархатка на цыплячьей шее, тоже подмята, цапается за телегу.

И перевернулась телега, и я очутился у хвоста. Кричу: "Остановитесь!" Да из-под хвоста кому слышно. И терпеливо тащусь, слежу за хвостом.

Улица за улицей, конца не видать. Наконец-то лошадь остановилась,

хвостом по глазам махнула. И я очнулся.

И что же оказалось: самый обыкновенный московский извозчик, а я в пролетке, с боков у меня гора — пакеты с бумагой, и сзади гора — конверты; извозчик заснул, и лошадь по своей воле идет.

БРАНДАХЛЫСТ

Сварил я кусок говядины и режу на тоненькие ломтики: "пойдет, думаю, в суп: очень у нас жидковато, одна вода". Режу и все раздумываю, какой это выйдет суп [illegible] куриный.

"Вскипячу раз два и все съем сразу".

И когда я нарезал [illegible], а кусок по-теперешнему [illegible], на две "карточки" 90 гр., и оставалось только с тарелки в кастрюлю положить, вдруг [illegible] этот самый кусок на две "карточки" [illegible] мною съеден, [illegible] хорошо, без остатка, чистая тарелка.

И я проснулся с досадой: ни класть, ни мечтать не о чем?

МОЙ ПОРТРЕТ

В саду на дереве медная пластинка, выгравлен портрет [illegible] чудовище многорогое и глаза не на месте. Подпись: мое имя и фамилия художника.

"Как он меня изукрасил, подумал я, хочет оправдать".

А художник [illegible], узнаю по портрету: спереди, сзади и из карманов висят груши. И я спрятался за картину, выглядываю: узнает свое произведение или пройдет мимо?

А он грушей в меня как ахнет и попал прямо в глаз: "оправдал!"

СОРОКОУШНИК

"Не то страшно, говорю, что некуда пойти, а страшнее, что некуда возвращаться".

"А мне дверей не надо, я религиозный, отзывается мой гость сорокоушник. Ни входа, ни выхода и никакого олимпийского тумана, я от голода религиозный".

"Что и от чего, говорю, не важно, все дело в искусстве вызывать в человеке его тайные силы: лошадь из пчелы или слона из розы или, если хотите, кита из инфузории".

И начинаем наперебой разворачивать слова:

"Лошадь — шадь; слон — лон; ря-ря-ря-ря-ря ря".

"Не могу, гу-гу". Задохнувшись, сорокоушник.

ИЗ НИЧЕГО

Бумага из четвертого измерения: нарезаны квадратики, ни карандаш, ни перо не берет, и ничего общего с промокашкой. А называется бумага "ничего".

"Весь секрет, — говорит кто-то, как, вопреки очевидности, из ничего сделать что".

И не касаясь "ничего", все равно попусту, я мысленно горожу "чепуху".

ПОД АБАЖУРОМ

[illegible], а за рыбой, в стирке про[illegible] [illegible] единственные целые [illegible], а за чулками лампа, у [illegible] абажур. И [illegible].

А [illegible] тем, что я сразу сообразил и [illegible] под абажур.

ЖАСМИН

Снегу намело — где застало, там и стой. [illegible] синим небом стою, сам как из снега [illegible].

И [illegible] из-под снега, я его узнал: это [illegible] с [illegible] вощаными крыльями Лифарь. И откуда ни возьмись [illegible] сграбастал Лифаря и [illegible].

И в моих глазах Лифарь превратился в жасмин.

БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ

Всякие бывают и не такие еще, а эта на вешалку похожа. А висит на ней мой новый теплый костюм. Принесла его померить.

Всматриваюсь, и вижу, такой размер разве слону попона.

А слон и идет, помахивает хоботом — обрадовался.

"Холод, говорю, и зверю не радость, правда, кожу слона, что и носорога, не берет пуля, а попробуйте-ка заставьте без отопления писать, и самого простого сна не запишешь".

ЗУБЫ С ВОЛОСАМИ

"Зубы с волосами или Священное писание?" спрашивает Лев Шестов.

"Шесть часов", растерянно отвечает Блок.

И я видел, как часы упали на подоконник. Я протянул руку за окно, пошарил и в горстку себе. И показываю.

А никаких зубов, а лоскутки от обой, в серёдке клешня.

Мы видим сны: но как они милее действительности! Мы грезим, и грезы милее жизни. Но ведь без грез, без снов, без "поэзии" и "кошмаров" вообще, что был бы человек и его жизнь? — Корова, пасущаяся на траве. Не спорю — хорошо и невинно, — но очень уж скучно.

В. В. Розанов. Темный лик. СПБ. 1911

ПУШКИН И ПЯТЬ НЕВЕСТ

И я увидел: Пушкин.

И совсем-то он на себя не похож, ни на один портрет: курносый. А около на столике кофий.

"Спасите, говорит он и показывает, пять невест".

И в моих глазах пять красных языков.

"И всех разобрали", говорит Пушкин и читает: немецкий, французский, английский...

И я понимаю, что теперешний Пушкин — профессор языковедения и спасать его не отчего — без языка нет речи.

НЕПРЯМОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

"Сила слова подкрепляется жизнью", так говорят философы, далекие от всякой жизни.

На столе две фигурки — экзистенциальная философия. А около сметана и две пятисотенные бумажки: одна от неизвестного, а другая — от "известного вам".

И вытащился из стола кулак, а из кулака лезет консьержка. Вспоминаю, "я должен консьержке тысячу франков".

Консьержка не одна: с ней два ее помощника, лестницу убирают. Один с отпавшими конечностями — "рыцарь дерзания", другой с выпученными глазами — "рыцарь смирения".

Об этом мне сообщила консьержка, забирая со стола деньги.

"Так бы и сказала прямо, а то прошло сколько!"

"Три вечности!" подсказывают рыцари.

"Три вечности из-за одной тысячи".

Но рыцари навалились на сметану. И, похрустывая сухарными фигурками, и три скулы съели весь горшок. Консьержка недовольна.

ХЛЮСТ

Как это случилось — непонятно, только я проглотил два стеклянных стаканчика из-под горчицы. И какая-то — сестра милосердия? — на спичечных ножках, птичий нос — принесла иод: запить стаканчики".

Пить я не пил, а весь вымазался: и руки, и лицо, и шея. И тут появился мурластый — фельдшер? — на шее желтое ожерелье.

"Меня зовут Хлюст, а по отчеству Иваныч, сказал он, живу, затаив дыхание, за ваше здоровье".

И выпил весь пузырек с иодом.

ВОЗДУШНЫЙ ПИРОГ

Крикливая и рукастая, а на язык таратор, и пишет стихи. Она ворожит у духовки. От духовки пылает: чего-то затеяла.

"Что сказал Маларме Верлену?"

"Когда?"

"Да про стихи?"

И я вспоминаю.

"Ubivita, ibi poesis". А Верлен ему ответил: " Et ibi prosa, ibi mors".

Я раскрыл духовку. А там мой любимый воздушный яблочный пирог и полная рюмка.

" Non solum mors, sed plurimi versus".

И не успел я попробовать, как опал пирог, одна жалкая корка, а рюмка оказалась пустою.

АНДРЕ ЖИД

Любопытно было посмотреть, какой Андре Жид, когда он остается один. Я отыскал щелку и носом приплюснулся, остря глаза. Я знал, что Андре Жид один и кроме него никого. И вижу, у стола стоит Верлен. И сколько я ни вглядывался, Верлен не пропадал. И беспокойно мечется крыса. Это я попал ногой в нору и спугнул крысу.

"Надо ее перерубить!" говорит Верлен и, обернувшись к Андре Жиду, ударил кулаком крысу по морде. Крыса взвизгнула, и я отскочил от щелки.

ЛБОМ О СТЕНУ

Корзинка с овощами: лук, петрушка и хлеб — не для меня, заберет кто-то по пути. Я иду стройкой между лесами, едва выбрался. И пошел по потолку, думаю, подкрашу: известка слелупилась, и под ногами пылит. Входит какая-то, в руках корзинка, но не овощи и хлеб, а клубника — ягоды невиданных размеров, я понимаю, султанная. Я поблагодарил и прощаюсь. А она взяла мою руку и в палец мне шпильку; повернула руку и еще в двух местах пришпила — медные кудрявые шпильки. И все мы ждем пришпиленные: сейчас нам подадут по три флакона с "конжэ", по-русски "право на убирайся". И незаметно все разошлись. Вижу, кругом я один, поднялся, да не рассчитал и стукнулся лбом о стену.

ИНДЕЙКА

Проглотить шесть франков по франку на глоток нелегко, а я справился, все шесть теперь во мне. Говорят, надо обратиться к доктору. А доктор-то помер, и остались после него бисерные вышивки, а наследников не осталось. И только жареная индейка.

Но только что я полез с вилкой к любой задней ножке, выскочил медвежонок и, взвинтясь, плюхнулся на индейку.

"Будет, думаю, медвежонку на ужин, а я успею".

А уж от медвежонка только хвостик торчит и так жалобно дрыгает — и как раз над задней ножкой.

Тут доктор сгробастал индейку и медвежонка, все вместе, и в портфель себе:

"Для корректуры".

ПРОПАЛА БУКВА

На мне вишневая "обезьянья" кофта — курма. В ней мне держать экзамен. Я уверен, провалюсь, и домой возвращаться нечего думать.

"Я уеду за границу, так раздумываю, там начну новую жизнь с чужим языком и никогда там не буду своим".

Паяц прыгал, ужимался, строил нос и, поддаваясь мне, ускользал из рук змеей.

И я узнаю в нем автора "Матерьялы по истории русского сектантства", том сверх тысячи и примечания.

Угомонясь, он подал мне польскую газету: "Литературное обозрение".

"О Кондратии Селиванове, непревзойденном богоборце, а вот о вас небогоборческое!" он ткнул пальцем в мелкий текст.

И сразу мне бросилось в глаза, что всюду напечатано вместо Ремизов — Емизов.

"А буква "р" пропала, сказал он, не взыщите".

И я замечаю, что по мере чтения отпадают и другие буквы. В моем "Ремизов" нет ни "м", ни "и". И остается один "зов".

"Кого же мне звать, думаю, и на каком языке?"

И тут мальчик — песья мордочка, фурча, завернул меня в скатерть с меткой "зов".

Я тихонько окликал и уселся на "воз". И еду. Спокойно и тепло: телега-то оказалась с каВОЗом.

В КЛЕТКЕ

Есть у меня еще обезьянья зеленая курма, тоже из драпировки, летняя. И отвалился рыжий кусок, висит, а на хвост не похоже. Вглядываюсь — да это письмо воздушной почтой, а подвел к самым глазам и вижу, никакое не письмо, а самая настоящая клетка — канарейки с чижиками в таких скачут.

"Живая с Марса!" говорит кто-то, лица не видно, как в трубе ветер, грубо с подвоем.

Не переспрашивая, добровольно влез я в клетку, закрыл за собой дверцы и не могу решить, куда лететь: вверх — разорвет, а вниз — раздавит.

Тонкая жилистая рука протянула мне белую бобровую колбасу, фунтов двадцать, длинная, как рука, а называется "баскол".

"Лети, говорит, не бойся, в Баскол".

И я полетел.

25 САНТИМОВ

Я начинаю пальцами сдирать с себя кожу: слой за слоем и совсем не больно. Но где-то, до чего, казалось мне, не добраться, глубоко жжет.

И я спрашиваю:

"Что это — совесть?"

И с потолка мне 25 сантимов. Я протянул руку и поднял — какой огненный груз.

БРИТВА

Пасхальная заутреня. Церковь переполнена. От свечей туман. Иду по аллее. Легкая весенняя зелень, деревья в цвету. И все летит. Не остановить. И горечью со дна: "и все пройдет".

Он подает безопасную бритву, я принял ее за топор, такая большая, и не беру: "не моя!", а чашку я взял.

"Все равно, сказал, ни тем, так другим, не подавись".

И я выпил — какой крепкий сок. И слышу шаги: возвращались из церкви. И я пожалел, что не дождался конца.

"И не будет конца!" сказал он и подал мне тонкую шпагу.

Но это была не шпага, а складной стул острый, как бритва. А один из священников оказался переодетый черт.

СВЕТЯЩАЯСЯ МЫШЬ

Он подкрался сзади и клюнул меня в затылок. Мы переезжаем на новую квартиру. Вещей не надо перевозить, они сами устроются.

"Переезжать на новое место все равно что родиться".

"Или умереть!"

Она обогнала меня, в ее руках светящаяся мышь, как фонарик. По ее фонарику я и вошел в новый дом.

Смотрю через стеклянную дверь: она притаилась в сенях со своей мышью. Я к

ней. И не успел ни о чем расспросить, как застегнула она меня на пуговицу к своему пальто.

"Уходите, говорю, со своей мышью. И так забот у меня довольно, а еще и убирать за мышью!"

А она только смотрит: без меня ей теперь никак не уйти, и мне без нее не обойтись. И я различаю в ее лице два лица: одно виноватое и другое — резко светящаяся мышь.

ПОД АВТОМОБИЛЕМ

Прямо мчится на меня автомобиль. И я почувствовал, как по голове лязгнули колеса. И ничего — одна расплывшаяся клякса.

Изволь подыматься!

А вижу, очень высоко, не сосчитать этажей. И все-таки полез. Но сколько ни лезу, все топчусь на одном месте — куда-нибудь выше, никак. Я попадаю на запасные лестницы и спускаюсь к главной, откуда начал. И замечаю, что голова у меня приставная, висит на ниточке.

СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО

Под деревом яблоки. Я поднял серебряный налив.

"Нельзя", говорит.

И я отвечаю: мой голос серебром на весь сад:

"Нельзя! нехорошо говорить "нельзя!"

"А мы много покупаем, отозвались из малинника серебряные пищалки, и так много покупаем, поднять нельзя".

"Опять, говорю, нельзя!"

На грядах ягоды, как стеклом залиты, блестят. И серебряные кусты в ягодах.

"Сварить варенье, думаю, густое, ножом режь, да без сахару нельзя".

"Нельзя! перебивает садовник в зеленом фартуке, а я ваше серебряное кольцо продал, у меня зуб выпал, иначе нельзя".

ЗОНТИК

Бело-голубая искра пронзила меня. И я увидел: она вся в черном, в руках черный шелковый зонтик, длинная тонкая ручка. Зонтиком она пырнула мне в ногу. И я пригвожден к полу.

"Что значит красные губы?" спрашивает она.

"Я плохо вижу, говорю, но я слышал, красные у вампиров и когда..."

Тут подбежал какой-то с улицы, ухватился за зонтик, тащит из меня.

"Нет, отбиваюсь, теперь он мой!"

И видя, как я охраняю зонтик, она превратилась в вешалку. И зонтиком я повис на ней.

ЗАГВОЗДКА

Поднялся на верхотуру к доктору глаза проверить. А на дверях дощечка, мелом: "Расскажите, как вы это делаете" и тут же нарисован гвоздь, грибная шляпка, и больше ничего, понимай, как знаешь.

И как будто я у выхода на улицу, стукнулся головой о дверь, темно, и очутился на плите. Ничего особенного, только ногам горячо, да со сковородки в лицо пышет и шипит неприятно с брызгом. И потому что я зажмурился, попал в сад.

В саду после плиты прохладно, столик, и на [illegible] тарелки: [illegible] макароны.

"[illegible], говорит, П. П. Сувчинский, и [illegible], [illegible] и ножи, и палочка, а [illegible]".

"[illegible] нибудь вернется, [illegible], не с удочкой [illegible]".

И я [illegible], попробую макароны пока что, [illegible] с [illegible]ой, да рукавом задел за [illegible]. И тарелка на пол. А Сувчинский [illegible], кулек тащит: апельсины.

"Пока вы тут рассиживались, сказал он, я [illegible] вон сколько, и все без косточек".

ПУСТАЯ КОМНАТА

В глаза мне укрепили электрический провод. И я тяну за полотенце. А там кофий в чашечках и фотографические карточки.

Какие замечательные лица! Двуносые, трехглазые, уши-щупальцы, лягушки на паучиных ножках, зубатый лоб и, как ожерелье, песьи языки. Что еще придумать, все есть и в натуральную величину.

Но какой-то с карточки выхватил у меня из рук альбом.

"Куда, кричу, я не доглядел!"

И отворяю дверь. Прислушиваюсь.

"Кто там?" спрашиваю.

"Там-там?" поблескивая, вспыхивает электрический провод.

И я иду. Пустая комната. А сзади точно кто-то хватает меня за ноги, а остановиться не могу.

ТРИ БАГЕТА

Он подает мне три палки.

"Три багета, говорит он, консервированное гуано".

Я отъел кончик. И на губах показалась кровь. Я выплюнул — но это не кровь, а красная роза.

Он развернул географическую карту — и, нарисована на величиной бумаге. И,

ткнув пальцем, отковырял от Китая китайский город. И проглотил.

А я жду, что будет.

"Если из моего багета роза, то из Китая, по крайней мере, розовый куст".

Он сплюнул — и поднялась гора.

"Разнолетнее гуано, сказал он, не пройти, ни проехать".

И вправду, без передышки не обойти.

А третий багет он съел.

ДАЛАЙ ЛАМА

В ночь, как в Тибете помер Далай Лама, я ничего не знал, но какая это была из ночей тяжелая.

Меня закутали в серые суконные одеяла, дышать нечем, и опустили в бездонную яму. Я слышал, как играла, выпевая с Мусоргским надрывом, серебряная скрипка. И когда я, опускаясь все ниже, достиг какого-то подземного перехода, я очутился на горах. И легко подымаюсь.

Передо мной торчали одни голые оглушающие скалы. И взглянув вверх — никаким потопом несмываемый высочайший знак земли и выход к звездам Эверест, я вдруг увидел: серебряной звездой — петушок.

МОЯ ГОСТЬЯ

Она приходит поздно вечером. Она усаживается на диване против меня под серебряную змеиную шкуру, вынимает из сумочки железную просвиру и, не спуская с меня глаз, гложет.

В поле моих калейдоскопических конструкций она живое черное пятно, а моя зеленая лампа смертельно белит в лицо.

Отрываясь от рукописи или от книги, я невольно слежу: она про меня все знает и, может быть, больше, чем сам я о себе. Встречаясь глазами, не различаю себя от нее — так слитно все наше. Ее работа никогда не кончится: просфора железная, а мне о конце моей и думать нечего. И мы покинем друг друга только враз.

Какой у нее голос? Ни слова она не произнесла со мной. Или немая?

Сны после нашего свидания всегда "кровельные" (от "кровь" и "кров"), весь день потом под их сетью, и выхода мне нет, и нет ничего, что бы вывело меня на свет.

Цветы она любит, это я заметил, яркие, по моим тоскующим по краскам глазам. А живого ничего не переносит, стоит кому войти в комнату, и ее уж нет.

Кроме меня ее никто никогда не видел. И она редко не со мной. Выйду ли я на кухню вскипятить воду, и она, без шелеста, как воздух, или сидит на табуретке, или прячется в углу за щетками.

И когда она гложет свою железную просвирку, я чувствую, что это кусок моего сердца.

"Задумывались ли вы когда-нибудь, верите ли вы сновидениям?"

"Ну как вы можете говорить о сновидениях, когда они есть только результат какого-нибудь непорядка в вашем телесном или духовном организме".

"Бедный господин Тис, как мало [illegible], что вы не видите [illegible]. С той поры, как [illegible] о подземную к [illegible] — [illegible] — [illegible] дух [illegible] [illegible] [illegible]".

Э. Т. А. Гофман. "Повелитель блох".

МОЙ СТРАЖ

Припал я губами к жгучим стенкам котла, горю. Язык пересох и горло запеклось: один глоток прошу.

На зов идет мой страж: его глаза горячи, как стенки котла. И смеется. Или жалеет? И он опрокинул на меня докрасна раскаленный котел. И я не сгорел.

По горло стою в воде. Мороз. У! какой лютый, жжет. Из проруби я выбираюсь: зубы с дрожи разбило, закоченел весь и страшно шевельнуться, оборвусь в прорубь. Если бы хоть столечко огня, хоть спичку.

Шерится страж: его глаза полыхают огнем.

И опять я в огне.

Я всегда с [illegible] и никогда [illegible]. Неустанно и неотступно он ходит вокруг меня: [illegible] на корде. Или огонь, или мороз.

И некого мне позвать. И [illegible] мои муки [illegible] и [illegible] мной. И вы одни со мной, [illegible], [illegible] и [illegible] в [illegible] и в лють под сверкающим морозом.

БЕЗ ДОКУМЕНТА

Три платка, как подрубленные дубовые листья, я закутался в них да скорее за чемодан. А в чемодане коробка. Вынул я одну, а она полна коробочек. Тороплюсь, разбираю. И вдруг поду-

мал: "да ведь у нас нет никаких документов".

И кто-то говорит:

"Надо мелком, тогда и пропуск дадут".

А другой отвечает:

"Все надо в стирку".

Я закурил, да неловко потянулся поздороваться и поджег чемодан.

ЗАЖИВО НА КЛАДБИЩЕ

В такси нас четверо. Друг против друга, никого не знаю. А пятый, стоя между нами: его из стороны в сторону перебрасывает, очень слабый. Глаза его закрыты, иногда он их таращит, но нет сил удержать: и голос у него пропал, только губами, как рыба.

"И все-таки он жив, подумал я, а везем мы его на кладбище".

И я представил себе, как положим его в гроб у его открытой могилы: от слабости сопротивляться не будет. Потом "дружно" спустим в могилу. Засыплем землей: "прощайте!" Мертвому "прощайте" полагается, а живому сказать неловко, ну, как-нибудь вроде — какое еще подходящее слово? И разойдемся.

А тот "покойник" отдохнет, раскроет глаза... Подземный малиновый свет спокойный, и постукивает что-то, и не раздражает, это оттуда, с земли: шаги, голоса, езда, все вместе.

"Но ведь я еще жив!" и он хочет протянуть руку и постучать в крышку.

А это никак невозможно: и тесно, и сил нет, не повернешься: как положили, так и лежи с открытыми глазами.

"Так я и не дождался. Что же делать, все уходит без оглядки. И сам я без-оглядки!"

И он вспоминает, как четверо неизвестные везли его в такси. И видит их руки — какие страшные руки у живого человека!

"И как это я раньше не подумал: руки — рок... И неужто они не видели, не поняли, что я еще жив — ив!"

"Задохнулся, сказал кто-то, не трогайте!"

ОДНА КАРТИНКА

Автобус без звонков и остановок. Я дорогу показываю. Едем садами, конца не видать. А главное, неизвестно, куда едем.

Автобус остановился: "паров больше нет, вылезайте!"

И все вылезаем: у кого нога отсижена, у кого рука онемела, кому в голову, кому в хвост — живого человека не заменишь. И всякий, кто вылез, тут же на землю и плюхнулся, не разбирая. И все попарно: с кем свело, с тем и быть.

Не совсем это удобно и приятно, а надо покориться.

Мне досталось местечко с ученым, известным нашим историком. Думаю так, что за мое пристрастие к истории и за уважение к ученым.

Мой сосед занял пол-поля, такой в жизни был он рослый и видный, а я около ужом свернулся. И лежим, притаились.

Наши соседи: одна бусурная (сварливая), другая стыльная (наскокистая) — [illegible] под нами живут, с такими оживлением они [illegible]. И замечаю, [illegible], а всего у них [illegible] — "да" и "нет".

А [illegible] к мой и говорит:

"Это они по [illegible] ссорятся. А [illegible] слов нет, все [illegible]. Уцелели, как погре[illegible], что "да" и "нет", но без всякого [illegible]: что "да", что "нет", что [illegible], что [illegible] — все равно, нынче [illegible].

И перед [illegible] из возлежащих [illegible] книги: каждый должен, когда дойдет очередь, прочитать вслух то место, на котором раскрыта страница.

Скоро моя очередь. У моего спутника "Уложение царя Алексея Михайловича" 1649 г. Да и у всех раскрыто — текст. А на моей книге, а это оказалось "Тысяча и одна ночь", чисто — одна картинка: вот и изволь сочинять из головы текст без слов.

КИСТОЧКИ

Самого Терешковича не было, одни его картины и каталог: "К. Терешкович". Входят какие-то все мне неизвестные, видно, заказчики, и у всех в руках жокейский хлыстик, а сзади, за спиной, седло, ремни желтые, очень подозрительные. Не иначе, как пришли за мной: оседлай, только и всего.

"Терешковича, говорю, дома нет. Вернется не скоро: на скачках с Бахрахом бегает".

"А мы, говорят, со скачек, нам назначено".

И не рассиживаются они ждать, а это у людей бывает, а развешиваются по стенам между картинами. Уж и дверь собою завесили, загораживают проход.

Я тихонько к окошку, еще не завешено, и незаметно выскочил в сад.

А какой сад! Цветы [illegible], куда [illegible], и под [illegible] чувствуешь себя, как под [illegible] зонтиком.

На чистой [illegible] доске сидит Терешкович и усердно ловит букашек: двух покрупнее [illegible] и одну выпустит.

"Это для кисточек?" говорю.
"Нет, что вы, какие же из букашек кисточки. На зиму консервы готовлю".
И бежит по дорожке курица, перья красные и желтые, испанская, а голова у курицы песья. И хочет пес на колени мне вспрыгнуть, а курица не дается, скользит и лапками отбивается.
"Консервированная, замечает Терешкович, Бахрах съест".

ВНИЗУ

Меня перевели вниз. Широкое окно в сад.
Бедно одетая, белесая, два свертка в руках, не могу сказать, из саду она или сверху. Она развернула сверток — полились голубые ленты.
"Не вам", сказала она.
И развернула другой сверток поменьше, а там игрушечный шар, и в шару цветочный горшок, обернут кирпичным газом: белая азалия.
"Из Египта, спрашиваю, от кого?"
И кто-то говорит:
"Пришел Рене Шар".
И я выхожу из комнаты.
Народу полон коридор. Ждут. И которая принесла цветы — тут же, чего-то ждет.
"Надо бы ей дать на чай", подумал я. И ищу мелочь, вывернул все карманы — одни окурки. И мне очень неловко. И отхожу к окну.
Рене Шар дымит папиросой.
"Вы долго ждали, говорю сквозь облако, и не заметили объявление: нельзя курить внизу".
"Почему нельзя внизу?" спрашивает Шар.
Не зная, что ответить, я показываю ему на цветы:
"Египетская азалия, ваша!"
А та, что принесла цветы, ждет в дверях.
"Скажите, говорю ей, от кого же цветы?"
"Я сейчас, я справлюсь".
Я заметил, она босиком, и за ней. И мы очутились на каменном дворике.
"Не могу: Полян не пропустил!" она рванулась, и из свертка, который "не мне", хлынули голубые ленты, и, вся в лентах, голубой лентой выскользнула в калитку.
И я вспомнил:
"Внизу нельзя".
А из камня отозвалось:
"Зу-зя".

ПОД ПАЛЬЦЕМ

На земле, покинутой друидами, где мысль пронизана Декартом и сказке нет места, на ослепших немых камнях, где века не звучит шаманский бубен, тут, я был уверен, меня никто не тронет: просто неинтересно.
И я прохожу под арку. Я думал, мы разойдемся, но он преградил мне дорогу.
Весь он был в коричневом, как монахи, и капюшоном закрыто лицо. Он протянул ко мне руку и, сжав ее в кулак, вытянул длинно палец и пальцем больно надавил мне грудь:
"Все живое, сказал он, вносится в мир искусства".

НЕ В ТУ ДВЕРЬ

"Не входите все сразу!"
Я обернулся; странно, за мной никого. И вошел. Я думал, вошел в кафе, а попал к сапожнику.
Хозяин на мое "кафе-о-ло" не очень-то дружелюбно, а подал мне чашку кофею. И ворчит.
А я говорю:
"Если мы станем обзывать друг друга прозвищами животных, все скажется некстати и не в пору".
Подмигнув, постучал он молотком по подошве, бросил в груду обуви, вытащил растоптанный башмак и, поддразнивая, ко мне:
"А вашу собаку Елюар убил!"
"Елюар — собаку? Да у меня никакой собаки".
Не отвечая, сапожник согнал муху с чашки и, с чувствительностью Стерна, махнул черной сапожной рукой:
"Лети, слабое творенье, сказал он, в просторном Божьем мире неужели мне тесно от тебя?"
И, без всякого предупреждения, выпил мою остывшую чашку.

ДЛЯ ВЕСУ

Воротничок на мне № 52, не отличишь от ошейника. А означает этот ошейник вес мой в литературе.
"Или, просто говоря, между двумя прямыми всегда бывает середина".
Лели открыл сигарный ящик: сигар никаких, а сложены рядами довольно потрепанные высохшие конечности.
"Чьи это?"
"Для весу, говорит Лели, куриные".
Ищу магазин переменить ошейник, в самом деле: что я, собака, что ли? Лели берет меня за руку, пристально смотрит на ладонь, считает, я думал, пульс, а он перочинным ножом мне в палец. "Играя", конечно, а вышло-то позаправду, и пошла кровь.
С протянутой рукой иду по рельсам, остановится кровь, и я куплю баранок. И тут какой-то, весь искусственный — вставной и механический, семенит запятыми и путает мне корректуру. И я

иду по рельсам через строчки и не могу понять, на каком языке.

Лели перегнал меня и возвращается. Очень взволнован: у него завелись *настоящие* мыши.

"Да у вас никаких запасов".

"От ссорного воздуха на экваторе", объясняет Лели.

Я все-таки достал баранок и расположился чай пить. А эти ссорные экваториальные мыши, пока я следил за кипятком, поели все баранки. И я вижу, на мне не только ошейник, а и наручники.

"Для весу", говорит Лели.

Глухо по-летнему, за окном дождик идет.

БУКАШКА

Фургон с молочными бидонами. Я прикрыл дверцы и нечаянно пролил воду, а вытереть нечем. И кто-то из-за бидонов бормочет:

"Огнем очищается золото,
гроза освежает воздух,
душа крепнет в несчастье,
а бережет свою голову всякая букашка"

Я поднял голову и полетел.

А какое это приволье — лететь без крыльев! И как раскован и безмерен — чувство освобожденности наполняет мою душу от ее "горних высот" до сокровенных тайников сердца. И мир развивался передо мной раздольем.

Что случилось, не знаю, или моя жизнь только мгновенье? На камне над пролившейся водой кулаками подпираю себе скулы, а в глазах яркая померанцевая зга. И тот же голос из-за фургонов бормочет:

"Скорбь священнее радости. Погребальное громче венчального. Или в бодрости и силе не расслышишь песни и только один пустынный медный марш. Что тайнее погибели? И что чище: звездная музыка или мое сострадание?"

НЕ ТУДА

Никак не могу попасть в вагон "прямого сообщения". Сколько облазил вагонов — и все не туда, а поезду конца не видать.

Так попал я в "Отель Масса".

Большое собрание, никого не знаю, а говорят о вспомоществовании писателям. И какая-то дама-писательница, с глазами разбитого стекла, предлагает собранию выдать мне 100 франков. И все согласны и показывают мне на дверь.

Дверь складная из проволоки, я протянул руку получить свои 100 франков. Но оказалось, что это не дверь, а та самая писательница, с глазами разбитого стекла. И очутились мы вплотную, я заметил: у нее бледно-вишневая лента на груди, а на шляпе цветы.

"Не могу-у!" сказала она, гугуя, как с детьми.

"Для проверки надо измерять ногами, говорю ей, в соглядении моей достоверности", и тихонько полил ей цветы на [illegible].

[illegible]

[illegible] зала. И [illegible] колбаса: [illegible]. Мне надо [illegible], и тогда [illegible] 100 франков, [illegible] ко кропот[illegible] т[illegible]ением и [illegible].

[illegible], появи[illegible] стекла. [illegible] 100 фран[illegible] грудь [illegible] на меня: [illegible]?"

"[illegible] поправить, говорит [illegible] вставить [illegible]".

[illegible], что ее шляпа вся в [illegible].

[illegible] руками: я не [illegible] за вспомоще[illegible] Hotel Massa.

ОМЛЕТ

Мне посулили омлет в 50 грамм: буду свободно переходить нашу улицу туда и назад. Я согласен, но как с омлетом: много ли это 50 грамм, если на яйца? С яйцами не очень разгуляешься.

Лестница в Комиссариат крутая, торчком, нелегко было, а все-таки поднялся и вхожу. А там ни столов, ни перегородок, а одни тараканы — и по стене и по полу ходят, как улитки, и тут же яйца сложены по кучкам, — Брис Парэн пасет тараканов; в руках у него прутик-жигалка, гнется, как ива, а хлещет, как верба.

"Вот вам и омлет!" показывает он на тараканьи яйца.

И только что хотел я сказать: "нельзя ли заменить", как подает он мне рукопись. Ничего не поделаешь, я порылся у себя в карманах, вытащил три финика: финики были "надеванные", с прилипшим табаком, и подаю.

И тут случилось совсем неожиданное: Парэн съел мои финики, а косточки в карман мне плюнул:

"В следующем №-е NRF, сказал, появятся".

ЧЕРЕМУШНАЯ НАЛИВКА

Человек с лицом надъеденной лепешки подает мне папиросу. Но только что я

закурил, он ее выхватил у меня изо рта и, дымящуюся, воткнул себе в левое ухо.

"Лучше во сто раз было не родиться, сказал он, чем так, ни за цапову душу пропасть!" и пошел себе без оглядки.

А я иду по коридору.

Весь пол завален — куски — земля.

"Хорошо мне, подумал я, тут будет лежать!"

И только что я подумал, вижу — из реквизированного дворца выходит знакомый с лицом надъеденной лепешки и из его уха, как из трубы, валит дым.

"Плохо, думаю, когда вот так выгонят. А может, он сам выгнал кого?"

И появились три мыши.

Мыши лапками показывают: они перевели меня на турецкий и сами гравюры сделали и нарисовали портрет, но не автора, не переводчика, а переписчика. И струня хвостами, разбежались по своим норкам.

А я подумал:

"Стыдно хвалить то, чего не имеешь права ругать".

И спускаюсь в метро "промяться".

Все проходы забиты. Лежат прямо на полу и все что-то делают, не могу разобрать. И все дымится.

Суют мне в руки сверток: закутанное в пеленках, лица не вижу, я должен перенести по рельсам до следующей остановки.

И я иду. Только бы поспеть. Никакой тяжести, но сзади кто-то все наваливается и тычет мне альбом: нарисуй две картинки — "украшают три елки" и еще "сгорел дом, где мы отыскали себе маленькую квартиру".

Я сразу и не узнал, а это была одна из мышек, а за ней, как из яйца, вылупился человек с лицом надъеденной лепешки, он был наряжен матросом, на кривых испанских каблуках. И предлагает мне черемушную наливку. Но с одним условием: я должен, сидя на рельсах, рассказать о себе что-нибудь выдающееся.

И я, вспомнив один действительно выдающийся случай, как меня, закутанного в одеяло, принесли на одно собрание, чтобы удивить неожиданным появлением, вижу: на рельсах сидит Вейдле, он в желтом топорщемся непромокаемом и что-то бормочет из своей жизни.

И прощай моя черемушная наливка: Вейдле, окончив рассказ, схватил бутылку и прямо из горлышка разом всю.

ЧЕХОВ

Их было пять, они сидели вокруг колодца.

Из глубины колодца выходил огонь. У каждой в руках раскрытая книга. И огонь освещает мне древние письмена. Я узнал их, это были сивиллы, но что было написано в Сивиллиных книгах, я ничего не мог разобрать.

Вышел из [illegible] "гуттаперчевый мальчик", но это была не игрушка, что [illegible] в [illegible], а гуттаперчевое живое существо. И я [illegible], что это [illegible], [illegible] он, чтобы [illegible] Сивиллин огонь!

[illegible]

И я [illegible]

сказал я.

И [illegible] Чеховым, как перед сивиллами, раскрытая книга.

[illegible] с жителями [illegible]

[illegible] тяжело дышать."

И Чехов вытащил изо рта утку.

Утки [illegible] жареными с яблоками. И все [illegible] набросились: "Пискунок", и [illegible] мальчик, и я не выдержал, — [illegible] протянул руку.

ГИМНАСТИКА

"Разорвать течение времени и повернуть мысль"! Я [illegible] из сундука свою голову и [illegible] через [illegible] вагон. Сижу на узлах удобно и [illegible].

[illegible] Никакой зелени, а растут грибы. [illegible], как в [illegible] медленно ползет трамвай.

"В этот трамвай не [illegible], говорит Зайцев, нет буфета". А сам на ходу выпрыгнул.

Зайцев [illegible] и [illegible].

На [illegible] остановке [illegible] я [illegible] И [illegible] на [illegible]. Я [illegible]

Какие-то [illegible] в белом хал[illegible] по полу [illegible], он [illegible]

[illegible] из [illegible] московских [illegible] казарм. И тут же на [illegible] колбаса: из колбасы я должен делать гим[illegible].

Зайцев развязал один из у[illegible] с бельем, вытащил складную кровать: плетеная корзинка для хлеба.

"Сколько призрачности в том, что мы называем действительностью!" сказал он и, спустя рукава, принялся раскладывать хлеб печатными буквами.

ВИНОГРАДНЫЙ ОКОРОК

Все семейство Ч. — бегут за окороком, а впереди в окорок зубами врезалась собака. Навстречу волки, да не [illegible], с гривами, сибирские, а за волками мчится автомобиль.

От страха или чтобы добро волкам не досталось, одним куском окорок съела собака. А волки на собаку и в клочки. И вся ветчина попала в волчиную сибирскую пасть с песьей шкурой и костями. А все Ч. побросались на ходу в автом[illegible]. И автомобиль скрылся.

А собака и говорит:

"Разве я виновата?" и подает [illegible] в обеих лапах чек — 1000 франков "[illegible] предъявителя".

В банке у самой кассы я спохват[illegible]: чека нет! или дорогой потерял, или [illegible] в письма сунул. А кассир за решеткой для порядку разложил столбиками, но не мелочь, а розовый виноград. Захотелось мне этого розового попробовать, потянулся я с руками, а решетка опустилась — и прямо мне по пальцам, как бритвой: черно в глазах.

И очутился я в сыром подвале. И о чем эти черные мысли? И я повторяю из какой-то песни, и мотив знакомый:

"А когда ты меня покинешь,
я из огня до земли тебе
поклонюсь, расточу весь огонь, —
и одна ты в глазах
не померкнешь..."

Хлынула вода. И я скорее выбираться, да темно очень.

И вспомнился окорок — розовый, как розовый виноград.

"Пойду, думаю, к Ч."

По насыпи мне навстречу, но кто это? не понимаю: на ней мужское, без пуговиц, пальто наголо.

"Я безработная, говорит она, и не годы, не век, а века иду по чужой земле".

"Откуда?" спрашиваю.

"Я из Дельфов".

И я вспоминаю о чеке: 1000 франков. Вот кстати, пригодились подать ей. И я все перерыл, и письма, и рукописи, в столе и по карманам, а чека нет нигде.

"Нет, говорю, нигде".

"Нигде", поправила она, но не сказала "искать", а взглядом серой ударила в меня:

"А когда ты меня покинешь,
я из огня до земли тебе
поклонюсь,
расточу весь огонь, —
и одна ты в глазах
не погаснешь..."

И замечаю, что она на одной ноге, и эта нога колонкой у нее из селедки — дельфийская.

"Из Дельфов!" говорит Лев Шестов, вылезая из автомобиля: он на Комарове путешествовал вдоль виноградников.

"А чтобы все было незаметно, мы [illegible] под автомобилем у колес", объяснил Ком[illegible].

И [illegible] гроздь [illegible] винограда — [illegible] ветчи[illegible].

ПЕТЛИ, УЗЛЫ И [illegible]

[illegible]. А кроме разно[illegible] бутылок, ни ног, ни [illegible], и хоть бы какой зава[illegible]. Из окна, прячась за [illegible] Лорионов: в [illegible] гири, запустит [illegible] не останется, про [illegible]. А я как раз [illegible] распутывать веревки — [illegible]вая, да и опасно. [illegible] само собой петли, [illegible] и само собой [illegible] начинай сначала.

[illegible] народ. Вижу, и Лорионов, но уж без гирь. И он меня [illegible]:

"С [illegible] неудобно, вы загораживаете [illegible]".

Я вышел в другую комнату. Там, согнувшись над столом, Копытчик (С. К. Маковский) пишет программу "Оплешника", повторяя:

"Оплешник — оплетать — плел".

На плите, пред Копытчиком, подгорелые овощи, залежавшийся соленый огурец-пустышка, вареная свекла, не отличишь от кактуса, лопнувшие растекшиеся томаты — матерьял для "Оплешника".

Копытчик предлагает мне поправить этот "натюрморт". А я вызвался отделать дом "по Гоголю".

И начинаю свою работу. Я должен с инструментами — каучуковые палочки и закорючки — подыматься по выступам на самую верхушку, не глядя вниз. Осторожно ступая и не глядя, лезу по белым каменным плитам и с выступов каучуковой лопаткой счищаю известку.

"Пропал мой Гоголевский дом!" думаю, но как отказаться [illegible] работу, раз взялся"?

"Я все слышал", сказал Лорионов.

И от стыда я скувырнулся.

ПОДКОП И ЗАТЫЧКА

"Голова хвоста не ждет!" [illegible] и обратно: хвост [illegible], [illegible] голова [illegible]. Подхожу к театральной кассе.

нагнулся к кассиру — билеты разложены рядами по ценам — а как выдавать, кассир ставит глазом печать. И я получил припечатанный и иду с глазом, и что же оказывается: глаз привел меня не в зрительную залу, а в картинную лавку.

Андрэ Бретон показывает картины. Я к нему о Мексике, о мексиканских жилетах.

"Я как Улис, сказал Бретон, все забыл под песни сирен". И подает мне камень: "Из подкопов, краеугольный".

Я зажал в руке камень и поднялся на воздух, облетел все подкопы и спустился на землю.

Что это, не могу понять: монастырь или тюрьма! Одиночные камеры-кельи, тяжелые чугунные двери, но есть и светлые комнаты с окном — "семейные". А на самом на верху "Комитет ручательства", и выдают спички без очереди. Спички мне всегда нужны, я курю. Но подняться в Комитет я не решился: начальник, любитель домашних спектаклей, человек словоохотливый чрезвычайно, дак что в словах его больше слов, чем мыслей, но даже и по крайней надобности никто к нему не осмеливается входить с просьбами, а кроме того, в его кабинете шныряют летучие мыши, его охрана.

Время раннее, поставил я себе чайник.

"Вот, думаю, никогда бы не согласился в такой час кого-нибудь чаем поить".

И как на грех стук в дверь.

Бретон с ружьем и мексиканской косой ломится в дверь. Но я его не пустил: "Еще рано чай пить".

Но это оказался не Бретон, а Пришвин: он уселся перед дверью на свою мексиканскую косу, подперся дулом.

"В России, сказал он, много происходило и происходит такого, чего не было и не будет никогда на свете". И принялся дубасить в дверь.

НА ПОРКУ

Из Комиссариата повестка: "явиться в 10 утра на порку". Наш Комиссариат на Шардон Лягаш, два шага с Буало. Но почему-то я поехал по железной дороге.

Я захватил с собой, кроме повестки, еще много писем, опущу. И пропустил остановку, вижу Национ. Я скорее к двери, да зацепился за какую-то даму, тут бы мне рвануться, а я стал распутываться. А поезд не ждет. И когда наконец выпутался, не могу разглядеть станцию. И все-таки вышел. Да поскорее: "10 еще нет, но уж около, не опоздать бы".

Я проходил по незнакомым местам: онемевшие живые развалины, неужто я попал в Рим? Навстречу куколка, так я и сказал себе: куколка. А шла она, как и я, наугад — заблудилась. А за развалинами старик и старуха ищут кого-то. И вот увидели (не меня, а эту куколку) и бегут. Но тут сверху упала огромная лавина снега и засыпала куколку. И куколка обернулась в снежинку. А я боюсь на часы посмотреть.

Идет рабочий. Я догадываюсь: тоже, как и я, по вызову.

"Не опоздаем?" спрашиваю.

"Зачем опоздаем: 9-и еще нет".

Я посмотрел на часы. И вдруг понял, что всю ночь я плутал по Парижу.

"Взгляну хоть, как порют". И вхожу в Комиссариат. Присел на скамейку, а мой спутник подошел к столу. И какая-то, очень напоминает лисицу, велит ему раздеться.

"В этом самое главное и есть, подумал я, что не ажан, а лисица".

А мой спутник робко снял пиджак, потом сорочку. От неловкости тело его, запупырясь, посинело.

"Хорошо, что штанов снимать не надо!" подумал я и загодя снял пиджак, держу на руке.

А лисица положила моего оголенного спутника к себе на руки и пошлепала по голой спине, как шлепают по тесту.

"Готово, сказала она, следующий".

Я уже подошел было к столу, но среди моих конвертов никак не могу найти повестку, а без повестки не порют. И вышел я на лестницу искать по карманам. И нашел наконец, подхожу к двери. А в дверях лисица:

"12-ть, говорит она, загораживая вход, перерыв".

"А как же я?"

"А впрочем, на порку нет перерывов" и она протянула мне руку, рука у нее мягкая, как хвост, — пожалуйте!

О ТЕБЕ — НАТАША

А год идет, и другой пошел, и третий к концу, нет вестей из Киева. Слышу, у того убит, у этого пропали. Жизнь моя серо-пегая — мне что ночь, что день. В затворе живу, редко когда выхожу на улицу, а из окна плохо видно. Сны мои ярки, и по всем дорогам нет мне заставы: на Москву ли, в Киев или прямо на серебряную гору к Белой Даме. Куда поведет мой поводырь — моя белая лайка, — туда и иду. И однажды сон привел меня в Киев — моя тревога. И потом все-то оказалось как во сне увидел о тебе, Наташа, твой последний час.

Разбирал я старый альбом, храню с Петербурга: а затеял я переписать стихи. Но мне мешают. И я перехожу из комнаты в комнату, прилаживаюсь — и

ничего не выходит. Наконец залез под стол — "тут, думаю, свободно, никакие чужие задние лапы мне не помешают". И опять горе: ничего не могу разобрать, темно. И должно быть, я заснул под столом. Кругом зелень, и все [illegible], и такая тишина, разве что в метро, как запрут на ночь входы, такое. Я посмотрел вверх: прямо над головой скала и корни торчат, а выше — груды скал и развалины. А под ногами пропасть. "Кусок мира!" говорит кто-то. И меня как шибануло, и я очутился в [illegible]ке. Хочу за собой дверь захлопнуть, а кто-то все руку подсовывает. И я проснулся. И не под столом, [illegible], — лежу я с альбомом на столе. В комнате никого, мешать некому, но у меня пропало всякое желание переписывать стихи. И я присел к окну и задумался. Я думал о неизбежном, и что я не успею. Перед домом складывают алебастровые площадки — разнообразные геометрические фигуры. И когда вся эта паучиная постройка поднялась вровень с моим окном, кто-то меня окликнул. В этом оклике я смутно что-то понял. И сейчас же, подвязав себе рыжую бороду, выхожу на улицу. Огненный — не я — иду по улице и не иду я, а верчусь. И, вертясь, погружаюсь во что-то смутное и осязательно темное с разорванными образами чувств. И дойдя до кипящих черным туманом прудов — месива змей, я с болью затаился. И всем зрением своим — оно кувыркалось, пробивая пространства, — я как врезался в стену и сквозь стену — глаза мои щупальцы — смотрю. Я слышу, течет вода, — в больницах поутру такая вода; моют пол в коридоре. За окном тихо падает первый снег — как легко и уверенно, а мне безнадежный. Белее снега — иссиня-снежно-окостенело на ее лице, и я не узнаю моих губ — не заря их зорит, а крещенская синь; последний, до горлышка глубокий, поцелуй. Я приподнял липкую простыню: какая жалкая, твоя, теперь погасшая, грудь! И невольно ищу в судорожно-скорченных пальцах — в этих глазах немые мои волшебные сказки. "Наташа, что с тобой такое сделалось?"

"Съели все конфеты, не осталось ни одной!" — вырвался чей-то голос, словно ничего-то вообще не значит, все безразлично: Богородица ли — мать со стрелою в сердце у креста... все равно.

И вижу, стоит Блок. И вспоминаю: да это стихи Блока я хотел переписать из старого альбома.

Из дела о Ефремовском пушкаре Стеньке Корагаве, 11 ноября 16[illegible]:

"... [illegible]-де [illegible]. Стеранку, бобылку его [illegible] сон, как он, Стенька, [illegible] бабу [illegible] у ней сделает, и [illegible] быть на царстве. А он, [illegible] свою [illegible]".

[illegible]

[illegible]

[illegible]. Да вот [illegible] успеваю. Я [illegible], а уж сколько [illegible] ни разу не [illegible] мне очень [illegible] трава [illegible], вымаль[illegible]. Я взялся за [illegible] мне показалось, в [illegible] блеснуло. Я [illegible] или это стеклышко? И [illegible] оцепенел: не стебель держал я, а скользкую змею. А когда я очнулся, вижу, не змеиная пасть, а кротко смотрит на меня золотая рыбья голова. И, расцепив красное зубчатое перо, не успел я за карман схватиться, как рыба прошла через меня, и я бултыхнулся в теплый пруд и остеблел кувшинкой.

У ГОЛЫХ

Попал я к голым. В бане тоже голые, и на пляже нагишом ходят, а тут "голое общежитие". И только на мне одежда.

"Не [illegible] этим [illegible]", подумал я, глядя на [illegible]тельное однообразие вывихов и одутлос[illegible].

"Было б неловко, если б мы [illegible] оделись!" сказал один из голых, [illegible]слушав мою мысль.

"А разве так зазорно, в [illegible]?"

"Отвычка и шерстит: до грехопадения никаких покровов не знали и [illegible] не знали".

"А какой самый большой грех, по-[illegible]шему?"

"Самосовершенствование, [illegible] голыми, без боли другому не обходится или огонь погасить. Но мы, голые, в этом неповинны, в пожарную команду нас не примут, да мы и сами не пойдем".

"Я тоже не стремлюсь в пожарные", согласился я, почувствовав что-то и еще под голой словесной мелью и, отойдя в сторонку, снял сапоги раздеваться.

КАЧЕЛИ

По узкому трясущемуся мостку от скалы к скале. А чтобы ступить с мостка на берег, надо или перепрыгнуть, что и делали другие, обреченные [illegible], хочешь не хочешь, [illegible] пропастью, они протягивали мне руки; [illegible] стать на перекладину — [illegible] дощечка прикреплена веревками к какому-то гвоздю, за туманом не видно, — а с этой перекладины шаг, и ты на берегу.

Я ступил на дощечку. И только что успел схватиться за чьи-то руки, как перекладина качнулась и пошла качелями вверх и вниз.

И я взлетал на этих качелях, и кто-то еще со мной — мы качались над пропастью. Дух захватило.

ПО МОРЮ — ЦВЕТАМ

Мы плыли по морю. Я с [illegible] смотрю: [illegible] все [illegible].

Мы [illegible] в автомобили и [illegible] по дну. [illegible] по дороге [illegible] тем гуще: цветы [illegible], белее [illegible], а колышатся волной. А вдали синеет море, высоко подымаются белые волны. И я замечаю, море все ближе — [illegible] цветами бежит вода.

Тогда на автомобили поставили мачты, и я полез на мачту.

ПЕСОЧНОЕ СУКНО

Все по горам, а везем мы в высоких телегах песок — полные телеги — красный песок. Едем мы к деревне. И приехали. У околицы встречают бабы: "Это-то, говорят, из этакого песку мы сукно ткем".

БЕЗ ЦВЕТОВ

Я проходил по зацветшему полю. Пел жаворонок. А с придорожного луга доносило свежестью скошенной травы. Навстречу мне две путницы, деревенские цветные, несут корзину, полно цветов. И среди полевых, я вижу, сама как полевица, таращится маленькая девочка.

"Куда идете?" спросил я.

"По цветы".

И я пошел за ними.

Молча, без разгада гадая, дошли до озера.

"Вот твои цветы!" чего-то засмеясь, сказали мои спутницы, показывая на озеро.

Я постоял на берегу. Никаких цветов. И с пустыми руками пошел назад.

Цветя, колыхалось поле. Пел жаворонок. Свежим сеном доносило с лугов.

И вдруг я увидел: из [illegible] глядит на меня та самая девочка, что встретил, несли в корзине со цветами. И наклонясь, я [illegible] ее руки: обнимая меня за [illegible], [illegible] на ухо, [illegible]:

"Возьми [illegible] с собой!"

Я ее [illegible] и себе на плечи. Но и шагу не [illegible], как все [illegible], и уж [illegible] не видно. [illegible] колебалось — [illegible], и только над [illegible] [illegible] свет, а [illegible] птицы, [illegible], [illegible] вниз. И [illegible] свет погас.

Я стоял на поле без пути [illegible]. И вдруг [illegible] голос:

"[illegible] меня с собой!"

А ведь я и сам не знал, куда себя девать.

РАЗ ПЛЮНУТЬ

[illegible] без [illegible], а в середине [illegible], так над [illegible]. А стоит канат [illegible] — и все [illegible] рухнет. [illegible] такая мысль, [illegible] и зачем.

[illegible]: я залез под дом, нащупал канат — "говорят, мудрено справиться, канат морской — а мне, думаю, раз плюнуть!" — да топором по канату — и не могу остановиться, и пусть рука горит, топор огонь, а рубно. И когда наконец канат стал поддаваться и наступила решительная минута — рухнет вся эта громада, в этот миг моего [illegible] и [illegible] восторга кто-то сверху плюнул на меня.

КЛЕЙ-СИНДЕТИКОН

Убирали комнаты перед праздниками — для меня самое [illegible], разве что сравнить с переездом на новую квартиру.

С потолка щетками распылили закопченную пыль и паутину, вымыли окна и подоконники, принялись мыть пол. Но, как ни старались, отмыть не удалось, такая накопилась грязь. И от босых ног следы.

Уборкой заправлял какой-то шершавый с собачьей мордой, я его в первый раз вижу, а говорили, что его всякая собака знает и что всякая грязь, от одного его дыхания, испаряется, как летучая жидкость на солнце. И этот солнечный собачий пылесос, видя, что толку нет, подал лапу и скрылся.

Оставшись один, я осторожно заглянул под кровать. Так и есть — или не отодвигали?

"Вот где она сидит, подумал я, эта грязная жила!"

И так мне стало досадно, так не хотелось гнуть спину, просить кого или самому пачкаться, скинул я с себя все до рубашки, взял порядочный тюбик "синдетикону" — из клеев самый крепкий, — вымазался как следует, лег на пол и давай кататься.

РОЗАНЧИК

Тихий осенний дождь пылит сквозь густой туман. Глазам спокойно. Иду, не зная куда. И очутился на тротуаре — узкая улица, высокие дома. Проходят мимо — тут и женщины, и мужчины, и дети, и у всех на плече корзина, а в корзине хлеб.

"Дайте мне розанчик!" попросил я: я выбрал самое малое, что есть еще меньше розанчика?

Какой-то из прохожих приостановился и подал мне розанчик.

"Зверей выпустили!" крикнул кто-то, так кричит только очень пьяный или со страха.

И красным ударило мне в глаза.

Волной вырастая, они наступали. Черные, дымчатые шкуры, гривы, хвосты и маслянистые желтые пятна на брюхе. Я стоял один, в руках розанчик, и на меня разинутые пасти — огненными маятниками ходили языки.

"Нате вам, звери, розанчик!" сказал я, высоко над головой подняв румяный хлебец.

И на мои робкие слова все звери, и большие и малые, серые и черные, одноухи и однозубы, рогатые и кусатые, пригнули лапы, — но не бросаться на меня, а хапнуть розанчик.

СВЕТЕНЬ И ДЕВОЧКА В ЛОХМОТЬЯХ

Я стоял в тесной сводчатой комнате и гляжу в окно. Я глядел туда за окно в зеленый весенней зеленью сад. Сзади кто-то обнял меня. Я повернул голову и замер, так необыкновенно было мое чувство: тот, кто стоял за спиной, смотрел на меня с упреком, потом кротко и с какой любовью! Весь он просвечивался, а глаза светились, юный, а как много он знает.

"Если бы и всегда его руки лежали на моих плечах. Если бы никогда не расставаться!"

И я увидел: в углу, у окна, девочка закутана рванью, из лохмотьев протягивает ко мне ручонки.

Я нагнулся и, жалея, покликал. Но его не было. И как это случилось, куда он скрылся и почему меня покинул?

Девочка перестала плакать. Она улыбалась.

А за окном дождик — зеленый дышит.

ВЕРЕЙСКИЙ ТИГР

Я — тигр [illegible], [illegible] пеплом, из [illegible], рожден по указанию Бога, дух мой обречен на терпение по пророчеству царя Давида. Аз есмь до века, во веки и век веков.

Лениво и удобно я лежал в "Летнем саду" на дорожке около памятника Крылову и глазел на прохожих. Гуляющих было мало, [illegible] не слышно, только кое-где [illegible]. Насупясь, проходили по [illegible] делам, и дело каждого выставлялось таким важным, словно б[illegible] свершения его зависело чуть ли не спасение всего мира. Я видел лишь спины, я, только по словам, долетавшим до меня, мог догадываться о лицах и какие у них глаза. Возмущение подняло меня на мои крепкие ноги, в ярости вскочил я на "Домик Петра" и, вонзив когти в соседнее дерево, принялся совестить и доказывать всем "благодетелям", что они обманщики и не совершить им и самого пустяшного дела: их зрение мутно, дряблые души.

Обличая, я замолол такую чепуху, что и у меня самого помутнело в глазах, душа обмочалилась, а лицо перекосило. И вдруг я превратился в птицу.

Я так громко пел, не было уголка, где бы не раздавалась моя песня. И оттого, что все меня слушали, и потому, что как раз на том самом месте, на солнышке, где я любил петь, была искусно подвешена клетка, а я знал, что рано или поздно меня поймают и посадят в эту клетку, стало мне опасно жить птицей.

И вот, чтобы как-нибудь спастись и остаться на свободе, я, опустив крылья, вороватой лисой прокрался на Верейскую в самый грязный кабак "Веселые острова" и, протолкавшись (было пьяно и людно), присел к первому попавшемуся столику, а для отвода глаз спросил себе бутылку забористого пойла.

И тут какая-то Саша Т[illegible], присоседившись ко мне и охватив [illegible] за шею, лезла к лицу.

"Милый друг, увези меня куда-нибудь подальше!" говорила она, [illegible] до неба, раскрывая свой красный [illegible], похрустывая желтым кожаным [illegible].

И по мере того, как лицо ее с [illegible] ными серыми без зрачков глаз[illegible] приближалось ко мне, тонкие паути[illegible] сети медленно спускались с потолка. Я [illegible] ужасом чувствовал над головой [illegible] птичьи сети, свой неизбежный капкан.

А когда глаза моей соседки слились в одно серое стекло, сеть коснулась моего темени, и острый крючок вошел мне в живое. А зацепя, чуть дернул и грубо поволок меня через Сашу, через стол вверх — по потолку.

ОБЕЗЬЯНЫ

Нас стянули со всех концов света: из Австралии, из Африки, из Азии и Южной Америки. И я, предводитель шимпанзе, опоясанный тканым, гагажьего пуха, поясом, ломал себе голову и рвал на себе волосы, не зная, как вырваться из цепей, которыми мы были скованы и по рукам и ногам, и улепетнуть на родину.

Но было уже поздно.

Прогнав по целине через поля, нас выстроили, как солдат, на *"Марсовом поле"*, и герольды в золоте со страусовыми перьями на шляпах, разъезжая по рядам, читали нам наш горький приговор.

Нас, свободных обезьян, обвиняли в распутстве, злости, бездельничанье, пьянстве и упорно-злонамеренной вороватости и, признавая необыкновенно блестящие способности к развитию и усовершенствованию породы, приговаривали применить к нам секретные средства профессора Болонского университета, рыцаря Альтепара, потомка викингов Гренландии, Исландии и Северного Ледовитого океана.

Со слепой материнской любовью и негодованием я следил, как, по совершении всех шутовских церемоний, началась расправа.

Эти богобоязненные умники потехи ради прокалывали нас, глупых обезьян, сапожным шилом и потом били железными молотками, а другим намажут шерсть мягким горячим варом и, закатав в массе вара веревку и прикрепив к телу, продергивали в хомут свободной и сильной лошади и под гик и гам волокли по земле, покуда не издохнет замученная жертва, третьим же тщательно закалывали губы медными булавками... И много чего еще было сделано как обуздание — потехи ради.

Когда же "Марсово поле" насытилось визгом и стоном, а земля взбухла от пролитой обезьяньей крови, а зрители надорвали себе животы от хохота, прискакал на медном коне, как ветер, всадник, весь закованный в зеленую медь, — высоко взвившийся аркан стянул мне горло. И я упал на колени.

И в замерзшей тишине, дерзко глядя на страшного всадника, перед лицом ненужной, непрошеной смерти я, предводитель шимпанзе Австралии, Африки, Азии и Южной Америки, прокричал гордому всаднику — ненавистной мне смерти — трижды петухом.

ВЕДЬМА

Я попал в какой-то нежилой дом. Все есть — и стол, и стулья, и ковер через всю комнату, а пусто. Но я не один, со мной у стены учитель латинского языка Пропейбрагин, громкая фамилия, а прозвище "алхимик", весь в черном, слепые черные очки. И как только я его увидел, передо мной все закружилось.

"Смотрите в окно!" говорит он; или послышалось, как мне жутко: в моих глазах кружились зеленые карапузы, вот с ног собьют.

Я поднялся и к окну. А что-то тянет назад, и я невольно обертываюсь — передо мной в зеленом облаке, не знаю, кто она, ребенок на руках.

"Велит ее перекрестить, говорит алхимик, смотри, она исчезнет".

И я истово большим крестом перекрестил ее раз и в другой. А она смотрит на меня с недоумением, и, вижу, сама перекрестилась.

И черный алхимик Пропейбрагин вдруг исчез.

Я было к двери. "Догоню, думаю, расспрошу, куда я попал? А если там еще страшнее?" И остановился.

И вижу: приподнималась с дивана — или это мать тех зеленых карапузов, или карапузы сбились в кучу? — это была коротконогая без шеи, живот под подбородком и плоский нос над румяным, растянутым до ушей ртом.

"Не этого надо!" и, сверкнув колючими глазами, она махнула красным одеялом.

Я почувствовал, как холодный ветер прошел через меня, но я остался на месте, а та, с ребенком на руках, стала изменяться: нос, вспухнув, закрыл губы, а глаза выскочили и повисли, как два наполненных серой жидкостью мешочка.

Ведьма махнула со злым криком еще раз красным.

И я видел, как таял на руках матери ребенок: отвалились ноги, потом руки, — и в воздухе повисла сморщенная голова — сохлый шипок.

КОЛЯДА

Узкая, очень высокая комната, и нет окон, а под потолком лампочка. Посреди комнаты [illegible]. Я осторожно [illegible]. И смотрю: из щелей — как [illegible] с черными [illegible] на стене, [illegible] отвратительные [illegible], штук шесть.

"Вот до чего довели!" и, негодуя, я отошел к двери: я хотел сейчас же идти все высказать и с кем-то расправиться.

На пороге стояла, вся в белом, золотая

елочная корона на голове, и белый свет шлейфом лежал у ее ног.

"Завтра у вас елка", сказала она.

А я подумал: "Какая насмешка, наша елка!"

"Да ты меня узнал?"

"В первый раз вижу".

"Я Коляда".

"Коляда!" обрадовался я.

"Ты сам не знаешь, о чем просишь".

И вдруг я вспомнил о тех отвратительных миндальных шкурках...

"Да они заводные", сказал она.

"Игрушки!"

И я попал куда-то в подворотню и сижу, как рисуют: на пчельнике старик сидит: заботы отошли — млелый [illegible] сон и греет солнце.

ДВОЙНИК

В эту ночь я долго ворочался и не мог заснуть: то зяб, то мне казалось, [illegible] алжирские блохи прыгают по мне. И когда наконец после мучительного предсонья — плыв образов из жизни — сон меня одолел, я очутился в просторной комнате.

Я лежу навзничь на своей кровати и, странно, в то же самое время вижу себя на той же кровати, но как он не похож на меня.

И вот он поднялся и пошел узким коридором в другую комнату. Я слежу за ним. Ну что у него общего со мной, какая решительность, не моя, и зоркость, ничего от близорукого, и одет он по-своему, алый выцветший плащ из Фауста. Он подошел к кровати, нагнулся над спящим, закутанным с головой в одеяло, и, не будя, со злобой рванул из-под него простыню и пальцами, как когтями вонзаясь, теребил, вымещая свою неутоленную обиду.

Моя дикая душа пьянела. Я видел себя — я был готов в огонь и вниз головой в пропасть.

Но тут сон меня вышиб. Брошенный, лежал я и только прислушивался. В комнате кроме книг и игрушек ничего, а кто-то квакал.

ТАТАРИН

Взбирался я на башню — лестница узкая, крутая. Говорили, что стоит достичь верхней площадки, и там будет облако, и на этом воздушном [illegible] плыви куда хочешь.

Я еще не знал, куда мне плыть, меня занимало облако, на котором я усядусь путешествовать. И, не задерживаясь, я подымался.

А вот и последние ступеньки и наконец площадка. Я вышел, смотрю — и что же вы думаете, никакого облака, а торчит татарин-старьевщик, и руки у него такие длинные, до земли доходят и там вроде как траву выпалывают, пальцы в безостановочном, кропотливом движении.

Я было назад. А уж он меня за шиворот. И я задрыгал ногами над его головой? — расшитой шелками тюбетейкой.

"Коран читал?" спросил он.

"Не знаю". Я хотел сказать: "не дошел".

"А туда же [illegible], [illegible] паразит, с чужого [illegible]!"

И я [illegible] на [illegible].

[illegible]

[illegible] мост, [illegible], [illegible] на берегу. [illegible] гулять без [illegible], сделаю себе из [illegible] попону. И [illegible]. А по [illegible]. Я заторо[illegible] чуть колеблясь, [illegible] отходить. И я [illegible].

Я [illegible].

[illegible] бы все лететь [illegible]. А по [illegible] гуси да лебеди — [illegible] — гуси и лебеди.

НЕ МОГУ УЙТИ

Стою под деревом. Не видать вершины, [illegible]. Скрипит дерево, а я как прикованный.

Скрипит дерево, падают листья, а сверху ветер [illegible] по себе, как перед падением, гул идет. И в этом гуле мне весть о моем неизбежном.

И отдаю себе отчет: меня задавит. И не могу уйти.

ВОЛК

Послали меня в лес за орехами.

"Ступай, говорят, собери нам орехов побольше".

Вот я и хожу от дерева к дереву — мне в лесу как впотьмах — и ни одной орешни.

И наконец напал. Да только ни одного [illegible] орехи зеленые.

"Все равно, думаю, понесу зеленые, коли уж охота такая пришла".

И нагибаю ветку, но только [illegible] нацелился — хвать, из-за куста [illegible] меня — таких, из сказок, я [illegible] себе волков.

"Ты что ж, говорю, волк, [illegible] съесть меня захотел?"

А волк молчит, разинул пасть.

И опять я вспоминаю:

"Не ешь, серый, я тебе [illegible]"

А сам себе думаю: "На что я [illegible]жусь?"

И пока я так раздумывал, волк меня съел.

С приятным сознанием исполненного долга я проснулся.

ДВЕРИ

Она сказала мне:

"Эти двери мы взяли с собой. Нельзя было оставить их в старом доме. Ты знаешь, как они нам дороги". Чуть дотронулся я до двери — и те старые двери, плавно раскрывшись, бесшумно затворились за мной.

Но когда я остался один, моя комната мне показалась и тесной, и одинокой. Я схватился за ручку двери и изо всей силы нажал открыть, но дверь не поддалась. И я принялся кулаками колотить и звать.

И, выбившись из сил, беспомощный, упал у порога и слышал, как колотится сердце за старыми чуткими дверями.

"Привидения являются только больным, но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе, как больным, а не то, что их нет самих по себе. Привидения — клочки и отрывки других миров, здоровому человеку их незачем видеть, здоровый человек есть наиболее земной человек, должен жить одной земной жизнью для полноты и порядка. А чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше".

Достоевский. "Преступление и наказание".

"Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высоким, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных".

Достоевский. "Братья Карамазовы".

БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ

Из скворешни вылетел голубь — и как они там помещались: скворцам довольно, а голубю не повернуться — целая стая. И один из всех белый поднялся над всеми и, очертя белым кругом на синем, камнем упал под скворешник.

Я его поднял — как билось в моей горсти живое сердце! — и, высоко его подбросив, я крикнул вдогонку:

"Лети, догоняй свою стаю!"

И еще раз, и в третий раз, каждый раз взлетая все выше, падал голубь к моим ногам. И голубиное сердце под белыми крыльями перестало биться.

Я его погладил и, закрыв ему красные глаза, поместил, как белое пугало, в скворешник.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Раскаленная, легким покрытая пеплом, сталь. Два бойца, оба в красном, схватились друг с другом. Такие огромные на [illegible]. И тот, что был ярче, одолел, и бросился к побежденному и, схватив за руки, укусил. И, не выпуская зубов, захлебываясь в густой темной крови, смотрел я в его помутневшие глаза, я знал, он вынет руку и этой окровавленной рукой прихлопнет меня.

И кровь, заливая, душила меня.

КОНЕЦ ВЕРЕВКИ

Вот, говорят, конец веревки: не надо ее, не раскручивая, разорвать. Веревка тугая — гранит. И знаю я, не слажу, а тяну и треплю, расщипываю пальцами по ниточке. И под упором веревки вспоминаю, что уже однажды такое со мной было. И еще упорнее я налег на неподдающийся конец. Из сил выбиваюсь, а не могу бросить, и дух во мне горит: я никогда не отступлю и до смерти не сдамся.

ЧЕРТ И СЛЕЗЫ

Я не дома, а где-то у моря, и не один, а со мной Федор Сологуб, автор "Мелкого беса". Всякий день мы купаемся в море: сперва он, потом я.

Нянька Карасьевна рассказывает: "После них я выловила маленьких чертенят, а после вас вот такого черта".

Карасьевна руки растопырила, показывает, какого черта она выловила. Я не знаю, что ей ответить, и отвожу глаза: как раз против окна береза.

У березы белый конь стоит. Смотрю на лошадь. Воробей пролетел, порхнул на коня, стал коню глаза клевать. И выклевал — кровь потекла.

И я чувствую, как во мне подымаются слезы.

ПТИЦА

С дивана вижу: около книжных полок птичка вьется. Я так ей обрадовался и говорю:

"Здравствуй, пичужка!" и потянулся рукой поймать.

И поймал: горячая и кловом дергает, словно чего-то ищет, а как сердце стучит: испугалась. Да порх! — и в окно.

Я к окну. Но тут точно толкнул меня кто: я обернулся, а там, на диване, где я лежал, чернеет дыра. Я к дыре посмотреть, стал нагибаться — и полетел вниз головой.

ЛЯГУШКИ В ПЕРЧАТКАХ

Я прятался в каюте парохода, но те, от кого я прятался, песьим нюхом отыскивали меня. Все они с человечьими лицами, а туловище было лягушиное и на руках перчатки.

Они были очень вежливы, не простые разбойники, они давили меня своим мягким лягушиным брюхом, они ласково забирались ко мне под рубашку, будто гладя, пальцами надавливали мне на сердце.

На окне сидит галка и кричит.

Я знаю, сейчас она сядет мне на плечо, и мне не уберечь моих глаз. Отбиваясь от лягушек, прошу мою черную гостью:

"Пощади мне глаза, говорю, я тебе жемчужную ленточку на горло навяжу, я тебе отдам мои руки, левую и правую, и перчатки".

ЖАРЕНЫЙ ЛЕВ

Убегал я от львов: их целая стая гналась за мной. А за львами народ бежит с вилами, хотят львов поймать. Я бегу, а сам думаю: "уж теперь-то мне конец пришел!" А львы погоню почуяли, да кто куда — все разбежались. И остался всего один лев.

И нагнали льва — и небывалое дело, зацепят вилами, а сдерется не кожа, навоз отпадает. Бились, бились, да как набросятся грудой — и кончили льва.

А когда вилами зацепили льву голову, оказалось, что лев — жареный.

ГОЛУБАЯ ЛИСИЦА

Осень — хлеб в снопы сложен, только ячмень стоит — усы торчат, и стелется горох. Так объяснил мне мой спутник. Идем по полю мечтая. Откуда ни возьмись лисица, да такая большущая, здоровенная, хвост — шуба.

"Бросится на нас, съест" — так подумалось, и, ни слова не говоря, пустились мы догонять лисицу.

И догнали. И, поваля, придушили. А нелегко было, такое чудище. И мертвая, голубая, мягкая лежала на земле лисица, задрав лапы.

Содрали мы шкуру — и на костер, подпалили. И принялись за еду.

И всю съели.

А как съели, тут я спохватился.

"Что мы наделали, говорю, какая вышла бы муфта, какая шуба!"

А уж поздно: съедено, и костер погас.

НА ПОЛЮС

Едем на полюс, так все мы знаем. А плывем мы по узкой речонке вроде канала. Мой спутник, шершавый, закутан в синюю столовую скатерть, правит веслом. И как-то так произошло, что мы и приехали на полюс.

Стоит на полюсе каменный дом, а около дома народ, и все суетятся и о чем-то спо[illegible].

"Что случилось?" спрашиваю моего шершавого синего спутника.

"Да на пароходном чердаке вора ищут, все семь дворников, весь чердак обыскали, а нашли всего-навсего старый пиджак, а теперь [illegible] сидит там, карау[illegible]".

"[illegible]!" подумал я.

"[illegible]рованные комнаты", [illegible]ый и загоготал.

ЗМЕЯ — [illegible]КА

Лежит бурая змея, одна шкура осталась, вся сохлая. Я потрогал за горло, а внутри, чувствую, копейка стоит, застряла. Оттого змея и высохла, подавилась.

Бежит кошка, бурая, как змея: серые усы, зеленые глаза. И прямо в пасть к змее, только хвост стелется. Но и хвост в змею вошел — и с кошкой закружилась змея, так и кидается из стороны в сторону и в пырь и шмырком.

Я было отскочил и сам думаю:

"Чего-то трогать нельзя, так это мне не пройдет!"

А уж что-то вцепилось в меня, и сам я закружился кошкой-змеей.

ПОЖАР

Огромный дом, этажей не сосчитать. Народ вокруг — и все о чем-то говорят, показывая на дом. Не знаю, зачем это мне, я протолкался до дверей и вошел в дом.

Перехожу из комнаты в комнату, я ищу чего-то. И попадаю в тесную, как клетушка, окно в стену. И вдруг вспомнил: да ведь это моя комната — вот и обои серые с пунцовыми разводами, а тут стоял мой стол, тут...

"И с тех пор, подумал я, все пошло по-другому, бесповоротно".

Я был один, но я чувствовал, что и еще кто-то, и я все спрашиваю о нашем бесповоротном: "возможно ли вернуть и как мне забыть?"

"Пожар!" донеслось со двора. И с улицы: "Пожар!"

И я почувствовал, как стены подходят ко мне и стол лезет на меня. И слышу, в пустых комнатах кто-то запел. И я узнал памятное мне, все оттуда. И весь я как выструнился. И вдруг чем-то горячим

обдало меня, и моя комната вспыхнула.
И мне стало весело.
И я подумал: "дай проснуться, я отыщу этот огромный дом, найду и эту комнату и подожгу".

МЫШКА

Завелись в доме мыши, бегают. Я подкрался и одну поймал за хвост. А она хвать — и укусила меня за палец. И из пальца выросли длинные волосы. Я выпустил из рук мышку, она упала на пол, сидит и не уходит.
"Разве можно так, надо приласкать!" сказал кто-то из подпола.
И я нагнулся, взял мышку за лапку и погладил, и уж она на шею ко мне, вытянула мордочку.

ПО КАРНИЗУ

Скользя руками по карнизу, ноги вниз, передвигаюсь по нескончаемой крыше. Под руками отваливаются гнилушки, соскальзываю — и хотелось бы упасть, что ли, чтобы конец. Но продолжаю передвигаться. Мелькают деревья, реки, речки, дома.

ДЕМОНЫ

Я лежал прикован цепью к железной кровати. Сердце мое рвется на части. И за что же эти гробовщики похоронили меня — ведь я не сделал им зла. Или вся вина моя в том, что я вижу, слышу и я чувствую слово?
И когда я так терзался о своей судьбе, трое посетили меня. Двух в первый раз вижу: тихие, слабые, и что я им, не могу догадаться. А третьего, хоть он и старался в моих глазах переделаться, я сразу узнал по голосу: это сосед меховщик с шишкой на непоказанном месте, торчала на лбу между бровей единорогом: он почему-то всегда злобно глядел на меня, когда я прохожу мимо его окон.
Все трое притворились доверчивыми и наивными и лепетали надо мной. Но я хорошо понимал и не ошибся: они подбирались к моему горлу: на их пальцах я читаю: "задушить".
"Ну нет, подарком вам не достанусь! твердо решилось во мне, я накормлю вас овсянкой!"
Из последних сил я рванул, разорвал свою цепь и на чертей с кулаками.
От одного остался мне на память клок волос, другому прокусил палец, а третий, это был как раз меховщик с шишкой, поддавшись, и мне оставалось только прихлопнуть, врасплох подпрыгнул к самому лицу и какой-то дрянью замазал мне рот. И я задохнулся.

ПЫЛЕСОС

У меня было двенадцать подземных комнат и двенадцать ключей — их у меня отняли. Я набрал на дворе тряпок. Ключи и тряпки унесли в кладовую, куда мне доступ закрыт. А Солончук, без которого я шагу не ступаю, щелкнув меня в лоб — "рука всевышнего", ушел от меня.
До потери голоса спрашивал я себя, что же такое случилось, кругом такая нищета и сам я ни на что не похож. Я не смею больше сказать: "я хочу". Пустая комната, и только рукописи — мои недо[illegible] книги.
И все-таки меня грабят — мое последнее [illegible], и не могу согреться, стужа [illegible] в меня.
Я тихонько сполз к консьержке и тычусь головой в пылесос — единственный для меня выход, так и распылюсь.
И чувствую, как в глазах зеленеет.
А со стены из объявления вышел Солончук и, не говоря ни слова, подал мне ключи, ворох тряпок и мешок ржаной муки для заварки густого клейстера.

ЖАНДАРМЫ И ПОКОЙНИК

Из серебра выплыла бархатная рыжая барсучья морда, помигала мне длинными сахарными клыками и скрылась.

В старом московском доме в Большом Толмачевском переулке, в памятной мне комнате с окнами на широкий двор с конюшней и курятником.
Она показывает мне альбом — засушенные цветы и о каждом спрашивает: узнал ли я или нет?
Все засушенные цветы на одно лицо, и я мог бы по ее лукавой улыбке сочинять, но за меня кто-то отвечает: "нет-нет-нет".
"А эти ты узнаешь? Это я!" и она подносит цветы к моим губам.
Я хотел сказать: узнал, но это были не цветы, а твои птички, и я уже не в комнате, а на дворе в собачьей конуре, запутался в соломе, вою. Собака воет с заливом. Перевыв все собачьи жалобы, я опять попал в комнату.
Весь стол в шелках для вышиванья, розовые мотки. Я присел с краю и задремал. И мне представилось, будто со цветами в руках входят три жандарма. И я очнулся. Но только что протянул руку взять ломтик ветчины, дверь раскрылась и вошли три жандарма.
"Я вас во сне видел, говорю я жандармам, а куда же вы цветы подевали?"
"Собака съела!" отвечают жандармы и

по-собачьи облизываются: язык розовый, ветчинный.

И тут какой-то, подвинув на столе шелковинки, уселся против меня. Как он вошел, я не заметил. И, глядя на него, я подумал: "с такого надо снять семь шкур, чтобы пришелся мне по душе".

"Ваш обвинительный пункт, говорит он, пронырливая меня глазами: переправляясь через реку, вы объясняли естественное происхождение имен существительных".

"Много вы знаете!" говорю, задирая, а сам думаю: "Попался".

"Очень просто: кто-нибудь подслушал и записал", говорит следователь.

И я чувствую, что я выглажен и скатан: "без существительных" меня так легко схватить голыми руками.

И очутился в Гнездниковском переулке — или сами ноги вели меня в Охранное. И вижу, навстречу Чехов, и с ним провожатый с песьей головой мальчик.

"Где вы теперь живете?" спрашиваю Чехова.

"Да все в Москве, говорит Чехов, на Воронцовом поле, где жил Островский, дом под горой в репейнике на пустыре".

"А что же вы написали на пустыре — места мне с детства памятные?"

Чехов показал на своего спутника. Я понял, говорить опасно. И очутился в пустой церкви.

А посередине пустой церкви, как дрова, свалены покойники. Стал я вглядываться, а разобрать невозможно, все на одно лицо, как засушенные цветы. И один поднялся и вышел на амвон.

Он был, как все, без покрова, ноги измазаны дегтем:

"Ваш обвинительный пункт"...

ВЫБИТ ИЗ КОЛЕИ

Меня швырнуло, и я очутился в пустой комнате. И затаился: чувствую, под кроватью кто-то ищет поудобнее улечься: с боку на бок, притихнет и снова заворочается. И как это случилось, не заметил, оно выползло из-под кровати и поползло, вот брюхом наткнулось на мои сапоги, заворочалось и опять ползет.

Боюсь шелохнуться. Я знаю, оно близко, обойдет стул, наметится и прыгнет на меня.

БУХГАЛТЕРИЯ

Поезд стоял далеко за городом в поле и очень длинный. Я прошел все вагоны и задумал выкупаться. Но только что разделся, поезд тронулся. Я догонять, да куда там, не за что зацепиться. А мне говорят:

"Вот билеты, считай!"

Считать — хитрость небольшая и разложить по номерам просто. А билетиков кипа, и все пестрые, в глазах мелькает. Но я все-таки справился. И думаю, "догоню поезд". Но только что подумал, подсунули целую кипу: "считай и раскладывай". А сосчитанные смешали. И опять я считаю и раскладываю, да не так уж споро, [illegible] довел до конца и [illegible], и смешанные [illegible] не пришлось, снова [illegible], а прежнюю [illegible] — в [illegible]

[illegible]

С [illegible]
[illegible] пробираясь [illegible] и лицо [illegible] роста идет!" [illegible] наверх. [illegible] старуха [illegible] за мной, я [illegible]. Я в угол за [illegible] глаза.

"[illegible]", слышу голос старухи, я [illegible]

"[illegible]!" а сам думаю: "Одна [illegible]"

А она [illegible] — какие загубленные глаза! — да за шею меня цап!

МАКАРОНЫ

Мой неизменный спутник, в природе не существующий, а только в моих снах и игре воображения, поднял меня на гору к кратеру. Стоим у самого края. Как всегда набалагуря, спутник-алабор перепрыгнул, а я упал в кратер.

И вот в черноте я цепляюсь руками за какие-то горячие чугунные вешалки вверх, на землю.

И слышу, [illegible]:

"Вылезай скорей, я тебе макароны сварил в плевательнице, боюсь, остынут".

А мне все равно, в какой посуде, стылые или [illegible] обжечь, лишь бы на свет!

To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay there's the rub
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal c[illegible]
[illegible]

Shakespeare, Hamlet. Act III, [illegible]

ТОНЬ НОЧИ

Тонь — тоня — глубокое [illegible] ловят рыбу. Закидка невода: "[illegible]" [illegible] тоню воз вытащишь, в иную ничего". [illegible] жалуюсь: порожним не подымался.

Из тысячи снов я выбираю сто. В них моя взбудораженная душа, — так говорит мне мое наддушевное — мой горький страж: а он знает больше меня и, следуя за мной, никогда не встревается в мою растерзанную жизнь.

Моя душа не богата ни глубиной, ни размахом. Подводя итог, я могу это твердо сказать. Правда, мечта меня не оставляет, источник моих желаний не иссякнул, чувства мои остры, да выше головы не прыгнешь.

В моих снах воспоминания, отклик на книги, события дня, игра слов и загадки-предзнаменования, которые открываются много позже, как в гадании.

О смерти моей дочери мне открылось во сне — "О тебе — Наташа". Подтверждение я получил через два года: нашли ее в больнице мертвую, это случилось при отступлении немцев из Киева 27 ноября 1943 г. Я старался воспроизвести мое сонное проникновение из Парижа в Киев и чувство непоправимой утраты, под знаком которой проходит моя жизнь.

Под тяжестью огорчений я спрашиваю, возможно ли не затягивать узел, или против судьбы не уйдешь, а "он" не предостережет, да и разве послушаешься вовремя самому загасить огонь?

И еще приснилось мне, я видел подробности смерти близкого нам Вл. Вас. Диксона, я видел себя на дворе госпиталя и следил за приготовлениями. А однажды среди бела дня, глубоко задумавшись, шел я по авеню де Гобелэн, навстречу солдаты с музыкой, и вдруг в моих глазах разорвалось пространство, и я увидел — смотрел и ужасался, — было так близко и ярко, чего вернуть нельзя и никакая сила не восстановит.

А потом, через много лет, все так и произошло.

Редчайший случай, ведь обыкновенно приснившееся надо понимать наоборот.

Когда мне сказали, помер Иванов-Разумник, я не хотел верить, всего несколько дней, как было от него письмо.

И в ту ночь мне приснился Иванов-Разумник: "Про меня говорят, что я помер, не верьте, сказал он, я жив, я только переменил имя". Я поверил и всех уверял, что Иванов-Разумник в Америке под чужой фамилией. А ведь действительно он помер.

В снах, как в гаданье, срок исполнения не указан. И только одно, что когда-то будет. Так случилось с моей "Ивицей", понятной мне теперь, через много лет.

По образам сна можно заключить, как живешь: нуждаешься или транжиришь. В сне "У хвоста" нищий с ручками вместо ушей, а есть выражение "ходить с ручкой", что означает попрошайничать. Не богато живется, коли такой сон приснился.

Убедительность сна — его жаркость (температура). Неотлипаемый, припеченный образ никогда не обманет, непременно обнаружится. Такой сон прожжет все препятствия и осуществится. Я знаю такие сны, и последний — "Медведица".

Жаркие сны тягостны, их живое пламя тяжелое. А есть легкие живые сны и без всяких последствий. В них простое сравнение неожиданно превращается в вещь — кошка, поставленная как цветы, съела цветы.

Живостью отличаются и сны "легкого сердца". Начало их мрачно: у тебя все отнято и нет надежды получить обратно, но тут что-нибудь совсем неподходящее, пылесос, глотающий с пылью бумажки, неожиданно, забрав в свою прожорливую пасть и тебя, восстанавливает порядок — и, к твоему удовольствию, отнятое возвращается ("Пылесос").

Или как в "Жареном льве": угрожающая опасность рассеивается неожиданным обнаружением, что лев не живой, а съедобный.

"Творчество, как сновидение". А и в самом деле, откуда вдруг приходит мысль, вдруг возникает образ?

О смерти Авраама я читал в апокрифах, и мне приснился Авраам, вознесенный на небеса, расправляется, карая грешную Божью тварь, и вдруг видит, издалека плывет черная точка, и в ней узнал он лицо человека — это был обиженный им человек. А этот образ, может невольно обиженного, возвращает Авраама на землю. По моему жаркому чувству, я как бы находился в эту минуту с Авраамом, с его заговорившей совестью избранного и все-таки в кругу грешной Божьей твари ("Трава мурава" и "Плачужная канава").

Та же острота чувства и яркость видения мне говорят, что я был среди демонов в "воинстве" Сатанаила в тот крестный час смерти Христа, в дни, не отличить от ночей, когда померкло солнце и звезды, это наши глаза звездами прорезали смятение тоскующей твари. Я провожал Петра, когда пропел петух и раскаяние выжгло мои слезы. Я с грозным архангелом стоял перед крестом, я не мог помириться, и за архангелом я требовал разрушить закон жизни — сойти со креста. И я стоял перед трепетавшей осиной, мое отчаяние глядело в закатившиеся глаза Иуды. И я же был той пичужкой-песней, пробудившей Богородицу от бесчувственного сна в черный день крестной муки ("Звезда надзвездная"). А в толпе скоморохов на пиру у Ирода музыкой разжигал "Иродиаду" и бесновался в ее лебедином взлете

("Лимонарь"). Я с Николой прошел всю русскую землю и путями друидов от Нанси до Нанта.

Как много я видел беды на земле, и откуда столько злобы среди людей, но мне не забыть и горячее человеческое сердце, его тихий свет ("Три серпа").

И по стопам Богородицы я прошел все подземные дороги — ад. И проснулся.

Но, видно, мое отравленное горечью сердце ожесточилось. Мне больше не снятся святые, и двери в тайну судеб мира для меня закрылись.

* * *

Из истории я видел во сне Ивана Грозного, первопечатника Ивана Федорова, протопопа Аввакума или, как писалось в старину, Обакума, Петра Великого ("Воронье перо" и сон "Обезьяны"). Из писателей мне снились: Лев Толстой, Достоевский, Пушкин, Хомяков (сон в "Подстриженных глазах"), Розанов, Лев Шестов (всегда к деньгам), Чехов, Горький, Андрей Белый, Блок, чаще всех, и Пришвин.

В сне "Чехов и жареная утка" два значения: весь чеховский юмор для меня в этой домашней птице; а кроме того, "утка" — говорится: "пустить утку" — понимай, какой-нибудь невероятный слух. В колокольном деле без "утки" не обходилось, такое было поверье, и когда на Москве распространялась самая вздорная ерунда, но как достоверный слух, в рядах хитро подсмеивались: "В Ярославле Оловянишниковы колокол льют, это их утка".

Из парижан мне снились Андре Бретон, Рене Шар, сюрреалисты, и Жильбер Лели, переводил мою "Соломонию", автор "Маркиза де Сада", Жан Полян, "Тарбские цветы", и Брис Парэн, галлимардийский философ и исследователь о жидовствующих: "Аристотелевы врата" и "Логика Маймонида", П.П.Сувчинский, историк музыки, Терешкович, художник, Ларионов и Гончарова.

Часто мне снится Копытчик — Сергей Константинович Маковский. Прежнее время — к веселому и приятному препровождению времени, а теперь погодное: к безбрежному, печальному туману, то же и с Бахрахом... или моя душа так помутилась и сердце очерствело?

* * *

Можно ли сочинять сны, как сочиняют стихи? В сложении стихов мера колышет воображение и вызывает образ, а сонная несообразность неизмерима. Умышленное соединение противоречий звякнет и погаснет, начинай сначала. Можно набить руку, как Кафка, или родиться Гоголем. Сон Левко в Майской ночи Гоголь сочинил, и сонная действительность не в игре русалок, а в перевернутом зрении Левко: видя в глубине пруда отражение дома, он видит, если бы стоял перед домом.

* * *

Душевная встряска может вызвать сновидение даже у слепорожденных, для которых, кроме [illegible]ного, пустая ночь. Само собой [illegible], героин, а для меня непритязат[illegible] — помогает от головной бо[illegible], [illegible] что я никогда не жалуюсь, и [illegible] если невтерпеж [illegible]овать себя.

Но можно ли [illegible], [illegible] живешь, выманить [illegible]?

В Петербурге [illegible]ской, в доме архитектора [illegible], [illegible] моей несуразной пятиугольной [illegible], узкий диван. Днем, как лягу, [illegible]ременно увижу сон. Я это заметил и [illegible]ился не потому, чтобы хотелось [illegible], а для снов. Потом запишу. Сны [illegible] запутанные, но очень яркие, и в [illegible]туру не впихивались, а входили [illegible] рассказом. Затеял я проверить [illegible] гостях — много ходило народу [illegible], — и я прошу хоть на полчаса [illegible] на диван и постараться заснуть. [illegible] подцавался — изволь среди [illegible], когда охота поговорить, [illegible]ься, чтобы только сон увидеть, но [illegible] податливые, не переча, укладывались на диван и засыпали. Пользуясь [illegible] затишьем, я продолжал свою прерванную работу.

Но что странно: никому из моих посетителей, как насмех, ни разу ничего не приснилось. И я тогда подумал: у кого нет дверей в сонное царство, никакой диван не поможет, а мне, стало быть, расположение подушек облегчало путь.

* * *

Сновидения, и самые жестокие, когда дух замирает, никогда не изнуряют душу. Сновидения — дар вечной молодости. И какое несчастье родиться без снов. Только сам человек никогда этого не поймет и не скажет — в природе все довольны и всякому сам себе мил.

А посмотрите на этих сплюснутых, шарахающихся летучих мышей или тугих, неповоротливых гиппопотамов — им ничего не снится. Мир сновидений, как и мир сказок, запечатан. Не видят сны и не любят сказок, их зрение ограничено — только что около своего носа, а глубже: "не понимаем". Какая скука попадет от их слов, и все их движения грузны.

Без музыки, без снов, без сказок и без "игры" (она слита со сном и сказкой) — да лучше бы такому не родиться на чудодейной земле.

* * *

По ходу снов можно сказать о воображении сновидца. Воображение неисчерпаемо, но для каждого ограничено. Я это по себе вижу, замечая в своих снах однообразность.

Сны, как литературное произведение, всегда словесно законченные, отлиты и переносимы с места на место, а есть сны чистого воображения: ничем не начинаются и не видно концов, прозрачные, записать их нелегко, а, записанные, — окостеневают.

Как в сказках, ведь сказки выходят из снов: есть сюжетные сказки, по матерьялам, и сказки чистой сказочности, возникшие "сами собой", из ничего, воздушные. Такая сказочность богато представлена в книге сказок Натальи Кодрянской.

В данном моем собрании снов сны чистого воображения.

То, что называется "фантастическим", — это вовсе не призрачная, не "деформированная" реальность, а существующая самостоятельно и действующая рядом с осязаемой реальностью.

"Если бы сны шли в последовательности, мы не знали бы, что — сон, что — действительность".

Эти слова Паскаля повторяет Толстой.

Есть "большая рельность" жизни: жизнь не ограничивается дневными событиями трехмерной реальности, а уходит в многомерность сновидений, равносущных и равноценных с явью.

В жизни проводник сна кровь. И опять я спрашиваю себя: пробуждение из смертного без сновидений сна в утро другого мира — не есть ли переход в бескровное чистое сновидение?

Станислав ЗОЛОТЦЕВ

ЯБЛОНЕВЫЙ ВЕЧЕР

Омой лицо водою ключевой
и кружево листвы набрось на плечи...
Уже не будет лучше ничего,
чем этот предосенний добрый вечер.

А потому — глотай дурман травы,
уже привядшей, но еще зеленой,
и грустный запах сохнущей ботвы,
и дух плодов под яблоневой кроной.
Вдохни его в себя, вбери... Насыть
и кровь, и плоть, и душу, и рассудок
хмелящим солнцем, вольной жаждой жить,
пульсирующей в стеблях изумрудом.
И пусть все клетки тела твоего
наполнятся теплом коры прогретой...
Уже не будет лучше ничего,
чем этот вечер воскового света.

А потому — всем существом впитай
свеченье капель, что в соцветьях виснут,
и чистоту, ушедшую в потай
тугих плодов и стеблей мускулистых.
А на ветвях галактики планет,
румяных, сочных, над тобой нависли.
Вокруг и рядом — всё, что с древних лет
зовется жизнью в самом первом смысле.

И все твое земное естество —
лишь капля в море зелени и почвы...
Уже не будет лучше ничего,
чем этот вечер, золотой и сочный,
на грешной, на святой и на родной
земле седых славянских побережий,
где, прилетев из глубины лесной,
смолой сосновой дышит ветер свежий.

Пока она, земля, еще жива,
ее дыханьем жизнь свою заполни.
Все травы, и деревья, и слова,
рожденные на ней, навек запомни.

Пока еще горит ее чело
созвездьями росы и русской речи,
не будет в мире лучше ничего,
чем этот вечный яблоневый вечер.

1989

* * *

На хмурых башнях Пскова
стоят шатрами кровли.
(Над каждой – барс железный,
знамённый символ наш.)
Но гвозди или скобы
здесь были бесполезны –
умельцем восстановлен
старинный способ – "в ряж":

друг с другом доски сшиты,
как перья в крыльях птицы –
ступенчатым узором.
В их плоти – ни гвоздя.
Меж ними не увидишь
и малого зазора.
В шатер не просочится
и капелька дождя.

... Взгляни, создатель блочных
домов, стихов и песен,
на эти опренья
смолёных наших крыш.
С такой же мерой точной,
с таким же озареньем
хоть что-нибудь живое
ты разве сотворишь?!

Химическою кровью
порождена нелепость,
что небо – это кровля
машин, а не людей.
... Я сердцем слышу эпос.
Я сердцем вижу крепость,
скрепленную любовью,
и – никаких гвоздей.

ПСКОВСКИЙ МОТИВ

Помню давний год любой,
словно день вчерашний...
Целовались мы с тобой
у Гремячей башни.
И кружилась голова,
И смеялся ветер.
И веселая Пскова
пела на рассвете.
И высокая трава
закрывала дали.
И нежданные слова
губы лепетали.

И, не ведая стыда,
вновь смыкались губы.
Были оба мы тогда
и юны, и глупы.
Нет, мудрее во сто раз
мы в то утро были,
потому что без прикрас
целый мир любили.
Между небом и землей,
городом и пашней
целовались мы с тобой
у Гремячей башни.

* * *

Таджики, прощаясь,
желают друг другу "белой дороги".
Для них белизна –
основа добрых примет.
А мы, россияне,
особенно в дни тревоги,
не зря говорим о земле –
"белый свет".

* * *

Обеляются имена
тех, кого полвека назад
трибунал на смерть отправлял, и на каторгу, и в забвенье.
Возвращаются имена тех, кто был, конечно, не свят,
но от высшей своей любви не отрекся ни на мгновенье.

Сколько лет я помню себя – столько мне и врали про них.
И сегодня благодарю я свое былое неверье.
Слава богу, что здравый смысл изначально в меня проник
и не дал душе озвереть и ослепнуть ни на мгновенье.

Но без веры я жить не мог и поныне жить не могу.
Многолетняя ложь разъесть
не смогла моей веры звенья.
Но навстречу громким словам и сегодня я не бегу.
Знаю: суть природы людской не меняется за мгновенье.

И тревожно видеть людей, что готовы вновь отбивать
каждый раз ладони свои, высочайшему вняв решенью.
Я хочу их остановить – не хочу, чтобы им опять
через годы пришлось прозреть,
испытав позора мгновенья...

1988

Михаил ВОРФОЛОМЕЕВ

ЗА СТЕКЛОМ

Повесть

Да, много тайн хранил наш маленький город. А ведь если хорошенько вдуматься да вглядеться в нашу российскую историю, то сразу станет понятным, что известные нам мыслители, литераторы, диктаторы и все остальные властители дум рождались в провинции, провинция их и пестовала. Что-то бродит, квасится, создается и созидается в недрах величайшей державы. И ведь даже не глядя на карту, можно с уверенностью сказать, что таких городков, как наш, куда больше, чем таких, как Москва. Вот ведь все знают, что были дети у Толстого, а где они? Куда спрятала их хитрая история наша? Неведомо! А в нашем городе все известно. Известно, например, что бывший директор школы Павел Силыч Скуратов – прямой потомок Малюты Скуратова. И надо сказать, что нрав и норов он перенял от далекого предка своего. Впрочем, почему далекого? Ведь история и жизнь наша поразительна тем, что так перемешана, прямо не знаешь, где у нас начало, а где конец! Вот ведь взять прадеда того же Ивана Комарова, что умер лет десять назад, ожидая крепостного права. Родился он и вырос крепостным, а когда это дело отменили, то это так опечалило мужика, что подался он в разбойники бить тех, кто, по его мнению, и был виноват. А виноватыми он считал чиновников. Будучи пойманным, был он отправлен в ссылку. И всякий раз, когда на земле происходило какое-нибудь выдающееся событие, старый Трифон крестился и говорил:

– Ну вот, кажись, дождался! Со дня на день ищите манифесту об том, что ноне мы опять крепостные! Благодать, господи!

Надо заметить, что так или примерно так, как и наш Трифон, думало много народу в нашем отечестве. Отчего-то люду нашему спокойнее живется, когда он видит или ясно ощущает власть. Особенно любит народ грозный окрик и гневный взгляд. Вот, к примеру, священник наш, тот так и говорил: "Не потрафил народу Николай-то Павлович!" Строгости мало было. А без нее и завелись вокруг элладочки да шепоточки! Много перемен происходит в недрах наших. Во-первых, взамен духового оркестра в белоснежную раковину на танцплощадке влезли молодые люди с

* Окончание. Начало см. в № 3 МВ

длинными волосами. Поклонники узких брюк и ярких галстуков были поражены. На эстраде стояли юнцы в широченных клешах с патлами до плеч и били при этом в электрические гитары! Музыки такие гитары не рождали, а производили грохот и вой. А когда эти юнцы еще и запели на английском языке, все поняли: прошла одна эпоха, наступила другая... Наш городской ансамбль назывался "Поющие коты". Бабка Комариха однажды вечером, когда Иван вернулся домой, но уже не с танцев, а с похорон, посадила его на табурет и рассказала следующее:

– Ванька, ты в чо всю жизнь дуешь?

– В саксофон.

– А ты знаешь, нет,что ночью паразит этот твой распрямляется, как змея, с футляру вылазит и сосет с тебя кровь! Ты глянь ему у нутро! Оно же у его красное!

От этих слов внутри у Ивана похолодело, но он все-таки справился с дрожью, отхлебнув из принесенной бутылки портвейна.

– Пусть сосет! – сказал он бабке. – Нету мне другого выхода! Вся моя жизнь в нем!

Комариха вздохнула и пошла зажигать керосиновую лампу. Дело в том, что бабка Комариха не выносила электрического света. Поэтому, когда к ее дому подвели провода, старуха взяла косу и тут же их обрубила. В местной газете по этому поводу даже фельетон писали. Писал его известный фельетонист Родион Кушаков. И как он исхлестал своим коварным языком старушку, прямо страсть!

– Как?! – восклицал Родион. – Мы что же, зря в космос полетели?

Многие, а это я точно знаю, сказали: конечно, зря. Бабка Комариха, так та до сих пор говорит: "Ну и чего вы там нашли?" Хотя мы тоже туда не летали. "Живут же такие старушенции, – продолжал язвить Родион, – что от всего нового их прямо тошнит, например, как от нейлоновых сорочек".

Прямо надо сказать, тошнило от них не одну бабку Комариху, а многих. Ну и так далее! А заканчивался фельетон так: "... И приснилось бабке Комарихе, будто бы очутилась она в прошлом веке! Ни машин нет, ни самолетов, ни паровозных гудков! Весь город потонул во мраке темноты и невежества! А бабке только этого и надо! Такие-то на нашей темноте и держатся!" Комариха газет не читала, но добрые наши жители принесли ей целую пачку, и каждый при этом порывался перечитать вслух бойкий фельетон. Комариха послушала, послушала да и сказала:

– Он через эти свои машины тронется! – Поразительнее всего, что так оно и случилось!

Какие мысли приходят к вам с темнотою? Черный, осыпанный мириадами звезд ночной купол вдруг увидится во всем своем бесконечном величии, и покажется человеку, что сам он пусть и малая величина, но такой же стройный и бесконечный космос в самом себе. Словно в зеркало смотрю и вижу душу! Мы не просто любим звезды, мы догадываемся, что они-то и породили нас и что до сих пор несут нам невидимые живительные лучи. Потоки их огромны! И сыплет и сыплет Великий космос веками, тысячелетиями свои лучи... И вот уж где-то появились люди. Они еще язычники, и солнце им отец! Что очень верно. И вот тут-то я и

хочу сказать следующее. Греки и римляне закончились как язычники. Это был их апофеоз, вершина, на которую толкнуло их Провидение. Но если они язычеством закончили, то мы им начали свою историю. Христианство застало Европу в странном положении. Часть ее уже была стариковски беспомощна, а часть еще в варварском язычестве. Но, перемешавшись, они путали стройные понятия собственного бытия. Русские, став христианами, разом оглянулись на свое прошлое. Ах, какое оно было веселое, задорное... Но печальная еврейская нота прозвучала над миром в лике Христа. Народ еврейский, в древности познавший поэтическое обобщение, самую суть поэзии, сам неожиданно выталкивает из недр своих Христа, безумного поэта вечности, и это стало их трагедией. Европейцы-христиане ушли вовнутрь, затворились и создали кумиров из самих себя. Но русскому человеку это показалось ненужным, глупым. Он прорвал пелену индивидуализма, и вновь его душа соединилась с космосом... Однако сегодня рожденный в древности миф о господстве над человечеством вновь навис над миром своим утробным брюхом. Повалился своей золотою ношей на хрупкие плечи бедных. Но хватит рассуждать. Ночь покатилась к рассвету.

– Петр Петрович! Богоуров!

Пришел Максим Матвеевич выпить кофе, но больше – поговорить. Кофе пили мы, по обычаю, у окна, смотревшего на дорогу. Когда допивали вторую чашку, выходил Коткин. Бедный, разве он догадывался, что каждое утро мы знали, куда он идет! Он затворял за собой калитку, поднимал кверху голову, словно принюхиваясь, откуда сегодня понесут покойника, и, поняв, быстро семенил к месту. Иногда по улице, тарахтя железными ободами, проезжала телега. Это соседние крестьяне ехали на базар.

– Вот мы с тобой, Петр Петрович, смотрим на этот мир и не догадываемся, куда и как он повернется завтра. Представь себе, что нет нас в живых, что в твоем доме разместится какая-нибудь контора...

– Почему контора?

– А что еще? – Максим Матвеевич с укоризной смотрит на меня.

– Почему ты не женился?

– Но ведь Гоголь же не женился! И никто ему это в вину не вменял.

– Петр Петрович! Выбрось свои грешные мысли! Не быть тебе Гоголем. Да и к чему, скажи мне, иметь России двух Гоголей? Хватит ей одного! Потом ты не сатирик. И не юморист. Ты добрый малый.

С этими словами Максим Матвеевич уходит, ему на работу, а мне еще в Мотанино. Помните, остался я в лесу, так и не дойдя до дома кузнеца? А все виной проселки моей памяти. Петляют они, петляют и все никак не могут выйти на большак.

Иногда мною овладевает странное беспокойство. Откуда оно исходит, что и почему тревожит меня, я не знаю, но самого этого состояния я боюсь. Лучше всего помогают прогулки и особенно среди леса. Вот я и оказался в маленькой деревеньке, что стоит, приткнувшись к самому лесу. В ясные солнечные дни отсюда хорошо видны бескрайние ясные дали. Воздух чист, горизонт почти

синий. Я остановился у своего дальнего родственника Якова Яковлевича Богомазова, кузнеца. Лет ему было под восемьдесят, но он бодр, свеж лицом. Объяснялось его здоровье тем, что он никогда не курил и не пил. Вставал он до света, а так как был вдовцом, то сам шел доить корову, ставил самовар, в общем, жил как бы за двоих – за себя и за жену. Дочь его Груша жила напротив. Но ей приходилось вставать еще раньше, бежать к машине, которая везла ее к утренней дойке. Бывало, что машина ломалась – тогда шли за восемь километров к ферме пешком. Поначалу, когда я впервые появился, меня немного дичились люди, а после привыкли. И часто, идя по деревенской улице, я думал, что верно ли так случилось, что вот я писатель? Пока я дошел до дому, Яков Яковлевич спал. На столе лежал каравай хлеба и стояла крынка молока. Я поел и ушел спать на сеновал. Вернее, спать-то мне не спалось, но думалось тут замечательно! Чистые крупные звезды вдруг прорезались из бархатного, почти черного неба. Они мигали, переливались и несли тревожное и возвышенное чувство. Из-за горы выкатилась полная белая луна. Дом стоял на высоком берегу реки. Шум ее доносился сюда легко. Стремительная, чистая, холодная до ломоты в суставах, сейчас она словно застыла под серебряным, ледяным лунным светом. Разное будил во мне этот свет. Но главная, а подчас и единственная мысль жгла мозг: "Так ли живу?!" Ничего нового в ней ничего не было, и даже просто оригинального, но очень уж емкая мысль. Думал о том, что сделал, что должен был сделать, а не сделал... "Кто я?" – думалось мне. Холодный ли наблюдатель или же делатель хоть какой-то, но жизни? Выходило и так, и эдак. А ведь в самом деле: что это – наша писательская жизнь? Так ли в ней много приятных минут? Немало, конечно. Ведь сам по себе труд – уже счастье. Счастье, когда садишься за чистый лист и знаешь, что только ты сейчас заполнишь его жизнью, новой, не всегда всем ясной, но тебе самому понятной до последней точки! И пусть многое ты выдумаешь, на то ты и сочинитель, но многое будет и правда. И сойдутся на белом листе правда да вымысел, соединятся, образовывая то, что и зовется литературой.

А сколько горьких минут в жизни писателя! Задумаешь вещь, выполнишь, а она как была неокованной болванкой, так и осталась... Почему твой талант такой неверный? Что не рассчитал?! Но время-то потрачено, и его-то не вернешь!

Я лежал на сеновале под широким звездным небом и чувствовал, как из меня утекает жизнь... Она уходила так, как уходит пар от горячего тела. Я отдавал энергию, а она бесполезно сейчас грела холодный воздух, пришедший с гор, из черного неба на меня глядел весь космос! И я думал: а что как после смерти душа моя пойдет странствовать по его бесконечным просторам? И кто знает, а вдруг да найдет себе пристанище в его безграничных чертогах. Мысли были несколько возвышенны, и тут я услыхал тоненький плач. Он был едва слышен и доносился с реки. Я поднялся и поглядел на берег. Там у самой речки сидел человек. Накинув телогрейку, я спустился с сеновала и пошел вниз, к реке. Человек, заслыша шаги, плакать перестал. Подойдя к нему ближе, я узнал в нем соседа Никиту Калиновича Хотькова. Это был пожилой, лет семидесяти человек, с белой головой и широким простодушным лицом. Подходя, я заговорил первым:

– Не спится что-то. Смотрю, кто-то сидит у речки. Думаю, пойду поговорю, хоть не так тоскливо будет. – Я старался говорить буднично, а вдобавок прилаживался к местной речи.

– Здравствутя, Петр Петрович! – поднялся Хотьков. – Обыкновенно-то я сплю в такое время, да дело, вишь, вышло необыкновенное!

– Да что же случилось?

– С городу я нынче вернулся. Вот только-то и вернулся! Вчерась сосед мой Васька Краюхин борова заколол. Тут дело-то како! Боров на улице лежал, а его Гришка Шолохов пьяный и саданул трактором. Прямо так весь зад и отбил животине. Пришлося Ваське резать боровка. Делать неча! Ладно, хуть нынче с мясом нелады, продать можно. Прибегает, значит, ко мне Полина, Васькина жена, просит, чтоб я поехал бы с Васькой в город продать боровка. Васька-то пьющий. Ну, вроде как догляд за ним. Коня я с вечера покормил овсом, да до света и выехали. Как раз, значит, к семи успели. Пока весы брали, пока разрубили тушу, время идет. Только к десяти и заторговали. А к обеду мы уж и готовы были. Так, осталось что по мелочи. Гляжу, нет Васьки! Туда, сюда... Нету! Допродал я мясо, после и голову купили, и сижу жду. А деньги-то у него. Думаю, напьется да и потеряет! Часам к четырем пришел Вася, а сам едва живой. Добрался, значит. Я его на телегу – и скорей домой. А как сели, я спросил про деньги. "Ты, – говорю, – змей, не потерял?" – "Нет, – говорит, – тут они!" И показывает, что они вроде как за пазухой. Покуль до Ключей доехали, темнеть стало. Васька спит... Я поехал к колодцу коня напоить. Подъехал, воды набрал да в колоду покуль налил. И как-то глянул на Василия. Думаю, чо это он так вывернул шею, поправить , думаю, надо. Голову-то взял, а она холодная! Пока я его вез, он помер. Петр Петрович! Вы в мое положение войдите! Вот же только человек живой был, а вот и нет его! А ведь Вася хоть и пьющий, а хороший человек был! Он такой, что в ночь, полночь надо – пойдет! Приехал затемно. Во двор к Краюхиным заехал. Полине и говорю: так, мол, и так. Та в слезы, а после спрашивает: "Где мои деньги?" Ну что за кабала! Говорю, что Вася сказывал про запазуху. Покудова мы тут со стариками Васю в дом занесли да на лавку положили, Полина давай после кругом шарить: нету денег! Господи! И сапоги мы ему сняли и телегу всю обыскали. Нету! А она, Полина: "Ты, – говорит, – не крути, Никита Калиныч, а деньги верни!" У меня от этих слов ноги подкосились. "Ты, – говорит, – опоил его и деньги забрал". Я к старику Краюхину. "Ты-то, – говорю, – Игнат, знаешь меня!" Молчит... "Эх, Петр Петрович!" Со двора выезжал, а Полина вслед: чтоб, мол, деньги я к утру вернул... Совести, говорит, у тебя нет! И вот сижу я, плачу, плачу, а сам думаю, что вот ведь денег не брал, а стыдно. Пошто стыдно-то?! Вот ведь страх какой! Люди-то думают, что я и впрямь деньги взял да Васю напоил!

Старик замолчал. Стало тихо. Я почувствовал, как тяжко сейчас Никите Калиновичу, как что-то ищет он в себе и не может найти. После стал припоминать разные подробности. Как ехали, о чем думал. Несколько раз он плакал. И когда уже воздух посветлел, Никита Калинович собрался и ушел. Несмотря на некоторое возбуждение, я тем не менее пришел домой и лег спать. Но уже часов в восемь меня поднял Яков Яковлевич. Обычно он

будит меня, приговаривая шутки, а тут поднял молча, кратко добавил: – Самовар стынет.

Я слез с сеновала, помылся. В доме уже стоял накрытый стол. Яков Яковлевич в соседней комнате стоял на коленях, молился. Я съел яичницу, выпил молока, а после чаю. Помолившись, Яков Яковлевич зашел в кухню и, глядя в окно, сказал: "Никита Хотьков удавился..."

Я тут же рассказал Якову Яковлевичу о нашем ночном разговоре.

Хоронили Краюхина и Никиту Калиновича в один день и почти в одно и то же время. В день похорон мать Краюхина, старая Анна, нашла потайной карман на пиджаке у сына. Там лежали деньги...

Уже у себя дома, размышляя о случившемся, я подумал, что как время ни меняет русского человека, оно никак не может вытравить совестливость. И кто знает, как всю эту трагедию пересрадала Полина. Она, может, и сказала-то [illegible] с горя да сгоряча! Вот и потеряла деревня еще двух своих [illegible]. Дом одинокого Никиты Калиновича забили. Мой Яков Яковлевич захворал и пролежал неделю.

* * *

– Иногда хочется взять и крикнуть: как же тебе живется, брат мой писатель?! – Ладейщиков по[illegible] папку, которая только что вернулась из очередного журнала. – Как мы живем?! Ведь три года писал! Про пьянство все сократил, такие антиалкогольные сцены ввел, что сам плакал! А перестройкой героя до́нял?! И все зря! Ты, Богоуров, ты подлец! Напишешь, как солнце взошло в одном месте, а через сто страниц оно у тебя в другом месте сядет! И пожалуйста! И гонорар! А мы фиксируем эпоху! Создаем художественную летопись... Сколько там? – Ладейщиков посмотрел на часы. – Скоро два... Пойду куплю и забудусь... Потрясение... Ведь писателей-то на всю область двенадцать человек – и тех не могут обеспечить! Дали бы мне тысяч пятьдесят, я бы отстал от них. – После этих слов Ладейщиков долго и строго смотрит мне в глаза. – Я про тебя, Петя, написал куда следует! Странный и опасный ты человек! Всегда молчишь и печатаешься! Между прочим, мог бы где-нибудь и про меня словечко замолвить! Так, мол, и так, недооцененный талант! А ты! – И Ладейщиков грозит мне пальцем!

– Да что вы, Степан Семенович! Если я про вас скажу, то и вовсе не станут печатать! А уж после того, как вы еще и написали куда следует, чего доброго, арестуют.

Степан Семенович зачем-то порылся по карманам пиджака, посчитал мелочь.

– Ладно, черт с тобой, Богоуров! – И он не знал, ка́к оказался прав...

– А вот давай так, по-честному! Что там Астафьев, Распутин, Белов? Они что, в самом деле лу́чше других? Да ни хрена подобного. Они хитростью взяли. Сообразили, про что писать! Но я тебе и другое скажу. Писатели эти – вредные! Мы одного выгнали этого, Солженицына, а они его просто взяли и заменили! Я то мог бы... Но по той линии, что я понял, никого не выгоняли...

– И еще раз взглянув на часы, Степан Семенович решительно сел в мое кресло.

Дело в том, что, вернувшись из деревни, я наткнулся на Ладейщикова. Получив отказ от редакции, понес он свое детище по людям. И я-то знал, что после соберет он двести, триста писем и "пробьет" свой роман...

– Или вот взять последнее: что наделали наши именитые? Ведь согласись, Петя, что не зря ругают того же Белова! Ведь до чего дошел!

– А до чего он дошел? – поинтересовался я.

– До крайности, Петя! До вольности! Нет, я бы его посадил лет на пять! А нужно, так и к стенке! Есть за что! Из всех я его особенно не люблю!

Я смотрел на марганцовую шею Степана Семеновича, и мне казалось, что это кабель, по которому из брюха в голову несутся злые электроны ненависти и бешенства, какие зачастую посещают головы и наших критиков, и литературоведов. Но если Степан Семенович говорил прямо и искренне, то на страницах печати это выглядело умеренно, даже с некоторым окрасом печали. А ведь всем известно, что печаль синего цвета. Так вот, этой синькой сегодня расцвела наша литературная критика. Некоторые газеты даже от этого стали неузнаваемы! Из серых стали голубыми! Много, конечно, происходит как в недрах, так и на страницах нашей периодики. Нешутейно взялись за политику. В истории откопали Троцкого, Каменева, Зиновьева. Счищают пыль. Завтра, видимо, мы их уже увидим, ну хотя бы как в лондонском музее восковых фигур. А в самом деле, у нас что, воску нету? Понаделать разных исторических фигур, начиная от Мономаха и далее. Понятно, что в определенном месте – я говорю о месте историческом – надо наглядно показать, как... Впрочем, "как" – это уже не вопрос историй, а политики. Мне же не хотелось бы ею занимать читателя. У нас достаточно жонглеров от политики и в театре, и в литературе. Поэтому я резко обрываю разговор и так же резко прощаюсь с Ладейщиковым. Черт с ним! А вот что вышло. Пока я ходил в деревню да жил там полторы недели, в наш городок вернулась Соня Уклонова. Впрочем, об этом я уже говорил. Я как-то опустил Евграфа Ивановича Уклонова, но он был жив, хотя и прибáлевал. Странное дело: какое огромное количество народу прошло страшную эпоху тридцатых, а после – сороковых годов. Они внесли в современную жизнь какую-то серую электрическую болезнь. Эта болезнь называлась – страх... Но если вглядеться в каждого человека по отдельности, то станет видно, что эту болезнь несут в себе почти все. Как же жила и какой стала Сонечка?

Именно в этот день, когда у меня побывал Ладейщиков, я и увидел Соню. Я увидел ее выходящей из ворот своего дома. Густые каштановые волосы падали ей на плечи. У лба они были разделены. Лицо чуть смуглое, с большими темными глазами. Она стала высокой, с очень выразительными руками. Я окликнул ее. Она посмотрела на меня так же, как некогда глядела ее мать... Вглядевшись, она узнала меня.

– Петр Петрович! Ой, какой вы стали!

– Какой, Сонечка?

– Смешной!

– Да, смешной и старый!
– Нет, вы еще не старый, но уже и не молодой.
–Куда вы? – спросил я.
– Мне нужно в магазин, после в аптеку.
– Приходите вечером, – попросил я.
– С удовольствием! – Соня улыбнулась. Зубы у нее были чудесные! Белые, ровные... Она пошла вниз по улице, в центр нашего городка. На ее ногах были белые туфельки, а сами ноги были стройными и загорелыми. И я понял, что, конечно же, влюблюсь... И то, что я это понял, наполнило меня страхом. Да, да, именно страхом. Этим колючим, смерто[illegible]колючим электрическим дерьмом. Я ненавижу это чувство! [illegible] ненавижу всякие формы насилия, даже если они и во бла[illegible]. Я [illegible]жу тех, кто разжег гражданскую войну, кто первы[illegible] концентрационный лагерь, кому понадобились ми[illegible]миллионы жизней моих соотечественников... Наверн[illegible] звучит в соседстве со словом "любовь", но что же [illegible] меня так получилось. Я повернулся к своему дому. [illegible] забор скрывал нижний этаж, а к воротам, закрытым нагл[illegible] след дороги. Вернее, он был когда-то, но сейчас ко[illegible] подорожником, и так густо, словно именно это место и [illegible]ло им возлюблено. Я вспомнил, как когда-то отец растворял [illegible]ные половинки ворот, окованные железом и скрепленны[illegible]стыми медными болтами. Как вскакивал он в легкую бри[illegible]езжал со двора. Мать закрывала ворота и всегда пригова[illegible]: "Покатил, покатил голубчик мой..." И это ее "голубчик мой" было столь трогательно и каждый раз для меня неожиданно, что я убегал на конюшню и почему-то плакал там, упав на мешки с овсом. Вот и сейчас я живо вспомнил и отца, и морду коня, которую отец заворачивал вожжой то вправо, то влево... Вспомнил мать, ее слова и чистые васильковые глаза... Где же вы сейчас, родные мои? И зачем я стою перед воротами, словно боюсь войти? За этим занятием меня и застал Дмитрий Степанович Коткин. Потный от жары, от того, что и в жару он не снимал своего черного прорезиненного плаща, в сандалиях на босу ногу, он шумно высморкался в свой широченный платок, поправил очки в железной оправе, делавшей и без того круглое лицо еще круглее, и произнес:
–Слыхали?

Я сделал вопросительное лицо. Дмитрий Степанович только того и ждал.

– Уклонова приехала! Софья Уклонова! Консерваторию кончила по классу роялей! – Он так и сказал: роялей!

– Да вам-то что?

Дмитрий Степанович вначале вытер грудь своим платком. В жаркое время он под плащом носил майку. Причем все его майки были образца двадцатых годов. Надо полагать, что Степан Коткин реквизировал какую-то нэпманскую лавочку, что торговала бельем, а товар забыл сдать. Так он и остался в доме и по сию пору служил его фамилии.

– А то! – погрозил мне пальцем Дмитрий Степанович.

Я даже опешил. Как?! Неужели он догадался? Догадался о моей внезапно вспыхнувшей любви.

– А то! – еще громче крикнул Дмитрий Степанович. – Что

отец мой был в некоторой связи с ее матерью! Вот я и раздумываю: а не сестра ли она моя?!

Я глядел в его потное толстое лицо, почти безбровое, с толстым, постоянно красным носом, и зачем-то сравнивал его лицо с лицом Сони... Никакого сходства!.. Но позже вторая мысль высветила мне слова Елизаветы Кирилловны... Я понял, кто был тем, который изнасиловал ее... Это же был Степан Коткин. И тут же в какую-то секунду я и увидел, как это все произошло. Дежурный ввел Лизу в кабинет начальника ОГПУ. Лиза сделала неглубокий поклон и сказала:

– Здравствуйте. Меня зовут Елизавета Кирилловна.

Из-за письменного стола поднялся тучный, с красным лицом человек, он заломил плечи назад, раздался хруст хрящей. После он поправил пенсне и, заложив руки за новенькие ремни портупеи, вышел из-за стола. Синее галифе, отполированные до блеска сапоги и запах табака – все как-то смешалось в голове у Лизы.

– Первый раз вижу генеральшу! Какие ручки! Какие ножки! Он хохотнул, глядя на Лизу немигающими глазами, и тут же протянул руку. – Степан Панфилович! Прошу! – И он неожиданно для его грузной фигуры ловко развернулся и жестом, каким обычно приглашают официанты, показал на кожаный диван.

Лиза прошла и села на мягкую коричневую кожу, а сев, подумала ,что этот диван, видно, был взят из богатой квартиры или богатого дома... Он был большой, этот диван, мягкий и по-семейному уютный.

– Надеюсь, вы знаете все о своем отце? – с глубокой печалью на лице и в голосе спросил Степан Панфилович.

– Разумеется, – искренне ответила Лиза.

Тогда Степан Панфилович предложил ей папироску и закурил сам. Закурив, он подсел к Лизе.

– И то, что он враг народа, знаете?

– Нет! Он не враг! – Лиза испуганно замотала головой.

– Враг! Он работал на империалистическую разведку! И что же мне делать? Что ты мне прикажешь делать с тобой? – Коткин неожиданно перешел на "ты". После он рывком пододвинул Лизу к себе. Только сейчас она уловила запах водки... Он вмял ее в теплую пахучую кожу. Ремни портупеи врезались ей в грудь, а его руки уже нашарили ее бедра. Она хотела пошевелиться, но тут же с треском разорвались ее трусики. Коткин отшвырнул белый шелковый комочек и, став на колени, прямо в сапогах сделал свое дело. После, застегивая ширинку, он сказал:

– Будешь приходить по четвергам! – После открыл дверь. – Абрам Львович, займись сегодня делом Шехтеля, а дело Уклоновой положи мне на стол.

Выходя из кабинета, Лиза увидела того, кого Коткин назвал Абрамом Львовичем. Это был яркий брюнет лет двадцати пяти, с большими черными, как слива, глазами, и ярко-красными губами. Он насмешливо проводил ее взглядом, и Лиза поняла, что он все слышал... Полная страха, стыда и ненависти ко всем и к себе, она вошла в дом и закричала так, что сорвала голос, но горе не вышло из нее. Лизе шел двадцать первый год...

– Нет, Коткин, она вам не сестра. И потом, зачем вам живые? Вы же специалист по трупам.

Дмитрий Степанович отступил от меня на шаг и вдруг заорал на всю улицу: – Я тебе покажу специалиста по трупам! – Лицо его сделалось багровым, и в этой багровости он стал похож на отца.

Забыл добавить, для чего Дмитрий Степанович носит свой черный прорезиненный плащ. Дело в том, что с изнанки к правой и левой поле́, пришиты большие карманы, куда незаметно прячутся закуски, ножи и вилки и вообще все, что плохо лежит.

* * *

Распрощавшись с Коткиным, я вошел в дом. Степанида, подоткнув юбку, босиком мыла полы. Всякий раз, когда она вот эдаким манером принималась за уборку, а именно подтыкала юбку так высоко, что оголяла ногу чуть не до бедра, я только диву давался великолепию ее ног. Ступня ее – крупная, почти мужская – была снизу чуть розовой и переходила в атласно-белую кожу, которая обтягивала мощные [illegible]ные икры. Нога выше колена была словно вытесана из цельного белого мрамора! Всякий раз я видел несоответствие между ее лицом и телом. Лицо ее, огрубевшее от времени, имело какой-то [illegible]кольный цвет. Морщины были резкими и острыми. Тело же, напротив, было гладким, если судить, конечно, по ее ногам и по той части груди, которую хорошо видно при наклоне. Я сказал Степаниде, что вечером она пусть не приходит; она вытерла об фартук руки.

– Поись надо, Петр Петрович! Что ты, голубья душа, не емши ходишь! – Она тут же прошла в кухню и налила мне миску холодной окрошки и поставила в стеклянной тарелке салат из огурцов и помидоров. Все овощи и зелень мы выращиваем сами. Причем помидоры у нас созревают недели на две раньше, чем у других. Степанида это объясняет тем, что она их садит вдоль стенки дома. А это самое теплое место. Нарезав хлеба, себе Степанида налила рюмку водки. Выпив, она похрустела свежим огурцом. – До чего же это я к обеду водочку люблю! – Степанида радостно вздыхает. Пьет она ежедневно одну рюмку.

– Меня так научила старуха Комарова! "Ты, – говорит, – женщина крупная, тебе рюмку надо. У тебе, – говорит Комариха, – без нее кровь загустеет и станет тягостно!" Ну, кушай, Петр Петрович! – Степанида уходит продолжать уборку. Через минуту она запела: "Ой не месяц, не луна – половиночка одна. Где-то, где-то потерялась, ягодиночка моя!"

"А действительно, – подумалось мне, – где же сейчас Прокоп? Какую он думу обдумывает?"

Но в эту минуту, отдуваясь, входит Максим Матвеевич.

– А! – говорит он торжественно. – Какова жара нынче?! Степанида, ты где? – Степанида тут же появляется.

– Ой, Максим Матвеевич! А я думаю, кто это там разговаривает?

– Степушка, любезная, кваску!

Степанида бежит в погреб за квасом, а Максим Матвеевич, проводив ее глазами, говорит: – Я вот все думаю, а как вдруг переведутся на Руси вот такие бабы? Тогда все! Тогда – конец! Я, брат, много о Степаниде думаю. Это прямо загадка какая-то! Ну ты сам посуди: с тебя она денег почти не берет, а что и берет, то

на хозяйство тратит. Она же, можно сказать, добровольно служит твоему таланту! Добровольно! А ведь книжек твоих она не читает, да она вообще ничего не читает! И все при ней. И ум, и такт, и вкус! – На этих словах входит Степанида с трехлитровой банкой кваса. Много что умеет она делать, но квас ее – это произведение искусства! Максим Матвеевич приносит большие хрустальные бокалы, и Степанида наполняет их темным, с роскошным золотым отливом, квасом. Мы поднимаем бокалы и торжественно пьем. Представьте себе, что на улице стоит зной. Жарко! Собаки, высунув языки, бредут по улице в поисках прохлады и даже головы не поднимут. Трава становится белесой, и неба почти не видно, только одно солнце! Душа в такие дни томится, и все ждешь какой-нибудь пыльной бури! И вот в такую минуту тебе подают холодный, со льда, квас. Не знаю, как его делает Степанида, но если когда-нибудь международную всемирную выставку проведут не в Париже, а в нашем городке, да если еще и жара будет, все золотые медали отдадут Степаниде за бокал кваса. Настоящего русского, пахнущего хлебом, медом, с дубовой горчинкой, с влажным ароматом донника... Мы выпиваем квас и бросаемся обнимать нашу спасительницу! Степанида густо краснеет, а ее глаза наполняются слезами... Да и мы готовы всплакнуть от нахлынувших на нас чувств.

– Ну, Степушка, угодила! – Максим Матвеевич целует ее прямо в губы. Смущенная, но радостная, она убегает. Надо бы мне описать вам подробнее Максима Матвеевича Давыдова. Росту он невысокого, но плотный, и носит брюхо. Поначалу кажется, что он был в юности боксером – такой у него могучий вид, но боксером он не был, а был актером. Седые волосы он стрижет коротко, почти до "ежика". Серые выразительные глаза и крупное, породистое лицо, чем-то похожее на портреты Тургенева, Ивана Сергеевича. На его грузном, но мощном теле белая с короткими рукавами рубашка. Причем рубашка эта идеальной чистоты. Он располагается в моем большом кресле, достает с полочки карамельки и, закинув ногу на ногу, начинает разговор:

– А как же ты, Петр Петрович, в такую жару работаешь?

– Встаю рано. Встану часа в четыре, а к двенадцати полный рабочий день заканчиваю.

– Умно! – Максим Матвеевич жует карамельку и неожиданно говорит: – А что если ноосфера – всего лишь заблуждения Вернадского? Я, Петр Петрович, много сейчас думаю об этом. Ведь по его теории выходит, что все, что создано, сказано, и даже, может, и мысли, и души наши строят ноосферу. А если это так, то не есть ли ноосфера всемирная душа? Душа всего человеческого и животного мира! Но одно дело создавать, а другое – истреблять! Одни созидают, другие истребляют, и что? После их смерти они находят примирение в ноосфере? Что там?! А убитый чернозем? Ведь это убитые миллионы и миллионы животных, насекомых, растений! Их больше никогда не будет! Никогда!!! А если такая дыра на земле, то и в ноосфере она тоже должна образоваться?

Максим Матвеевич задумывается, и я вижу, что сегодня он так и не сможет закончить свою мысль.

– А вы знаете, Максим Матвеевич, приехала Соня Уклонова.

– Да? Старик Уклонов совсем сдал. Надолго ли?

– Не знаю.

После мы долго говорили о Соне, и, уже уходя, Максим Матвеевич говорит мне: – Надо бы попросить ее поиграть нам. Ведь у Уклоновых прекрасный рояль.

Я согласился. Максим Матвеевич ушел. Степанида наверху прибирала мою спальню. Уже вечерело. Я вышел на террасу, что выходила на огород, и очень пожалел, что Давыдов так рано ушел. Солнце успело повиснуть огромным шаром и, словно остывая, от белого переходило в розовые тона. Потом краешек его коснулся леса, и, не задевая веток, оно стало погружаться в его таинственную сиренево-синюю тишину. В это мгновение меня кто-то тронул за плечо. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной стояла Соня...

– Я за вами наблюдала, Петр Петрович! – В голосе ее я вдруг услышал горькие нотки.

– Что с вами, Соня?

– Нет, ничего!

– Соня!

Я вдруг взял ее за плечи и притянул, – нет, я даже не притягивал, а только подумал об этом. Вдруг [illegible] сама подвинулась ко мне, и мы поцеловались. Соня прижалась ко мне всем телом и вдруг тихо сказала:

– Зачем мы это делаем? – И этот ее возглас разъединил нас. Пышно догорал закат, и высоко над нами зажглась первая, пока еще неясно видимая звездочка. Весь этот вечер мы проговорили. Она много рассказывала о своей учебе, о Ленинграде и уже после, когда я проводил ее до дома, она сказала: – Знаете, Петр, а я уже никуда не уеду из нашего городка.

– Почему?

– Не знаю. Мне так кажется... Я люблю вас! Я люблю вас с самого детства и знаю, что вас любила мама... Прощайте! – Соня скользнула в калитку, а я остался один с леденящим ужасом в груди. Не знаю отчего, но я испытал чувство именно ужаса, даже не страха от ее слов. Я бросился домой. Все вдруг перемешалось в моей голове...

Федор Федорович вошел, как всегда, неслышно. Отряхнув плащ, он снял шляпу, перчатки и сел напротив меня. От него пахло свежим воздухом, словно он только что побывал в грозе.

– Вы влюбились? – спросил он тихо.

– Да...

– Это очень печально... Этого нельзя было делать...

– Почему?! – воскликнул я.

– Я пока не знаю, но вижу, что нельзя

– Нет, вы знаете! А! Знаете?

– Петр Петрович, успокойтесь. – Федор Федорович поднялся и зажег свечу.

– Разве вы забыли, что как-то осенью я вам сказал, что сюда девица едет? Что она закончила консерваторию, и вам придется в нее влюбиться!

Я вспомнил...

– Только я никак не ожидал, что она, она будет влюблена в вас! Все должно быть иначе, а сейчас я ничего не понимаю! Ровно ничего! Ну да ладно! – Он потер свои пальцы.

– Вы давно у меня не были, Федор Федорович.

– Да, давненько! Я читал рукопись, которую взял с будапештского чердака. – Из открытого окна, что выходило на сад и огород, потянуло прохладой. Светящийся шлейф Млечного пути повис над моим домом. – Да, я взял рукопись и ушел читать ее в Италию. Но той Италии, что я помню, нет и в помине. Пришлось уйти в Испанию, найти старинный заброшенный замок и прочесть, наконец, рукопись.

Федор Федорович достает сигару и раскуривает ее.

– О чем этот роман?

– Это роман обо мне... Автор австриец. Я познакомился с ним, когда он был молод и еще не знал, кем станет. Он немного рисовал, занимался скульптурой, а после взялся сочинять поэму. Для этого он уехал в Италию и поселился в Риме в недорогой гостинице. На другой день он узнал, что в ней живет русский писатель. За обедом они встретились. Русский был невысок, темнорус и смотрел на всех серыми глубоко посаженными глазами. В его лице было что-то актерское, молодой австриец познакомился с ним. "Гоголь", – представился ему русский. Австриец, конечно же, не слыхал этого имени, но все равно был счастлив видить живого писателя. После обеда они пошли погулять. Я шел рядом, слушал их беседу и, решив, что, наверное, стал лишним, хотел повернуть, чтобы уйти, но Николай Васильевич остановил меня. "Вы уходите?" – спросил он вслух. И тут молодой человек обернулся и увидел меня. Я поклонился и ответил, что очень устал, и ушел в Москву. Вы знаете, более всех городов я люблю Москву. В ней я отдыхаю, в ней я живу. Молодой человек спросил у Гоголя обо мне, и тот ответил, что я – это, по сути, дьявол! "Да, да! – воскликнул Гоголь, – не удивляйтесь! За спиной гения всегда стоит он! Я сам его впервые увидел рядом с Пушкиным и даже не увидел, а так, словно мелькнула тень, а после – вдруг глаза из темноты. Теперь он ко мне прилип!" – Федор Федорович пыхнул сигарой. – Представляете себе: "прилип!" Ему хотелось знать о свойствах души, о Боге и космосе.Кто мог быть ему посредником, если не я? Я – такая же часть природы, как и он. Но я живу по другим законам. Рано или поздно и я распадусь... Но при этом вновь воплощусь, но уже в другом качестве. Да, я всегда рядом с гением. Я его собеседник. Я его мыслящее пространство! И не я, а он своей волей призывает меня! Ну да ладно... Увидев меня, сей молодой человек словно обжегся, и эта печать душевного ожога осталась в нем. Она болела. Он долго метался по свету, наконец судьба привела его в Будапешт, где он и остановился. Всю свою жизнь он и посвятил мне... Вернее, разгадке моего существования. И что-то очень верно ему подсказало, что я не тот, кто вместе с Богом задумал Вселенную. Что и я пришел в нее, когда она была сотворена и в ней царила гармония. Люди робко проникают в прошлое и зачем-то сочиняют совершенно глупые фантастические приключения о будущем. Такие книги вредны и безнравственны! Они дают пошлое восприятие того, чего никогда не будет! Да что за чушь, скажем, всякие марсианские похождения! Какие-то неведомые цивилизации! А юный и неопытный человек в своем отрочестве и не подозревает, каким сложным и тяжелым трудом достается один килограмм железа и грамм мудрости! Ведь согласитесь, Петр Петрович, что прежде всего молодому человеку надо сказать правду. А правда в том,

что всякая цивилизованная жизнь очень дорого стоит! И что она разрушает гармонию!

– Вы знаете, Федор Федорович, я с вами согласен. Вот и сегодня Максим Матвеевич приходил. Накинулся было на Вернадского.

– Я слышал, – сказал Федор Федорович. – Это он напрасно. Вернадский недосказал в силу обстоятельств политических. Ведь вы же знаете, какое гонение было устроено на науку, которая не приносит практических результатов. Время было непростое, хотя ничего особенного в нем не было. Начало испытания новой экономической системы. Ну и желание политиков подменить нравственность политикой. Во многом это была абракадабра, но в чем-то был и смысл. Впрочем, об этом мы поговорим в следующий раз. Вернусь к австрийцу. Он искал мои следы в прошлом. Стал думать о народах, кто и откуда вышел. Как и почему образовывались языки. Ему хотелось сказать обо всем. Он прожил долго, но так и не опубликовал свою рукопись.

– И где же она теперь?

– Я ее раздам. Да! Я подсуну ее многим писателям, и она воплотится. Кому станет нужным, он объединит все сказанное в одно целое – вот и родится эта рукопись. Не пропадет.

– Но ведь на нее уже потрачена целая человеческая жизнь!

– Она потерялась, эта рукопись! Потерялась!

– Федор Федорович, а вот еще какой вопрос... "Слово о полку Игореве"? Это подделка?

– Да что вы, сударь. Я уже говорил сегодня, что люди робко заглядывают в прошлое. Разных "Слов" было великое множество! Их пели! И ранее, еще до принятия христианства, на Руси, конечно же, была письменность и литература. Я знаю, что вы, Петр Петрович, не очень-то верите в просветительство русских Мефодием и Кириллом. И верно! Это уже политика! Ну а что маститые академики сеют неверные семена, так это их грех! Это их политика! Что рыцарственного в том, чтобы назвать "Слово" гениальным? Так это было сделано ранее! В другом веке и другим человеком! Чем дальше человечество станет уходить в будущее, тем острее оно будет нуждаться в прошлом. Жизнь человечества – как дерево. Проходят века – оно поднимается, это дерево. И оно живет благодаря корням! Корням, а не химерическим домыслам лжеученых... – Федор Федорович кисло улыбнулся. – Говорю о химерах, а думаю о себе. – Он бросил сигару в камин, и камин осветился пламенем. Лежавшие в нем дрова загорелись. Рваные огненные блики словно дергали Федора Федоровича. Лицо его сделалось бледным.

– Вы устали? – спросил я его.

– Я устал. – Федор Федорович закрыл глаза, и камин погас.

– Вам придется меня познакомить с Соней, – вдруг сказал он глухо и печально.

– Познакомить? – Я смутился. – А для чего?

– Вам придется... – Федор Федорович поднялся и, иронично улыбаясь, поглядел на дверь.

– За вами наблюдают – и давно. Больше не оставляйте незапертой калитки. – Федор Федорович засмеялся, подхватил плащ, шляпу и быстро поднялся на чердак. Я рывком раскрыл

дверь и увидел стоявшего на четвереньках Дмитрия Степановича!

– Что вам надо?! – крикнул я. Дмитрий Степанович поднялся и, не спрашивая разрешения, вошел в дом.

– У вас кто-то был! Я тень видел! Да! Тень ходила по стене! Да! И вообще, почему это у вас камин? – Дмитрий Степанович дрожал от возбуждения и все оглядывался и прислушивался.

– С кем вы разговаривали? – вдруг шепотом спросил меня Коткин.

– С дьяволом, – честно признался я.

Дмитрий Степанович вдруг взвизгнул, и в его очках я увидел отражение Федора Федоровича. Отражение улыбалось мне.

– Что с вами? – поспешил я к Дмитрию Степановичу. Тот упал на колени.

– Исповедоваться хочу!

– Кому?

– Вам! Вы – дьявол... Я знаю!

– Вы ошибаетесь...

– Все равно хочу исповедаться! – Дмитрий Степанович нелепо, на коленях пополз ко мне. Я отошел, он пополз опять.

– Остановитесь вы! – закричал я на него. Он остановился.

– Петр Петрович! Товарищ Богоуров! Все дело в том, что я живу с собственной матерью! Я живу с ней с пятнадцати лет! Родитель умер рано! Мать была молода и здорова! И сам я не по летам был здоров... Мне уже в двенадцать женщину захотелось! Я и в морг для того ходил! Да, да. Грешил с покойницами! – Глаза Дмитрия Степановича глядели на меня безумно, белая мелкая слюна запорошила губы и подбородок.

– И вот как..– продолжал он. – Утром вхожу к матери, а она в постели, голая... Накинулся я на нее. Сильный был, да вижу: сама уступает. Сама!.. Хожу в окна заглядываю! Голых ищу! Голых надо! Чужих и голых!

– Вы больной человек, Дмитрий Степанович.

Он вдруг поднялся, вытер лицо и сурово поглядел на меня.

– Я здоров! – И погрозил мне пальцем. – А в интимной жизни люблю разврат! Но такой, чтоб уж действительно – разврат! Однако это не влияет на мой моральный облик! Я свято чту идеи отца! – Дмитрий Степанович по-военному развернулся к двери и, печатая шаг, вышел. Точно так же, словно на параде, он прошел через весь двор. Хлопнула калитка, а он все продолжал маршировать, теперь уже по деревянному тротуару. Дело в том, что у нас в городке тротуары деревянные.

– Федор Федорович! – крикнул я. – Это вы все нарочно?! – Тот поспешно спустился вниз.

– Это вы о чем?

– Ну, что он тут болтал?!

– Это все правда. Только не думайте, что это я его притащил! Он думал, что Сонечка останется у вас. Он же видел, как она пришла к вам, а вот как она ушла, не увидел. Так что закрывайте калитку. – Федор Федорович подошел к окну, и вдруг я в нем, как в телевизоре, увидел бегущего к своему дому Дмитрия Степановича. Он вбежал в дом, плащ снял в сенях, в комнате на столе стояла тарелка с пирогами. Он уселся за стол и стал есть. Часы,

большие напольные часы пробили час. Он вытер рот салфеткой и прошел в следующую комнату. Окно погасло...

Федор Федорович потер рука об руку. После он пристально поглядел на меня.

– О людях надо знать по возможности больше.

Я засмеялся: – Я вам признателен, Федор Федорович!

– Вот и прекрасно! Между прочим, Соня эту ночь так и не уснет! Да и как возможно спать в такую ночь? Откуда пришли в наши российские дали эти сухие, горячие ветры? Где нестерпимо нагрело этот воздух? В аравийской пустыне? А после понесло через Тихий океан, Индийский океан в наш городок.

Не спал и Максим Матвеевич. Как он сказал мне после, ему все казалось, что ноосфера плотно окружила [illegible] и души человеческие поют из нее грозные и печальные [illegible].

– Верно, Петр Петрович, но мне и слова [illegible]! Это такой ужас! Такая звериная тоска... И самое-то [illegible], что я понял – это то, что ноосфера есть! Она так же, как [illegible]зация, появляется и исчезает! А иначе откуда бы мы [illegible] идеи? Да они в воздухе, в ноосфере! Там записано все-все, о [illegible] мы думали, о чем говорили, о чем не успели сказать!

– А наши эмоции?

– И они там, как на магнитной пленке!

– Тогда горя куда больше, – сказал я.

– Откуда нам знать! Во всем гармония и во всем равновесие. Вот глупости действительно больше.

Но этот разговор произойдет позже, а пока шла ночь неслышным шорохом минут. Ночь уходила, уходило время, и от всей планеты уходила энергия, и все ближе и ближе смерть.

Федор Федорович сидел в кресле и, видимо, тихонько наблюдал за мной.

– Петр Петрович, вот вы говорите об исчезающей энергии. А разве весь этот огромный космос не несет нам энергию? Все бесконечно! Потому что все взаимосвязано. А вот что я вам лучше расскажу. Меня больше всего поразила легенда о Вечном жиде.

– Значит, это легенда?

– Это легенда.

– И Христос легенда?

– Христос – поэт. А все поэты праведны. Христос – мыслитель. Он – апостол надежды. Ну, так вот... Представьте себе идущего на смерть Христа.

И я увидел. Был жаркий день. Нестерпимый зной гнал людей скорее закончить казнь. Провожающих Христа было немного. Он был бледен, и кожа его была белой, а вовсе не смуглой. Под темно-серыми глазами лежали черные тени. На щеках кожа была чуть желтой, словно испачкана пыльцой. Губы спеклись и лопнули. У крайнего домика из белого камня под смоковницей сидел еще нестарый иудей и с презрением смотрел на босоногого Христа. На левой его ноге на большом пальце ноготь был черным от того, что на него наступили. Терновый венец был сплетен худо. И даже не сплетен, а так – составлен из крупных веток и держался тем, что иголками вошел под кожу. Взмокшие и поредевшие рыжеватые волосы Христа были испачканы кровью. Христос поглядел на чернобородого иудея и тихо сказал: – Дай мне попить!

МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Журнал московских писателей

№ 4 · 1990



Москва 1990

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ, РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

ВОЛЬНАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ

АЛТАРИ МОСКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СВОБОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

– Иди! – отмахнулся тот. – Иди, иди!

– И ты... иди... – тихо сказал Христос и понес крест дальше. Тяжелее всего ему сейчас было нести крест...

– Какая энергия заключена была в его словах! – сказал Федор Федорович. – Что этого иудея словно подхватила какая-то сила, и он пошел! И будет вечно идти! И будет вечно мучиться!

– Но разве так звучит рассказ о Вечном жиде?

– Я не знаю. Для меня он звучит так!

– Вы знаете, Петр Петрович, ужасно ведь то, что я способен видеть и не способен вмешаться.

– А я?

– Вы? И вы тоже! Да, очень я хотел еще вам сказать, Петр Петрович. Вот когда вы свою рукопись редактору несете, вы на что надеетесь?

– На редактора! – ответил я.

– Думаете, повезет? Может быть. Но ведь и ругать станут.

– Федор Федорович, да мы уже об этом говорили.

Ближе к рассвету Федор Федорович заволновался. Я это в нем давно заметил. Восходящее солнце болезненно на него действовало. Хотя после, уже днем, он бывал спокоен. Сейчас же руки его стали подрагивать, зеленые глаза стали вдруг темнее, как бывает – они темнеют от внутренней боли. Наконец он не выдержал и сорвался с кресла. – Я, пожалуй, пойду! Надо отдохнуть. И вам следует! Вам обязательно надо!.. Я пойду... – И Федор Федорович торопливо поднялся по лесенке на чердак. Лестница на чердак у меня была отдельно, а лестница в мою спальню была у другой стены. Но в спальню я не пошел, а разулся и уснул в кресле. Я уснул и не увидел, как пришла Степанида, укрыла меня шалью, сложила в стопочку исписанные листки бумаги.

* * *

Когда я проснулся, то напротив себя увидел физиономию Ивана Комарова. Назвать его физиономию лицом сейчас было трудно. Увидя, что я открыл глаза, он заплакал. Опухший, с лиловыми мешками под глазами, а самих его глаз нельзя было увидеть. Плакал Иван беззвучно, вернее, с тихим горловым посвистом.

– Похмелиться? – спросил я, хотя больше чем наверняка знал, что похмелиться!

Иван аж на колени встал. Вошла Степанида.

– Я этому идолу говорила, не пускала! Так он же, гляньте, люди добрые, он же... – И Степанила махнула рукой. Я видел, что положение опасное. Достал из холодильника водку, немного закуски, все это поставил перед Иваном. Тот был опрокинут видом полной бутылки. Степанида сама отмерила ему полстакана. Иван взял его и медленно, словно горло его стало уже, влил в себя холодную влагу. Минут пять он сидел, закрыв глаза. Потом так же, не открывая глаз, нащупал ломтик колбасы, пожевал его и... ожил. Сейчас он смотрел на мир голубыми изумленными глазами. – Думал: кранты! Все, думаю, если и Петр Петрович не даст, больше никуда не пойду. Умру – и все!

– Да где же ты так нализался, холера?! – всплеснула руками Степанида.

– Да тут одного деда в соседнем селе хоронили. Ну, позвали нас поиграть. Машину дали, все как положено, значит. И поиграли мы как надо. После поминки, значит. А бабка-то его и говорит нам, вы, говорит, ребята, идите в баню. Там у него, у старика, значит, запасы. Мы идем. Банька чистенькая, аккуратная, а в ней пять бутылей самогона. Пять по двадцать пять! И бочка малосольных огурцов. – После рассказывали очевидцы. Всю неделю музыканты пили и закусывали всем, что растет в огороде у старушки. А поскольку это было не село, а деревенька, в которой осталось всего шесть стариков, то и остановить мужиков было некому.

– По ночам, – рассказывал Комаров, – мы костер запалим и давай джаз наяривать! Старики к нам подвалят, свою музыку заказывают! Короче, пили мы, пили и чуем: смерть... На дорожку еще дали и в ночь вышли! Вот к утру и дошли...

– Сколь же там осталось? – спросила Степанида.

– Нисколько... – признался Комаров. – Петрович?

Я налил ему еще полстакана.

– Мне же еще поросенка накормить надо! Я, когда уезжал, посадил его в подпол. Пять булок хлеба бросил. Я думаю, если он не дурак, то все сразу не съел?

Поросенок Ивана Комарова – это случай особый. Купил он его три года назад. Через год поросенок был ростом с небольшую собаку, худой, черный и злой! Под Седьмое ноября решено было его резать. Пришли люди, пришел Гаврила Топорков – мастер колоть свиней. Принес штук пять разных ножей, но, увидя черные злые глазки кабанчика, которого любым ножом можно было проткнуть насквозь, собрал инструмент. "Таких не едят!" – сказал и ушел. Так и порешили музыканты, что такого есть не надо, а выпить можно! По неделям кабанчик не видел куска хлеба. Ел он все! Ел уголь, дерево, бумагу, любую тряпку! Собаки его боялись, потому что он шел на бой первым. В глазах стояла единственная мысль: лучше умереть, чем так жить!

Степанида дала Ивану ведро всяких отходов и присоветовала, чтобы тот поначалу не выпускал бы порося, а накормил.

Но Иван советом пренебрег. Придя домой, он открыл подпол. Увидя квадрат света, а в этом проеме голову своего мучителя, поросенок взлетел по вертикальной лестнице и кинулся на Ивана. В его черных, словно прокуренных зубах осталось полштанины! Иван взлетел на стол, но поросенок вцепился в клеенку и дернул на себя. Ивана сорвало со стола. Поросенок кинулся на свою жертву, да промахнулся и попал в открытый подпол. Иван высыпал туда ведро с отходами и закрыл крышку.

* * *

Как жила последние годы Елизавета Кирилловна, я не знаю. Мне было 22 года, когда я ее видел в последний раз. Встречаясь с Евграфом Ивановичем, я спрашивал о ее здоровье, но он отвечал однообразно: "Ничего... Пока ничего... Кушает плохо..."

Да, я не знал, что Елизавета Кирилловна обезножела, а после и потеряла рассудок. В эту душную и странную ночь под утро ее не стало... Может быть, прежде чем уйти совсем, душа ее приходила ко мне? Лиза! Как долго я хранил к тебе любовь! И я пони-

мне стоило бы мне увидеть тебя такою, какой ты стала, — а именно это мне и пришлось пережить. О смерти Елизаветы Кирилловны мне пришел сообщить Евграф Иванович.

— Вот так вот... Как хотите, а жизнь-то прошла! — И он по-стариковски заплакал.

— Не плачьте, у вас дочь!

— Скажите наконец, вы хотя бы однажды попытались меня понять?! — вдруг воскликнул Евграф Иванович. — Да, сейчас я старый, сейчас меня только так и можно видеть, а ведь я был молод! Я был честолюбив! Да, сударик мой, хотел многое в науке сделать, а случилось, что отдал жизнь Лизе... И жалею! Слышите, вы! Очень жалею! Проклятая порядочность мешала... Самые несчастные люди — это люди порядочные! Когда порядочный человек, он даже писателем быть не может. Неудобно оголять себя перед людьми! — И вдруг он безо всякого перехода добавил: — У вас была интимная связь с Лизой. Знаю! Но вы были молоды, а Лиза еще могла нравиться... Потом ее больная психика и ваше больное воображение! Меня физика не интересует! А ведь я вас любил как сына!

Я молчал. Стыд жгучий и в то же время какое презрение к Евграфу Ивановичу я ощущал. А он продолжал далее:

— И, несмотря ни на что, вы должны прийти на ее похороны. Она так хотела! Вы слышите меня, Петр Петрович? Она так желала!

— Да, я слышу...

— И не думайте, что я подглядывал или шпионил за вами. Она сама мне рассказала! Но вот для чего? Зачем?

"Затем, — подумал я, — что она презирала тебя!" Но, конечно, вслух я этого не произнес...

Было за что! По воскресным дням в дом к Евграфу Ивановичу стал приезжать Коткин со своими людьми. Место было удобное. Край городка, да и сам дом не дурен! Молоденькая хозяйка, а разбавляли мужскую компанию еще кое-какими девицами... Евграф Иванович на первых порах так даже счастлив был! А уж сколько ему дали работы и как платили!

— Когда надо было идти в кровать, — говорила Елизавета Кирилловна, — Евграф всегда уходил "погулять". А меня тащили "любить"! — И вот уж давно нет Елизаветы, но все пережитое ею я ношу в себе. Обо всем этом я думал, сидя у ее могилы на крохотной скамеечке ранним утром. Я сидел и думал, что вот тут, на глубине двух метров, лежит тело той, которую я когда-то любил! А ведь прошло 18 лет... И уже не совсем в это и верилось, а так — только угадывалось. Я уже говорил, что дорога на село Мотанино шла мимо кладбища. Выйдя за его ворота, я увидел идущую по дороге милицейскую машину. Поравнявшись со мной, она остановилась. Из машины вылез мой приятель, мой одноклассник в прошлом, — Жмуров. Капитан Жмуров повертел головой, достал сигареты, закурил.

— Чего ходишь?

— Да так...

— Хорошо тебе. Все для души. И пострадаешь, так для дела потом сгодится!

— А ты откуда? — сказал я.

— Пастуха везу. Вчера вечером убили.

— Кто убил?

— Пока не знаем... Надо полагать, они за бараном пришли. А он не дал. Так они его... Сорок ножевых ран! Потом этими же ножами закололи барана, тут же жарили шашлыки, тут же жрали! Видно, к темноте уехали. Стадо в село попёрло. Там поглядели – нет пастуха. Пошли искать и нашли. Я как раз на дежурстве был, выехал.

— А как его зовут?

— Шамшин. Прокоп Шамшин.

Я иду к машине, открываю заднюю дверцу "воронка" и вижу лежащего на полу Прокопа.

Жмуров наблюдает за мной.

— Ты что – знал его?

— Знал. Саша, ты их поймаешь?

— Поймаю, Петр. Я их, сук, все равно сделаю! У одного на руке перстень с орлом! Он, когда у костра сидел, опирался кулаком о землю. А там глина! Вот и остался отпечаток. Следов машины нет. Машина у них стояла у дороги. Ты если что услышишь, позвони.

Жмуров уезжает, а я стою и думаю о перстне с орлом и почему-то вижу, как Прокоп с ножом в брюхе пытается оттолкнуть того, кто его ударил этим ножом. А его уже бьют сзади, сбоку, спереди. Бьют так, потехи ради! И когда Прокоп валится на землю, они бегут за бараном... Нажравшись, оставшуюся часть туши они бросили тут же... Я иду домой и не знаю, как, что скажу Степаниде?! Жизнь выталкивала меня с насиженного места. Придя домой, я сел за письменный стол. Что-то происходило вокруг меня? Танцевали "брэйк", пытались говорить правду, что-то и как-то выталкивали из грязи! А что же я?! И перед лицом смерти Прокопа?! Кто же тот, который убил пастуха? И вообще, кто они, способные убить?! Алкаши, наркоманы? Больные? Кто?! Хлопнула дверь, и я по шагам узнал Степаниду.

— Спать-то нынче ложился, нет? Ох, Петрович, Петрович! Поберечься надо. Бумаги эвон сколь! Ее всю не испишешь.

— Но стремиться к этому надо, – ответил я Степаниде и, поймав ее за руки, поцеловал их. От этого незнакомого ранее жеста Степанида пристально поглядела мне в глаза

— Ты чего, сударик мой? Видно, уезжать задумал?

Степанида знала мою давнюю мечту: скопить денег и уехать из этого городка! Уехать!!! Но подумаешь, а куда ехать-то? А ехать-то – некуда... Ведь кругом одни городки, городки, да города большие, где современной мерзости куда как больше! И что же это мы наделали сами с собою! Без принуждения – а многие так прямо с горячим сердцем – вырвали из души своей бога, культуру, исторический опыт. Писатели, как писали в те недавние времена, "по зову партии, по велению сердца", надели на народ какую-то единую физиономию энтузиастов, а тех, которые выглядели не так бодро, рассовали по лагерям. Правда, не писатели это делали, но делалось все это с их молчаливого согласия. "Совесть народная" вкусно кушала по "метрополям", а те, кто и в самом деле был совестью, ошивался на задворках, бегал по полям, защищая черноземы от варваров! И Платонов, нищий, останавливался барственным жестом бездарного поэта, который его спра-

кричал: "Ну? Здравствуй, Платоша!" И тот, ему низко кланяясь, отвечал: "Здравствуйте, барин".

После войны стали красть. Брали взятки и до революции, но после взятки брали страшнее, уродливее! Брали взятки за жизнь человеческую! В Моташино доживал свою жизнь первый председатель коммуны, а после секретарь волостного Совета Пантелей Корнилович Егубов. Вот он-то мне и рассказал следующее. Приехали к нему из Чека; сказали, чтоб нашел он человек шесть кулаков и публично бы их расстрелял. "Поискав" с неделю, Пантелей Корнилович сообщил, что в волости нет ни одного кулака. И вот как-то в ночь постучали ему в окно. Открыл Егубов, стоит его старый приятель. "Чего ты?" – спросил его Пантелей Корнилович. Тот ему в ответ: "Беги! Сбирай семью и тикай! Утром придут тебя арестовывать. А после поставят к стенке". Кинулся Егубов будить семью, а приятель и говорит: "Пантелей, а корову с телочкой я у тебя заберу. За услугу!"

До самой войны был в бегах Егубов. Схоронил мать, жену, детей... Сходил на войну под чужой фамилией и под чужой сейчас проживал жизнь. Обернувшись назад, я вижу мало радостного. Впереди так же не очень много света...

– Степанида, – сказал я своей хозяйке. – Сегодня Прокопа убили.

Степанида выслушала мой рассказ, ушла на кухню, долго там сидела одна. После прибралась и ушла из дому. Сходила она в морг, посидела рядом с Прокопом, а после полудня вернулась.

– Посидела я с товарищем... – тихо сказала мне Степанида. – И сказал он мне, голубок мой, чтобы шла я жизнь доживать на его место.

– А как же я, Степа?

– Уж как-нибудь, сударик... В гости приходить станете. – Я подошел к Степаниде, припала она ко мне, но плакать не могла – так велико было ее горе и отчаяние. А Саша Жмуров "копал"! Капитан Жмуров поклялся найти этот перстенек с орлом.

– Главное, что перстенек не магазинный! Перстенек явно в зоне смастерили! – уже ближе к вечеру сообщил мне приехавший капитан. После его сообщения я пошел в магазин. Надо было купить всякой всячины. Проходя мимо винного магазина, я увидел высокого белокурого парня. Заметным было его лицо. И заметно тем, что было незагорелым. Сырое, белое лицо... Глаза его были водянисто-голубые. Светлая рубашка, а в руках коричневая куртка. Куртку держали пальцы, на среднем блестел стальной перстень... Меня бросило в жар, потом в озноб... Я стал в очередь! Теперь его рука была рядом. На перстне распластал крылья орел... Видимо, я так долго смотрел на этот перстень, что блондин улыбнулся мне стальными зубами. "Что пялишься?" – услышал я его голос и тут же подумал, что такие люди обладают повышенной интуицией. "Где же ты сейчас, капитан Жмуров?" – взмолился я про себя.

– А что у тебя за птица на перстне? – спросил я его уже вслух.

– Воробей... – тускло ответил обладатель перстня и отвернулся. Мне стало понятно, что он потому так ответил, так как мучительно разгадывал, кто я? Глаза его метнулись вперед очереди... Значит, подумал я, там впереди его дружки. А он в очере-

ди не стоит. Да и они наверняка не стоят. А так, зашли прямо в магазин и сейчас выйдут... И тогда я решил так. Пусть они выйдут. Я их увижу, милиция рядом, метров триста! Стальнозубый вдруг быстро пошел к входу. Я понял, что он увидел своих! И я их увидел. Маленький, бритый, с нерусскими глазами, и второй, в очках... Я отошел от очереди и быстро пошел прочь. Они почти тут же выскочили следом, но, прикинув, побежали через дорогу к машине. Там стоял "ЗИЛок". Они не знают, куда я спешу, и думают перехватить меня по дороге. Пока они заводили машину, я поравнялся с милицией и влетел в нее.

– Где капитан Жмуров? – спросил я у дежурного.

– Шестая комната.

Я вбежал в шестую.

– Саша! Я их нашел! – И вкратце пересказал встречу. Не застегивая пуговиц на вороте, Жмуров выскочил из дверей. Мне же строжайшим образом было приказано вернуться домой. Их взяли ночью. Купив водки, они выехали за город, на соседней остановке стояла одно девчушка. Они остановились и забросили ее в кабину. Выехав в степь, они разожгли костер и не заметили, что были окружены. Девчонка плакала и просилась домой. Головорезы достали водку и только ее открыли, как перед Толиком – так звали обладателя перстня, выросла фигура капитана Жмурова.

– Ни с места! – заорал он так, что всех троих на мгновение парализовал страх. Через считанные секунды все трое были в наручниках. Как оказалось, Сивенков только что освободился и сразу же прикатил к своим старым друзьям. Один из них, шофер "ЗИЛа", и предложил поехать в город [illegible]... Все трое неоднократно судимы ранее...

Схоронили Прокопа. Уехала моя Степанида, и лето пошло к закату. Федор Федорович приходил, но как-то урывками и все больше нервничал. Вечера я проводил с Соней. Мало-помалу стал я разбираться в ее душе. Я видел, что она добра, естественна, я даже где-то понимал, что скоро надо будет и предложение делать! Я не Подколесин, но слишком много прожил один. Нынче любовь описывать скучно. Да и как ее описать? Какими словами расскажешь об ожидании любимого тобой человека? Скажешь – "приходи в восемь", а она опоздает на пять минут. И что с тобой происходит в эти мгновения? Впрочем, часть души моей устремилась за Степанидой, какая-то часть была подавлена смертью Прокопа, и потому совсем не весь, вернее, не вся моя душа жила любовью.

Кончился август. Мой старый сад затих. Да и вся природа стала принимать задумчивое выражение. И однажды, а именно 24 числа, Сонечка пригласила несколько человек к себе домой на концерт. За час до его начала примчался ко мне Максим Матвеевич. Необыкновенно отглаженный, в крахмальной сорочке и черных лакированных туфлях, он напоминал мне старого барина.

– Да, любезный Петр Петрович, волнуюсь! И ведь как не волноваться, если впервые в жизни иду на домашний концерт. А ведь я как оделся, сразу подумал, а не хватить ли мне с полстакана водки? И такой меня стыд разобрал... Ей-богу! Ну до чего же мы свиньи! Канальи! Нет, брат, Петр Петрович! Может быть, и ушла от нас дикость, да грядет дикарство! И знаешь почему? Все дело в культуре! Нельзя культуру эту сделать всеобщей! Да, да,

братец! Докатился я до элитарности! Это точно... Но докатился ли или поднялся, тут, брат, надо еще крепко подумать! Вот реши-ка для себя. Все эти Юлианы Семеновы, юмористы, имя которым – Легион! Что это? И может, небольшой островок человеческий не любит этого массового писателя и массового читателя! Есть искусство для избранных... И избранные есть! Иначе зачем же столько души они тратят на прекрасное?! А их после на одну скамейку с нашим Ладейщиковым! А начни говорить об этом, что сразу завопят? Да то, что, мол, и Ладейщиков, когда пишет, потеет... Вот, мол, видите, пóтом рукопись полита? Труд в нее, пусть и не вдохновенный, но ведь труд вложен! Да я не против, пусть пишут! Да только тогда и печатают за свои деньги! И когда это и что перестроится у нас? А только чую, чую, Петр Петрович, как уходит от нас всякая культура! Вот потому я чуть и не хватанул полстакана... А взять для примера суд над Сивенковым. Когда его судья спрашивает: за что же они пастуха убили?! А они? Ведь этот Сивенков точно определил. "Он, – говорит, – пастух ваш, уж больно хорошим был. Смотреть, – говорит, – на него неприятно!" Он, конечно, мерзавец, да ведь теперь все приблизительно так мыслят! Если в человеке нет качеств отрицательных, такой человек и не человек вовсе, а схема! Идеальных людей нет! Ну ведь дошли мы до этого?

На улице уже заметно стемнело. На тропинке, ведущей к дому, заскрипел песок. И не успел я сообразить, кто бы это мог быть, как вошел улыбающийся Федор Федорович.

– Ну вот и Федор Федорович пришел! – обрадовался мой Максим Матвеевич. Но я-то точно знал, что никогда раньше их не знакомил.

– Федор Федорович, а вы на процессе по делу пастуха...

– Был, был, – ответил он сразу, даже не дав мне и фамилии назвать.

– Ну и что скажете?

– Рим! – ответил тот. И отчего-то слово, а вернее, название это громыхнуло у меня в сознании, как большой железный лист, который вдруг согнули и тут же дали ему выпрямиться.

В небольшой и так мною любимой зале Уклоновых Сонечка давала свой первый в городе концерт. Первой с краю у окна сидела толстая, то есть толщины невообразимой, с маленькой головкой, при усах Елена Абрамовна Герд, директор городской музыкальной школы. Весьма интересным был у нее туалет. Черное с красным платье было сшито, как шили примерно пять веков назад в Англии. На шею она надевала, наверное, все, что только можно было надеть. Если бы кто-то из тех, кто знал ее, увидел на ее шее, скажем, ножницы, то, наверное, даже не усомнился, нужно ли их носить. Раз Елена Абрамовна носит – значит, нужно. Я потому так подробно описываю эту даму, что Соня захотела пойти работать в "музыкалку". Но Елена Абрамовна, оглядев единственный на всю область диплом с отличием, все же решила сначала послушать Соню.

– Мне, дорогая Софья Евграфовна, ошибаться нельзя! У меня дети солидных людей и преподаватели, слава богу!

Преподаватели были все на одно лицо – не стану утверждать, что на одну национальность. Но все боялись Елену Абрамовну, не любили, но любили хвалить ее всем и вся! Хвалили усердно, шлепая мокрыми губами.

Впечатление мокрых, шлепающих губ у меня всякий раз возникает, когда в печати один за одним поднимается разный пишущий народ и во всю глотку начинает произносить одну и ту же фамилию. Этим испытанным приемом, как клином по голове, вбивают в читателя фамилию. А после... Что после? Пусть кто-нибудь после тявкнет! Вон сколько написано о таком-то – и вы что же, сомневаетесь? И если ты все-таки скажешь, что сомневаешься, то тебе тут же придумают кличку, где вначале будет стоять "анти"!

– Что это вы так разозлились? – тихонько спросил меня Федор Федорович.

– Вспомнил критику в адрес Белова и сплошные "ахи" до обморока по поводу Пастернака! Ей-богу, я раньше и любил его, а теперь и читать-то уже до конца дней не стану – так перекормили.

– Ну-ну! – Федор Федорович успокоил меня и сказал, чтоб я прошел к Соне.

Евграф Иванович встречал гостей в передней. Коротко стриженный, совершенно седой, он едва держал свое худенькое птичье тело на ногах. Говорил он сипло и тихо, так что если была нужда его услышать, то надо наклоняться до его головы.

Соня была в кухне. Она стояла у печки с голубыми изразцами и курила. Увидев меня, она вздрогнула...

– Ты удивлен? – спросила она, а сама густо покраснела. Скорее даже не покраснела, а пошла розовыми пятнами.

– Я не знал, что ты куришь.

– Я не курю! Курю, только когда волнуюсь! После концерта я хочу подать чай. Ты мне поможешь?

Я подошел и обнял ее.

– Тут все твои друзья...

– Вот их-то я боюсь разочаровать!

– Скажи, Сонечка, неужели после нас никогда не станут собираться люди в маленьких уютных домах, чтобы поговорить или послушать музыку?

Соня мне ничего не ответила, зашвырнула окурок в печь, и мы вышли в зал. Максим Матвеевич яростно спорил с пришедшим Ладейщиковым, а наш председатель исполкома Василий Федорович слушал сахарную речь Елены Абрамовны. Жена Ладейщикова Клавдия Семеновна несла на себе тяжкое бремя городской культуры. Видимо, от этого носила она темно-синее платье с белым кружевным воротничком, а руки усердно украсила толстенными золотыми перстнями с малиновыми камнями. Господи боже мой! Кто и когда додумался до этих камней, до этих чудовищных размеров! Широченные ладони Клавдии Семеновны да пальцы в золоте – это уже не руки, а орудие возмездия! Бедный Ладейщиков! Это же не кольца, а кастет! Ладейщикова, завидя меня, тут же подошла и спросила строгим голосом непьющей женщины:

– Над чем работаете, Петр Петрович?

В ее широком упорно-идеологическом лице все обратилось

по внимание. Что-то во мне задрожало, и я даже в последнее мгновение подумал, что это все Федор Федорович... Но я нагнулся к Клавдии Семеновне и ответил: – Пишу первый советский порнографический роман. Хочу описать в мельчайших подробностях интимную жизнь первого секретаря обкома!

– А материал есть? – спросила Ладейщикова.

– Сколько хотите!

Клавдия Семеновна крепко взяла меня за руку:

– Я сама ходила голой по столу у нашего прошлого первого! Мы тогда гуляли! Ох, как мы гуляли! – Глаза Ладейщиковой заблестели и стали косить. Их словно повело к переносице. – Так что я приду, поделюсь кое-чем! – В вырезе между грудей кожа сморщилась и потемнела, как порченое яблоко. А через минуту меня уже держал Ладейщиков сам.

– Ты думаешь, уже можно?

– Да!

– У меня была мечта... Я всю жизнь собираю записи по уборным и туалетам! Есть потрясающие! И рисунки кое-какие! А что если рискнуть? Вот будет книга! Нарасхват! На века! Так и назову – "Туалеты"!

Позже всех пришли четверо молодых. Двое девушек и двое ребят. Соня быстро к ним подошла, о чем-то поговорила. После мы знакомимся. Один из них, высокий с темными волосами, которые падали густыми прядями по бокам лба, смотрел на меня умными зеленоватыми глазами. Лицо его было несколько подкрашено.

– Да, я крашу лицо, – сказал он и представился. – Художник Виктор Вегин.

У него были могучие плечи и длинные руки. Ходил он, сильно хромая.

– У него ноги нет, – сказала мне Соня, когда тот отошел. – Вернее, нет ступни. Он ее отрубил на спор!

– Откуда ты его знаешь?

– Он приехал со мной. Правильнее сказать, он приехал за мной. – И видя, что я растерялся, сказала: – Он говорит, что любит меня! Но он сумасшедший, хотя очень и очень талантливый!

Тут она засмеялась. Вегин зажег свечи в канделябре и поставил его на рояль. Свет погасили. На какое-то мгновение стало тихо, и тут же раздался грохот. Свет зажгли. Евграф Иванович на пороге. Максим Матвеевич и я подняли старика.

– Хотел шагнуть, – рассказывал тот, – а в глазах потемнело...

– Это свет погасили! – громко и в самое ухо сказал Максим Матвеевич.

– А! Тогда я сяду! – Старик сел, вновь погасили свет... Соня стала играть. Когда глаза привыкли к новому освещению, я оглядел публику и вспомнил, что не познакомил Соню с Федором Федоровичем. Сидел он очень близко к Соне. Сейчас лицо его было белым, а красивые его руки лежали на коленях. Ко мне Сонечка сидела вполуоборот. Строгое серое платье из тонкой ткани с белым отворотом до пояса, серебристые туфельки на низком каблучке. Руки без колец, и только в ушах маленькие алмазики. В глубине комнаты я видел лестницу, которая вела в спальню. Соня играла Рахманинова. Играла раскованно, артистично и одер-

жимо... А я вспоминал Лизу. Вот она, коротко стриженная, спускается по лестнице... Глаза ее кого-то ищут... Я заставляю себя не думать об этом и поворачиваю голову к Евграфу Ивановичу и с ужасом вижу, что он смотрит на меня строго, даже зло! Вегин щурит глаза, а его левая рука дрожит... Клавдия Семеновна... (Господи, когда ты наконец упразднишь всех этих исполкомовских, горкомовских, обкомовских дур от культуры!) Она записывала что-то в свой блокнот! Елена Абрамовна, несмотря на тяжесть, шею держала прямо и иногда обменивалась взглядом с Клавдией Семеновной. В основном это были взгляды, говорящие о том, что, мол, игра так себе... Ничего, конечно, но, в общем, плохо! Вот наша Марта Цихель играет, как богиня! Председатель горисполкома не слушал, а думал о городской канализационной системе... Максим Матвеевич плакал... Соня играла. Я еще не знал, что приговоренный к "высшей" мере Сивенков в эту самую минуту лежал и думал обо мне! Он лежал на нарах и щупал языком свои стальные зубы. Сегодня его должны перевести в другую тюрьму. Он смотрел в потолок своими мутно-голубыми глазами, хлопал белесыми ресницами, а мозг его яростно рассчитывал детали побега. Так получилось, что когда он лег на нары, то по своей привычке сделал "шмон", обшарил всю камеру и заметил на нарах едва заметный бугорок. Он его сколупнул. Бугорок оказался засохшим хлебом. Под ним он увидел шляпку от гвоздя. Потянул ногтями. Гвоздь вышел легко. Он был заточен, как игла... Длинный, заточенный гвоздь. Сейчас он лежал на груди. Сивенков думал. На руки наденут наручники. Один впереди, другой сзади. Зубами из-под воротника достаю гвоздь. Он висит на нитке. Достается легко! (Зубами Сивенков мог перекусывать алюминиевую ложку!) Зажатый гвоздь в зубах. Падаю на спину идущему впереди! Пятнадцать сантиметров надо вогнать под лопатку! Тут же бить второго! Дальше все по обстоятельствам... Повезет – хорошо... Тогда я найду его... "Я тебя, падлу!" – думал Сивенков.

И вытащил он гвоздь, кем-то заточенный, зажал в зубах и метнулся на впереди идущего сопровождающего... Гвоздь скользнул по лопатке, разорвал кожу. Выстрел в голову идущего сзади. Сивенкова нет... Остался лежать труп...

"Откуда и зачем здесь Вегин? – думал я. – И зачем же ему красить лицо?"

Последние аккорды... Сонечка поворачивает голову, и я вижу в ее глазах ужас... Я знаю, что сейчас она встретилась взглядом с глазами Федора Федоровича. Тот поспешно встает, направляется к ней. Какое-то время они тихо о чем-то говорят, после жидкие хлопки слушателей. Мы тут же с Соней кинулись на кухню. Вскоре все пили чай, ели домашний сладкий пирог и обменивались мнениями.

– Это исключительно для домашнего круга! – сразу же заявила Елена Абрамовна, глядя в глаза председателю исполкома, тот виновато зашарил по столу рукой. Поднялся Максим Матвеевич и, глядя на Елену Абрамовну, прокричал:

– Что вы понимаете и слышите в музыке?! Я вашего отца

помню! Он шил сапоги. Плохо шил, но деревенский народ покупал. А вы уже судите о музыке. И как же у нас все бестолково... Как глупо и бестолково устроено! Милые вы мои! Я грешен, люблю музыку! Пластинок у меня сотни! Но вот такого исполнения я еще не знал... Верно, это вдохновение. Спасибо вам, милая Сонечка!

После слов Максима Матвеевича все двинулись к Соне поздравлять ее. При этом что-то говорили и Евграфу Ивановичу. Ко мне подошел Ладейщиков.

– Петька! Бери ее сейчас! Живьем! Это как раз по твоей части. Возвышенно, мило и просто. – Он вздохнул и оглядел синюю спину своей супруги. – А я, брат, на коне женился! Ей-богу, на коне! И знаешь, что страшно? Вот помру, а ее после рядом зароют! – Он вздохнул и взял кусок пирога. – Ты ешь, Петя! – Потом тихонько шепнул: – Может, хочешь глотнуть? – И Ладейщиков показал на внутренний карман.

Я отказался.

К полуночи все разошлись. Остался один Вегин и я. Соня что-то тихонько наигрывала. Старый Евграф Иванович ушел спать. Я сидел у окна, а Вегин посреди залы курил. И вдруг он резко и хрипло заговорил:

– Ну что вы тут торчите?! Разве непонятно, что вы лишний? Что вы старый и лишний человек?!

А я подумал о том, куда же ушел Федор Федорович. Да и ушел он скоро... Он ушел, словно растаял, с последними аккордами. Я поднялся. Соня, заметив это, перестала играть и встала.

– До свидания... – сказал я ей.

В ответ Соня неожиданно ответила: – Тебе, наверное, хочется сказать "прощай"? – И она захохотала резким, отрывистым смехом. Я не узнавал ее... Или правильнее: я не знал ее. Выйдя за дверь, я почти бегом направился к калитке. Слезы душили меня. И тут сзади я услышал: "Подожди!" Я остановился. Соня подошла вплотную: "Прости".

– Ты любишь Вегина? – спросил я.

– Не знаю! Но, когда я его вижу, я сама не своя! – И вдруг, прижавшись ко мне всем телом, сказала: – Я с ума схожу! Я сегодня увидела дьявола... Да! И он мне сказал, чтобы я готовилась!

– К чему? – спросил я.

– Не знаю! – Соня еще крепче ко мне прижалась.

– А у кого живет Вегин? – спросил я у Сони.

– Я не знаю. Он снял домик у одной старушки. – Она отодвинулась и, не сказав больше ни слова, ушла в темноту.

Я слышал, как она открыла входную дверь и как эта дверь захлопнулась... Я вышел за ворота. Я был не просто подавлен, я был раздавлен! Тревожило и то, что Федор Федорович сказал ей...

У моего дома кто-то сидел на лавочке и курил.

– Это я, – услышав голос Саши Жмурова, я обрадовался.

– Ты где шляешься? Писатель должен писать! – Он хлопнул меня по плечу. Мы зашли в дом.

– Есть хочешь? – спросил я у капитана. Тот отказался.

– Ты знаешь, мы получили сообщение. Сивенков бежал...

– Как?!

– Подробностей не знаю. Я боюсь, что он спешит к тебе. У тебя оружие есть?

– Есть. Ружье.

– Да, да! А стреляешь нормально?

– В упор не промахнусь.

– Закрывай все двери. Проверь окна! – Он оглядел мой нижний этаж.

– Да...Дом-то старенький... Зимой, наверное, холодно?

– Я топлю. Потом камин...

– Слушай, Петро! Когда я подошел к дому, мне показалось, что у тебя горел камин. А сейчас гляжу – угли холодные. У тебя случаем никто не живет?

– Нет...

– Давай-ка проверим и второй этаж. – Я зажег где только возможно свет, и мы поднялись.

Капитан внимательно обследовал мою библиотеку, спальню, после залез на чердак.

– Никого... Но свет был, и это точно! Да, ты видал этого, жениха Сони Уклоновой? Во, фраер! Снял дом у старухи Корниловой. Чего-то рисует! Художник, говорит. А чего же он не живет у Уклоновых? Дом большой, а их всего двое. – И не дожидаясь ответа, переходит на другую тему, потом он говорит, говорит... Когда Саша уходит, я действительно начинаю понимать, что мой дом стар... Что его надо давно ремонтировать. Я знаю, что зимой в спальне будет очень холодно... И еще я думаю, как спешит ко мне Сивенков. Ружье висит в библиотеке. Я поднимаюсь туда, заряжаю в оба ствола по жакану и думаю: что если взять и хлопнуть себя?! Я уже столько прожил и столько увидел! Но что значит Рим? Зачем это слово произнес Федор Федорович? И вдруг я понимаю, что все время думаю о Соне. И тут страшная догадка поразила меня! Я вспомнил запах табака, который она курила в кухне. К нему примешивался новый, незнакомый мне запах!

– Да ведь Вегин наркоман... И Соня!.. – Я выскочил из дома. Над городком стояла глубокая ночь. Выплыла большая красноватая луна. Когда я вбежал во дворик, то сразу увидел Соню. Она ходила по саду голой. Увидев меня, она подошла ко мне. Глаза ее ярко блестели. Возбуждение было крайним. Дрожа всем телом, она стала расстегивать мою рубашку и после со стоном повалилась в траву. Она отдавалась с такой бешеной энергией и в то же время так тихо, что мне казалось: еще минута – и она умрет.

Когда мы вошли в дом, Вегин лежал в креслах и с кем-то разговаривал. Я попросил Соню одеться, но она отказалась. Тогда я нашел халат и насильно надел его на ее тело.

– Не командуй! – крикнула она.

На столике я увидел ее сумочку... Сумочка была открыта. Я заглянул в нее. Там в прозрачной коробочке лежал шприц.

Соня стала подниматься наверх. Ступни ее ног были грязными. Я забрал шприц, попытался привести в чувство Вегина, но не смог. Он не видел меня! Поднявшись к Соне, я застал ее спящей на кровати, где когда-то спала ее мать. Я укрыл ее одеялом и вышел. В коридорчике стоял Евграф Иванович. – Вот несчастье так несчастье... – сказал он мне.

– А все этот! Все Вегин! – Старик заплакал. – Как приходит-

ся жизнь кончать?! И почему, почему всегда вы?! Вас надо было маленьким утопить...

Всю ночь я не уснул. Федора Федоровича не было, коротать время пришлось одному. Утром, едва рассвело, я пошел к Соне. Посреди залы лежал ее отец, откинув левую руку в сторону. Глаза были мутными... Ни Сони, ни Вегина в доме не оказалось. Вспомнив, где снял дом приезжий художник, я поспешил туда. Старику помощь была не нужна. Видимо, он стал спускаться с лестницы, упал с нее и убился.

Корниловский дом я знал. Он стоял в глубине сада под железной крышей. Несмотря на свои скромные размеры, имел кухню и одну невероятных размеров комнату. Дверь была открыта. Я вошел в комнату, где сильно пахло скипидаром, и обомлел. На перекладине висел Вегин. Он был без рубахи и босым... На левой ноге не было половины ступни. Соня стояла рядом и тряпкой утирала ему синее распухшее лицо... Меня она не узнала... Висел Вегин низко, в трех-четырех сантиметрах от пола.

– Он плачет! – сказала мне Соня. – Вы видите, он все время плачет!

– Соня! Это я, Соня!

– Я пришла, а он плачет. Не надо было его надолго оставлять!

Я вышел из дому... Тихо, пустынно, неприютно! Почему же я раньше не замечал, что пейзажи наши такие скудные! Господи! Отчего же так скучно русскому человеку жить на свете! Выслушай меня, великий Архитектор Вселенной! Зачем ты нам дал такую ширь, такие пространства, но жить заставляешь так, словно мы не хозяева, а псы сторожевые, но скоро и лаять отучимся! Чужое, татарское поселилось в наших душах! Кочевой образ жизни, кочевой образ мысли! День прошел – и ладно! И хорошо! Но ведь день-то прошел!!! Его же никогда более не будет... Ты ли нас наградил достоинствами, Великий Архитектор, сами ли мы их выработали? Но капля за каплей уходит от нас твоя благодать! Матерый материализм, помноженный на тупоумие чиновников, на алчных инородцах изничтожил то, что некогда тобою было создано! Сейчас встанет солнце, и ты увидишь мой грязный городишко, где несколько магазинов, в которых нечего купить... Где и раньше, и сейчас люди живут так, словно за пределами нашего городка пустыня! А вот кончится пустыня, там пойдет Европа! Но нашему горожанину до нее не дойти и ее не увидеть! А кто и бывал там да привез невиданную доселе рубаху, счастлив и всю свою жизнь только об этом и рассказывает! Пожалей, а если не в силах, то хотя бы скажи, что нет у тебя к нам ни жалости, ни любви. А так только – равнодушие, такое же примерно, какое бывает у нас при виде мух.

Только к вечеру закончились дознание, допросы, расспросы... Соню увезли в дом для душевнобольных, который виден из моего окна. И сейчас я сидел и неотрывно глядел на этот дом. То, что я не смогу жить без Сони, я понял этой ночью. Физическая близость привязала меня к ней насмерть! И теперь Соня была мне женой! Я об этом всем рассказал. Я рассказал следователю... Вер-

нее будет, что я наврал следователю, будто бы мы давно жених и невеста, а последнее время жили как муж и жена.

Вопрос: – Вы употребляете наркотики?

Ответ: – Нет.

Вопрос: – Вы знали, что Соня Уклонова употребляет наркотики?

Ответ: – Да, я знал. (Вру!)

Вопрос: – Вы знали гражданина Виктора Вегина?

Ответ: – Да. Это наш с женой приятель.

Вопрос: – Вы знали, что он наркоман?

Ответ: – Нет... (Правда!)

Картины Вегина, что остались в доме старухи Корниловой, я перенес к себе.Всего было восемь холстов. Это были пейзажи, написанные в наших местах. Но все они были как бы за стеклом, на котором отражалось лицо автора. Вот дом Уклоновых со стороны сада. У края его, ближе к крыльцу, четыре березки кольцом. А словно в стекле смотрят на меня глаза Вегина и Сони... И впечатление двоякое. Будто бы они смотрят на дом и в то же время на тебя! Сонино отражение есть только на этой работе. Живопись странная, но талантливая, живая.

Чуть попозже ко мне приходит Максим Матвеевич. Он садится, и мы долго молчим. Наконец Максим Матвеевич разжимает рот:

– Да, Петр Петрович! Обороты, прямо скажу, шекспировские! Еще бы его таланту, чтобы это дело обобщить, придать ему форму трагедии. Вы не были у Сони?

– Был.

– Ну, что она?

– Сейчас, наверное, спит... Врач сказал, что случай тяжелый. Наследственная болезнь... Шизофрения, к тому же наркомания!

– Что значит наследственная болезнь? – не понял меня Максим Матвеевич.

– Мне сказали, что ее мать также состояла на учете...

– А что за слухи, будто бы вы собираетесь жениться на Уклоновой?

– Это не слухи. Это правда.

– Да что с вами, Петр Петрович? Что это за отчаяние такое? – И тут он увидел пейзажи Вегина. Долго он их разглядывал, после спросил: – Это "его" работы?

– Да, его.

– Говорят, что он приехал вместе с Соней в начале лета! А ведь вы об этом ничего не знали! Иначе рассказали бы мне.

Я ничего не ответил, а стал думать о том, что теперь мне стало ясно, куда исчезала Соня. Я думал, что она запиралась наверху в своей комнатке, а на самом деле она была у Вегина. Странно и то, что тех, кто пришел с Вегиным на концерт к Соне, не нашли. Самое поразительное, что их никто не помнил!

– Максим Матвеевич, а Вегин пришел один.

– Один.

– Но ведь с ним были парень и девушка!

– Не помню... Да нет! Он был один!

– Их было четверо! – Я, уже не сдерживаясь, закричал: – Я же помню! Их было четверо!

– Успокойтесь, Петр Петрович! – Он вскочил и кинулся нали-

вать мне воды. Пока он бегал на кухню, я все понял... Соня вышла в переднюю, а оттуда вернулась с Вегиным! Но я ее не узнал! А те двое были как бы отражением на стекле этих, Сони и Вегина. Когда вошел озабоченный Максим Матвеевич, я уже взял себя в руки и спросил: – Что же вы мне ничего не скажете о работах этого художника?

– Я плохо понимаю живопись. Но на мой-то взгляд: вполне!

– А как вам отражение?

– Какое отражение? – спросил Максим Матвеевич.

– Ну вы же видите, у него на первом плане стоит как бы стекло, на нем отражен автор в момент работы.

Максим Матвеевич долго вглядывается в картины, после внимательно смотрит на меня и говорит твердым голосом: – Никакого отражения в картинах нет!

Мне становится не по себе... Я же его вижу! Вот оно, отражение! Вот оно!

– Вот что, Петр Петрович, давайте-ка спать! Хотите, я останусь ночевать у вас?

Я наотрез отказался. Максим Матвеевич попрощался и ушел. Я остался один. Надо было растопить камин, потому что стало холодно и сыро. Я вышел во двор и пошел к поленнице. Уже совсем стемнело, и на западе не было видно светлой полоски, что оставляет в конце наш день. Сырые облака точно обложили небо. Запахло дровами и тухлой травой. Я взял несколько поленьев и вдруг почувствовал, что за мною наблюдают! Кто-то смотрел на меня из-за забора. Я стал думать. Если это Сивенков, то успею ли я забежать в дом?! Калика открыта! Я стремительно пошел к двери. Там, за оградой, кто-то также побежал к калитке! Одной рукой я держал дрова, другой рванул на себя дверь, забыв повернуть ручку. Дверь не открывалась. Но я услышал, как открылась калитка, и тяжелые шаги... Кто-то бежал! Я сообразил повернуть ручку, вскочил за дверь, захлопнул ее и запер замок... В это мгновение в дверь грохнули пинком! Я вбежал в дом, бросил к камину дрова, схватил ружье и погасил свет. Темнота, как потолок, обрушилась на меня! Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Я поднялся в библиотеку и из нее выглянул в окно. Из темноты на меня глядел Вегин! От неожиданности я отскочил от стекла, но, вспомнив, что у меня в руках ружье, шарахнул из двух стволов в его лицо! Я видел, как лопнул череп и со звоном вдребезги разлетелось стекло. Вначале я не почувствовал боли в плече. Это был удар от отдачи ружья. Надо было плотнее прижать приклад. Я перезарядил двустволку и, спустившись вниз, стал думать: убил я или не убил Вегина? Федора Федоровича не было... „Зачем же он меня бросил?" – подумал я. Руки мои дрожали, и тошнота подступила к горлу... Наступала слабость, и это было страшно! Я заперся в кабинете, сел с ружьем в кресло и стал следить за окном... Послышался шум подъехавшей машины, потом фонари зачиркали по моему двору. В дверь резко постучали, и я услышал голос Сани Жмурова: – Богоуров! Открой, Петр!

Я побежал, открыл...

– Кто стрелял?! – спросил меня Саша.

Я все рассказал, кроме того, что лицо было Вегина. Выйдя во двор, я показал, откуда я почувствовал взгляд. С этого места собака, которую милиция привезла с собой, взяла след. Она вна-

чала подбежала к двери, после обогнула дом и побежала огородом. В одном месте на влажной земле был виден четкий след от офицерского сапога.

– Сивенков... – тихо сказал Жмуров. – Он убил лейтенанта... Это его сапоги...

Собака утащила двух милиционеров в темноту, а я с капитаном остался.

– Что происходит, Петр? – спросил он меня. И я зачем-то сказал:

– Рим! – Что я имел в виду? Не знаю. Но точно, что именно в этом слове я и видел всю разгадку.

После мы с капитаном пили крепчайший кофе, и он меня расспрашивал о Соне, о Вегине, вообще о жизни.

– Понимаешь, Петька, вот мы с тобой десять лет в одном классе, а после? Ты в свою сторону, а я с армии пришел в милицию. Считай, что полжизни провели порозь. И вот я гляжу на тебя, а ты совсем не изменился, а вот я... Я сильно поменялся! Столько я увидал! Воруют, пьют, убивают! Эх, Петр, Петр... Ты вот книжки пишешь, а что в них по правде? Ничего! Да и нельзя, наверно, по правде. Только я скажу, что худого становится больше. – И он рассказывает, как женился, как не могли получить квартиру... А я думал о Сивенкове. Мне казалось, что я вижу, как он пробежал по огородам, выскочил на темную улицу, проскочил ее и выбежал на большак, дождался встречной машины, прицепился сзади и доехал до центра.

– Он же парня убил, думая, что у того оружие есть! – рассказывал Жмуров. – А оружие он сдал после дежурства. Зачем он его сапоги надел, непонятно! Может, переодеться в милицейскую форму хотел?

– Саша, а куда он может сейчас пойти?

Жмуров поднялся. – Может на вокзал. Он сейчас будет пытаться уйти из города. Но посты ГАИ предупреждены, железнодорожная милиция тоже... Поглядим! – Саша уходит. Заводится его машина, и вскоре тишина обрушивается на город. Я закрываю все двери, гашу свет, и не раздеваясь ложусь на диванчик в кабинете. Но сон не идет. Я вижу, как Сивенков подходит к пятиэтажному дому, входит в подвал и, открыв чью-то кладовку, зажигает в ней свет. Сбросив с полки всякую рухлядь, он закрывает дверь и гасит свет и ложится спать...

"Ну а вдруг это все воображение?" – думаю я и засыпаю. Вокруг моей истории в городе пошли легенды! Приходили люди, чтобы только увидеть меня! Неделю, пока хоронили Евграфа Ивановича и Вегина, я был прикован к этому городку! Родителей у Вегина не оказалось... Он был подкидыш и вырос в детдоме.

Евграфа Ивановича положили рядом с Лизой. Вегина похоронили отдельно. На его могиле я посадил куст черемухи.

Дмитрий Степанович, установив, что поминки будут, явился. Поминки делались в доме Уклоновых. Их устроил я, но распоряжался всем Коткин. Когда наконец все это закончилось и перестало пахнуть консервами, которые беспрерывно открывались, я замкнул дом и почувствовал, что уже никогда я не войду в него! Уходя через сад, я оглянулся. В окне второго этажа белело Лизино лицо... Я подошел... Лиза улыбнулась мне через стекло.

– Лиза! – крикнул я ей. – Если бы ты знала, как мне больно!

Но отчего эта боль?! – Лиза что-то стала мне говорить, но что́, я не мог расслышать из-за стекла... Потом она отошла вглубь комнаты, и, сколько я ни ждал, она больше не появилась. Я вздохнул и пошел той же дорогой, но, не выдержав, еще раз обернулся. Окна, все окна в доме были закрыты на ставни! И то окно, в котором я только что видел Лизино лицо, также было закрыто зеленой ставней.

– Да ведь это же я, сам я и закрыл окна! Как же тогда я мог видеть? Что это со мною происходит?

Вскоре мне разрешили свидание с Соней. Я вошел в кабинет главного врача по фамилии Хлестаков. Раньше я думал, что это вымышленная фамилия, а тут я сам увидел Хлестакова. Это был немолодой, тучный и, по всей вероятности, сильно пьющий человек. При разговоре со мной он много потел, то и дело сбивался с мысли и все время пытался мне втолковать, что он вполне все понимает, и, если нужно, вот этот старинный кожаный диванчик в нашем распоряжении. Как только я взглянул на этот диван, то сразу его вспомнил, хотя никогда до этого не видел! Это был тот самый диван, на котором изнасиловал Лизу Коткин. Почему именно этот диван оказался в доме умалишенных, я не понял. Может быть, подумал я, власти испугались, что он столько знает и стольких на нем переваляли и не лучше ли его подальше? Сжечь диван никто не решился, украсть тоже, и вот нашли выход. Диван смотрелся хамовато! Понимая, что он что-то знает, и, не боясь за свое будущее, как бы взял и несколько расслабился. Я подошел и потрогал его рукой, как трогают незнакомую собаку. Кожа на нем была издевательски сексуальна. Она была гладкой и теплой! Почему, не знаю, но я решил, что диван китайский.

– А скажите, – спросил я у Хлестакова, заглядывая в его голубенькие влажные глазки, – правда ли, что диван китайский?

– Диван китайский! – сразу согласился главный врач. – У меня еще и ваза была китайская. Тончайший фарфор! Вот, допустим, приходит пациент, сильно перевозбужденный, ваза начинает тихонько петь! И даже не столько петь, сколько выть! Вот до чего тонкость доводит! А насчет дивана – можете спокойно. У меня многие пользуются. И нужно будет, так мы после и закусим.

– А скажите, вот фамилия ваша Хлестаков?

– Хлестаков! Александр Александрович! – Лицо доктора расплывается не то в улыбке, не то в какой-то неземной радости. Словно бы он во мне брата узнал, которого отродясь не видел, но слышал, что я есть и что – богат!

– Послушайте... – начал было я, но доктор не дал мне даже раскрыть рта.

– Да! – выкрикнул он. – Я и есть тот самый!

– Но этого не может быть! – уже воскликнул я. Доктор обиделся.

– Почему "не может быть"?! Я бы вам не открылся, если бы не знал, что вы литератор. Я подумал: вот уж кто сразу все поймет! А вы?!

– Да сколько же вам лет?!

– Ну, хорошо... – Хлестаков сел за стол. – По правде сказать, я его внук, но деда помню! Сто лет прожил! И еще бы жил, не случись беды! Полюбил! То никого не любил, а тут сразу на тебе! А

она француженка! Графиня! Да еще и замужем чуть ли не за маркизом! Дед был строен, по-офицерски худощав!

– А разве он офицером был?

– Конечно, офицером! Вы что думаете, когда он рассказывал, как департаментом управлял, врал, что ли?!

– Ну и как же его любовь?

– Отдалась графиня... и уехала! Дед мой и застрелился из-за любви! Я тоже стрелялся! Я три раза стрелялся! Но у нас оружие выпускают, жуть что за оружие! Все три раза – промах! – Александр Александрович обильно вспотел и вытерся висевшим, видимо, для таких случаев полотенцем. И в это время дверь открылась, и медсестра ввела Соню... В синем байковом халате, в тапочках на босу ногу и наголо стриженная...

– Привет! – сказала она весело. Я обернулся к главврачу, но его уже не было.

– Привет, Соня! – Медсестра вышла в те же двери, в которые пришла. Я подошел и обнял Соню.

– Как поживает Вегин? – спросила она.

– Отлично. Он уехал в Ленинград.

– А! Он же там комнату получил! Вот бордель откроет. Вегин по этой части неутомим!

– Соня... – я хотел ей сказать какие-то хорошие слова, но она не слушала меня. Прыгнула на диван.

– Иди сюда! Ну?! Что было дальше?

– Когда дальше?

– Ну, после концерта!

– Все были довольны!

– Да?! Я тоже! – она обняла меня за шею и повалила на диван... Я чувствовал, как из одной и другой двери за нами наблюдают!!! Соня положила свою голову мне на колени, и я погладил по жесткому ежику ее остриженных волос...

– Соня, помнишь, после концерта к тебе первым подошел мужчина в черном?

– Ко мне подходило множество мужчин! Многие предлагали сожительство, но очень мало за это давали. Женщина – существо слабое, ей много надо! А это правда, что ты мой муж?

– Конечно, правда!

– А у нас с тобой нет детей?

– Детей нет...

– Нет! И не надо! А кто же тогда Вегин? Вегин – это кто? А ты знаешь, я без трусиков! Хочешь?

– Нет! – зачем-то слишком категорично ответил я.

– Почему?

– За нами могут подглядывать!

– Ну и что? Многих это возбуждает!

– Соня! – Я почувствовал, что крикнул, хотя совершенно не хотел кричать.

Тут же вошел Хлестаков и две санитарки. Несмотря ни на какие мои протесты, Соню увели...

– Так надо, так надо, так надо! – говорил мне в ухо Хлестаков.

– Что это за слово – "так надо"? Японское?

– Наше! – удивился Александр Александрович.

– Я его не помню...

– А давайте хватанем граммов по двести! У меня есть! Я по интеллигентным людям соскучился... Живу, знаете, а зачем живу?! – Хлестаков открыл шкафчик и достал оттуда початую бутылку. За стеклом плескалась водка. Доктор налил мне и себе по тонкому стакану.

– Не расстраивайтесь! Выздоровеет ваша жена!

Я взял стакан и вылил его в себя, но получилось, что я вылил мимо рта и облил себя водкой. Доктор что-то говорил мне, но я уже не слышал. Глядя на главного врача, я увидел свое отражение, как на стекле. И теперь, куда бы я ни поворачивался, – везде мое отражение. Хоть не очень заметное, но оно было. Я оказался в стеклянном ящике!

– Доктор! – сказал я бодрым голосом. – Я остаюсь! – И тут же попросил синий халат.

На самом деле у меня возникла идея. Соня не могла выздороветь, и я это понял. Но жить-то она могла? И если мы с ней убежим в большой город, в Рим, нас не найдут. Да, может, даже и искать не станут! Я быстро снял с себя всю одежду, которая пахла водкой, и ждал халата. Но принесли белую рубаху, и мне скрутили руки за спиной. Пока мне их крутили, я все время спрашивал: – А зачем вы так? Я же не сопротивляюсь!

– Так надо! – ответили мне по-японски. После меня привязали в кресле, но уже не в кабинете Хлестакова, и машинкой остригли наголо. Тогда я потребовал, чтобы меня заодно и побрили! Когда меня повели куда-то наверх, я увидел Хлестакова.

– Сан Саныч! Одно слово! – Я видел, что он страдает, искренне страдает!

– Сан Саныч, нельзя ли сделать так, чтобы я и Соня завтракали вместе? И по утрам одну газету "Правда"! "Правду" и ничего, кроме "Правды"! – Пошутил я и тут же почувствовал, что шутка получилась кондовой да и безвкусной!

– Что это со мной? – встревожился я. – Неужели те обстоятельства, которые не давали мне сесть за письменный стол, привели к довольно печальному состоянию? – Я внимательно вгляделся в свое отражение. В нем я увидел круглое стриженое лицо, торчащие уши! (Боже, какие у меня огромные уши!) Да и вообще, свое лицо мне не понравилось! Хотел было посмотреть язык, но подумал, что меня не поймут. Скажут, чего это он язык вывалил?!

Привели меня в комнату, беленную известью. В ней было две кровати, окно, на котором была решетка. На кровати лежал привязанный человек.

– Буйный? – спросил я тоном профессора и оглядел всю свиту, идущую следом.

– Думной! – рявкнул санитар и загоготал.

– Сан Саныч! – обратился я к главному врачу. – Скажите этой горилле, что шутки подобного тона... – Но "горилла" не дала мне договорить. Меня бросили на кровать и в считанные секунды привязали! Но как искусно привязали! Меня просто распяли! Я лежал на кровати, как великомученик на кресте!

– А если еще поголодать, а после сесть на диету, будет вполне оригинальный вид! – В этот момент мне что-то закинули в рот и заставили проглотить.

Наконец все ушли. Я повернул голову к своему соседу,

чтобы узнать его имя и вообще поговорить, – и обомлел... На меня смотрел Сивенков. Он улыбнулся железными зубами.

– Чего, вошь поганая! Волк позорный!

– Сивенков... – ужаснулся я вслух.

– Уже не Сивенков! Я уже Гущин! Паспорток у меня притыренный был, понял? Вот я по нему и лег! Кто меня станет искать в психушке! А тебя, гнида, я освежую бритвой! Я тебя живого свежевать стану! Вот клянусь, падла! Сука ты вонючая!!! – Сивенков задергался, но ремни его держали крепко!

– Сейчас сюда придет капитан Жмуров, – сказал я четко, – и тебе крышка! Тебя не надо будет даже связывать!

Сивенков побелел! Рванулся! И вдруг заорал дико, страшно! Он орал так, как кричат свиньи, которых режут. Из-под него потекло... Он обмочился от страха! Вошли санитары, что-то ему вкололи, и Сивенков затих.

– Послушайте, – обратился я к одной из санитарок. – Не могли бы вы сделать любезность? Позвоните в милицию и попросите приехать капитана Жмурова. Скажите, что просит Богоуров и что я нахожусь в этом доме...

– Хорошо, хорошо! – заверила меня санитарка.

– Я вас умоляю! – закричал я. – Этот человек, что рядом со мною, преступник! Его ищут! – Язык мой стал заплетаться, в голове потемнело, и, по всей вероятности, я уснул, но, засыпая, все же успел подумать о Риме, но никак не мог понять, как же и на чем туда добираться.

Очнулся я ночью. Горела лампочка над дверью под железной решеткой. Я был все так же привязан. Первое, что я почувствовал, это взгляд! На меня смотрели водянистые глаза Сивенкова.

– Где твой мент? Нету твоего мента! А как ты сюда загремел?

– А ты как?

– Я-то закосил. Малость перестарался, привязали! Счас Коля придет! Счас мы тебя...

– Слушай, Сивенков, за что ты убил пастуха? Он же хороший был!

– Да я вас, сук!!! Вас всех надо резать! Всех!!!

– Да, – подумал я вслух, – таких только из винта, как бешеных псов. И кем вы заражены? И кто вы вообще? Ведь не люди же? А все же представьте себе – лежать привязанным к кровати рядом с убийцей посреди ночи... Где-то тут же, может, даже через стенку лежит твоя любимая. И буквально через триста метров мой дом! Моя крепость! Зачем я его покинул?! И сейчас он стоит незапертый, с выбитым стеклом, через которое так уютно смотрелось на мир... – Я прислушался. Хрипел уставший Сивенков, где-то внизу китайским голосом напевал диван. Я еще раз оглядел свое отражение и подумал, что, наверное, это стекло, только где-то далеко? Иначе как же меня могли связать, если я за стеклом? А может, так видят все в определенном возрасте? Да! Лежать, раскинув руки, и ждать, когда тебя убьют, – занятие исключительно муторное! И я стал вспоминать, как прошли эти последние два-три дня. Во-первых, я никак не могу понять, сколько вообще прошло времени?! Такое чувство, словно дни, как клейкая бумага. И кто-то слепил их друг с другом. Помню,

как влетел Максим Матвеевич и закричал: – Ты как хочешь, Петр Петрович, но конец света не за горами!

– А может, конец темы?

– Да где же ты тему видишь?! Было более или менее ясно, а что сейчас происходит?!

– Жили мы, – кричал я на Максима Матвеевича, – по-китайски! Понимаешь ли ты, друг мой, что у нас вывих случился. Заболели мы гигантизмом! Всем хотелось быть больше всех, дальше всех, глубже всех, а не как все!

– Ты о политике! – осадил меня Максим Матвеевич. – А я о нравственном состоянии! Что же это такое происходит?! Зачем это происходит?!

Жизнь Максима Матвеевича как началась с вопроса "для чего я здесь?" (имеется в виду не наш городок, а планета), так и пошла вся в вопросных крутках. Вопросы он ставит глобальные, но редко сам на них отвечает. Интересно мне было узнать о Вегине. То, что я взял да перескочил от Максима Матвеевича к Вегину, не говорит о том, что я позабыл про первого. Просто он куда-то или зачем-то вышел. В бумагах у Вегина мы с капитаном Жмуровым обнаружили записки. В одной из них было сказано: "Мои родители, видно, так любили друг друга, что я им мешал любить постоянно, ежеминутно. Они меня не просто подкинули, а взяли и забыли вместе с коляской в сквере! А когда вспомнили, что ребенок у них в сквере (скверный ребенок, не отсюда ли?), махнули рукой. При их любви-то?! Да сколько угодно этих пискливых, вонючих... Интересно, что однажды я их увидел. Мне было лет пять, мои родители (а это были точно они!) пришли в детдом выбрать себе ребенка примерно моего возраста. Они оказались стройными, высокими. Я узнал маму... И мама узнала меня! Она смотрела с каким-то ужасом мне в глаза, после сказала заведующей: – Может, лучше девочку? Дело в том, что я и муж занимаемся бальными танцами... Для девочки это было бы хорошо! – Отец не посмотрел на меня ни разу, он внимательно, явно с преувеличенным вниманием и сочувствием глядел на мать... Заведующая, словно догадавшись, поглядела на меня, после на мать... Конечно, я был похож на нее... Я был копией.

– Очень жаль... – сказала заведующая. – Мальчик очень хороший, а главное, так похож на вас.

Я бы забыл этот эпизод, но как-то встретил нашу бывшую заведующую... Она мне напомнила... Так что я "скверный" ребенок".

Скверного ребенка больше не было! Отчего он повесился? Может быть, он увидел меня и Соню в тот момент в саду? Или страх, вызванный наркотиком, толкнул его в петлю?! Сколько талантливых русских "скверных" мальчиков гибнет?! Сколько их, отравленных эгоизмом, алкоголем, брошенных на произвол судьбы? Покидая детдом, куда вы придете после, чтобы дать отдохнуть себе?! Нету вам места! И вечно бесприютные, станете вы скитаться по этой земле в надежде отыскать на ней свой "отчий дом"! Нету его, дети! Нету отчего дома! Какая печаль, люди, что все мы, мы с вами выросли, не ощущая отчего дома!

Мой дом – моя крепость! Где он?! Глупые россказни про коллективное житие, просто глупые! Нельзя жить коммуной! Надо иметь свой очаг, надо любить очаг этот, надо, чтобы рядом с ним

грелись дети... Мир распадается. Распадается духовность от отсутствия очага! Любовь деда и внука основана не на всхлипываниях одного по поводу мяукания второго. Она основана на том, что один передает другому очаг, еще горящий!

Ах, чтобы вас черт подрал – тех, кто решил решать экономические вопросы, ни фига не смысля в экономике! Только и было, что масса народу, бессмысленно жаждущая перемен, да слова, обещающие перемены!

А после пошли приказы, больше похожие на тыкание перстами то в одну, то в другую стороны! И пошли бараки, бараки! В лагерях – бараки, на воле – бараки! Но энтузиазм, его куда девать? Де́ли! Да еще так де́ли, что днем с огнем не сыщешь! Впрочем, что это, лежу я в "психушке", а о чем размышляю? Ясное дело: больные, воспаленные мысли! Ах да! Дмитрий Степанович Коткин выступил с речью при погребении Евграфа Ивановича. Высморкавшись в свой знаменитый клетчатый платок, бегло, но в то же время профессионально оглядев присутствующих, он сказал тихо Ивану Комарову, возглавлявшему, как всегда, команду "жмуров":

– Как кончу говорить, играйте так, чтоб все плакали! Иначе вам, алкаши, ни грамму! – После такого внушения он начал:

– Вот и ушел от нас Евграф Уклонов! Нет! Не увидим мы больше его фигуры на наших улицах!!! Жизнь этого удивительного человека проста и естественна! Был революционером (когда?!), после воевал (где?!), придя с фронта, не пошел, как многие, руководить! Нет! А по-прежнему переплетал он дела наши! Сколько же он их переплел! И сейчас, когда больна от горя дочь его, и я, больной, скорблю! Прими земля инородца! Вы знаете, что Евграф Иванович ленинградец. Прими, земля, как ты примешь нас! – После этих слов оркестр загремел, но никто почему-то не плакал по поводу смерти "инородца".

И тут я подумал: а который час? И, как-то забывшись, спросил у Сивенкова: – Вы не скажете, который час?

Он повернул ко мне длинное сырое лицо и плюнул на меня! Плевок его попал мне на грудь! Недолго думая и я плюнул в него и попал ему в глаз! Честное слово, это было случайно! Но что сделалось с Сивенковым! Он заорал так, что я подумал, наверное, сейчас город проснется, подумав, что это фабричный гудок!

Собрав слюны полный рот, Сивенков плюнул еще раз! Но комок слюны перелетел меня! А я, подумав, взял и плюнул еще раз и залепил ему второй глаз! После этого полчаса наблюдал, как вздымается живот у Сивенкова, как стонет под ним сварная кровать, как его черный лохматый мат бьет по потолку! Вбежали взволнованные санитарки, и Сивенков, плача, стал им говорить: – А чо он плюется! Оба глаза заплевал! – Меткий, да?! Кольните его чем-нибудь! Кольните эту падлу! – И тут дежурная сестра развязала сначала меня, а после Сивенкова... Я видел, как он долго растирал запястья, а после нас развели по разным палатам. Меня ввели в палату, где лежало восемь человек, я был девятым, моя кровать стояла у стены. Запах, какой меня встретил, был такой, что после него хотелось в водичку да с Сивенковым бок о бок! Люди стонали, плакали, скрипели зубами... Что говорить, больные люди! Но отчего же, подумал я, стекло, что загораживает меня, не спасает от запаха?

Я лег, все ушли. Дверь замкнули.

"Если меня не убьет Сивенков, сколько мне тут торчать?!" – подумал я...

Утром в столовой я не застал Сивенкова, но зато я встретился с Соней. Она была бледной.

– Сонечка! – кинулся я к ней. – Ну, как ты?

– Не могу понять, – сказала она. – Куда я дела ребенка?! Странно! – Соня стала есть пшенную кашу на воде, а я "в стекле" увидел синее раздутое лицо Вегина и Соню, которая вытирала это лицо полотенцем... Потом вся эта картина исчезла, словно взяли и выключили телевизор...

Я лежал на китайском диванчике, за окном было темно, а у стола сидели главврач Хлестаков и Максим Матвеевич.

– У меня тоже был случай! – рассказывал Хлестаков. – Собралась компания, решили выпить. Ну, то, се! Разлили. И тут я возьми да откажись! Бывают такие моменты, когда даже понимаешь зачем, а делаешь! Посидел, посидел да домой пришел. Так верите ли мне, дошел до кровати и упал в обморок! Жена решила, что я перепил!

Я лежал и думал: "Ври, ври, Сан Саныч! Нажрался ты! Пришел и упал мимо кровати".

– Еще по маленькой! – слышу я и вижу, как Хлестаков наливает.

– Хорошо у вас, – с понятием говорит Максим Матвеевич.

– Сейчас хуже стало, – отвечает Хлестаков. – А вот раньше... Больных немного, все вроде как свои. Жили, можно сказать, одной семьей! Сейчас больных стало больше. Лекарства – они одни, а болезней разных больше! Наркоманов много, алкашей не берем! Я вот в правительство письмо послал. Проект нового оздоровительного дома для душевнобольных. Вы спросите, что нового может быть в нашем деле? Так вот! Поглядите, кругом да всюду пустеют деревни! Есть совсем брошенные! А ну-ка в каждый дом по санитару да больных ему три-четыре человека. Воздух свежий! Приучить людей к земле. А лет через пять можно на этом месте колхоз открывать! Вчерашние больные, сегодняшние крестьяне. И внести в это дело маленькую поправочку. Территорию огородить колючей проволокой. Кстати, кто ее выдумал? Гениальное изобретение!

Я себе мигом вообразил окрестные земли в колючей проволоке, а по пашням бродят безумные, из их ртов волочатся слюни, как вожжи! Речь их нечленораздельна, а если где и слышна песня, то это – *"Арлекино! Арлекино! Нужно быть смешным для всех"*...

Я поднимаюсь. Поскольку Хлестаков и Максим Матвеевич сидят у настольной лампы, свет, который бьет в стол небольшим кружком, то лиц почти не видно.

– Я спал? – Мой вопрос прозвучал как сигнал к действию. Оба сидевших разом вскочили и бросились ко мне.

– Ну, слава богу! – радовался Максим Матвеевич, а Хлестаков, успевший махнуть рюмку и кинуть в рот кусочек селедки, младенчески улыбался.

– Что произошло? – поинтересовался я.

– Так вы пришли к Соне Уклоновой! Сели на диванчик да и

прилегли! До этого мы, правда, немного с вами поговорили, но совсем немного!

– А что Соня?

– Соня плоха... – грустно сказал Максим Матвеевич. – Началась депрессия!

Я оглядел свое лицо в собственном отражении. Нет, волосы были на месте и уши не торчали!

– Скажите, Сан Саныч, не поступал ли к вам больной со вставными металлическими зубами?

– Нет, – ответил главврач и внимательно посмотрел мне в глаза.

– А Соню я могу увидеть?

– Нет, – на той же ноте ответил Хлестаков, словно колокол. – Пусть девочка придет в себя. День-два...

– А санитар по имени Коля у вас есть?

– Да. – Опять та же нота...

– Сивенков здесь! – сказал я горячо и схватил за руку Максима Матвеевича. – Он здесь или будет здесь. – Я вспомнил номер телефона Саши Жмурова и, не спрашивая разрешения, позвонил.

– Капитан Жмуров, – услышал я, и мне стало спокойнее.

– Капитан. Это я...

– Привет, писатель! Ты где?

– Я в дурдоме.

– А! Ходил к невесте?

– Да! Капитан, Сивенков либо в этом доме, либо вот-вот объявится.

– С чего ты взял?

– Интуиция! Мне кажется, у него здесь работает знакомый санитар.

– Ладно... Жди меня!

Через полчаса капитан Жмуров, я, Сан Саныч и мой милый Максим Матвеевич совещались.

– Мне бы и в голову не взбрело! – сказал Жмуров. – Что в дурдоме можно отлично отлежаться! То, что Коля Тробников его дружок, – это точно! Я узнал. Они вместе сидели в одном лагере!

Еще через час, уладив все формальности, Сашу Жмурова и меня оформили как больных. Принимал нас Тробников. Огромный, вес килограмм сто с лишним, с лысой макушкой и совершенно беззубый. Улыбался он главврачу одними деснами. Говорил тихо и сипло. Нас разместили в одной палате, воздух в которой, как я и думал, был удручающим.

– Ну, писатель! – тихо сказал мне Жмуров. – Если твоя интуиция подведет, меня снимут с работы!

Этой же ночью капитан застал Тробникова в туалете с мальчиком... Он мне рассказал об этом. К утру привели в смирительной рубашке Сивенкова... Мы сделали вид, что спим. Когда все ушли, остались Тробников и Сивенков. Сивенков сел на кровати и пошевелил пальцами на ногах.

– Я у тебя отдохну.

– Отдохни, Сива! Хватит, побегал!

– Мне тут по делу надо... После расскажу! Скажи ребятам, что за мной не пропадет! И паспорт сделали... Счас малость отдохнуть!

– Отдыхай, Сива! Тут тебе хорошо будет. Бабы есть! Счас новенькую привезли. Попробуем. Отдыхай, Сива! – Тробников вышел. Сивенков лег на кровать, раскинув руки. Капитан показал мне глазами, что пора! Саша упал ему на лицо с подушкой, а я застегнул ремни на руках и ногах. Когда Саша отнял подушку и Сивенков все увидел, и до него дошло... Но орать капитан ему не дал. Он завязал его рот полотенцем. Когда рассветало, "воронок" увез Сивенкова и Тробникова. И на этот раз навсегда. Капитан проводил меня до дома.

– Как же ты догадался? – все еще не верил в успех Жмуров.

– Не знаю.

Мы простились. Все во мне было на пределе. Стекло перед глазами порозовело. Это вставало солнце... Я еще видел, что с полей поднимается холодный пар, а на деревьях полно золота...

В кабинете стояли летние пейзажи Бегина... Они по-прежнему стояли за стеклом, на котором едва проступало лицо художника. Что-то загремело в кухне. Я пошел туда и увидел там Степаниду. Узнать ее было трудно. Исхудавшая, вся в черном, она терла сковороду. Увидев меня, она всплеснула руками. Видимо, и мое лицо было "с необщим выражением"... Обхватив меня своими мощными руками, Степанида молча постояла, прижавшись ко мне. Глаза ее были сухими.

– Как ты там, Степанида? – спросил я.

– Худо, Петр Петрович! Все наперекосяк! И как ни норовлю жизнь в края ввести, не выходит. Замаялась я... На всю деревню четыре старухи, и те жить не желают! Жизнь им в тягость! Огороды заросли сорной травой. Счас станут рожь по полям собирать, а выйдет ли центнера по четыре... А что же это с Сенюшкой такое?

– Да вот, беда, Степанида, ты больше не уходи!

– Больше не уйду! – И тут я увидал в углу большой узел.

К вечеру пошел дождь. Из парка донеслась музыка. Я надел плащ и вышел из дома. За день Степанида окончательно перебралась в мой дом, взяв себе небольшую комнатку за кухней. Когда-то это была детская... Это была моя комнатка...

Я вышел, точно зная, что иду в парк на танцы. В парке пахло крашеными скамейками и прелостью. На открытой площадке, от которой шел запах заборов, стоял под черным зонтом в резиновых сапогах Иван Комаров.

– Здорово, Иван.

– Здорово...

– Что тебя заинтересовало?

– Слушаю тяжелый рок. Слабаки! У меня легких не стало, а то бы я им показал!

Танцующих не было, но музыканты стояли и, дрожа всем телом, ломили и ломили килотонны звука! Деревья, что росли вокруг танцплощадки, просили тишины... Холодный, обжигающе холодный дождь с привкусом щелока лил за воротник...

– Петрович, – тихо сказал Комаров, – жизнь прошла... – А ритм однообразно и оглушительно бил в пол! Черные доски на танцплощадке стали как лакированные от воды.

– Петрович, у меня есть! – Он достал полбутылки ликера мятного. Я взял ее и сделал глоток, мятная прохлада ожгла рот, покатилась в желудок, и через минуту потеплело. А на эстраде мигали лампочки, все так же гремело.

Мы повернулись и пошли по аллее.

– Вот, Петрович, люблю этот парк! И веришь, мне кажется, что люди приходят в парк, потанцуют, потанцуют, и после мы их несем на кладбище! Вот и все, что у человека было и что будет!

– А как твоя бабушка думает по этому поводу?

– Совсем она у меня сдала... Эх, Петрович! Бабка говорит, мол, непутево жизнь я прожил. Это точно, непутево! Только, Петрович, жизнь так крутанула, что куда мне... Мы же не закрепленные были, вот и послетали на повороте. Это вам бы, дай бог, разобраться!

Где-то позади ревели, плакали и стонали гитары. Звук, рожденный электричеством, пытался освоить тембры живой музыки! И это было не рождение, а перерождение! Во что?

Ликер мятный протравил мои легкие, и я уже перестал ощущать запах – только холодноватый и тяжелый вкус.

Простившись с Иваном, который бережно завернул в газету бутылку, я направился к Соне. Теперь я знал точно, что надо ехать в Рим!

Что движет мной? Какие, в самом деле, чувства я испытываю к Соне? То, что я ее совсем не знаю, доказал мне Вегин. Узнаю ли я ее когда-нибудь? А зачем? И все же меня влекло к Соне! Именно влекло. Какое странное слово: влекло... Впрочем, я еще подумаю об этом слове, но после, если, конечно, захочется. Читатель, наверное, подумал обо мне черт-те что! А главное, не зациклился ли я на Соне? Каждый вправе меня спросить: а были ли у меня женщины, кроме Сони? Придется сказать: да! Не говорить же "нет"... Да! Ко мне регулярно приходит ученица девятого класса "погрешить". Ниночка Костомарова хоть еще и ученица, но раздень ее и обними, так сам превращаешься в ученика. Но Ниночка в том возрасте, когда секс для нее как спорт. И я не "любимый", не "дорогой", а просто ее партнер. Я знаю, что как только я ей надоем, так она сразу найдет другого партнера. Пока ей нравится со мной. Ей нравится то, что у меня ей ничего не мешает. Стесняться она не умеет и отдается с такой страстью, словно бежит стометровку! Ниночка, конечно же, хороша! Она высокая, светловолосая. У нее серые, чуть печальные глаза. Она как бы имеет склонность к полноте, но именно "как бы", потому что на самом деле у нее такое сложение. Я называю его классическим, сравнивая, естественно, со статуями древнегреческих мастеров. Правда, у нее была привычка, которая мне не нравилась. Она любила по дому ходить босиком. Иногда Ниночка приводила с собой подруг. Они приносили (втайне, разумеется) бутылку-другую сухого вина. Я включал им музыку, зашторивал окна, растапливал камин. Девочки пили вино, говорили о мальчиках (а о чем им еще было говорить!). Иногда, возбужденные, они бросались целовать друг друга, разжигая себя. Кончалось тем, что они разбредались по парочкам, чтобы хоть как-то утолить возникшую страсть. Они сильные, здоровые, а их юные друзья еще инфантильны и неизвестно когда обретут себя. Я не подглядывал за девочками, но иной раз словно нарочно (а впрочем, почему "словно"), они обращали на себя внимание тем, что появлялись передо мной, делая вид, что меня не видят. Сняв трусики, парочка гладила друг друга по попам, поцелуи их становились все жарче и продол-

жительнее. И, наконец, какая-нибудь из двоих опускалась на колени, чтобы своим языком вызвать в подруге страстные вдохи и выдохи!

Я шел к Соне, а думал о девочках? Да нет! Я шел к Соне и старался разобраться, что она для меня? И первое, о чем я подумал, было ее лицо. Я бы сказал так: трогательность! Вот именно, трогательность – вот что меня в ней притягивало, примагничивало! Да, я, кажется, нашел верное слово – "примагничивало"! Сколько раз я пытался уйти из опасной зоны, но всегда не доходил до края... И та Соня, что я встретил девочкой, с большим бантом, и та, что сейчас лежала в "психушке", было одним, но в то же время как бы разорванным на кусочки временном измерении. Казалось, что было много Сонь, а после каким-то чудом разом сплавлялось в одной! Вот Соня в школьной форме, с портфелем, медленно идет домой. Интересно, что девочкой она редко бегала. Она ходила медленно, словно всегда прислушивалась к будущему. И еще ее жест. Он почти неуловим. Она поправляет волосы неуловимым жестом! Рука ее скользит вверх, кончиками пальцев она трогает волосы, после рука скользит вниз и застывает у бедра... Черт его знает, как это можно записать?! Иногда в ее лице появляется боль. Она при этом вскидывает брови, словно удивляется страданию. В этот момент я всегда вспоминаю ее деда, генерала... Высокий, худой, истерзанный отчаянием, с такими же серыми глазами, как у внучки. Я вижу, как он входит в дом, закрывает дверь в своей комнате, достает наган... После он плачет, хочет помолиться и не может! И не может помолиться потому, что губы забыли молитву. И только воля, сконцентрированная до сверхъестественной плотности, пытается увидеть где-то там... Где там? Внутри себя? В космосе? Где она пытается увидеть Бога?! Генерал понимает, что, останься он жить, последуют страдания. А он был морально истощен. "Ведь я могу заплакать на людях! Это стыдно! Да еще заплакать на допросе! Главное, это чтобы все было хорошо у Лизы!" Рука его дрожит, и взгляд становится таким, какой бывает у Сони. Ах, генерал, генерал... Видишь, как получилось... И дочь твоя несчастно прожила жизнь, и ее дочь... Может, что-то наследственное, таинственное, роковое было в вашей крови? А вспомнил ли ты о своей жене? Конечно, он помнил о ней... Он думал о ней каждый день, каждый час! Да, она уехала в Париж к сестре. Сестра ее еще до революции вышла замуж за француза и уехала к нему на родину. Когда уехала Люба, так звали жену генерала, он стал ждать писем. Но писем не было и не было! Сам генерал никогда не был в Париже... Он долго воевал и думал, что после войны поедет в Париж и там отдохнет... Мысленно он представлял себе Любу, идущую по Парижу. Люба была невысокой, плотной и очень чувственной... Генерал любил ее... Любил ее тело, ее запах, тот непередаваемый "Любин стон"! Она ходила по освещенным парижским улицам, а здесь, в России, начинался ужас! Обывателя стали терроризировать, обыватель испугался. Нет, обыватель испугался до смерти! Самое страшное – это когда закрывают границы... Некогда "священные", они неожиданно стали выполнять функции забора! Стены! Стены плача и вопля! Эти стены закрыли от Европы ужас, и ужас этот, как рак, вполз в души каждого, живущего в те дни. Он пожирал остатки демокра-

та в человеке. Человек стал осторожным. Старался жить коллективом, а может, бессознательно продолжал жить так? Ведь совсем недавно была революция! Были радость, оживление! Хотелось все переделать и переиначить! Каждый, именно каждый ощущал себя величиной... Но постепенно вырисовывался портрет, рядом с которым никакой другой величины не существовало!

А Люба как вышла из вагона, вдохнула осенний воздух Парижа, а уже вечером была на спектакле, после ресторан... Где-то в три часа ночи, когда она, только что приняв ванную, хотела скользнуть в постель, вошел Жюль, младший брат мужа ее сестры. И Любин стон стал стоном для другого... Они вскоре поженились. Люба не забыла семью, но думала о ней так, словно все умерли и умерли давно!

Генерал нажал на спусковой крючок... Точнее будет, что он долго нажимал на него, и почему-то ему показалось, будто бы он так и не нажмет...

Я весь промок, пока дошел до "психушки". Свет горел только у Хлестакова. Я заглянул в окно. Там за стеклом я увидел Лизу, которую повалил на диван Коткин... Я видел, как слетела туфля с ее ноги, и огромный розовый зад Коткина мерно заходил взад и вперед. В углу во фраке читал "Огонек" Хлестаков.

Я позвонил, вышла дежурная.

– Чего надо?

– Александр Александрович у себя?

– Домой уехал!

– Извините!

Я отошел от крыльца... Заглядывать в окно больше не хотелось. Но где же окно Сони? И тут, наверху, за матовым, а правильнее, за покрашенным с обратной стороны белой краской стеклом я увидел тень. Это была тень Сони! Она встала на подоконник и крикнула в открытую форточку: – Я тут!

На белом фоне четкий силуэт Сони... Вокруг тьма! На тысячи километров тьма, сырость, холодный дождь... а на светящемся стекле тень любимой... Окно словно висело в воздухе. Словно оно было открыто в небе.

– Милый! – закричала Соня, – тут туалет! Я с тобой разговариваю из туалета! Я увидела тебя из палаты. Но оттуда нельзя... – Я стал различать тень от решетки... Конечно, Соня держалась за решетку!

– Милый! Спаси меня!

– Я спасу тебя! Я спасу, Соня!

Я увидел, даже не увидел, а догадался, что сбоку должна быть водосточная труба. По ней я подполз ближе к туалетному окну. Теперь надо было сделать шаг в сторону, чтобы встать на узенький карниз перед окном. Я вытянул ногу, а другой ногой стоял на вбитом клине. Труба меня держала... Значит, недавно был ремонт, иначе я бы давно лежал внизу с куском ржавой трубы. Нога нащупала карниз, я оттолкнулся второй и встал перед стеклом. Из форточки шел смрад мочи и хлорки. И в форточке, как в рамке, лицо Сони... Бледное, с печальными глазами и со взглядом обреченного генерала!

– Это ты! – вскрикнула она.

– Тихо, Соня! Говори только шепотом!

– Хорошо...

Через форточку я нащупал шпингалеты и стал их рвать. Замазанные краской, они не поддавались. Соня с той стороны пыталась мне помочь. Я уцепился за шпингалет и почти повис на нем. "Если пальцы сорвутся, я грохнусь вниз!" – подумал я. Шпингалет поддался и пошел вниз. Распахнув рамы, я оказался перед решеткой. Но я очень верил в наших строителей! Я знал, что решетки они никогда не станут делать на века, наверняка даже забыли, что они нужны в туалете, и в последний момент сварили их из арматурной проволоки. Упершись спиной в косяк, я ногами стал выдавливать ячейку в решетке. Надо было сдвинуть хотя бы один прут. Сварка лопнула, нога моя скользнула дальше, и с сухим треском порвалась моя кожа на икре. Но думать было некогда о боли и прочих нежностях. Таким же образом я выдавил второй прут! Теперь через это отверстие могла пролезть и Соня.

– Быстро ко мне! – скомандовал я.

Соня нагнула остриженную голову, вылезла по плечи. Дальше я почти выволок ее наружу.

– Соня! Слушай меня внимательно. Рядом водосточная труба. Нужно ногой дотянуться до нее. Видишь, там костыль железный? Упрись в него, потом оттолкнись и хватайся за трубу! Ясно? По трубе вниз! Я буду тебя страховать!

Я первый перелез на трубу, спустился чуть ниже и стал ждать. Соня ногой достала костыль, и вот она уже на трубе. Теперь вниз. – Только аккуратнее! – шепчу я. Прыгаю, и тут же на меня валится Соня. Мы летим в грязь. Я накинул на Соню свой плащ, и мы побежали! Мы были свободны! В голове вертелась фраза: и дождь смывает все следы!..

Только когда мы вошли в мой дом, я увидел, что Соня босая. Мы прошли в ванную, я зажег конфорку, и, скинув с себя мокрую одежду, мы встали под горячий душ.

– Прости меня... – сказала Соня, прижавшись ко мне всем телом. Я понял, что она плачет. Саднило ногу в том месте, где я разорвал кожу, и к горлу подступала горечь. Мы плакали и целовались под горячим душем. После распаренные и даже счастливые мы впервые легли спать вместе. Я обнял Соню и подумал, что это и есть моя жена и что мне она дана богом. Великий Архитектор Вселенной думал и обо мне. "И велика его сила, – думал я. – И велика его милость и справедлив его суд! Прости меня, Господи, прости всех согрешивших в невинности. Прости людей наших и не наказуй их более! И пусть вновь рождает земля, и крестьянин пашет эту землю. Пусть он обретет мать свою, которую так долго истязали лженаукой и лжеполитикой! Пусть крестьянские дети учатся понимать травы и звезды, а не учатся всему тому, что отрывает их от земли. Прости нас! И очисти нас от скверны! И спаси нас от страха! Дай нам день и дай нам ночь! Пусть в мире наступит покой! Я люблю тебя, Господи!"

Ровно через час я проснулся. Кто-то ходил по дому. Я посмотрел на часы. Был час ночи. Накинув халат, я спустился вниз. По кабинету ходил Федор Федорович, а Степанида сидела в моем рабочем кресле.

От возбуждения по лицу Федора Федоровича пробегали голубые разряды электричества.

– Петр Петрович! Это кто же такой? – чуть не плача, спросила Степанида.

– Это в высшей степени загадочное и благородное существо, – сказал я и почувствовал, что обрадовался Федору Федоровичу.

– Где же вы были столько времени?

– Молчите! Ах, Петр Петрович! Вы знаете, что Соню уже разыскивают?

– Соня спит.

– Я знаю. Вам бежать надо!

– Но куда, Федор Федорович?

– Куда... А все ликер "мятный". Вы же полбутылки махнули!

– Так куда мне бежать?

– В Рим... – тихо сказал Федор Федорович.

– За границу?

– За стекло.

Я, признаться, мало что понял.

– Степанида! – И, направив на нее указательный палец, Федор Федорович пошел на нее. Бедная тетка чуть не влезла от страху на стол.

– Что тебе, батюшка?

– Не нужно ли и тебе в Рим?

– Да куда мне! Мне уж в могилу пора.

– Это ты всегда успеешь... Бессмертных нет...

– Федор Федорович, а надолго ли в Рим?

– Навсегда, дорогой мой... Навсегда!

– Что вы! Я не выдержу! Нет!

– Вы погибнете здесь, милый. Вас увезут в областную "психушку", а через десять лет вы забудете, как вас и звали... Вы забудете все! И весь ваш мир станет одной камерой. А Соню выпустят лет через пять. Она станет жить в своем доме, носить черную одежду и получать пенсию по инвалидности. Потихоньку станет жить... Да! И повторит путь матери...

Я схватил за руку Федора Федоровича: – Нет! Давайте в Рим! Степанида, у меня никого нет, кроме тебя, поедем, пожалуйста! – Степанида заплакала и согласилась. Я пошел разбудить Соню. К двум часам мы были готовы. Соню пришлось одеть в мою одежду, и от этого она выглядела, как мальчишка. Федор Федорович старался не глядеть на Соню, но она, все же перехватив его взгляд, спросила: – Это ведь вы мне сказали, что в одном месте, играя Рахманинова, я ошиблась?

– Да, это был я.

– А ведь я действительно ошиблась. Много ли вы знаете концертов по памяти?

– Я знаю все концерты! Но об этом после! Пойдемте, друзья! Времени почти нет... – Мы вышли из сеней. Дождь стоял стеной. Я запер дверь, спрятал ключи в потайное место. Степанида оглядела двор: – Да на чем же ехать, батюшка?! И где этот Рим? Что же это, город или село?

Соня прижалась ко мне: – Все так странно... Кто он?

– Молчи! – сказал я ей. Федор Федорович пошел по двору, и мы почти бессознательно двинулись следом.

Вначале дождь ударил в лицо, а после я почувствовал, что дождя нет! Мы так же стояли во дворе своего дома, было утро...

Была ранняя и теплая весна. В саду пели птицы, я открыл калитку и увидел, что передо мною чужой город... И тут же к калитке подъехал шикарный белый автомобиль. Из него выскочил Федор Федорович и с ходу закричал: – Скорее в машину!

Мы все трое кинулись к ней. Соня и Степанида сели позади, а я рядом с Федором Федоровичем. Только я захлопнул дверцу, как дом мой словно растаял в воздухе... И сада не стало. Осталось только утро и весна!

– Я снял прелестную виллу! На берегу моря! Вилла, которая была построена во времена Римской империи.

– Федор Федорович, так мы в Италии?

В Риме! Я так называю эти места. Машина помчала нас по чужому городу из белого камня. Это был вполне европейский город, где бездна машин, открытых кафе. Выехав за город, мы вскоре достигли моря. Попетляв по горной дороге, мы наконец подъехали к вилле. Огороженная белой каменной стеной, она была спрятана в тени деревьев. Только красная черепичная крыша была видна. Мы въехали во двор. Прямо у дома среди роз плескался ослепительно голубой водою бассейн. Белоснежные мраморные колонны, казалось, охлаждали воздух. Мы вошли внутрь. Красный ковер во весь пол холла скрадывал шаги. Посреди холла стоял телевизор с огромным плоским экраном.

– Ваша комната наверху, – сказал Федор Федорович. – А Степанида станет жить вон там! – и он указал ей на дверь. Испуганная, она ушла. Мы поднялись по широкой мраморной лестнице с античными изображениями богов на второй этаж. В комнате стояла огромная кровать, устланная белым пуховым покрывалом. На стене висели "Подсолнухи" Ван Гога... Это был подлинник! Огромное окно наполовину прикрыто жалюзи. Белый шкаф, полный всякой одежды.

– Ну вот, можно и отдохнуть, – сказал я, разделся догола, а одежду вышвырнул в дверь. То же самое сделала и Соня. Через пять минут мы спали... Я не знал, что Степанида, зайдя к себе, увидела, что ее комнатка точно такая, какая у нее была и раньше!

– Господи, спаси и помилуй!

С этого дня у меня была абсолютная свобода. По природе я не любопытен и потому пропустил мимо тот скрытый механизм, при помощи которого мы оказались на острове. Да, земля, на которой мы жили, была островом. Лазурное море окружало его со всех сторон, народ, живший на острове, был сдержан и никогда не вторгался в частные владения. Наша вилла стояла в трехстах метрах от моря, на высоком и крутом берегу. В этом месте не было пляжа, и море разбивало свои волны об огромные валуны. Далеко позади виллы сине-голубым силуэтом проступали горы, что стояли на другом берегу острова. Та часть суши, где мы жили, была застроена роскошными виллами, владельцев которых никто не видел. Над всей этой частью острова стояла первозданная тишина. Пахло морем, кипарисами и лавандой. Целыми днями мы с Соней купались в бассейне, гуляли по золотым песочным аллеям парка, одевались изысканно. И как говорила Степанида: "Если можно, то почему нельзя?" Белые полотняные брюки, рубашки, мягкие, ласкающие халаты. Завтракали на траве, ленчи, обеды в зале, дворецкий Джузеппе, горничные Алина и Розитта! Все пода-

валось, приносилось, исчезало. Помолодевшая Степанида носила легкие серые костюмы из тончайшей ткани. Соня посвежела, коротенькие жесткие волосы на голове чуть подвыгорели и вспыхивали на солнце золотистыми брызгами. Вечерами мы смотрели телевизор, но передачи были странными. Передавали новости из Кухландии.

Сегодня в Кухландии с утра шел снег, но к вечеру расцвела вишня, которую станут собирать ночью! Всем известно, что собранная ночью вишня имеет привкус крови иерусалимских ослов. Степанида, державшая с некоторых пор в сумочке записную книжку в твердом, слоновой кости переплете, записывала туда: "Надо будет выписать эту вишню. Помогает от ипохондрии!"

Или диктор делает испуганную физиономию, которая при этом становится похожей на лошадиную, причем такую, которую внезапно огрели по спине вожжами, когда та мочилась. Так вот, вытянув до нужных размеров физиономию, диктор вам сообщает: – Мистер Дэнэхью обвинил! Дэнэхью обвинен!

И тут же мы видим седую голову комментатора и журналиста, который рассказывает: – Вы, конечно, знаете о телемосте, который я построил из Америки, из моей любимой и несравненной страны, которая стоит на страже интересов малых народов, в страну русских, черт бы их подрал! Когда я сбежал с моста уже на их территории, я не увидел ликующие толпы. Правда, толпа была, но какая толпа? Серая, угрюмая, в плащах и с одышкой алкоголиков. Это не то что наша толпа! Всегда цветная! Всегда радостно настроенная, но в то же время готовая выступить против – социализма, нацизма, национализма, коммунизма, антисемитизма, расизма! Мы внимательны! Так вот! Мои любимые соотечественники, я обвиняю... У меня каким-то чудом не украли бумажник! Но я всем сердцем чувствовал, что его хотят спереть! – И тут Дэнэхью сменяет диктор: – В ответ на это русский Познер ответил: "Дэнэхью! Не сжигай мостов! Они нам нужны!" – И вновь лицо диктора: – Да, мосты нужны русским... По ним они доберутся до наших банков! – Тетюшинское радио, – с улыбкой продолжает дикторша, – сообщило об эмиграции известного в районе писателя Петра Петровича Богоурова. – Тут же идет фотография с моим изображением. Дикторша неназойливо продолжает: – Богоуров известен тем, что умеет описывать изнанки лопухов так, как никто другой в районе. Последние годы он жил затворником, и никто не знал, что он пишет. И вот сейчас он на свободе, но где и с кем, пока неизвестно. Все наземные силы полиции и милиции усердно разыскивают Богоурова! Комиссия по присуждению решила присудить ему!..

И все было бы хорошо, даже замечательно, если бы однажды я не почувствовал, что в моей душе распустился пышный цветок ностальгии... В это время и пришел, а вернее, появился Федор Федорович. Он пришел в момент, когда мы завтракали. Еще было раннее утро, легкий туман висел над аллеями парка. Дверь в столовую была открыта настежь, и я смотрел, как на крупных белых цветах роз повисли капельки влаги. И тут я увидел, как по аллее, поскрипывая песком, шел Федор Федорович. В белом дорогом костюме, в широкополой шляпе и в замечательных белых туфлях из тончайшей кожи. Он вошел, кинул в руки Джузеп-

не свою шляпу и, улыбаясь, громко сказал: – Вас не узнать, люди! Вы же прекрасной породы! Но подумайте, что я говорю: пре... и при этом думаю о цвете красном! Нет, вы просто прекрасны!

Федор Федорович сел к нам за стол.

– Джузеппе! – подозвал он величественного, как сенатор, дворецкого. – Бутылку красного "Фешо" урожая 1924 года.

– Слушаюсь, мессир, – поклонился Джузеппе.

Зеленые глаза Федора Федоровича поднялись на меня.

– Вас развеселит бокал вина! Кстати, вы сели работать?

– Работать?! – изумился я.

– Конечно! Ведь сейчас у вас есть все! И бумага, и свобода. Ваша любимая рядом с вами! – Моя любимая держала в руках бокал с апельсиновым соком. Тонкие, длинные пальцы обвили стекло, как виноградная лоза обвивает выступ дома. На свету рука ее казалась прозрачной и наполненной легким розовым дымом... Белая блуза с широким открытым воротом подчеркивала загорелую кожу лица и нежность линии шеи.

– А вы знаете, Федор Федорович, стекло, что раньше у меня стояло перед глазами, пропало.

– Я знаю, – сказал Федор Федорович. – Теперь оно на довольно почтительном расстоянии.

– Вы хотите сказать, что мы в аквариуме? – спросила Соня.

– Совершенно верно! – и Федор Федорович улыбнулся, обнажив крупные белые зубы, больше похожие на облицовку в ванной комнате. – Но согласитесь, что, живя на дне этого аквариума, вы не испытываете никаких тревог!

– А люди, что живут в том городе, внизу? – спросил я. – Как живется им?

– Никак! – все с той же улыбкой ответил Федор Федорович. –Их нет! Это декорация! Ну – кино! Понимаете?

– А что, солнце, море, зелень – тоже декорация?

– Конечно!

Вошел Джузеппе с бутылкой вина, налил немного Федору Федоровичу. Тот попробовал, подумал и согласился: – Конечно, это двадцать четвертый... Спасибо, Джузеппе! Налейте всем! После принесите нам этого же вина, но урожая прошлого года. – Джузеппе разлил всем вино и ушел.

– Степанида! – обратился к ней Федор Федорович. – Ты стала образцовой европейской женщиной!

– Так почему не стать, коли есть такая возможность.

– Совершенно с тобою согласен. – Он поднял бокал, приглашая всех нас выпить. Вино было прекрасным, чуть терпким...

– Федор Федорович! И это вино тоже?

– Разумеется!

И тут я увидел, что из-за кустов подглядывает Ладейщиков. Он стоял на четвереньках и смотрел на нас так, как, наверное, жители каких-нибудь Сиракуз на воскресшего! На лице читалось выражение собаки при виде обещающего хозяина.

Федор Федорович подозвал Джузеппе: – Послушай, видишь ты вон ту образину, что, испуская слюну, смотрит на нас из-за кустов?

– Иес, сэр!

– Поймай, привяжи на козлы на лужайке и выпори!

— Иес, сэр!

После завтрака Соня села поиграть нам, Степанида ушла погулять, а я и Федор Федорович остались на террасе поговорить.

— Что же вас вновь тревожит, Петр Петрович?

— Ностальгия!

Соня играла Чайковского, моего любимого Чайковского, и от этого вовсе нестерпимо жгло сердце и во рту появился полынный привкус.

Федор Федорович погладил меня по голове, потом жестко обхватил ее ладонями с двух сторон и больно повернул в сторону. То, что я увидел, меня потрясло... Я увидел себя...

В кальсонах, с желтыми пятнами от мочи вокруг ширинки, в грязной нательной рубахе, с улыбкой идиота, открывавшей беззубый рот. Это был я! И тот я бубнил какую-то мелодию, бубня ее себе под нос и плясал... Пытался изобразить чечетку!

— Это конец, — сказал я скорее себе, чем Федору Федоровичу, и грохнул об мраморный пол фужер с вином урожая прошлого года.

— Вино ужасное! — сказал я. — Оно пахнет тяжелыми частицами!

— Тяжелые частицы не пахнут... — сказал Федор Федорович.

— Нет, пахнут! — И, взяв бутылку, я швырнул ее в стекло!

И мир раскололся! По моим глазам прошла черная трещина. Из нее пахнуло ледяным ужасом... Бесконечность угадывалась через эту щель.

Тогда я схватил тяжелый серебряный прибор и его швырнул вслед за бутылкой! Вскочившая при звуке бьющегося стекла, Соня стала рассыпаться на моих глазах! Она распадалась на неровные плоские кусочки... И наконец вся ледяная грохнулась на меня, но, меня не задев, улетела в бездну, перед которой сейчас стоял и я. Но было странно, что я на чем-то держался. Вокруг стылый, напичканный звездами и созвездиями космос; Земля вертелась передо мною, излучая невиданный голубовато-сиреневый свет... Но Земля уплывала... На чем же я стою?! И я закричал:

— Федор Федорович! Неужели это смерть?!

— Нет... нет... нет... нет... — равнодушно мне ответило эхо. И тогда я увидел бесконечный серебристый путь. Я так и назвал его "путем". Путь этот бесконечной лентой вился, по-видимому, по всей вселенной. И я пошел по нему. И сколько я шел, не знаю. Земля становилась все меньше и меньше. И в тот момент, когда Земля превратилась в маленькую фиолетовую искорку, я и встретил Федора Федоровича. Только сейчас он стоял в длинной монашеской рясе.

— Федор Федорович, уж не смерть ли это?

Он посмотрел на меня своими зелеными глазами и ответил:

— Смерти нет. Есть гибель формы. Разрушение ее.

— Расскажите мне, что со мною происходит? Где я?

— Ты там, где ты есть. И не спрашивай, а познавай. Смотри и учись! Учись и учи других.

— Ты злой или добрый?

— Ты мыслишь земными категориями. Прощай! Когда придет время, знай, что ты дошел до этого места. Дальше ты пойдешь один. Так было и так есть во всем. Ты выбрал путь к познанию Великого Архитектора Вселенной. Ты познаешь его, познавая се-

бя. И я также стараюсь угадать его. Ведь и я способен любить и жалеть. Но у меня нет чувства ненависти. Вот оттого-то во многом я не понимаем. Так ты запомнил? Во второй раз, когда мы с тобой встретимся, я буду на этом же месте...

– Не покидай меня... – сказал я Федору Федоровичу.

– Не бойся. Я буду с тобой!

Федор Федорович откинул голову и стал смотреть вверх. Потом словно кто-то взял и резко отодвинул его от меня. И он скрылся далеко-далеко! Я повернулся и увидел свой дом. Вернее, я стоял во дворе своего дома, была ночь, лаяли собаки, а на кухне тепло горел свет. Я вошел в дом. Под лампой сидела Степанида и штопала мою майку. В доме было тихо, пахло гречневой кашей и воском. Увидев меня, Степанида вначале уткнулась в фартук, а после уж мы обнялись.

– Где же ты так долго пропадал? Цельну зиму дома не было! А домишко-то худеть стал. Надо, покудова будет тепло стоять, ремонт ему дать!

– Дадим, Степанида!

После мы садимся за стол, и Степанида продолжает: – На могилке Прокопа к родительскому дню цветков насеяла. Да твоим родителям цветков насеяла. Сейчас-то уж взошли!

– Как Соня?

– Сказывают, что должны вот-вот отпустить, ну да ты знаешь, как у нас. Не дай бог поверить. Максим Матвеевич, тот каждый день спрашивает. Китайский диван приходил, так я его на порог не пустила. Уж больно настырен!

– А ему-то что надо?

– Я, говорит, такое знаю, такое, что только могу ему, тебе значит, рассказать. Так ведь на нем, на паразите, спать придется! А кто на нем ни спал, еще заразимся каким аспидом! О, господи, пронеси и помилуй! Нет, жили мы себе потихонечку и жить станем! Горя всякого много перевидели... Ой! Тебе же еще и письма пришли. Из-за границы есть!

Степанида принесла мне целую охапку писем. Я их взял и пошел в кабинет. С вегинских пейзажей на меня глядели мои глаза... Одно письмо было из Парижа.

"Уважаемый господин Богоуров!

Парижская фирма "Этьен" приглашает Вас посетить выставку русского женского белья 40 – 50-х годов нашего столетия. Оплата проезда, а также пребывание в Париже за счет фирмы.

С уважением,
президент компании "Этьен"
господин Ладейщиков.

P. S. Петька, приезжай!"

Я выскочил на кухню.

– Степанида! Разве Ладейщиков эмигрировал?

– Черт его знает. Он же сбежал за границу! А чо он там инделал, я не знаю.

– Как же он умудрился?

– Так черт его знает! Поехал со своей бабой у Югославию. Да где-то ее и бросил. Так, сказывают, что сразу же и женился, как убежал! Какую-то взял старую да богатую. Не то армянка, не то еще какая. Богатая, одним словом.

Я вернулся в кабинет несколько потрясенный! "Экая скотина! – думал я. – Нашел ведь способ жить! – И тут же спохватился. – Уж не завидую ли я?! Кому?! Ладейщикову... Все равно он скотина!" Утром, по обыкновению, я проснулся рано, спустился в кабинет и увидел, что листочки на березах у дома развернулись. Березки стояли словно в легком зеленом дыме. Я сел за бумагу и подумал, что картошку в этом году я не посадил! И не копал я ее... Вот, подлец. Потрачено время, а на что потрачено? Собственно говоря, что приобретено?

Я вышел из-за стола и, накинув куртку, подался за ворота. Мимо проскрипела разбитая карета Хлестакова. Тот, завидя мою физиономию, велел кучеру остановиться.

– Петр Петрович! Я вас попрошу уплатить семь рублей восемнадцать копеек за порчу решетки!

– Сан Саныч?! – возмутился я. – Это все вымысел. Ведь в этом ни капли правды...

– Знаю! Ни капли правды, ни капли таланту, а платить придется. В противном случае – через суд! – После этих слов он подмигнул мне левым глазом и почти шепотом сказал: – Это для лошади! Она у нас, знаете, такая скотина! Не приведи бог! Навострилась, тварь, жалобы писать! И пишет во все инстанции! Так что вы к вечеру подходите, у меня две бутылочки есть!

Скрипя всеми свинченными и склеенными местами, карета покатила к психушке.

– А может, и в самом деле воспользоваться приглашением да и махнуть в Париж?! Потом за счет фирмы...

Я вздохнул и вернулся в дом. За стеклом моего кабинета текла жизнь маленького городка...

Солнце еще не встало, еще догорает светлая утренняя звезда, воздух становится прохладней, и на крыши домов выпадает роса...

Раиса РОМАНОВА

ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ

Проходят века и годы.
А в мутной водице рыбка
Плодится, не иссякает, –
И спорит числом с рыбаками...

Стою–стою у колодца, –
А сруб замшелый, ослизлый...
Сидит на бревне лягушка –
И пялится, не моргая.

Того гляди, мой колодец
Затянет сначала ряской,
Потом его сруб осядет –
И чистый ключ заилеет...

Погонит в поля родные
Поток и ленивый, и мутный,
Где станет теплей плодиться
Любой хладнокровной твари.

Так что ж стою у колодца?!.
Схватить лопату, ведерко,
Багор!.. Или я умею
Глядеться в мутную воду?!.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ – ГЕРБ МОСКВЫ

И дивно, и странно
Твой вспомнился герб!..
Москва! Осиянна
Ты долей великой!
... Вздымается змий –
Человечества горб...
Звенят его кольца
В толпе многоликой.

Все маршалы
Жезлы подъемлют свои.
Но только один
Будет взыскан судьбою!
... Взгремела брусчатка...
Бескровны бои...
Качнулось и рухнуло
Время рябое.

Георгий выходит
На белом коне,
Победы копье
Над пространством
Возносит...
И Время молчит
В предзакатном огне.
И мир
Его мощи и помощи
Просит...

Но память застыла:
Всё видим:
Копье,
и щит,
и чудовище...
Медлит Георгий!..
Долга эта пауза!
Выждем ее! –
И герб воссияет
Над городом гордым!

* * *

Лютое время!
Лихие дела!
Вражьего семени
Поросль взошла.
Алые зори
Всё кровеней.
Прошлое горе
Нынче видней.

Да́вней неправды
Вскрывшийся свищ.
Дом мой разграблен.
Родич мой нищ.
Нет высшей меры
За эти дела.
Только и веры,
Что в колокола.

ВЕЛИЧАНИЕ ПЛОТНИКА

... Выше стропила, плотники!..
Сафо.

Я стану петь не каменщика – пло́тника! –
По давешней традиции Земли! –
Веселого и мудрого работника,
Чья песенка теряется вдали
Веков и далей – и над расстояньями
Меж главных и неглавных площадей
Взлетает золотыми изваяньями
Из дерева – без скоб и без гвоздей.
Они еще не высмуглены временем.
Еще их много по святой Руси.
Не траченны ни татарвой, ни племенем
Иным разбойным... (господи, прости!)
Гляжу, как рукава его засучены:
Работает и споро и легко!
И очи – духа светлого излучины –
Блестят азартно, видят далеко.

И с кровли неспесивой сей обители
Он видит, как редеют клочья тьмы...
... И перспективы, в общем, утешительны:
Еще под этим взглядом живы мы.

* * *

За горестные речи
Поношенья,
Что в трудный час
На душу налегли,
О, сотню раз
Я попрошу прощенья
У дорогой
Растерзанной земли.

Так добрый,
Но балованный ребенок
Прикрикнет
На растерянную мать...
Она простит; ведь знает,
Что с пеленок
Учили деды
Землю понимать.

И я пойму, –
Пройдя ее ухабы,
Колдобины ее и колеи:
Кровь помнит,
Как уродовались бабы
За крохи хлеба скудные
Свои.

И память, терпеливая,
Поправит,
И окриком,
И лаской укрепит.
И слово новорожденное
Правды
В моей строке
Слезою окропит.

Игорь НИКОЛЕНКО

ПОЗНАВАНИЕ ВЕДЬМ

Роман

I. НЕКОГДА

В путь

Вика, активно участвовавшая в жизни школы и победившая в смотре-конкурсе "Родной край", получила путевку в Артек. Девятнадцатого сентября она села в поезд и покатила. "Вот, едет – а прочие учатся, учатся, учатся, едет..." – стучали колеса. Вика тогда, приколов комсомольский значок, подходила к окну, чтобы с улицы ее видели школьники и завидовали. Весь вагон ехал веселый и говорил про таинственные Геленджик, Ялту, Мисхор и Анапу, про пляжи песчаные и каменистые, про медуз, стройные пальмы и чудо-плоды фейхоа, золоченные солнцем.

Делалось все теплей и теплей, и все больше старушек бегало по перрону с корзинами слив, винограда и яблок. За Мелитополем далеко заблестели морские заливы.

И вдруг поезд остановился.

Была ночь, и сначала все спали, потом стали спрашивать, где стоим; наконец, вспыхнул свет, поднялись гвалт и гомон. Проводники говорили, что впереди поезд, перед которым застрял другой поезд. Смелые пассажиры и Вика, спрыгнув на насыпь, пошли разузнать, что и как, предводительствовал же моряк из Дудинки. А ночь была душная. За передними поездами гудела толпа и подпрыгивала, чтобы что-то увидеть. Бегали возбужденные машинисты и маленький милиционер.

– Очистить фарватер специалисту! – гаркнул моряк из Дудинки и двинулся сквозь толпу. Вика влезла на крышу вагона и рассмотрела вдали еще поезд, оставленный пассажирами. А луна серебрила им головы.

– Что? Что? – бросились все к моряку из Дудинки, когда он вернулся.

– Вертаемся, значит, домой.

– Поезд, что ль, опрокинулся?

Моряк из Дудинки убил на себе комара и закончил: – Нет теперь Черного моря и полуострова Крыма. Вакуум вместо них.

– Что заливаешь-то!

– Северный флот не лжет: у него самого в Ялте старушка мать, ясно?

Вика разволновалась и громко сказала: – Азовское море есть, а Черного с Крымом нету?

– Одна Арабатская стрелка от Крыма осталась, сестренка.

– А как же Артек?

– Я тебе врать не буду. Давай руку. – Моряк из Дудинки подвел Вику вперед, где было видно Азовское море, плескавшееся в Арабатскую стрелку, и ничего больше.

Народ постоял-постоял, сел в вагоны, и поезда дали задний ход. Многие в Мелитополе вышли, чтобы загорать и покупаться хотя бы в Азове. А Вика поехала восвояси и не вставала от огорчения с верхней своей полки. "Делу время – час потехе, час потехе, час потехе..." – дразнились колеса.

Вика вернулась в степное свое Ставрополье и стала ходить в школу. Учиться уже не хотелось, зато она часто слушала радио, отыскалось ли Черное море. Но дикторы говорили, что как воды сгинули вместе с курортами и побережьем, так до сих пор не находятся. Вика вздыхала, усаживалась на крыльцо перед домом, грустила. Кругом были степь и поля, да отары овец, да холодное солнце. Ветры в ту осень исчезли, перекати-поле застряли какой где. Один из них, с Вику ростом, уткнулся в сарай и мешал проходить. Чтобы не наколоться, Вика надела перчатки и потащила его к выгребной яме. Когда они удалились от дома и их никто не мог слышать, Перекати-Поле вдруг заорал:

– Что я тебе сделал, что ты меня тянешь к помойке?!

Вика его отпустила и отскочила.

– А что ты лежал и мешал проходить?

– А ты дай мне ветер, и я укачусь от тебя с удовольствием.

– Ветра не будет. – Вика вздохнула и стала носком ковырять землю. – Черное море пропало, и по законам физической географии ветер не может родиться.

– Эх-эх! – Перекати-Поле заплакал. – Тогда оттащи меня хоть под стог сена, и там я умру, как благородная флора, потому что, сама пойми, в мусоре нехорошо умирать. Когда нет ветров, мы – перекати-поле – умираем. – И он заплакал каждой своей колючкой.

– Может, тебя в сарай отнести?

– Не желаю в сарай! Ты сама поживи в темном сарае! А ведь могла бы помочь мне: могла бы катать меня по белу свету – вон какая здоровая!

– Тогда бы я стала не человеком, а двигателем. – Вика обиделась и пошла было прочь, но Перекати-Поле вцепился в нее с криками:

– Стой! Стой! Я придумал! Иди искать Черное море, а я с тобой. Ты ведь – я знаю, я наблюдал за тобой! – погрозил он ей мощной колючкой, – стала недавно комсомолкой, и где, спрашиваю, твоя активность? Не совестно?

Вика и возразить не могла.

Утром она притворилась, будто она идет в школу, а за коровником повернула и побежала к Перекати-Полю. Они поздоровались.

– Я решилась.

– Давай тогда. Живо, живо, чтоб не заметили твои злые родители, каковые пинают меня каждый раз, проходя мимо, как будто я каменный!

Вика надела перчатки и побежала, подталкивая товарища, по дороге, а на холме уже падала от усталости.

– Ранец скинь! Ранец! – орал Перекати-Поле. – Отец твой сядет на мотоцикл и нас догонит, если ты будешь ползти, как улитка!

– В ранце нужные для путешествия вещи, – сказала она, задыхаясь, – и комсомольские книжки, чтобы читать и воспитываться.

– Тогда... – Перекати-Поле задумался. – Полезай в меня и, если покатимся в гору, беги во мне, будто ты белка в колесе, а если под гору, ты садись на свой ранец, который повесишь на палку, которую пропусти через мой центр.

Вика влезла в товарища и побежала. С вершины холма она ехала, сидя в ранце, только ей было тряско, так как она геометрию знала неважно и центр вычислила неточно. Под вечер они проезжали отару баранов, и те, окружив их, загородили путь. Мудрый старый вожак сказал:

– Бе-э-э! Смотрите! Все травяные шары неподвижны, а этот бежит. Надо съесть его, очень вкусный, коне-э-эчно! – И он подступил.

Вика, раздвинув колючки, прикрикнула: – Убирайтесь отсюда! Не видите разве, что я человек!

– Ты человек? Бе-э-э! – засмеялся Вожак. – Человек – это тот, кто ходит с ножницами и стрижет нас. Верно я говорю?

– Ве-э-эрно! – сказали бараны. – А это не человек, потому что не ходит с ножницами.

Тут подъехал пастух, что сидел необычно – у лошади на боку.

– Ты не спорь с ними, девочка, – сказал он. – Что им взбредет в головы, то они делают. Выдумали, что пастух – это тот, кто сидит на лошадином боку, и я должен так ездить, чтобы они меня слушались. Измучился я от такой езды и, наверно, уйду на пенсию.

— Бе-э-э! Хороший пастух! — рассудили бараны. — Давайте же есть эти штуки, которые к нам прикатились!

— Постойте! Постойте! — воскликнула Вика и быстро достала из ранца свои маникюрные ножницы, так как ей было почти четырнадцать лет и она была почти девушка. А бараны перепугались и выстроились рядами.

— Пришел челове-э-эк, сразу видно!

Она подошла к Вожаку и остригла его догола, сохранив только подштанники, после чего объявила:

— Пастух — это тот, кто сидит у лошади на спине.

Бараны испуганно повторили.

Обрадованный пастух поместил седло лошади на спину.

— Ты помогла мне, и я хочу тебя отблагодарить, — сказал он. — Говори, в чем нужда?

— Мы ищем украденное Черное море и Крым, — сказала Вика. — А куда ехать — не знаем.

Пастух осмотрелся и наклонился к ней: — Я скажу тебе тайну, которую никому не скажу, чтобы меня не назвали лгуном. Слушай. Я пас отару близ Каспия и услышал, как Каспий захохотал и сказал: "Я теперь самый [illegible] море в Советском Союзе". Езжай-ка ты к Каспию и спроси у него. Что-то он знает!

Уже в холода подкатили они к побережью и обнаружили только лед.

— Опоздали! — орал Перекати-Поле. — Из-за того, что ты читаешь каждый день свои книжки и [illegible], когда надо бежать!

— Море замерзает только до Махачкалы, — сказала Вика, — и никуда от нас не уйдет. — После чего, как обычно, она вынула из ранца книжку и стала читать, да увлеклась так, что [illegible] и, раскрасневшаяся, погрозила невидимому врагу кулаком.

В Махачкале рыбаки переучивались на шоферов и рассказывали, что Каспий застыл до Баку. Из Баку пришлось мчаться до Ленкорани, где слышались страшный треск и ворчание. Там Каспий натягивал на себя ледяную попону с вмерзшими кораблями и был недоволен. Только у Астары, на иранской границе, Вика увидела зыбкие его волосы и глаза под бровями из [illegible] и закричала:

— Скажите, где Черное море?

Каспий метнул в нее вал и рявкнул: — Кыш! Голову я упер в Бендер-Шах, а ступни — в Астрахань. Я усну до июля, и посмотрим, как вы попрыгаете без меня!

Тужась, он вновь потянул на себя лед.

Перекати-Поле с воплями уколол его.

— Это ты украл Черное море, и по законам физической географии мои братья не могут кататься по свету!

Каспий валом достал путешественников и подкинул их в небо.

– Делаю, что хочу, и допросчиков мне не надо! Любили вы Черное море с гаграми и магаграми, а теперь уважайте меня и называйте меня по-старинному: Понт Гирканский. Не то пролежу подо льдом тыщу лет, так что негде вам будет курортничать! Чтоб к июлю меня окружили красивыми пансионатами в два ряда, не то... Я волшбе обучался у древних магов! Я вам не только... Я вас вообще... У-ух!! – Размахнулся он и зашвырнул их под самый экватор.

Кунцевский Прохиндей дома и на работе

Прохиндей встал в три ночи, вынул из холодильника ящик-посылку и, пройдя в спальню, сел под лампой. Слышался шум прибоя. Он приложил к ящику ухо и спел: "Утомленное солнце! тихо с морем прощалось! в этот час ты призналась! что нет – любви!" Он отстранился и прочитал адрес на крышке: МОСКВА КУНЦЕВО ПРОХИНДЕЮ ОТ ПОНТА ГИРКАНСКОГО. Он убрал крышку и, вдохнув запах пальм и магнолий, поднес ящик к свету. Блеснуло раскинувшееся в своих берегах Черное море. "Мисхор... – прошептал Прохиндей, вглядываясь в южную часть Крыма. – Здесь я бывал еще мальчиком. Мы много пили и ели, и папа-Проныра учил меня жить. А, Пицунда, где я бывал с друзьями. Мы много пили и ели и спорили, кто из нас станет большим человеком... Одесса! Мы пили и ели с любимой на Дерибасовской, но не так много, как тот человек за соседним столом, и любимая с ним ушла. Глупая Соня!" – выговорил он громко и прослезился.

Дверь отворилась, вошла девочка, пухлая, в модном халате.

Он моментально убрал ящик за спину. Было слышно, как шумит море.

– Что у тебя там, папуля? – спросила девочка, подходя медленно.

– Эллочка, иди спать, ничего у папули нет! – отвечал Прохиндей, отодвигаясь. – Папуля сейчас будет спать...

– Атас, спать? – девочка стала щипать Прохиндея, чтобы он развернулся, и говорить: – Если сейчас ты не скажешь – атас, я устрою истерику. Я упаду, буду визжать и кусаться, буду визжать до утра.

– Ты уже в восьмом классе... не совестно?

Эллочка отскочила, встряхнулась и взвизгнула на весь дом. Прохиндей дернулся, перепуганный, и она, увидав, прыгнула к ящику.

– Атас!

– Тс-с-с! – зашипел Прохиндей и забегал, прислушиваясь. – Кто узнает – конец!

– Папуля, какая ты прелесть! Это ты мне купил? – Эллочка отошла к лампе. – Как пахнет! Я узнаю Карадаг! скалу Сфинкс! Черное море, которое пропало! Теперь Аське нечего хвастаться своей новой шубой, а Греку своей иностранной машиной, которая у его отца. Я им сейчас позвоню всем, пусть попрыгают...

– Эллочка! – Прохиндей подскочил к телефону. – Стыдно слушать! Как можно сравнивать Черное море с какой-то машиной! Это – миллион машин... миллиард самых лучших машин!

– Атас!! – взвизгнула от такой новости Эллочка.

– Да, миллиард. Потому что... традиции, наконец, – подыскивая слова, Прохиндей сделал паузу. Кончил он институт, но давно отвык от сложных умопостроений, так как работал официантом в большом ресторане. – Славная, так сказать, у этого водоема история, – продолжал он. – В Ялте, ты знаешь, жил Чехов... Грин где-то там жил. Лермонтов про Тамань писал, вы изучать будете. Ушаков разбил турков, а в годы Великой Отечественной войны, в период с тысяча девятьсот сорок первого по тысяча девятьсот сорок пятый, советские воины проявили невиданный героизм и подвиги, благодаря чему Черное море сейчас в твоих руках, а не какое-то там зарубежное.

Эллочка опустила концы пальцев в воду, потом подушилась пахучими каплями и заявила: – Папуля, про Лермонтова я без тебя выучу, а этот ящик будет стоять у меня перед трюмо, это будут мои духи. Атас, а не то я сейчас как завизжу...

– Ту-ту-ту! – замахал на нее Прохиндей. А когда дочь уснула, он перенес ящик назад в холодильник, бурча под нос: – Духи, милая, купим тебе французские. Эта водичка нам для других планов. Папуля твой так устроит, что будет большим человеком. Таким большим, как... – Закрыв холодильник, он выскочил из квартиры на лестничную площадку, открыл мусоропровод и прокричал в трубу: – Как Рокфеллер и Крез, будет этот пронырливый человек, который умен и которого бросила Соня, которая пожалеет и даже вернется к которому!

Он в трубу кричал часто от переизбытка чувств.

Утром он выехал на работу, машину оставил у МИДа, будто он дипломат, и зашагал по Арбату серьезный и деловитый; только вошел в ресторан, раздалось: "Интуристы пришли!" Он влез во фрак и, тряся фалдами, полетел в зал обслуживать. Жирный попался турист! Он сидел на двух стульях, он пожирал блюдо за блюдом и на груди имел карточку: Воротила Финансович. Прохиндей, трепеща от волнения, подал десерт и шепнул:

– Вэри гуд, сё. Есть большой бизнес.

Воротила Финансович вскинул глаза. – Я есть из Америка не

шутить! Делай деньги! Сколько ваш бизнес – два, сто рублей? Тьфу!

Прохиндей, заставляя поднос грязной посудой, выдавил: – Сто миллиардов, – и убежал. Потому что уже на них стали коситься. А лучше иметь вещь, пусть непроданную, чем не иметь, что продать. В полночь он покидал ресторан возбужденный и, проходя мимо длинного "форда", услышал:

– Итак, сделка-бизнес?

Его манил Воротила Финансович.

Только сунулся Прохиндей к дверце, как засвистел милицейский свисток. Он отпрянул и, взмокнув от страха, пошел по пустынному тротуару сквозь ветер и снег, освещаемый яркими фонарями. "Форд" тронулся следом, и Воротила Финансович, высунувшись, закричал:

– Вы есть обманщик! Я жалуйся в МИД!

Остановилась какая-то пара прохожих, а милицейский патруль обернулся на крики.

– Я здесь не могу! Большая тайна! – залопотал Прохиндей, ускоряя шаг.

– О'кей! – Воротила Финансович поддал газу. – Я на проспекте Калинина разгоняйся и превращайся в ворона. Вы тоже так разгоняйся и превращайсь. Летим тихий место беседовайт бизнес. – И он умчался.

А на Калининском было светлей и чуть-чуть оживленней. Блестел, отражая бегущие автомобили, асфальт. Испуганный Прохиндей, услыхав свист, на другой стороне различил Воротилу Финансовича, каковой, помахав ему, побежал вдруг от белой церквушки, путаясь в полах черной шубы. А у аптеки он заплескал вдруг руками, потом подлетел и, ворона вороной, начал кружить над проспектом, покаркивая. Прохиндей, оглядевшись, снял шапку и побежал тоже, но поскользнулся и шлепнулся, извозив в слякоти брюки и плащ. Разоржались фланирующие юнцы. "Дядька в винный торопится!" Прохиндей затрусил тогда медленно и прилично, краснея и думая, что вот в сорок лет разбега́ется, чтоб... превратиться в ворону! и, может быть, заберут его в психдиспансер. Взмахнув раз руками, он застыдился совсем и свернул в переулок, делая вид, что не его догоняет жирнющая злая ворона, которую стали ловить проходившие тут забулдыги. Во тьме меж домами ворона напала опять и ругалась так грубо, что Прохиндей, заткнув уши, пустился бегом и ударился вдруг о метлу, на которой неслась ведьма по имени Алгаритма, так что другой конец наверпул Воротилу Финансовича. Все трое грохнулись на асфальт, поползли кто куда. Подоспевшие забулдыги схватили ворону и только хотели идти, как заметили остальных. – Что за пьяные? В вытрезвитель их, в вытрезвитель давай!

Первая вскинулась и помчалась прочь, кутаясь в простыню

Алгаритма, за ней – Прохиндей. На Арбате сквозь суматошный заснеженный свет разглядели они незакрытую форточку, проникнулись в нее и притихли. Выскочившие из-за угла забулдыги переговаривались: "Где они? Здесь должны быть... Девка-то в простыне... А другой-то вроде бы иностранец". – "Иностранец есть я, – высунувшись из сумки, сказала ворона. – Я буду жаловайт МИД! Дрянной русский бизнес! Я забывайт от удара слова превращаться обратно. Вы нужно нести меня "форд". Ухахатываясь и поддразнивая Воротилу Финансовича, забулдыги ушли.

Прохиндей, застонав, рухнул в кресло, что было тут, в комнате. – Международный скандал! Я есть соучастник... Матушки-светы!

– Молчите, – заметила ведьма, и Прохиндей, вспомнивший про нее, подскочил, увидав на квадрате фонарного света, лившегося в окно, белый ком в прядях черных волос. – Они продадут вашего друга в цирк и ничего с ним не сделают.

– Я наслышан о вас... я пошел. – Прохиндей вспрыгнул на подоконник, влез в форточку первой рамы, застрял и стал звать громко милицию. Алгаритма немедленно отвела створку рамы вовнутрь, захлопнула внешнюю форточку, и Прохиндей, осознав, что старается зря, умолк.

– Что вы кричите? – сказала она. – Я ведь могу вылезти в скважину и сбежать, а вас здесь застанут – инкриминируют ограбление.

– Боже мой!.. Вытащите меня отсюда!

– Об вас я могу поломать мои ногти (увидев которые Прохиндей ссдрогнулся). И вам будет лучше висеть там до завтра, а завтра хозяева этой комнаты посмеются и вас отпустят.

– Где я?

– В отделе поэзии альманаха "Кваква".

– Угодил-то! – вскричал Прохиндей и забился всем телом. Потом он обмяк и заплакал. – В мои сорок лет висеть здесь, будто ковер на заборе... Ы-ы-ы! Дожидаться, когда придут эти писаки и пропечатают!

– Никто вас не пропечатает. – Алгаритма вытащила из шкафа папку-вторую и кинула их на стол, говоря: – И березка во поле... Гуденье завода с душой в унисон... Помнится время суровой годины...

Папки плюхались и выплескивали в Прохиндея здоровый и действенный оптимизм, временами по-рыцарски уступающий место восторгам, печалям, а также волнениям ищущих большой любви дам и убеждениям передовых замов отсталых начальников. Грохотали заводы, пахались поля, и наполненные метро уносили людей на работы, отмеченные борьбой мнений, конфликтами и страстями. А чтобы торчал человек в форточке или какой-нибудь там нач. бюро потерял нос – этого не было. Это ведь не

реальность, следовательно, не возбуждает эмоций, которые есть обязанность литературы, следовательно — невозможно, — закончила Алгаритма.

— Хватит в меня этим брызгать! — вскричал Прохиндей. — Я с вами да с этой вороной страхов таких натерпелся, а это, оказывается, не реальность! Тогда почему я торчу в этой форточке, а вы — не знаю, как вас по отчеству — брызгаете в меня водой из этих папок?!

— Ивановна.

— Так вот по мне, — продолжал Прохиндей, — лучше жить в той их реальности и не терпеть всяких ужасов, чем так волноваться в этой вот нереальности, о какой, слава богу, не пишут. Я скромный официант и...

— Ах, вот оно что! — прервала ведьма, складывая папки в шкаф. — Вот оно что. Вы не скромный официант, а неосвежеванный хряк, которого я сейчас опалю и сожру сырым.

Прохиндей ощутил дурноту и подвигал ботинками. — А... Алгаритма Ивановна, да вы что? У меня паспорт есть.

— Одним брюхом живет, понимаете, а туда ж, в люди. — Она села в кресло и закурила. — А ну, хрюкни.

— Хрю, — сказал Прохиндей. — Хрю. Люди разные, Алгаритма Ивановна. Вы вот летаете на метле, кто-то там на заводе работает, я по способностям официант, хрю и хрю... — Говорил он еще полчаса, полагая, что доводы произносит в защиту свою неотразимые. Вдруг она, вытянувшись, отвела створку рамы, и он, ткнувшись в стекло внешней форточки, замолчал.

Ведьма быстро заснула, а утром при щелке замка пробудилась и молча смотрела на человека, который вошел. Плотно сбитый, живой, тот, должно быть, держал руку на пульсе эпохи и пересказывал, видимо, всю поэму ”Гул времени” наизусть и в обратном порядке, выбрасывая на ударных слогах кулак вверх, оттого вид имел бодрый, уверенный. И еще он всех видел насквозь.

— Пам-пара... — спел он, снимая пальто. — Поэтесса?

— Ага, — дурой представилась Алгаритма.

— А это ваш почитатель? — кивнул человек на окно, начиная копаться в каких-то бумагах, что были навалены на столе.

— Хрю, — сказал Прохиндей. — Хрю и хрю!

— Он будет дурачиться сами знаете до каких пор, — вставила ведьма. — Пока меня не напечатаете.

— Простыню нацепили, чтоб выделяться? — спросил человек, отходя покопаться в шкафу. — Пишете про любовь?

— Про любовь очень много стихов, — запищала она, представляя огромную папку, — но есть про родную природу и производственная тематика. Вы без меня не поймете, так как моя стилевая манера своеобычна, Федор Иваныч.

– Я На-Гора́, Александр Матвеич, – сказал он не оборачиваясь. – Оставьте ваш адрес, я вам позвоню. Скажите ему, пусть вылезает из форточки.

– Хрю! – вскричал Прохиндей и поерзал.

– Только звоните мне ночью, – жеманничала Алгаритма. – Днем я творю, понимаете? А живу я здесь рядом, в проулке. Маленькая мансарда в стиле ретро... Ах! обожаю ретро. Мы сядем под абажуром и будем беседовать о по-эзии и ис-кус-стве. Московские дворики снегом покрыты... Ах, свежесть и сила, свежесть и сила! Хоть до утра. Понимаете?

– Понимаю.

– Хрю!

– Могу я надеяться?

– В следующем номере – нет, – честно сказал На-Гора, описав взором кривую по простыне, в коей была гостья. – Никак. Полный шкаф рукописей, очередность. Может, я нынче же вам позвоню.

– Не прощаюсь тогда, не прощаюсь, – сказала она, вставая. – А в шкафе мне нет конкурентов. Вы понимаете?

– Понимаю, – галантно кивнул На-Гора, и в мгновение это ведьма протиснулась в скважину, так что осталась одна простыня.

"Дура. По-эзии и ис-кусстве... – подумал всезнающий человек. – Но смазлива и обитает поблизости". Волосы у него поднялись возбужденно при этой мысли, он взял оставленную ею папку, чтобы узнать ее имя и позвонить через час. "М. Цветаева. Из неизданного". Усмехнувшись, он медленно потянул за тесемку. Страницы зашелестели под толстым пальцем. Раздался звонок. "Саша? Эт' Перекриков". – "А-а! Заходи, сдаем верстку. Отлично написано, знаешь, по-боевому, как любят". – "Лады. Ну, бегу". На-Гора, бросив трубку, стал лихорадочно вспоминать, кто бы сделал ему фотокопию "М. Цветаевой..."

– Хрю!

Дз-з-з-з! "Слушаю". – "Александр Матвеич? Я от Ухерина. Петр Ильич просил выяснить..." – "Знаю, о чем вы. Сильная, искренняя поэзия! Передайте Петру Ильичу... Нет, я сам зайду, как только будет верстка. Я поражен! человек, поглощенный, можно сказать, государственными масштабами, с такой мощью выразил себя в слове. Совершеннейшее почтение от меня, На-Горы, уважаемому Петру Ильичу".

Он положил папку в стол и отбежал к шкафу за злободневной текучкой, где и застыл на мгновение, а потом стал выкладывать папки на стол, бормоча: – Данте, неизданное; из неизданного Вэ Хлебникова; Блок, из неизданного... Что за бред? А где Риммы Синичкиной "Слушаю душу"? "Трубы на Енисее" Песчинкина? Петр Ильич где с "Записками..."?

Он заметался по комнате, переворачивая стопы рукописей.

– Хрю же!

– Вы здесь? – подскочив, На-Гора выкорчевал Прохиндея из форточки и схватил за грудки. – Хватит валять дурака! Быстро, где рукописи?

– Видимо, хрю-хрю-хрю...

– Хрю, черт вас побрал! Что мне печатать?! Этого вашего Хле... хлам этот ваш?! Ваша фамилия не Подсиделов, хрю?! А давайте в милицию, разберемся, что вы тут ночью делали! – Он поволок было хрюкавшего Прохиндея, но вдруг, отскочив к телефону, набрал номер ведьмы, услышал: "Але? Цирк слушает", – и потащил Прохиндея с удвоенной яростью. Так как в милиции оказалось, что оба – истец и ответчик – визжат, их попросили дохнуть в алкогольные трубки и, убедившись в их трезвости, выпроводили на улицу. А на работе и Прохиндею, и На-Горе дали отпуск. Несчастные зачастили к знакомым жаловаться, но, поскольку им явственно чудилось, что они говорят, а внимавшим – что хрюкают, объяснений не получалось. Больше того, скоро многие по Москве вдруг захрюкали, сами того не ведая. От хрюистов спасались, чтобы не расхохотаться и не обидеть, и отвечали им наугад и уклончиво, предпочитая общаться с нехрюкавшими, чье число сокращалось стремительно, так что в конце концов не затронуты эпидемией оказались всякие оригиналы и дети. Старые телефоны стирались за невозможностью общения, новые же – записывались.

Только что Прохиндей в раздражении надавил кнопку лифта и полетел от квартиры давнишнего друга, которому битый час изливал душу, взамен удостаиваясь скотских звуков и вида смущенно опущенных глаз. "Господи! надо срочно продать товар и бежать из свинарника!" – произвел он подобие мысли и вспомнил, что ведьма указывала на цирк как место, куда попадет Воротила Финансович.

Верно, не так давно цирк приобрел говорящую птицу, ворону, однако такую скандальную и упрямую, что был вынужден, после того как она провалила весь номер упорным молчанием, перепродать ее в зоопарк. Прохиндей срочно отбыл по новому адресу. Прочь, слоны и жирафы, киты, львы и грифы с томящимися подле вас почитателями царей! К сетке, замкнувшей немногих каркуш на ветвях старой липы, всегда одиноких.

– Хрю!

Воротила Финансович высунулся из пожухлой листвы, присмотрелся и подлетел к посетителю.

– У меня Черное море! Я хрю! – выпалил Прохиндей, но тотчас испугался и оглянулся.

– О, я вам верь! – поклонилась ворона. – Однако желайт

убеждаться, прежде чэм обсуждайт бизнес. Вы ночью рви сетку, вместе идем вам домой. Йес?

– Хрю. Хрю-хрю-хрю, – лопотал Прохиндей отстраняясь, ибо на человеческом языке это значило: хорошо, я приду где-то в полночь.

– Вы есть насмехаться? – спросил Воротила Финансович и заметался вдоль сетки с противными криками, привлекая народ. – Отвечайт: да или нет? Что вы: хрю? Вы двойной игра?

– Хрю! – выпалил Прохиндей, убегая и мысля, что с Воротилой Финансовичем невозможно иметь дел из-за склонности к буржуазной рекламе, а также империалистическому размаху, и в данных условиях проницательный взор вмиг усмотрит в его шашнях с птицей если не преступление, то ненормальность.

В полночь он все же явился, дрожащий, перекусил проволоку щипцами, запрятал крылатого компаньона за пазуху и пустился по темным аллеям к выходу. Но поскольку на деловые вопросы он отвечал прерывавшимся сдавленным хрюканьем, то ворона, обидевшись, вырвалась, разодрав ему плащ, и раскаркалась скандалезно. Мелькнули огни сторожей, и послышался топот. Огрев Воротилу Финансовича кулаком, Прохиндей просквозьнул между прутьев ограды, влез в машину и газанул бормоча: "Идет он, хрю, к черту, бешеный!"

Распространялась ужасная эпидемия,
и о встрече [illegible] и Скептика

Скептик начал свой путь с Красной площади, а до этого отсидел каждодневную норму часов в неком обществе, побуждавшем людей любить книгу. Ступая по брусчатке, он с помощью чувственного восприятия разлагал встречные нравы на атомы, благо, сумерки и поземка ему не мешали, добротно одетому и глазастому. Ишь ты: к огненным окнам ГУМа несутся запоздалые модники, тряся полами шуб, хотя [illegible] в испарине. Через час самолет унесет их в Сургут или Ямбург с бутылкой "Московской" и с диском сверхмодных нарядов, которые испепелят им мозги до того, что спустя сорок лет "Встреча с песней", будь она сохранится, проникновенно начнет: "Нефтяники из Сургута, товарищи Разудалов и Удалоев, просят, м-м-м... передать для них песню семидесятых годов "Позвони, позвони", что напомнит им молодость и поездку в столицу, м-м-м... нашей Родины". И седые нефтяники будут реминисцировать, развозя по щекам слезы. Скептик язвительно оттянул уголок рта к щеке и сошел в свет подземного перехода. Куда спешат размалеванные красотки, занятые друг другом не больше, чем листья на деревьях? В бар спешат, где усядутся на вращающиеся седалища и, вскинув в

пищеводы по винному шлангу, замрут в ожидании фирменных встреч. А всходя по ступеням на улицу Горького, Скептик взглядом уперся в обутые с шиком ножки и пропустил иностранку годов двадцати, впечатляющую настолько, что он, поглупев, развернулся и зашагал следом. Когда иностранка исчезла за дверью отеля, он покраснел, усмехнулся и притворился, будто ему не за ней. Погодя ему встретился давний знакомец, одетый хлыщом и имевший доходное место, который с уверенным хрюканьем потащил его в кафе ”Арс” и, усевшись, надолго захрюкал.

– Да ничего поживаю, – сказал Скептик, поняв, что ему пора что-то сказать. – Работаю, как обычно.

– Хрю-хрюся? – спросил Хлыщ подмигивая.

Не поняв, но по улыбке и тону предположив деликатное, Скептик высказался отвлеченно: – Меня огорчает и радует вовсе не то, что тебя. Кругом вижу повапленные гробы, редко-редко мелькнет человек. Вслушайся: сплошь все хрюкают!

Посмотрев на соседей, Хлыщ живо захрюкал о том, что действительно, вокруг жалкие недоделки, а настоящих людей недостача: у этого ткань на брюках не та, у той волосы не по фирме. Сам он – Хлыщ – глянь-ка: туфли, носки соответственно, стиль ремня, воротник... нет, ты можешь назвать, в чем он не дотянул? Хлыщ перехрюкнулся с официантом, принесены были вина, пошли откровения вроде того, что тоска наступила страшенная, все визжат: вот друзья – все по форме, а встретишься – будто со свиньями; на работе надо бы выхлопотать поездочку, а начальники будто не слышат намеков, отхрюкиваются, и только. Даже с женой на постели советуешься, а она тебе: хрю. Скептик, облокотившись на стол, держал в ухе палец, чтобы не резало слух, сильно морщился и наконец, ерзнув на стуле, прервал:

– Хватит! Я повторяю тебе, я далек от людей. Мне эти дрязги противны. Я живу собственными законами и не желаю мешаться, хрю, с... – Он умолк и, взглянув на Хлыща, побледнел. А потом, не прощаясь, поднялся и выбежал из кафе.

В переулке валил густо снег. Скептик так поражен был случившимся, что забыл свой обычай поглядывать в окна. Он хрюкает. Он такой же, как все! Усмехнись он чему-нибудь, а ему: ваши доводы? Он в ответ: хрю-хрю-хрю... Он снял шапку и участил шаги, чтобы ветер и непогода утишили пламя, в которое он превратился: скроется за поворотом – а искры кружатся еще, опадая. В сквере компания молодых хрюкачей перетаптывалась под музыку и выпивала. Скептик, подняв воротник, зарыдал и подумал: ”Я тоже свинья, как они!” Вдобавок вдруг старый тополь сошел с места и дал ему больно пинка. Дома Скептик

свалил философские книги в мешок, начал читать детективы сквозь слезы, подготовляя себя к новому состоянию.

Он на работу пришел раньше всех, проскользнул в свой отдел и уселся за стол. Прибежала Трещи Какпредписавна, журналистка, писавшая для правления общества тексты докладов и тексты отчетов. Прямо с порога она оживленно расхрюкалась. Скептик приветствовал ее жестом.

– Хрюйя-хрю?

Он сделал вид, что не слышит.

– Хрюйя! – перекинула на его стол она пачку листов. Это значило, что написала и просит проверить, прежде чем отнести руководству. "Навстречу большому событию", – прочитал он заглавие, далее следовало такое: "В преддвехрю знамехрю-хрю дахрю, хрю нахрю хрюпринехрю хрюва..." И так на протяжении сорока трех страниц, исключая пассажи фактических данных. Вытерев выступивший на лбу пот, Скептик вымарал всю бессмыслицу. Журналистка, обидевшись, стерла его карандаш и пошла в кабинет завотделом, а Скептик, услышав звонок телефона, взял трубку и кашлянул, так как боялся, что вместо "алло" скажет чушь.

– Хрёу-хрю-о?

– Хрю-хрю! – крикнул он, швырнул трубку и сразу подумал, что если осознает, что намеренно притворился свиньей, может намеренно не притворяться. Опять телефон. Опознав тот же голос, он медленно произнес фразу, которую повторял ежедневно: – Общество, Звонкая, дом пятнадцать.

Вроде не хрюкает, но, возможно, ему только кажется. Из кабинета раздался настойчивый визг Трещи Какпредписавны. Скептика пригласили войти. Фукая, как обозленный кабан, завотделом потряс пачкой листов и признался, что если сотрудники и в дальнейшем намерены предъявлять ему свинский бред, то придется от них избавляться, после чего доклад ввергся в мусорную корзину.

– Хэ-хрю?! – начала журналистка, что значило: мало того, что терплю ваше свинское хрюканье и из пальца высасываю вам отчеты, вы, ко всему, возмущаетесь?! Увольняюсь и посмотрю, как отхрюкаетесь перед начальством, боров вы этакий! – И она убежала в слезах.

Завотделом, сцепив руки и глядя в окно, деловито профукал, что, мол, хорошего отношения кое-кто не понимает, и, вместо того чтоб отправить ее в психдиспансер с ее свиноманией, с ней возились; однако дошло до того, что болезнь ее сказывается на интересах работы; и вы не откажетесь подтвердить то, что видели, у руководства, куда я сейчас понесу эту свинскую компиляцию; вы же займитесь-таки докладом, и вот вам начало,

какое бы ожидалось увидеть. Он указал на зачин одного из докладов предшествующих лет; Скептик понял, что требуется, требуют.

Он вернулся за стол, положил чистый лист, достал ручку и прочитал образец: "В преддверии знаменательной даты и в свете постановлений последнего пленума общества наш отдел принял повышенные обязательства, активизировал и повысил..." и т. д. Усмехнувшись, он переписал два первых слога, однако едва потянул черту к третьему, как она изогнулась и выписала окаянное "хрю". Его бросило в жар; лист был смят и откинут, на новом он начал стремительно – и опять получилось: "В преддвехрю знамехрю..." Он выскочил в коридор, зашагал мимо многих дверей, за которыми хрюкали люди, стучали машинки, трезвонили телефоны. Встретилась Активистка-Марина и завизжала о том, чтобы он написал что-нибудь "знахрю, призывхрю, типа: повысихрю, активизихрю, улучшихрю...". "Да, конехрю, конехрю!" – хотел он сказать, но скептический склад ума ужаснулся тому, что уже разгоняло язык. Он смолчал и нырнул в туалетную комнату, где умылся холодной водой и решил покурить. Заразился, но странно: осознает болезнь. Дверь хлопнула, тут как тут Балабол: еще тычет свою сигаретку прикуривать, а уже хрюкает и подмигивает: дескать, что, загнала работенка в сортир? хы, это терпихрю, а вот погоди, и сюда стол поставят, чтоб, значит, нуждишку справлял и строчил им бумаги; а я уже заколебался доклад им писать, хрю, я им не конь, этот сбагрю – и до свиданья, уездили сивку! а на носу годовые отчеты; хрю, жизнь у нас, мертвецу позавидухрю, да? пора делать ноги отсюда, хрю, пусть сами пишут; концовочку не подскажешь, чтоб, значит, на взлете: активизихрю, повыхрю, хы!.. Скептик выбежал на холодную улицу. С ветром сыпался снег. У поворота машины, предотвращая занос, тормозили, а после сигналили, так как на середине дороги на крышках канализации отогревались собаки. Со столба их обкаркивала ворона. За деревянным забором плыл с гудом кран, верещали лебедки, постукивали мастерки.

– Мать моя, ты раствор нам подашь? – кричал кто-то со строившегося дома. – Ивлев приехал ведь!

– Что ты мне: Ивлев! Пень он, твой Ивлев! – открикивался кто-то снизу. – Я сказал ему, пять кузовов, а он – два!

Скептик прошел в ворота и, приблизившись, попросил прикурить, потому что забыл спички в туалетной комнате.

– Корреспондент, что ли? – спросил тот, кто открикивался.

– Нет. Тут рядом общество. Я из него, – сказал Скептик.

– А, хрюкачи! Знаю. Сколько ты в обществе зарабатываешь?

– Сто семьдесят в месяц.

– Больной, что ли?

– Не понял.

– Как семью содержишь?

– Я неженатый.

– А то давай к нам. Через месяц платить буду двести, а там – по работе. Я здесь прораб. Командировки у нас денежные бывают, на Север, на Дальний Восток. Интеллигент у нас есть. Вроде тебя раз пришел посмотреть и остался. Что я болтать, говорит, буду почем зря. Вкалывает теперь дай боже.

– У вас здесь не хрюкают?

– Хрюкни попробуй, тебе кран на голову бадью спустит. Слово – дело, опасно хрюкать. – Прораб почесал висок. – После работы бывает, конечно. Газетку берешь или присаживаешься к телевизору, а оттуда: хрю-хрю. Мы писали, запрашивали, что, мол, такое творится, а нам объяснительное письмо с этими самыми хрюероглифами. Сам Ухерин – слыхал? – приезжал к нам проветривать нам мозги. Эпидемия с Запада, говорит, а потом и давай сам: в преддвехрю знамехрю. А, вон Ивлев едет. Сейчас я его! – И Прораб побежал.

Скептик еще посмотрел, как высоко на стене каменщики налепливают кирпичи, и зашагал на работу.

У крышек канализации происходило сражение. Псы терзали ворону, которая опустилась в их теплый оазис погреться и громко ругалась: "Проклятый зверь! Я пускайт вас на шкуры, когда человек! Дай крыло!"

Скептик шапкою разогнал драчунов, и ворона, запрыгнув ему на плечо, замахала крылом в сторону метростанции.

– Быстро, советски друг, быстро отель "Насьональ"!

Перья из этой вороны торчали, как иглы из дикобраза; в волнении перебирала она сизыми лапами, до когтей скрытыми перьевыми штанишками, и, рассмеявшись, Скептик накрыл ее шапкой.

Пока он писал заявление об увольнении, птица расхаживала взад-вперед по столу и ворчала:

– Русский волокитство... Как можно такой темп выходить передовой рубежи? – Походя она стала скидывать на пол бумаги, имевшиеся на столе в изобилии. – Кой черт это нужно? Бизнес не надо доказывайт, бизнес реальная форма доказывайт!

– Ты из Дубровского зверинца сбежала? – спросил Скептик. – Славно подкована по политической части. Покажи-ка подковки.

– Не понимай, что есть подковка. И не желайт шутить!

– Хрюйя хрю? – приблизилась журналистка Трещи Какпредписавна, спрашивая таким образом бог весть что.

– Хрюки, – ответил ей Скептик и, встав, вежливо указал птице на дверь. – Прошу.

Были московские ранние сумерки, когда вышли из метро на

Кузнецком мосту и в потоках людей двинулись вниз на Неглинную. Так как птица сидела за пазухой, возле "Лавки писателей" Скептика обстреляли сдавленными вопросами: "Что сдаете?" "Историю государства Российского", – сказал он, ускорив шаги, и на троллейбусной остановке, остановившись, увидел, что окружен молчаливыми ожидающими фигурами. Он отошел к милицейскому лейтенанту; фигуры заторопились прочь не оглядываясь.

За Садовым кольцом Скептик вышел и двинулся по бульвару, держась фонарей. Птица влезла ему на плечо.

– Быть знакомиться: Воротила Финансович.

– Скептик.

– О, русский философ! Во-первый, куда мы идем? Во-вторый, у вас недостаточно ваша история, ибо люди за нами бежао целый куча, когда вы шутил?

– Предостаточная история, но феодальная и буржуазная.

– Я понимайт, понимайт. – Воротила Финансович сунул клюв к его уху. – Идеологический борьба, йес? Духовный пища так называемого капитализма есть отрава. Однако мой фирм поставляйт Союз миллион виски бутилок! Горький, Калинин-стрит – любой магазин! Я повышайт ваш дух, я вам содействуй, так как ваш Соловьеф говорил, что "вино повышайт энергия нервной системы и чрез нее и психический жизнь, также усиливайт действия духа и прямо полезно", страница семьдесят восемь, точ восемь собрания сочинений, как я перепечатайт на этикетки! Кр-р-р-рахх! – И Воротила Финансович расхохотался, но быстро умолк, оглядевшись. – Однако знакомый места... Это не есть путь к отель "Насьональ"! – Он взлетел и уселся на нижнюю ветку дерева. – Твой американский друг требовайт объяснений!

– Мы в уголок Дурова.

Птица перепорхнула повыше и заорала:

– Я был там! Я был продан туда, как черный раб! Я сидел зоопарк! Я не есть говорящий ворона, я есть натуральный ваш гость, который забыл слова превращаться обратно! Измена! Кр-р-р-раххх!

Бульвар отозвался другими воронами, налетевшими в невероятном числе. Воротила Финансович круто спикировал в гущу кустов и оттуда молчком побежал к Скептику. Вражеские перехватчики брызнули наперерез. С жалким карканьем он порхнул в сторону, пересек неширокий газон и залез в сумку девушки, шедшей по дорожке.

Девушка ахнула, остановилась, раскрыв сумку, кшыкнула. Воротила Финансович блеснул глазом на каркавших на деревьях врагов и забрался поглубже в какие-то тряпки под пачкой массы и пучком зелени. Девушка повернула к скамейке и стала опорожнять сумку, после чего так встряхнула ее, что Воротила Финансович, чтобы не выпасть, впился когтями в ткань, а когда девушка

попыталась извлечь его непосредственно, он ее клюнул в перчатку и завопил:

– Проклятый русский гостеприимств! Не трогайт меня, мисс, ради ваш русский бог!

– Это ученая птица, – сказал Скептик, приблизившись. – Я ее нес в уголок Дурова, и у нас вышла размолвка.

– Не есть ученый птиц! – яростно протестовал Воротила Финансович высунувшись. – Есть предприниматель, терпевающий временный затруднения! черт!

Вороны, увидев его, разлетались в воинственном возбуждении, оглушительно гомоня.

– Тогда будьте там, куда влезли. – Девушка вновь наполнила сумку, стараясь не задевать иностранца. – Идемте, и по пути объяснимся.

Она была стройная, как стилет, и говорила спокойно и ясно. Снег, сыпля густо, искрился на черном пальто и ее черной шляпке, на оперении головы Воротилы Финансовича, на плечах Скептика.

– У вас под глазами тени, – сказал он. – Как вы себя чувствуете?

– У мисс тени, то время как я есть черный совсем! – возмутился предприниматель. – Как я себя чувствуй, кто спрашивайт? – И он выкаркал повесть собственных бедствий, утаивая, конечно, детали: – Я шел по Калининский, вдруг дул сильный ветер, и я летел вверх, как ворона! Два месяца как ворона! Проклятый происки кагабэ, я жалуйся мой правительство, кр-р-рах!

– Эту птицу лет сто обучали, – сказал Скептик, – в качестве агитплаката. Натаскана по политической части с уклоном в чуждую идеологию.

– Один человек говорил, что, когда говорят, нужно слышать, что́ говорят, – произнесла девушка.

– То-то сейчас многие так говорят, что лучше не слушать, – взъелся Скептик. – Словесное обозначение не соответствует обозначаемой вещи, Вавилон словоблудия!

– Я не хочу отвлекаться сейчас, потому что сейчас, – подчеркнула она это слово, – важно другое, а именно необходимость помочь оказавшемуся в беде.

– Да! Потом русский ваш спор! Я доказывайт! Вон телефон-аппарат, я оттуда звонить секретарь, вы убеждайся. – И Воротила Финансович, вывалившись из сумки, в два счета взобрался на будку.

Скептик и девушка побежали к нему через снежный газон, и она так легко перескочила витую оградку, которая окружала бульвар, что он тут же спросил:

– Вы из цирка?

– Я актриса и занимаюсь балетом.

Пересекши проезжую часть, шумную, грязную от машин, они выбрались на тротуар, вошли в будку, и Воротила Финансович попросил набрать некий номер, после чего продолжал на одном западном языке, каковой знали оба его покровителя. "Мистер Смит?" – "Мистер Во... Сэр?! Я не верю ушам!! Ваше исчезновение..." – "Смит, Смит, довольно. Поставьте в известность посольство и убедите не поднимать шум... Да, без политики... Да, скажите: коммерческие и личные интересы его, то есть меня, вынуждают его делать так, как он делает... Да, да... Хэлло".

– А теперь к мисс, – заявил Воротила Финансович, когда трубку повесили. – Я есть временно проживайт у мисс.

– Почему у нее, – сказал Скептик, – а не у Дурова?

– Кр-р-р-рахх!!

– Хорошо, – согласилась Актриса, открыв сумку, куда птица впорхнула, – но я живу далеко, в Ясенево.

– Наплевайт! – отвечал Воротила Финансович. – Только быс уважающий в тебе личность друг. Ибо мне надо быть на свобода для важный, весьма важный бизнес! – закончил он и, исчезнув, уснул, положив голову на пучок зелени.

В метро Скептик сказал: – Он мужчина.

– Если вы так говорите, вы уже не считаете его вороной?

– Мне все равно. Необычное трогает меня столь же мало, как обычное.

Поезд затормозил, так что он вдруг упал на нее, но тотчас ухватился за поручень и отстранился. Она, помолчав, молвила:

– Наверно, для вас образец Пиррон-скептик, который прошел мимо тонущего наставника своего, демонстрируя бесстрастие.

– У вас необычный тип лица. Я даже не знаю, какой расе он может принадлежать.

– Ну вот. – Она отвернулась. – Вы не слушаете, для вас окружающие – вещи.

– Большинство из них хрюкает.

– Тем более, – сказала Актриса, и Скептик выдумал несколько вариантов развития ее мысли.

Потом на автобусной остановке Актриса сказала, беря у него сумку: – Спасибо, дальше я поеду сама.

– Вы еще не поведали мне про ваш тип лица, и вдобавок я отвечаю за монстра в перьях, которого вы несете.

В автобусе он купил три билета, один сунул в сумку.

Актриса жила в небоскребе по ул. Тарусская и на самом верху. Выпущенный Воротила Финансович неторопливо прошелся по комнате, полной книг и пластинок, вернулся в прихожую, где осматривал стены в афишах, и наконец, влетев в кухню, устроился на подлокотнике кресла перед столом с чашкой ча-. Последней уселась хозяйка.

– Смородиновое варенье. Берите, пожалуйста. Мистер Во, положить вам?

– Да. Я желайт после ужин принять ванна, сигара в чистый постель. Вы понимайт? – Он, сунув клюв в чашку, хлебнул. – В спокойной гуманной обстановке я вспоминайт колдовские слова и превращайся обратно, кр-р-рахх! Временно, для пользы бизнес, вы оба мои секретарь. Мисс писайт мои письма, звонить мистер Смит. Вы искать один негодяй продавать ценный вещь. Я вам платить много в месяц! – Склевав потом хлебную корку, он улетел в ванную и заплескался в воде.

Скептик еще налил себе чаю и потянулся к варенью.

– Наверно, вам надо идти, – предложила Актриса. – Уже поздно, и скоро автобусы перестанут ходить. – Она грела ладони о свою чашку и не подымала глаз.

– Какая разница, останутся у вас на ночь один или двое.

– Кажется, я не оставляю у себя никого.

– Он может вспомнить свои заклинания в любой миг. Что вы сказали?

Актриса вскинула на него глаза. – Я ничего не сказала. Но я признаюсь, что не продумала эту возможность, – после чего собрала нужные вещи, оделась и, когда Воротила Финансович, волоча на себе полотенце, вышел из ванной, сказала ему: – Оставайтесь, устраивайтесь, где вам удобно. Хлеб и рыба для вас на подоконнике. Завтра я приду после спектакля и напишу вам нужные письма.

– Сигар у нас нету, но вот сигарета, – кончил Скептик.

Пыхая дымом, Воротила Финансович закивал благодушно, а когда дверь захлопнулась, перебрался к окну любоваться ночными огнями.

Скептик же проводил Актрису через квартал до какого-то дома.

– Здесь живут мои родители, и пока я у них поживу, – объяснила она.

Он молча поцеловал ее руку и зашагал в снегопад.

На экваторе, где раздвоилась личность...

Без остановки носило друзей по пустыне Сахара, и, только они вкатывались в Атлантику, ветер менялся и гнал их до Красного моря в завесе песка и с такой скоростью, что ремни, на которых висел ранец на палке вроде качелей, дымились и раскалялись.

– Эх ты! – орал Перекати-Поле. – Юная комсомолка еще называется! Будешь кататься, пока в девушку не превратишься, да?!

Вика, скрючившаяся на ранце, помалкивала и порой дергалась изо всех сил, оттого направление их движения изменялось.

Травяной шар думал, что это нарочно, чтоб досадить ему, и орал громче, в то время как Вика, заметившая, что на подъезд качение замедляется, поворачивала к горе Эмми-Кусси. Ветер, свистя, покатил их к вершине, но вскоре запыхался, закашлял, затолкал с перебоями и наконец, взвизгнув, что он не ишак, бежал прочь, подымая песчаные бури.

Небо очистилось, запылало ужасное солнце; друзья сели в тень под скалой и печально смотрели на мертвые обожженные земли.

– Что думаешь ты теперь? – высказался Перекати-Поле. – Здесь от нас рожки да ножки останутся, прежде чем ты станешь девушкой!

Вечером жара спала. Скатившись с горы, они двинулись по пустыне, отбрасывая невероятные тени. Вдали за барханами раздались голоса. Вика туда побежала и обнаружила странных людей в разных одеждах, толпившихся у пьедестала.

– Мы собрались! – восклицали они. – Так начнем говорить, любомудрствовать! Просим, просим, Солон! Ты всех старее, говори первым!

– Я не хочу говорить, потому что есть тот, кто вмещает в себя мои знания, а я жалкий должник его.

Но все настаивали, и он начал:

– Прекрасным и добрым верь более, чем поклявшимся. Заводить друзей не спеши, заведя, не бросай. Не советуй дурное, советуй лучшее. Ум твой вожатый. Душа бессмертна.

– Слава! – вскричали все и, увенчав его, возвели на пьедестал. – Говори!

– Я воспретил ставить в Афинах трагедии, потому что они научают притворству, которое пагубно. Слово есть образ дела.

Какой-то толстяк между тем вылез из бочки и показал всем соленую рыбу.

– Я вычислил пути солнца от солнцестояния до солнцестояния, – продолжал Солон, но никто уж не слушал его, все смотрели уже на соленую рыбу, и он замолчал.

– Вот, – начал сразу толстяк, – грошовая вобла остановила Солона в его рассуждениях. Солон, помнишь, как ты шел смотреть звезды, упал по пути в яму и как старуха тебя укорила, что ты-де не видишь под носом, а хочешь познать небеса.

Все рассмеялись, стащили Солона и с криками: "Слава тебе, Диоген! Подымайся!" – стали указывать на пьедестал.

– Чтоб вы столкнули меня оттуда? – ответил толстяк. – Вы состязаетесь, кто кому вставит палки в колеса, но не в истине. Вы изучаете бедствия Одиссея, а собственных бед не видите, как арфист, что справляется с арфой, а со своим нравом сладить не может.

Все начали отворачиваться, и тогда Диоген закричал петухом, возбудив общий смех и внимание.

– Истины вы чураетесь, а безделицы вас привлекают, – закончил толстяк и влез в бочку.

Люди в разных одеждах рукоплескали ему, но внезапно прервал их муж быстрый и резкоречивый, поднявшийся на пьедестал.

– Хватит болтать, – сказал он. – Слушать меня. Итак, первопричина всего – бог, а материя – неоформленная и пассивная масса. Стихий существует четыре, а кроме них – пятая, заключающая тела из эфира, и движется эта пятая кругообразно.

– Хвала, Аристотель! – последовали крики.

– Я продолжаю. Счастье – совместная полнота благ: душевных, телесных и внешних. Одной добродетели недостанет для счастья, потребны здоровье и красота от телесности и богатство и знатность от внешнего. Потому на вопрос: почему нам приятно водиться с красивыми? – я ответил: кто спрашивает такое, тот слеп, и назвал красоту божьим даром, в отличие от Карнеада, коий высказывался о ней как о "владычестве без охраны", и Феокрита, ее называвшего "пагубой под слоновою костью", и Феофраста, для коего это лишь "молчаливый обман", и Сократа, изрекшего: "недолговечное царство".

Началась нескончаемая овация. Неслись возгласы: – Красота – божий дар!.. А материя есть пассивная масса... Стихий же четыре... Отныне мы знаем, как жить!.. Да к тому же есть пятая, кругообразная!

Кто-то вязал уже лавры, кто-то, расхаживая взад и вперед, зубрил: "Первопричина всего – бог, надобны также богатство и знатность..."

– А вот я, – вдруг сказал сумрачный муж в стороне, – думаю по-другому.

– Ну-ка, ну-ка! – воскликнули все. – Говори, Пиррон!

– Ничего я не знаю и ни во что я не верю. На всякое слово найдется обратное. Нет ни добра, ни зла. Будь они – они были бы таковыми для всех. Раз они не присущи всем, их и нет. Повар великого Александра грелся в тени – мерз на солнце. Нашему Диогену за благо казалось сказать Александру: не заслоняй от меня солнце. А наш Аристотель служил при дворе Александра.

– Хвала, Пиррон! Слава!

– Благо ли некий поступок или он зло, я не знаю. Я ничего не знаю, и даже не знаю, не знаю ли я в самом деле. Хоть говорю, что не знаю, но не возьмусь утверждать, что действительно так.

– Аристотель, сойди! Поднимайся, Пиррон!

– Вы различаете разницу, быть вам *над* или *под*. Мне безразлично, стоять ли над вами или внизу среди вас, – вел речь Пиррон, восходя по ступеням. – Однажды учитель мой Анаксарх

оказался в болоте, а я прошел мимо, не слушая его криков о помощи, вот оно как.

– Восхитительно!

– Раз нет зла и добра, то зачем, я подумал, ему помогать? И вообще, для чего помогать, коли нет жизни и смерти. Смерть, может, и есть жизнь, а жизнь – смерть. Эпикур, ценя жизнь, учит, что смерть есть бесчувствие. А Сенека зовет эту жизнь смертью в преддверии будущей жизни. Сенека обрадовался бы покойнику, причастившемуся, как он считает, к посмертному благу, а Эпикур опечалился бы, что покойник утратил со смертью все блага. А я? – сказал тихо Пиррон. – Я даже не знаю, есть я или не есть. Если чувствовать – значит жить, то не Гомер ли живописал нам Аид, где умершие чувствуют во сто крат острее? Я чувствую, что я есть, но наличествует ли природа моя или она отражается в жизни, как утка в воде, я не знаю.

– Божественно!!!

– Я сейчас буду стукаться головой, так как не знаю, нужно ли это или не нужно, опасно или полезно.

Действительно, он застучался, да сильно; кровь залила пьедестал. В воплях всеобщего восхищения, в громе оваций только один человек подбежал и подставил под лоб мудреца свою руку.

– Прочь, Безымянный! – взревела толпа. – Лавры Пиррону!!

Призыв Безымянного был едва слышен:

– Остановись, Пиррон! Не ты дал себе жизнь, не тебе убивать ее! Не знаешь, как быть, и не знай, это не главное. Я накормлю тебя фигами. Ну, пойдем!

– Я не знаю, что нужно им, – прорицал Пиррон, позволяя себя увести. – Их ничем не насытишь!

Вика поддерживала мудреца тоже и слушала, что говорит, отстраняя мешавших людей, Безымянный: – Любите друг друга! Не пожирайте друг друга! Слушайте дух, что внутри вас, и он наведет вас на истину! В каждом из вас царство истины!

– Возврати нам Пиррона, болтун! – бесновалась толпа. – Пусть убьет себя и докажет себя! И убирайся от нас, неуч, болтай твой чувствительный вздор детям и женщинам!

– Отряхните с себя знания ваши, тогда вы поймете, где правда. Лучше б вы были дети!

Чем больше он говорил, тем сильней раздражалась толпа.

Вдруг внимание всех переключилось на нового краснослова поодаль. Пиррон, Безымянный и Вика остались одни, освещенные тусклым солнцем, которое прикасалось уже к горизонту.

– Им все нужно сверх меры, – сказал Безымянный.

А с пьедестала уже раздавалось: – Учение поверяется делом. Разбил бы себе лоб Пиррон – вот и вся его философия. И философия многих и многих, достойных такого конца. До сих пор они мир объясняли, а мир нужно менять.

– Ну же!!

– Менять – и никаких колебаний. Перефразируя Безымянного: кто не с нами – тот против нас. Нужно ставить мир с головы на ноги. Голословием гору не сдвинуть. Эпоха словесных дебатов и краснобайства прошла. Достоянием настоящего стала практика и еще раз она.

– А-а-а!!!

– Исходя из потребностей нынешнего момента идеалистов прошу отойти, материалистам же сплачиваться под пьедесталом. Ибо лозунг момента: мир есть материя, наше дело ее изменять. Лейбниц, Платон, что такое? размежевываемся – и бесповоротно!

Толпа разделилась; взявшие власть рукоплескали, свистели, ругались вослед отбегавшим противникам; длинные тени вытягивались на восток, и по ним кралась тьма.

– Лучше меньше, да лучше. Но приступаем к борьбе, к выкорчевыванию софистических домыслов и псевдогносеологической тарабарщины. Нам наши цели ясны, наш путь прям, и приступим.

Во тьме раздались вопли и стуки, и восклицания ярости и восторга, и стоны. И освещенный последним лучом пьедестал руководствовал битвой.

– Лучше отсюда уйти, – молвила Вика. – Что ж это такое?

– Я не знаю, знаю ли я , что происходит, но должен помочь, – прокричал вдруг Пиррон и набросился на Платона.

Идеалистов побили, заткнули им кляпами рты и заставили возить в тачках песок. Материалисты же воздымали плакаты и лозунги. Месяц тех и других освещал. "Дураки были мы: спорили, мудрствовали ", – говорил Аристотель, любуясь лозунгом. "А теперь нам все ясно", – твердил Гераклит. Диоген, задержавшись, вытащил изо рта кляп и спросил: "Постиг истину, Пифагор?" – "Постиг". – "А тогда разговаривать не о чем. – Он толкнул тачку дальше и начал: – Значит, так: мир есть материя, а мое дело песок возить и ее изменять". Временами то Аристотель, то другой какой из победителей восклицал: "Как хорошо! В голове ясность, а жизнь между тем улучшается". И умолкал, погружаясь в счастливые думы. Потом Гераклит догадался воткнуть лозунг в землю, и все, сделав так, сели. "Не выпить ли нам?" – предложил кто-то. Выпили. Анаксагор предложил тост со слезами в глазах: "Я всю жизнь занимался наукой и вывел, что первоначалом-основой является беспредельное. Много тайн собирался еще я раскрыть, но вдруг все для меня прояснили и не о чем мне рассуждать. Так спасибо огромное тем, кто для меня все предвидел-решил!" Пир стих к утру; только слышалась грустная песня Конфуция да стучали орудиями труда побежденные. И в рассветных лучах отрезвевший Пиррон вдруг сказал:

– Все меня знают: я одолел накануне Платона. Но я сомне-

ваюсь, я ли его одолел или он меня. Я вообще сомневаюсь, что мир есть материя. Может, материя это дух, потому что раз материалисты представили лозунги, по которым материю изменяют, значит, они и есть дух, демиург и идея. А идеалисты, лозунги претворяющие, соответственно есть материя и пассивная масса. Однако не ложь возмутительна, а возмутительно, что посредством ее вы сопричислили самое себя к беспорочным носителям истины и не даете нам слова сказать. Я не знаю, знаю ли я, что я прав, но знаю, что мне надоело, что знаю!

– Хвала, Пиррон! – завопили все подбегая. – Где пьедестал?

– Меня, меня слушайте! – встрял проворный мудрец. – Все, конечно, материя. Но мне кажется, все из атомов. Земля видом как бубен, круг солнца всех далее, лунный круг ближний, другие лежат между ними, к тому же земля наклоняется к югу; светила воспламеняются от движения; солнце, вдобавок, от звезд...

– Давно ты слез с неба, Левкипп, что все знаешь? – спросил Диоген.

И мужи зашлись хохотом.

Вика на них посмотрела и обернулась опять к Безымянному.

– Начинают опять, как вчера.

– Твоя правда, – сказал тот и побрел прочь в пустыню, а Вика, кликнув Перекати-Поле, направившись следом. Пятки у Безымянного были светлые, жесткие, а рубаха из льна – грубо-тканая, волосы же не длинные и не короткие, как у Сенеки. Шаг у него получался широкий. Чтоб не отстать, Вика часто бежала, падая и спотыкаясь. Воздух разогревался и делался нестерпимым. На новом подъеме она, поскользнувшись, упала в песок. Безымянный рассасывался зыбким воздухом. Вика расплакалась и вскричала:

– Я не могу быстро идти! – А когда Безымянный приблизился, то добавила: – Я хочу есть, – и подумала, что в родном краю взрослый давно предложил бы ей помощь, и мстительно произнесла: – Эти философы спорят, а до людей им нет дела!

– Да, – поддакнул Перекати-Поле, рассерженный, что приходится шляться в песках, где нельзя пустить корни.

– А кому дело есть? – подавая ей руку, спросил Безымянный.

– У нас, например, дедушка Ленин был, и он думал про всех

– Ну и что?

– Он сказал, как нам жить, и у нас помогают друг другу.

– И ты тоже знаешь, как жить?

– Я тоже знаю.

– Тогда тебе незачем голова, без нее будет легче идти. Можешь снять ее.

– Что вы сказали? Она ж не снимается, – млела Вика, однако, попробовав, сняла запросто и от ужаса выронила.

Безымянный тянул Вику за руку, они шли; голова с Перекати-Полем катились за ними. Идти стало легче, но Вика, не размышляя об этом, чувствовала, что ей легко, и пела песенку, а в огромном оазисе с пальмами Вика распрыгалась, точно серна, но тут голова заявила, что хочет есть. Они двинулись в глубь оазиса, где в селении из песчаных домов Безымянный спросил у феллаха еды, пожелав прежде мира и счастья.

– И тебе мир, путник, – ответил феллах. – Что за беда заставляет тебя странствовать?

– Я учу вечной жизни, поэтому и хожу, чтоб учить многих.

Вика стояла с ним рядом и слушала, а голова с травяным шаром шептались в сторонке.

– Твоя доля тяжкая, – сказал феллах. – Что, однако, ты скажешь тому, кто устал жить и не имеет сил на жизнь вечную? Сын мой погиб на войне, дочери ищут красивой судьбы в большом городе, а самому мне недуги порой не дают выходить в поле. Если не выплачу я налогов, то буду бездомный, как ты; и ненужный, ведь я не могу учить вечной жизни.

Тогда Безымянный ему поклонился. – Тебя не нужно учить вечной жизни, о стойкий дух. Ты ее заслужил и идешь уже к свету. Исполнится, как обещано, и, когда ты начнешь терять эту жизнь, знай, что вступаешь в преддверие новой. Тебе она будет легкой. И мне стало легче, когда я поговорил с тем, с кем я встречусь в краю, где не всякий окажется. Я пойду. Мир тебе.

– Погоди. – Феллах, сбегав во двор, вынес лепешку. – Возьми на дорогу... И заходи, если рок приведет тебя сюда снова.

Они попрощались и разошлись. Безымянный увел своих спутников в переулок, где были тени, и, сев у стены, преломил хлеб на три части и взял себе кусок меньший. Вика схватила большой, голова же, насупившись, отвернулась.

– Бери!

– Не хочу.

– Ты сама говорила недавно, что хочешь есть.

– Может, хочу. Но этот обманный хлеб есть не буду!

– Как так обманный?

– Потому что вы не работаете, а попрошайничаете.

– Разве учить вечной жизни не работа? – спросил Безымянный.

– Нет, не работа, потому что нет никакой вечной жизни, нам в школе так говорили, – отрезала голова и опять отвернулась.

– Тому, кто так говорил, дают хлеб?

– Им дают зарплату.

– Их награждают за то, что они отговаривают от вечной

жизни? Смотри: им дают хлеб за то, что они говорят: нет. Мне же – за то, что я говорю: да. Что лучше? Жизнь или убийство?

– Лучше они. Они учат истории и математике, а не обману, как вы.

– А зачем тебе математика и история, если не для того, чтобы достичь вечной жизни? Ты хочешь смерти?

– Нет... но я, например, построю дом, и люди будут в нем жить и меня вспоминать.

– А если выстроишь два дома, тебя вспоминать будут лучше?

– Конечно!

– А если сто домов?

– Сто домов я не построю. Это очень много.

– Ты слабая и ленивая, – заключил Безымянный. – Сто домов ты не выстроишь, потому что тебе строить их незачем и тебе лучше лишний раз сбегать в кино или поесть сладости. Ты вообще бы хотела лишь бегать в кино и есть сладости, но тебя учат, что, кроме этого, надо выстроить пару домов, и тебе хорошо, что работы так мало. А я учу, что жизнь вечную приближают земными делами, и сто домов выстроить будет мало. Ты хочешь не верить, чтоб не трудиться. В вашей школе ленивые учат ленивых, а мертвые мертвых.

– А... а у нас с детьми так не разговаривают! – ляпнула голова. – Я не хочу слушать про мертвых! Я еще маленькая.

– Будь маленькой, если хочешь, – сказал Безымянный и обратился к Вике: – А ты хочешь быть вечной?

Та потянулась вдруг к небу руками, хотела взмыть птицей, но пала на землю и вновь, трепеща, поднялась и в кружении заметалась, ища телом выси; мелькали порой серебристые крылья, но это оказывались ее руки, и стало угадываться лицо, и вдруг вихрь волос захлестнул его; Вика упала, застыла – и выпрямилась со слезами в глазах, необычно глубоких и новых, как только услышала возгласы одобрения многих людей, что смотрели ее долгий танец. Упали со звоном монетки. Вику заставили подобрать их и попросили:

– Скажи что-нибудь, девочка! Ты заставила наши души летать, и нам хочется слышать твой голос. Так же пригож он, как ты?

– Я так мало знаю, добрые люди, – ответила Вика, – что своей речью боюсь вас расстроить. – Затрепетав, она бросилась к Безымянному и уткнулась лицом ему в грудь.

– Прекрасный ответ и прекрасная девочка. Счастлив ты, путник, имея подобную дочь! – восклицали растроганно люди и расходились.

А голова кипятилась в тени: "Попрошайка! танцует за деньги почти голышом! Попасть бы скорей в нашу школу, я посмотрела

бы, как она там попляшет такая!" В этот момент Безымянный спросил:

– Хочешь занять свое место? Поговори с Викой, она разрешит.

– Я с такой... ни за что! – выпалила голова, отвернувшись.

Безымянный поднялся и двинулся в путь. Когда Вика пустилась за ним, голова осмотрелась и цапнула свою порцию хлеба корявою пятерней.

Безымянный учил вечной жизни. Вика показывала танцы. Перекати-Поле радовался путешествию через оазисы, а голова возмущалась. Шла она вроде со всеми, но в отдалении, отчего ее ноги случились короткие, годные для подкрадываний и перебежек, а руки – кривые и хваткие, так как она только и делала, что брала чужой хлеб воровато. Спина ее сгорбилась по-черепашьи, чтобы удобнее было прятаться от всего, что ее возмущало. Образовались две девочки, из которых одна была словно "розы на пальцах моих расцвели!", а другая – как будто "бросьте и плюньте на розовый куст и на прочие мелехлюндии из арсеналов искусств". Люди не обращали внимания на последнюю, и однажды она, когда Вика-танцовщица завершила свое представление, закричала:

– Они вас обманывают, чтобы вы позабыли про вашу тяжелую жизнь и жили в дурмане! Вы за обман кормите их и даете им деньги, а лучше бы вы расправились с угнетателями и жили счастливо. Свергли бы гнет и вечерами в своем собственном клубе смотрели бы самодеятельность!

– Труд у нас, девочка, тяжкий, – признал кто-то. – Однако на то воля бога, чтобы одни пострадали сейчас, но сполна отдохнули потом.

– Воля не бога, а богатеев! Они угнетают, и если их свергнуть, жизнь изменится. – Так как народ обратился к ней, оттеснив Вику-танцовщицу и Безымянного, она воодушевилась: – Не пожелают добром, надо силой отнять у них власть!

– Что ты такое сказала?!

– Ничто. Где у вас живет самый богатый?

Ей показали.

Она зашагала решительно, непричесанная и нахмуренная, и, едва старый богач показался в воротах, воскликнула: – Хватит вам угнетать! Будет по-новому. А вы можете уезжать за границу, если не нравится.

– Кто эта девочка? – спросил старый богач.

– Пришла с проповедником! – выкрикнул кто-то.

Старый богач и сказал:

– Вижу, тебе дела нет, что богатства накоплены бережливостью и трудом поколений, а равно другими фамильными

добродетелями, от которых зависит прирост состояния. Спору нет, есть и неправедные богатства, но есть и неправедная нищета, следствие лени и пьянства. Так как в моем случае? Что ты молчишь?

– Вы... – растерялась она, – если вы будете нам мешать, мы будем бороться силой оружия.

Старый богач скрылся в доме и вынес ружье.

– Вот тебе сила оружия. На, борись.

Вика-короткоручка попятилась, покраснела и буркнула: – Лучше вы за границу...

Люди и старый богач рассмеялись и кинули ей монетки. Она от стыда убежала в кусты, где и пряталась, пока все не ушли. Вика-танцовщица и Безымянный, сидевшие возле Перекати-Поля, выслушали ее.

– Они заплатили мне, будто за представление.

– Твои слова не были жизнью. Они посчитали, ты веселишь их.

– Я говорила правду!

– Ты говорила от книг, не от жизни.

– Вы тоже учите от всяких библий, а не от жизни! – вспыхнула короткоручка. – Вы людей дурите, чтоб они жили под гнетом.

– Гнет есть гнет мертвых и гнет живых. Я учу, как быть под гнетом живых и через это получить жизнь вечную.

Вика-короткоручка вдруг дернулась и пошла прочь бормоча: "Надоело мне слушать дурацкие эти слова... выдумки эти дурацкие..." Из селения она двинулась по дороге и, увидав грузовик с клеткой в кузове, закричала шоферу: "В какой стороне Кавказ?" Из кабины вылезли два солдата и помогли ей взобраться в клетку. Взревев, грузовик устремился обратно в селение, где, заметив троих своих спутников, Вика-короткоручка заколотила в кабину, прося взять и их. Повыскакивав, и шофер и солдаты накинулись на танцовщицу-Вику и Безымянного, поволокли и, швырнув в клетку, закрыли ее на замок, после чего покатили в клубах пыли по узкой разбитой дороге в пустыню. Хватаясь за прутья решетки, чтоб не упасть, Вика-танцовщица спрашивала, куда их везут. Короткоручка, скрипя набившимся в рот песком, не отвечала.

На территории, огороженной проволокой, их накормили бурдой и заставили убираться в бараках. Вика-короткоручка хотела упрямиться, но ее отстегали хлыстом. Пополудни приехали грузовики с людьми, у которых, прежде чем они повалились на нары, выяснили, что сюда привезли их всех рыть котлован исполинских размеров. День напролет они спали, вечером вновь уехали, уже с Виками и Безымянным.

Прожекторы освещали карьеры, людей, самосвалы; все двигалось и шумело. Вик проводили на самое дно, где женщины бетонировали подымавшиеся наверх склоны. Машинами подавался бетон, а они разливали его и разравнивали специальными швабрами. Вымазавшись с головы до ног, короткоручка покинула место работы и в ярости стала чиститься, а потом села в сторонке. Женщины окликали: "Эй, ты, такая-то, у нас норма, давай-ка работать! Из-за тебя нашим детям достанется меньше еды". – "Я сюда не хотела. Не буду", – твердила она. "Вот и мы не хотели, но что поделать?" Надсмотрщица, подошедшая сзади, ударила ее плетью и плетью же погнала к брошенной швабре. Короткоручка, рыдая, размазывала бетон и, когда Вика-танцовщица попросила: "Не плачь!" – разругалась: "Трусиха! Ты, как рабыня, работаешь, и довольна! Тебе вообще все здесь нравится!" – "Мне тоже плохо, – ответила та, показав синяки,– но Безымянный мне говорил, что жизнь не только для радости, но и для горя. Если бы только для радости, мы бы горя не чувствовали, а если чувствуем, значит, живем и для горя". Она походила на Артемиду в грязи и, сказав, принялась за работу. "Человек создан для счастья как птица для полета! – выпалила короткоручка. – Это не я сказала, это один человек сказал в тысячу раз умней твоего Безымянного! А ты все готова терпеть, хоть помои заставь тебя носить". – "Все я не стану терпеть. – Вика-танцовщица выпрямилась, ожидая бетона. – Помои бы отнесла". – "Хороша ты после таких слов! – рявкнула короткоручка и заработала. – Рабская психология!" Утром два инженера остановились поблизости с картой участка и согласились, что надо "укоротить основание мыса Пицунда метров на восемь". Тут-то короткоручка, ибо у Вики-танцовщицы не было памяти, сообразила, что подготавливается бассейн для Черного моря, и стала халтурить. Ведь что бы подумали, если б увидели, как она надрывается ради каких-то воров. "А эта предательница старается!" – покосилась она на подругу.

Знойным утром люди полезли наверх, чтобы ехать в бараки. Короткоручку же задержала надсмотрщица и вначале заставила мыть машины и специальные швабры, а после – убраться в уборной. Однако она отказалась, сказав, что она не рабыня и хоть убивайте. Надсмотрщица потянулась немедленно за пистолетом. Напуганная короткоручка не знала, падать ли ей или выпрямить спину, чтоб выглядеть смелой, как пишется в книжках. Грянул выстрел. Она зашаталась и рухнула в жидкий бетон.

Кто-то ее поднимал и ворчал: – Стараюсь, стараюсь, а не выходит.

Другой голос: – Она себя годы уродовала, а ты хочешь за час выправить. Ну ее, унеси.

Когда некто ее перенес и ушел, она сразу открыла глаза и

увидела, что находится меж людей скрюченных и безликих. Она захотела уйти и для этого прикоснулась к ближайшим, чтобы они расступились.

– А? Что?.. Ничего... живем помаленьку, живем помаленьку, – ожили тихие голоса, и фигуры, подвигавшись, замерли, а потом вдруг вскочили и побежали, толкаясь, по сумрачной местности. День, два бежали. Кто-то надламывался от усталости и волок свою верхнюю часть по земле, а его ноги знай мчались. Вопя, подломилась и короткоручка. Когда через месяц бег кончился, толпы попадали и застонали, она, плача, ощупала себя и не нашла лица – стерлось напрочь! Явились два робота и притащили какую-то закорюку. Короткоручка стремительно поползла к ним с мольбой:

– Заберите меня!

– Маетно, да?

– Ой, не могу, я стираюсь!

– Хуже, как если помои носить?

– Ой, хуже, хуже!

– Ты, видишь, учебу земную не кончила и решила сюда. На всех ноша была, а ты, видишь, скинула и легко прожила.

– В меня страшно стреляли!

– Сама напросилась и нужного не дожила. Ты, видишь, такая недоучившаяся дуреха, что бегать тебе и стираться еще, может, год. Тут все вроде тебя, кто счастье искал, к бедам спиной поворачивался; вот теперь носятся, [illegible] двуногая!

– Я не дуреха! Я в рабство не захотела, вы перепутали!

– Деда Сервантеса знала? Хороший был дед? Верно, плохой, да? Хуже тебя, потому что был в рабстве у турок. Вот ведь герои – страдать не хотят, а быстрей хотят пулю в лоб, чтобы ношу их взял кто другой. Отодвинься-ка, – велел робот, втискивая в толпу новую закорюку. – Этот тоже тише воды ниже травы прожил, будет теперь распрямляться. Такие, видишь, соседи.

– Ой... а потом?

– Потом, видишь, вечная жизнь.

– А я где! – вскричала короткоручка, чувствуя, что разбитые ноги готовятся побежать.

– А ты в школе. Кто на земле школу прошел, тот уже бороздит мировые просторы. Тоже – нелегкая эта вечная жизнь... А не хочешь – скажи! Мы тебя – пшик! – аннигилируем! – кричал робот ей вслед, ибо она уже мчалась в толпе, задыхаясь, рыдая и стукаясь верхней частью о землю.

Вика-танцовщица пробудилась однажды за полдень и стала ходить по бараку вдоль окон, воспламеняясь, когда попадала в лучи, и исчезая в тени. Женщины и мужчины на нарах, один за другим, поворачивались и следили за ней. Если она шла по-

пясь, смотрели ей под ноги. Если она подымала глаза, все так делали и замечали за окнами небо и солнце за проволокой.

– Что ты ходишь? – спросил хриплый голос.

Она не ответила.

– Ходит и спать не дает.

– Она ходит тихо, как кошка, – сказала какая-то женщина. – Ты уткни нос в подстилку и дрыхни, если живешь, чтобы работать по-рабски.

Шум прокатился в бараке, и снова все молча следили за девочкой.

– Нас – кого обманули, кого привезли силой, – сказал хриплый голос. – Раньше я спал целый день, а теперь не могу спать и думаю.

– Что ты думаешь?

– А возьму кирку – и пусть только меня не отпустят!

– Смотрите: цветок, – начала Вика танец. – Растет, растет... О, низкий какой потолок... Он туда и сюда, бледные пальцы-ростки... И душа умерла, а они ищут, ищут...

– Так, девочка! – восклицали люди, вставая и окружая ее.

– Видите, как на кресте, растянули ростки свою мертвую душу, и как им быть дальше?

– Скажи, Безымянный! – вскричали все.

– Слушайте дух в себе. Дух идет в вечность чрез жизнь и смерть!

– Поработаем мы сегодня! – раздался тогда чей-то голос, и люди расселись на нары с ожившими лицами.

Вечером их отвезли на карьеры. Они приступили, вслушиваясь друг в друга. Огромный Перекати-Поле в закатных лучах накатился и замер вверху над обрывом.

– Он! – закричала танцовщица-Вика и побежала.

Все бросились на охранников.

Безымянный сквозь ярость и кровь удалился в пустыню.

– Именно! Стану с тобой "Перекати-Пустыню"! – орал травяной шар, отряхиваясь через несколько дней в Каракумах, куда их пригнал ураган. – Я только и делаю, что ношусь по пустыням. А как, спрашиваю, мое имя?

– Имя твое Перекати-Поле, – ответила Вика, поглядывая на него. – Но, я думаю, если ты путешественник по пустыням, то почему бы не называться "Перекати-Пустыней"? Ты бы прославился среди родичей и передавал им свой жизненный опыт. Кроме того, мне бы было приятно, что еду я не в обычном перекати-поле, а в знаменитом Перекати-Пустыне.

– Ты думаешь? – Травяной шар напыжился. – Я действительно – загибай пальцы – был в Сахаре, в Нубийской пустыне, в

Руб-эль-Хали, в Большой Соленой, теперь в Каракумах. Еще есть пустыни? Я думаю, нет.

– Всего две осталось: Гоби и Атакама. Но если тебе представляться отважным исследователем пустынь азиатских и африканских, то выйдет, что, вроде, и в Гоби ты был, потому что она в Азии. Что касается Атакамы в Америке, пусть она будет пустыней мечты, так как каждый ученый не успевает постичь все и оставляет какую-то часть исследований ученикам. И когда-нибудь в старости ты расскажешь, что Атакама манила тебя с колыбели и озаряла научные твои подвиги. Это когда с тебя статуи будут делать и изучать тебя в школах.

Травяной шар молчал и сказал важно:

– Я ведь с рождения знал, что необычный. Овцы меня обходили, и никакой дурной маленький ветер не мог меня сдвинуть. Я был рожден для великих ветров!

Вика тут улыбнулась и попросила: – Милый и уважаемый Перекати-Пустыню, можно, я в вас сяду и мы поедем куда-нибудь, где я что-нибудь съем?

– Не куда-нибудь, а на Волгу, как мы договаривались. – Он поправил и продолжал, едва Вика уселась на ранец: – И знаешь, меня еще назовут "знаменитый искатель морей". Если б не ты, я давно бы нашел Черное море. А ты-то угодишь в рабство, то останавливаешься поесть. Если бы я не погнался за грузовиком с клеткой, ты и сейчас бы была в рабстве.

– Конечно. Я очень тебе благодарна.

Травяной шар прокашлялся перед признанием: – А вообще... ты лучше *той*. Сразу, когда вы раздвоились, я тебя не любил, потому что прошедшего ты не помнила и меня, значит, не помнила. Я на тебя очень дулся! Ты танцевала себе в удовольствие, будто меня рядом нет. А теперь ты со мной говоришь, говоришь, точно мы две сороки, и, если надо толкать, то толкаешь меня без перчаток. Та толкала в перчатках.

– Как же в перчатках, когда ты цветок?

– Эх-эх, ты сказала такие слова, что я хочу о них думать. Не обижайся, что я молчу, ладно?

– Поправлю тебе вон ту веточку, и давай помолчим, я согласна.

С цветущих туркменских песков они въехали в стылые прикаспийские и у ног Каспия, скрытых льдом и упершихся в Астрахань, задержались. В кустарнике Вика жгла ветки и грелась до ночи. Когда звезды высыпали и пошли кувыркаться, она подползла к Волге, очистила ледяное оконце и постучала: цзинь-цзинь. Волга слегка задержалась и обернулась. Так и так выдала тайну Вика, так, так и так. Волга, выслушав, негодуя, стала на месте.

– Что делаешь?! – вскричал Каспий, задергался, так что

над ним треснул. Вика – в трещину – и побежала на крики. Бежит ночь, день, неделю меж перепуганных рыбьих стай. Каспий еще не показывается, но уже не кричит. Вика шарит по дну в полумраке – и вдруг за подводной скалой увидала горбатого карлу с просоленной бородой и просоленным носом, который протискивался в щель. Но она его – хвать! – за зеленые пятки – и вытащила.

– Кто ты? – спрашивает и рассматривает в свете, что пробивался сквозь ледяной свод.

– П-понтик Гирканский, – трясется.

– Я знала, что Волга лишит тебя силы, но я не знала, что до такой карличьей меры, – смеясь, сообщила она.

– И мне тоже смешно. Хи-хи-хи! – сказал Каспий. – Я, добрая фея, можно сказать, и не Понтик Гирканский теперь, а идея морская всего, до того я ничтожен. Морская идея всего лишь я, хи-хи-хи! Дунь – и нету.

– Как это?

– Так, что по малости и ничтожности не осмеливаюсь называться водой. Вот, к примеру, Японское море – с большой буквы море. Аральское море – какое там море, по правде сказать! – но пускай будет море. Я в нынешнем виде – название, нуль, неосязаемость, пыль, отпусти меня – буду висеть себе в воздухе, и вообще, ничего ты не держишь, раз я нуль и морская идея... шахматная идея, пластическая, симфоническая, никакая, какая, ая-я.

Вика запуталась и разжала кулак, потому что зачем ей какая-то никакая идея. Каспий же, шлепнувшись, стал зарываться в ил столь осязаемо, что она живо опомнилась и схватила его крепко-накрепко.

– Ах ты обманщик! Давай говори, куда дел Черное море со всем побережьем? В Сахаре уже роют ложе под Черное море!

– Что? Где Сахара? Не знаю... (Вы посмотрели бы в его бегавшие глаза!)

– Я тебя посажу в банку и заткну, кажется, пробкой.

– А! Я все понял! – взвился Каспий. – Ты не лучше! Кто-то украл Черное, ты воруешь меня. Чем ты лучше?

– Я все-таки заткну пробкой, а Волга нальет новое море.

– Лужу воды, а не море!! Да ты не знаешь, что называется морем! Нужно, как я, быть набитым историей, чтобы так называться! Во мне парфянский царь купался, на мне Стенька Разин пиратствовал!..

– Надо идти, – прервала Вика и потянула его за руку, как ребенка. – Все-таки пусть наливается новое море, а кровожадную эту морскую идею я выведу. Ты уже, видно, не море стал, а какой-то бандит, потому что набился идеями и не хочешь вести

обыкновенную морскую жизнь под дождями и солнцем. Где Черное море?

И покатили в Москву, к Прохиндею, который, как Каспий признался, содействовал в изготовлении некого зелья, могущего уменьшать моря до размеров аквариума, что и было проделано в целях взаимной их выгоды.

Карла в ранце сидел, что был под Викой и на ремнях свисал с палки, пропущенной через центр Перекати-Пустыни, в каком они двигались по шоссе. За Рязанью их задержала милиция, чтобы оштрафовать за отсутствие номера.

— Что же, товарищ водительница, вы без номера? Будем вас штрафовать и наказывать. Номерочек иметь надо, а то едет бог весть что, и затрудняешься даже назвать. А так будете, голову не напрягая, какая-нибудь мин-двенадцать-ноль-два или прусорок-четырнадцать. Кроме того, где у вас ветровое стекло?

— Что вы! — ответила Вика. — Это ведь попросту колесо, и цеплять номер негде. Стекло ветровое тем более незачем.

— Как же так? — растерялась милиция и дубинками почесала в затылках. — Головы у нас трескаются, мы не знаем, что вы такое, так как отсутствует номер. Положено на шоссе всем иметь номера, у кого нет — тех наш долг останавливать.

— Я вам сейчас помогу. — Вика села на ранец и стронула травяной шар к обочине. — Правда, когда непривычное на привычном — понять сразу сложно. Смотрите тогда на привычном привычное.

Она съехала в поле и покатила, вздымая снежную пыль.

— А! — сказала милиция. — Это же перекати-поле. А мы было его штрафовать. В самом деле, стоишь здесь на холоде, и не такое почудится! У меня сон был недавно, я останавливаю, так и так, за превышение скорости, хрю и хрю. Он: хрю-хрюа, а-хрю!

Слушатели, крякнув в смущении, отошли: служба, мол, а ты байки рассказываешь.

Заключение сделки

Вечером два молодых обормота, одетых и стриженых по последним стандартам, вошли в кафе "Ивы", окинули залы взглядами и, не найдя ничего, что бы им соответствовало, удалились в фойе, где, устроившись в креслах, похрюкивали и вытягивали мослы, чтобы об них спотыкались сверхмодные девушки, и в конце концов обормоты постарше набили за это им лица, особенно рыжему. От обиды и горя они заказали два крепких коктейля и, севши в углу, пообщались от сердца, причем начал рыжий с фингалом:

— А этому я еще в пачку дам. Довыступается.

– Ладно, сам вымрет, как мамонт. Я б в его возрасте застрелился: в два гривенника. Ты физику сделал? – продолжил смазливый с зачатками вкуса, проглядывавшего в манере держаться.

– До фени мне физика... Глянь, атасный бабец сел. Подколемся?

– Атасные у нее штаны. Только с твоим фонарем... Сам смотри.

Рыжий с фингалом опять впал в снобизм: – А физика мне до фени. Я и без физики зарабатывать буду с верхом. К отцу в мастерскую пойду. Атасные заработки.

– Слушал пласт, я тебе приносил?

– Атасный пласт, забой. Двинем к Ленке?

– Ленка бабец ничего, но живет далеко и система у ней устарела. Ладно, я тебя сведу с Эллочкой: в одном классе с ней. Только ты не треплись никому, лад? У ней есть игрушка. Знаешь, кто к ней ходит? Пару имен назову: Грек, Аська, Чапа.

– Атасные люди! Слышь, сведи!

– Я стойку сделал на Эллочку, понял?

– Я тебе что, свинья или друг?

– Ладно, иди и еще по коктейлю да двинем.

Они еще выпили, и мозги их окутала свинская мгла, мысли, отяжелев, опустились до уровня хрюканья. "Глянь: окно в трещинах. Это я вчера одного вдвинул, хрюн! А-хрюк-хрю!" – "Хрю? Хря-хрю? Хрю-хря". Осознав, что беседовать бесполезно, они двинули к Эллочке. Обыкновенные люди пошли бы кратчайшим путем, эти же повернули к Арбату, чтобы пройти фешенебельную эту стрит и свихнуться вконец от цветастых домов, фонарей, женских ног, здесь имевшихся в изобилии. Куртки они расстегнули, выметав концы ярких шарфов, и, цинично похрюкивая, поводили глазами туда и сюда. Сталкиваясь с красоткой, один вопрошал: "Что, атасный бабец?" – а второй отвечал: "Не атасный", – после чего, пропуская ее, оба они ухахатывались от своей шутки.

– Ох, стервецы! Ну, стервецы! – вдруг произнесла женщина в рваной шубе, курившая, нога на ногу, на скамье посреди улицы. – Вы цыплячьи мозги.

Обормоты, трясясь от обиды, остановились.

– Старуха, чего тебе, брови выщипать?

– Тысячелетия дух горит, эти моллюски все тину жрут. Ну, вы сейчас наедитесь досыта ее, лейблы драные!

(А обиднее в эту эпоху не сыщешь ругательства.)

– Мы!.. лейблы драные?! – Разъяренные до потери контроля, они было ринулись к ней с кулаками, но крышки канализации вдруг повернулись, и оба попадали вниз. Как тараканы, взлетели они на поверхность.

– Ты, вон тот рыжий, с фингалом, штаны у тебя из Тамбова?

– Ты что, в самом деле-то, прикопалась?! – заплакал от ярости рыжий, рванувшись ее мордовать, но опять угодил на какую-то крышку, которая свергла его в яму. Проклятые эти крышки сорвали еще ряд атак. Обормоты хотели бежать, но ступились у столика с горячительными напитками, причем руки их быстро хватали и опрокидывали содержимое в рты.

– Джин, виски, ребята, атас! – ржала ведьма, рассевшись вольготно. – Вы их вместе с посудой!

И пьяные обормоты глотали бутылки. Потом их швырнуло в атасный авто и гоняло в бульварном кольце с такой скоростью, что центробежная сила размазала их по дверце, потом до упаду напрыгались под атасную музыку, а потом отросли у них сверх-атасные лохмы, к лицам приклеились фирменные ярлыки, и, поджав ноги в атасных штанах, покатились они колобками в метро под идиотский наказ: – Завтра чтоб были здесь снова, телята!

В вагоне, став в угол, они осмотрели друг друга. Их потрясенные души обменивались информацией без свинячих присказок.

– Ты понял?

– Атас! Ничего я не понял, – ответил на это рыжий с фингалом. – Только меня тошнит, и у тебя по морде сплошь лейблы*.

– Ладно, у тебя тоже лейблы. Только зачем у тебя хилые наши лейблы: сделано в Костроме? Отдери – вон, на скуле.

– Не отдирается. Слушай, чего у нас патлы до пят? Не атас.

– Ты отдери кострому!

– Не могу, надо с горячей водой.

– Тогда я с тобой не поеду, – признался смазливый. – Грек, Аська, Чапа! – а я с костромой завалюсь, облом! – Он отстранился в смущении.

– А пошел ты тогда! У самого на торце кострома! – выпалил рыжий с фингалом и выскочил из вагона, когда уже дверь захлопывалась. Смазливый немедленно ткнулся в угол и начал сдирать этикетку. На улице с помощью найденного гвоздя он избавился от нее окончательно.

Эллочка, отворив ему двери, окинула его взглядом и высказалась:

– Атас!

В ее комнате возле ящика с Черным морем лежали в купальниках Грек, Аська, Чапа. Едва Обормот обнажился, его окружили и, под коктейли и сигареты, захрюкали о достоинствах лейблов, его облеплявших. Лейблы всё были высшего качества, а о многих еще не слыхали! "В Москве я один такой, – повторял Обормот. – А у другого на скуле хилые наши лейблы, мне с ним идти ря...

---

* Label – ярлык, этикетка, фирменный знак *(англ.)*

стыдно". Стоило к Обормоту прижаться, как лейблы перепечатывались. Отчего скоро все пятеро были в лейблах, трясли сверхатасными лохмами и скакали в подобии танца. Грек выложил Аське, что Обормот – парень классный, и предложил покурить на турецком прибрежье. Однако раздался звонок. Все, сказав: "Хрюй!" – потянулись к одеждам.

Прохиндей позвонил снова, и Эллочкин голос за дверью сказал:

– Э-хрюа?

– А-хрю, хрю-хрю-хрю! – прозвучало в ответ разъяснившее, что пришел твой любимый папуля, открой скорей, дочка!

Эллочке между тем так опротивело это свинячье общение, что она нацепила дверную цепочку и прожурчала папуле, не проведет ли он ночь в другом месте: "Хрюи, хрю-хрюи?"

Конечно же, ничего не поняв, Прохиндей повторил просьбу и применил к дверной ручке силу, на что, негодуя, Эллочка отвечала весьма обещающим визгом. Вспыхнул семейный скандал, вмиг угасший, стоило показаться на лестнице человеку. Похолодев, Прохиндей вызвал лифт и представился, что не он тут рычал и ломился в квартиру. Дверь же внезапно раскрылась, и пятеро волосатых и татуированных обормотов, вывалив, заскочили в подъехавший лифт и низверглись. На улице первое, что они сделали, – разоржались, второе – съязвили по поводу двигавшегося по дороге огромного шара, который, как "дохлая самоделка", не шел и в сравнение с фирменными авто. А в вагоне метро они, сгрудившись вокруг ящика с Черным морем, шептались и снисходительно озирались на тех, кто уступал им по рангу атасности за невозможностью каждый день созерцать Гагры и Ялту, не говоря об Одессе. Эллочка ехала к Сонечке, что была ее матерью и жила в Сивцевом Вражке с Ухериным. Обе встретились с визгом: "Хрю-и-и!!" – соорудили чаек и уселись беседовать. Обе: "Хрю-фи!" – отметили нищету Прохиндея, а также: "Хрякиссимо!!" – сверхдостаток Ухерина. Сонечка показала буклет "По Италии" и сказала, что скоро они уезжают туда отдыхать. Эллочка, лия слезки, сказала: мамуля, я принесла сумку с вещами, и можно, я поживу у вас, чтобы папуля не очень-то мнил о себе, задавала, сам обещал миллионы, а вместо этого хрюкает и пропадает по всяким дурацким делам, а у вас здесь атасно! ла-хрю-хрю?

– Ко-хрю-хрю!

Тут позвонил Прохиндей и взволнованно что-то захрюкал. Сонечка отвечала: "Нет, не-хрю", – и бросила трубку.

Из кабинета возник муж уверенного обличья и грузного представительства.

– Хыр хрыха, – начал он, доставая из холодильника пиво и чудный балык и считая, что обстоятельно сообщает, что завтра

Дубасов, Богатов и он представляют проект директив, из которых важнейшая звучит так... – Он принес лист бумаги и ткнул в строку рыбьим хвостом. Женщины, заглянув, прыснули со смеху: эти мужчины совсем прямо боровы! пишут чушь! Эллочка, притворившись серьезной, надела ухеринские очки и прочла важно:

– В цехрю дальнейхрю хрю нахрю обрахрю на кахрю...

Ухерин, потягивая пивко, думал, что девушкам все бы смеяться. Сонечка обняла его и попросила пятьсот рублей бедной сиротке для независимой жизни. Когда он извлек смысл из взвизгиваний, он сказал, что аванс перевел уже в лиры, но завтра заедет в редакцию и напомнит о гонораре. "Девственная и юная", – он подумал об Эллочке, уходя спать.

Утром его отвезли на работу, где на трибуне, покашливая и бася, он прочел это самое "нахрю обрахрю". Ответственные пичуги дрожали и мыслили: "Понимай, как хочешь, а план чтоб ему был". Проект приняли единогласно, размножили, распространили. После обеда с Дубасовым и Богатовым он сказал секретарше: "Ха-хрых", – и поехал в редакцию альманаха "Кваква". На-Гора у себя в кабинете отдела поэзии с петлей в руке забирался на гору бумаг, чтобы повеситься на батарейной трубе, когда прибыл значительный гость.

– Хр-р, ахр!

– Хрю... х...

– Р-рых-ахр-р хрык, хр-р-рыа.

– Юй, юй хрю...

На-Гора взмок от пота и понял, что, если беседа продолжится еще с полминуты, его, в лучшем случае, увезут в психдиспансер, а не уволят, поэтому с радостью кинулся он на звонок телефона и зашумел в трубку: "Хрю-хрю!"

– Бросьте ваш скотский обычай и говорите нормально. Вы почему не звоните в маленькую мансарду в стиле ретро?

– Вы!... Черт вас побрал! Что вы подсунули мне "неизданное"?! Але, цирк... Я вас в клочки раздеру, только найду!

– Я сейчас буду.

Шнур телефонный набух, как змея, проглотившая кролика, из мембран повалил дым – и составилась элегантная смуглая Алгаритма.

– Ахр-рах! – отшатнулся Ухерин и, оступясь, повалился на штабели папок.

– Пойдемте, – пробормотал На-Гора, подымая его, но споткнулся на стопке "неизданного" и упал в свою очередь. Оба барахтались в папочном ворохе и молчали.

– Ты, пузан в галстуке, кто такой?

– Я попросил бы! – рявкнул Ухерин. – Ваши фокусы здесь неуместны. Что вы устраиваете балаган... – Папки посыпались на

него, заглушая. – Вы понимаете?! Я ответственное лицо!! Вон за окном в переулке меня ждет машина! – тогда заорал он с испуга.

– Что же ты делаешь здесь в рабочее время? Или торчание по восьми часов на одном месте к тебе не относится?

– Петр Ильич, – встрял На-Гора, – автор нашего альманаха... и сильная, искренняя поэзия!

– Ясно. – Закурив, ведьма выпрямилась с сигаретой меж пальцев. – Лавров, пузан, захотел? Не хватает оклада? икоркой пресыщен? Духовные устремления, а, пузан? Ну-ка, свой перл!

– У Петра Ильича сатирический пафос! – понес На-Гора, выбираясь из-под бумажной лавины. – В его творчестве боль и раздумья о судьбах планеты. Петр Ильич, я наизусть помню: Проходя по Вашингтону, показали небоскреб. А я, грешным делом, думал – это гроб!

– Не к чему объясняться! – рявкнул Ухерин. – Она у меня в двадцать четыре часа вылетит из Москвы!

– Вставай.

Встав, Ухерин прошел к телефону и вызвал милицию, после чего, оправляя манжеты, двинулся к зеркалу, говоря: – Вы готовьтесь показывать фокусы в отделении... Так, а к вам я, собственно, чтобы ускорить формальности с гонораром: вылетаю в Италию. Так... однако! – Он, замолчав, щупал себя вокруг темени. – Что такое?

– Лавры тебе, пузан, как у Петрарки, – сказала, смеясь, Алгаритма.

Лавровый тот венок был причудливой плоти, как уши, зеленоватого цвета и не снимался. Ухерин, помяв пальцами лепестки и потянув один, перекосился от боли.

– Иди, пузан, ждут дела.

Но Ухерин терзал свой нарост и менялся в лице, а заслышав за дверью шаги, заметался по кабинету, чтоб спрятаться.

– Вот сюда, – подняла ведьма трубку. – Какой у тебя номер?

Сказав, он влез внутрь, она набрала цифры – и по шнуру поползла опухоль. Дверь отворил милицейский сержант.

– У вас хулиганят?

Вскочив, На-Гора стал указывать на Алгаритму и говорить, двигая в такт кулаком: – А солнце светило нежно, и искры сыпались из глаз! А ласточка в дали безбрежной, она над полем белоснежным – красивой, черненькой вилась!

– Хулиган убежал, – пояснила прекрасная Алгаритма с ее удлиненным, как у Касильды на полотне Сурбарана, носом. – А этот товарищ читает стихи Риммы Синичкиной. Слышали?

– Нет.

– Машинистам, – шептал, между тем, На-Гора ему в ухо, – обходчикам, честь и слава сталинским бойцам!

– Уж вы разбирайтесь тут сами, – перепугался сержант и ушел.

Бледный, как смерть, На-Гора, не сводя с ведьмы глаз, начал пятиться и, свалившись на папки, покопошился и стих. Вскоре он тихо взмолился:

– Я не это хотел сказать. Что вы со мной сделали? Зачем мне ваши Хлебниковы и Хармсы? Меня снимут с работы.

– Я тебя завалила неизданным настоящих, а ты плачешься по Перекриковым. Ты ведь хотел бы, чтоб в папках опять оказались синичкины?

– Хотел бы, – последовало признание.

– Но они хрюкают!

– Все хрюкают. Зачем нужно, чтоб именно мой отдел не хрюкал?

Тогда Алгаритма смяла окурок в пепельнице. – Бот, мальчик, у тебя с этого дня привилегия: будешь вещать только муть, которой помог напечататься. Не забудь, каждый вечер сбор около "Охоттоваров" здесь, на Арбате.

– А также звоните. Звоните мне в маленькую мансарду в стиле ретро, – сжеманничала она перед тем как исчезнуть.

"Милый мой, потеряла самоконтроль, распустилась, озлобилась, напропалую колдую. Хрюкают пол-Москвы, и довольны. Тебя и твоих слов будто не было! На Арбате посредине горят фонари и весь день толкотня. Сядь на скамейку – пройдет вся Россия. Помнишь, ты меня встретил мятущуюся и сказал: мечешься, потому что природа твоя не звериная, но еще не духовная, и так все человечество, дозревающее в земном полусне до вершины творения. Хороша же та очередь в духи! Зверя в себе все старательно холят, так как есть тезисы, что, чем лучше питаться и быть ближе к реальности, что вокруг, тем скорей воспитуется дух. Все и стараются. Головы можно отрезать и выкинуть, потому что за всех думают телевизоры и газеты. Думать – это ведь представлять и судить, а зачем, если есть представление на экране и в строчках – суждение. Мало того, если суждение ясное, а представление яркое – просят их повторить. Данте чегой-то там ищет и плачется? Нам нужно чо-нибудь "трах-бах-готово". Пожалуйста, повторите "трах-бах-готово". В сотый раз по многочисленным просьбам "трах-бах-готово". В большом ходу ретро: возврат к ощущениям юности и периодов, прошибающих слезы. Пожить бы от пуза – и в ящик. То, что из плоти, как бабочка из личинки, выпархивает душа и вступает в сонм новой жизни, – не понимается! А понимается вздорно: построй дом-другой и оставь вечный след. А дрянной этот дом, может, не стоило строить, как и бассейн "Москва" на обломках прекрасного храма. Мне неспокойно, мне до тебя еще долго. Как сладко и тяжко, что ты где-то есть, а я

здесь. До того сладко и тяжко, что хочется умертвить себя и бежать к тебе. Это, однако, похоже, как если, желая бабочку, раньше времени разбить кокон с личинкой, да? Передай И. С. Баху, что в трехсотлетие все он еще высоко над кумирами, и "берлинская лазурь" славы его сына Карла выцвела, пусть он отлупит мальчишку. Что хрюкают – я их встряхнуть хочу, чтоб одумались! Я целую тебя. Под темной вуалью глаза огневые... Мы будем там неразлучны? С ума сойти!"

Алгаритма, заклеив конверт, выбросила его в форточку. Буквы выпали и полетели в морозную высь, а бумагу нашел и использовал в целях опытного самолетостроения первоклашка.

Жила Алгаритма в пространстве между торцами старинных домов, узком настолько, что лишь помещалась кровать, но очень длинном. В широком конце у окна стоял стол; унитаз украшал угол острый, где была дверь. Алгаритма уселась читать и читала до темноты, когда лучше думалось и гляделось на снежные крыши, огни и шумливый Арбат. Чтобы согреться, она обхватила себя, но, не почувствовав, поняла это только умом. Тело ее в одиночестве разучилось себя ощущать. Тело нуждается в ощущении тел, и поэтому захотелось рожать и ласкаться. Она встрепенулась и зашагала стремительно взад и вперед. Как еще долго ждать! Не терпелось. Она искромсала кочан, приготовила ужин, поужинала и на метле ну летать-остывать! Ровно в десять она сверглась с неба около магазина "Охоттовары" веселая, возбужденная и подошла к ожидавшим ее мужчинам.

– Господи! Алгаритма Ивановна! – подскочил Прохиндей. – На сегодня увольте! Я завтра вам двойную норму сделаю! У меня дочка пропала, надо найти, хрю!

– А где лауреат? – огляделась она и немедленно выкрикнула колдовской клич.

От стены магазина с грохотом отлетел телефон, и всего-то: Ухерин не появился.

– Ладно, я с ним разберусь. Ты иди.

– Благодарствую, благодарствую. Алгаритмочка... то есть Ивановна! – попятился Прохиндей, не сводя глаз с обормотов и На-Горы, вдруг упавших ничком и покатившихся среди прохожих. Когда набежала милиция и пустилась вдогонку, все трое, рассыпавшись переулками, покатились быстрее. Прохожие хохотали до слез. К полуночи тройка выкатилась от Гоголевского бульвара и, собирая зевак и милицию, прокатилась Арбатом, чтоб выпрямиться подле ведьминых ног.

– Нахрю поряхрю! – насела милиция.

Обормоты, постукивая супермодными каблуками и затрудняясь ответить, твердили: – Атас, хрю.

Зеваки смеялись.

– Собственно, что за претензии? – Алгаритма представила

документ. – Сборная по катанию через голову тренируется. Старшина, у тебя тоже прекрасные данные, ибо ты не желаешь меня отпускать. Быстро отсюда в Очаково или еще куда на окраину, где нужда в тебе больше, чем здесь!

К изумлению всех, старшина принял стартовое положение и кувырками стремительно удалился.

– Хрю-хрю-хрю! – посмеялись собравшиеся и рассеялись.

С неба сыпал, сверкая в фонарных огнях, иней. Девочка в маленьком, не по росту, пальто, сунув руки в карманы, стояла поодаль за снежной кучей.

– Что ты здесь делаешь? Уже поздно, – заметила ведьма. – Первый час.

Не ответив, девочка переулком пошла на Калининский. Алгаритма, имевшая нюх на смятенные души, кралась следом.

Девочка пересекла тротуар и газон, задержалась на остановке такси и, когда проносилась машина, шагнула вперед. Но машина взнеслась перед ней, увлекаемая воздушным шариком, что привязан был к буферу. Девочка, лежа, смотрела, как он уволакивает машину во тьму, и без слов поднялась, опершись на предложенную ведьмой руку.

– У вас длинные, загнутые, как у совы, ногти, – сказала она в переулке, едва освещенном.

– Я необычная. У меня в волосах и ногтях нечистая сила. Куда тебя проводить?

– У меня ноги дрожат. Мне бы сейчас посидеть. А потом я должна идти за Перекати-Пустыней. – Она помолчала. – Меня зовут Вика. Виктория.

– А я Алгаритма. Пойдем вместе за перекатипустыней?

– Спасибо вам, – девочка посмотрела на ведьму. – Одной мне было бы трудно туда возвращаться. Тогда я не буду сидеть, а покрепче возьму вас за руку, и обойдется.

За Арбатом, в другом переулке, перед подъездом какого-то дома Вика остановилась.

– Мне следует вам объяснить. На втором этаже слева квартира, и там Перекати-Пустыня. Мы с ним приехали издалека по одному делу, гуляли здесь дотемна, потому что нам негде было жить, и встретили человека. Он расспросил меня и пригласил пожить у него... Я и жила. А потом я ему станцевала – я ведь могу танцевать и животных, и дождь, и лимоны. – Она свесила голову. – Потом он мне дал крепкий чай... сегодня, и я крепко уснула... И я проснулась очень поздно уже. Вот.

От Алгаритмы, посыпанной инеем, пар пошел.

– Этот Перекати-Пустыню – щенок? – спросила она.

– Он трава говорящая, только здесь в Москве он молчит, потому что робеет и люди над ним насмехаются. Он с меня рос-

том. Тот человек запер его в другой комнате... И еще у меня там ранец, в котором одно важное дело.

– Подожди здесь. – Ведьма отправилась на второй этаж и позвонила. Ждала она долго. А дверь распахнулась внезапно, и показавшийся человек лет пятидесяти оглядел ее. – Я по объявлению. Я из кордебалета Большого театра. Вы сдавали комнату, поначалу это меня не устраивало, чтоб с мужчиной в квартире, но обстоятельства так сложились, что я согласна на все. Вы понимаете? Если я опоздала, то я, конечно, тогда извините, – жеманничала она улыбаясь.

– Э-э... Не опоздали, хотя... Заходите. Ликер, чай? – Он, впустив ее, запер дверь и потер руки.

– Конечно, ликер. Мартовские ночи морозные, как вы думаете? Я пока буду в шубе, ладно? Я мерзляка. Вы настоящий мужчина, другой бы наговорил грубостей, разбуди его ночью!

– Прекрасному полу я готов служить денно и нощно, – ответил он, появляясь с бутылкой.

– Странно, что вы не хрюкаете, – Алгаритма прошла за ним в зал. – В Москве хрюкать модно, хотя эта мода двусмысленна.

– Видите ли, – он усадил ее в кресло, – я человек деловой, так сказать, бывший военный, спецчасть, два ранения, персональная пенсия. И сейчас льется кровь, и есть те, кто по роду профессии проливает ее. Что, если завтра мы с вами вылетим в Гагры?

– О, вы напористый и бесстрашный! – Она рассмеялась. – От вас ни секунды покоя. Меня покорить легко. А испугались бы вы моего мужа? Ревнивый мой муж! я его не люблю.

– Хотите, завтра же полетит северным рейсом хоть в Воркуту? Пейте же, как вас зовут! – Он уселся с ней рядом в кресло.

– Вы бесстрашный! У вас только ваше желание. А вселенская совесть, как принято сейчас называть бога, – я не думаю, чтобы она вас останавливала.

– Бросьте мудрствовать! Вера в первопричину, в закономерность, последовательность развития принуждает индивидуальность держаться в каких-то рамках. Что за глупость! – Он схватил ее за руку. – Я же верю в реальность, в себя – человека, который деет что хочет в реальности. Да, в слепую материю, в свой изменяющий скальпель.

– Но вы все-таки не Бонапарт, не Чингисхан? – Она вежливо освободилась. – Вы всего-то получаете персональную пенсию. Вы в плену у каких-то традиций, а, бесстрашный мой рыцарь?

– Бросьте! – Он фыркнул. – И пейте. Вы почему-то не пьете. Я же не говорил, что я анархист. Я реалист, наши традиции зелены и подлежат воспитанию. Я их выращиваю сам: поливаю, прищипываю, прореживаю – делаю что захочу. Наполеон ваш такого не мог, эта марионетка, раскрашенная в тенётах тысяче-

летних традиций. Что он мог, то и я могу, оставаясь в тени. Что хотите? Париж, Сингапур, вечер в посольстве?

– Что у вас на полу за труха? – Ведьма, вытянув стройную ногу, пнула веточку.

– Так, засохший цветок... Я... хм, сейчас. – Он стремительно убежал в туалет, где издал неприличные громкие звуки.

Ведьма, включив в другой комнате свет, осмотрела ее, но и там была только труха на паласе. Хозяин же продолжал в туалете шуметь. Она выключила ему свет.

– Послушай, ты будешь там долго, поэтому сразу скажи, где трава, с которой пришла к тебе девочка.

Молчание разорвал резкий треск, и со стоном он выговорил:

– Не знаю я ничего... никакой девочки. Свет включите и убирайтесь отсюда! – последняя фраза венчалась утробным урчаньем, потом канонада и всплески закончились стоном. И Изменяющий Скальпель вывалился, цепляясь за дверь, но позыв снова бросил его к унитазу.

– Хватит тебе "изменять". побудь-ка в плену у материи, – молвила Алгаритма. – По вечерам тренировки возле "Охоттоваров", явка обязательна. Где, спрашиваю в последний раз, девочкина трава?

Он сказал и, забыв человечий язык, завизжал поросенком.

Ведьма вышла на улицу, по следам трухи двинулась в подворотню, остановилась у мусорных ящиков, запалив спичку, нашла нужный и принялась вместе с Викой вынимать веточки Перекати-Пустыни и складывать их в букет. Вика плакала тихо-тихо. Потом, вынув ранец, обе пошли к золотому Арбату, в старинном доме в проулке въехали в лифте на верхний этаж, отворили нелепую грязную дверь, по веревочной лестнице взобрались в обиталище ведьмы и было уснули, но утром у девочки обнаружился жар. Алгаритма, рыдая, летала за колдовскими снадобьями.

Прохиндей спал, навалившись на стол, а забрезжило, вдруг вскочил и опять перерыл всю квартиру. Сто тысяч, которые дал ему Воротила Финансович как задаток, были на месте, но ящика с Черным морем по-прежнему не было. Прохиндей взял булавку и уколол себя в палец. Ах! Не сон. Нет товара. И Элки нет. Когда вышли тогда пятеро обормотов, она, верно, была среди них и унесла товар. Как искать? Обратишься в милицию – все потеряешь и, кроме того, могут вызвать для опознания как раз в час кувырканий по улицам. Прохиндей, застонав, стукнулся лбом о стенку, оделся и побежал к часовых и других кропотливых дел мастеру Абрамзону.

– Милый вы мой, выручайте! Дочке на день рождения обещал я по глупости это самое... Черное море, а в продаже нет.

– Какая фортуна! – отнял от глаза линзу старик Абрамзон. – Вчера только игрушечные моря продавались в универмаге. Я приобрел одно, да с дефектом; продать вам?

Прохиндей, открыв рот, долго молчал, прежде чем возразить:

– С дефектом бы, понимаете, не хотелось. Современная молодежь, ей не содержание,-а ей форма важней...

– Вам, вижу, яркое море нужно, из синей пластмассы!

– Да... то есть нет. Копия, но уменьшенная до размеров посылки. Матушки-светы, как же вы не поймете, я деньги плачу! – прорыдал Прохиндей. – Жажду правдоподобия: стратиграфические пласты, города, пальмы и...

– И за все сорок тысяч рублей?! – изумился старик Абрамзон. – Слушайте же меня: уходите и не мешайте работать. Что бы сказали Дагович и Пилдегович, возьмись я за это ужасное дело. – Он опять сдавил глазом линзу.

– Я думал, тысячи хватит... – пролепетал Прохиндей.

Тотчас откинувшись в кресле, старик [illegible] заявил: – Ха-ха-ха и еще ха-ха-ха! Уходите. А вы, дама [illegible] пройдите сюда, у вас, вижу, часики поломались. Старик [illegible] чем сейчас угодит.

Прохиндей ловко сунул в окошечко [illegible] мастера за плечо.

– Шестьдесят, и чтоб к вечеру.

– Это вы говорите, как честный хороший [illegible] Пилдегович с Даговичем о вас этого самого мнения. – [illegible] встал и направился прочь от рабочего места, снимая [illegible] и отбиваясь от дамы, бежавшей за ним вдоль барьера: – [illegible], я заболел и иду лечь в больницу.

"Что-то я быстро с ним договорился, и он не хрюкал", – раздумывал Прохиндей, покупая четвертый билет в кассе кинотеатра, где он просидел целый день. А загадки и не было: просто ведьма в ту пору осуществляла лечение Вики психовоздействием, и Москва, освободившись от власти чар, временно отдыхала. В фильме показывали, как отработавшие по-ударному восемь часов люди, поужинав и накормив детей, приступают к весьма напряженной духовной жизни, как будто и не было этого самого разделения умственного и физического труда, и с ними случаются удивительные приключения, связанные, конечно, с любовью. Прохиндей прослезился и захотел вдруг сознаться в грехах и устроиться на АЗЛК, но, вспомнив чертово Черное море, встряхнулся и поспешил к Абрамзону. За шестьдесят тысяч он сделался обладателем грубой подделки и попытался сбить цену, но на его возмущенное: "Бохрю! За эхрю шестьдехрю?!" – старик справедливо заметил: "Не хохрю – не нахрю, неблаго вы чехрю!" Смолчав, Прохиндей опустил товар в сумку, поймал такси и поехал. Уже в лифте нужного дома на южной московской окраине он

обоснованно предположил, что вороний глаз не сравнить с человеческим, и с надеждой вздохнул. Лифт был добрый московский: с формулой Игорь + Лена = Любовь, с эмблемами ЦСКА и Спартак друг против друга, с оплавленным зажигалкой селектором.

Он позвонил в нужную дверь.

— Вы есть кто? — спросил голос с акцентом.

— Я... я хрю!..

— Очень есть хорошо в связи с общий бизнес! Однако и вы ждать такой стройный мисс, наш Актриса!

Издав звук понимания, Прохиндей стал торчать перед дверью, кидаясь по лестнице вверх или вниз при появлении посторонних. Актриса подъехала запыхавшаяся и, доставая ключ, извинилась за опоздание. Как только вошли, много ворон с гвалтом взмыли и заметались кругом, задевая их, тыкаясь в стены и набиваясь в открытую форточку. Наконец, лишь две птицы остались на шкафе и пьяный вдрызг Воротила Финансович на заляпанном гуано кресле.

— Кора эн' Дора, — сказал он, кивнув на приятельниц. — Я плати все. — И икнул.

Тут и там на полу были пустые и опрокинутые бутылки из-под шампанского.

— Когда я приезжала в последний раз, ничего этого не было, — сообщила Актриса. — Кажется, я на квартире открою фабрику переработки птичьего удобрения. Они еще прилетят?

— Бедный птицы трепещут на холоде, есть настоящие парни с Кремлин, — сказал Воротила Финансович и, распустив крылья, обнял Кору и Дору, слетевших к нему. — Я запросто с ними беседовайт о ваших внутренних все проблем. Есть Черный море в той сумка? — направил он клюв к Прохиндею и быстро поправился для конспирации: — То есть такие конфеты, которые называйт "Черное море"?

Закивав, Прохиндей вынул ящик и, заслоняя подделку от света и перьев, кружащихся в воздухе, показал. Воротила Финансович молча перелетел в столь же загаженную и остуженную раскрытой форточкой кухню, куда пригласил компаньона, и начал:

—Вы говорил, есть порошёк, чтобы море поднялся, как... тесто на дрожжи.

— Хрюх!

Воротила Финансович, пошагав из угла в угол, остановился.

— Вы понимайт, мисс нельзя доверять? Все эти мисс в голове ветер! (С готовностью Прохиндей закивал, памятуя о легкомыслии Сонечки.) Вы получал от мисс тот задаток сто тысяч в конфетный закрытый коробка?

— Хрюах, хрюах!

— О'кей, пусть для мисс это тайна, пусть думает, в этом ящике тоже конфета. Где порошёк?

Жестами и ужимками Прохиндей дал понять, что надеется получить прежде два миллиона в рублях тайно и миллион в долларах в швейцарском банке от якобы умершей тетушки, каковую придумает Воротила Финансович у себя за границей, и, только уведомление о наследстве придет в СССР, Воротила Финансович дополучит последнюю меру волшебного средства, без коего "водоем" не достигнет природных размеров.

– Вас в ресторан зайдет Смит, светлый такой низкий мистер. Вы обслуживайт и договаривайт встреча, где порошёк на рубли. Это есть через месяц. Меня обмануть – я сразу вас выдавайт кагабэ... Мисс! – заспешил Воротила Финансович в комнату. – Вы привез хлеба, мяса?

– На подоконнике, – показала Актриса на Лору, разделывающую кусок.

– Где второй мой подружка? – спросил Воротила Финансович, озираясь.

Тут Прохиндей углядел Кору, крадущуюся из кухни, и крикнул. В то же мгновение Кора подпрыгнула к форточке, Воротила Финансович следом; сцепившись в клубок, обе вороны, воля, полетели к земле. Актриса [illegible], а потом, попрощавшись, сказала, что пойдет. Прохиндей увязался за нею. Перед подъездом среди черных перьев [illegible] не шевелясь, Кора, а Воротила Финансович чистил клюв [illegible].

– Кора была с микрофон. Буду [illegible] квартира.

Но Прохиндей протестующе [illegible]. Воротила Финансович ухватил его за ухо и потащил в сугроб. Море вывалилось из сумки, разбилось, и стало видно, что это подделка из пластилина. Тузя компаньона, миллиардер каркал:

– Дрянной мошенник! Я уже рой в Сахара бассейн, он получайт задаток и так меня надувай! Тебе вот по лбу! Что ты хрюхрю, грязный свинья?! Еще надо по лбу?! Пойдем кагабэ!

Прохиндей колотил себя в грудь кулаками и хрюкал в слезах. Подошла к ним Актриса с Корой в своей шерстяной шапочке.

– Мисс, ради добра, вы должны отворачивайся, чтобы я бил еще этот хряк! – попросил Воротила Финансович.

– Во-первых, хрюкают многие, и надо пытаться найти новый способ для объяснения. Во-вторых, Коре нужна срочная помощь, и в-третьих, если вы будете драться, я возьму палку и поколочу вас.

Все трое поехали на такси до аптеки и взяли бинтов и лекарства для Коры, потом Прохиндей их повел на Арбат, где, показывая на часы, принялся что-то втолковывать.

– Вы хотите, чтобы мы были здесь завтра в указанное вами время? – спросила Актриса.

Обрадованный Прохиндей закивал.

Ухерин спал в недрах провода от телефона 475-90-02, куда угодил после тягостной одиссеи по всей телефонной сети. А причиною было то, что проклятая ведьма неправильно набрала его номер и он заблудился. Однажды он было выскочил на Арбате, когда она выкрикнула колдовской клич, но застрял в трубке у самой решеточки и лишь сорвал автомат со стены силой инерции, а затем телефонные разговоры загнали его снова вглубь. Сны Ухерина были странные, так как в проводе пахло водкой, и неожиданно его потряс голос: ”Коля, ну чо, проснулся? Что ты не хрюкаешь? Еще выпить? Можно... Ты тогда у проходной подожди. Зойке скажу, что, мол, эта... собрание. Слышь, заодно телек посмотрим, сегодня девятая серия... Что, Сергеич?.. А пусть сам план повышает. Ля-ля да ля-ля на трибунах про всякую инициативу, а в жизни кранты тебе крутят... Ну, вот и я помоложе был – рыпался... Им чо нужно, Коль? Нужно, чтоб ты вкалывал задарма до упаду, а он премии за тебя получать будет, за то, что Ванька с Колькой заместо десятерых управляются... А, а... ты отработай ударно, дружинником походи, а потом где хочешь жратвы доставай на семью. Билеты в театр предлагают, когда после смены мне вымыться и с копыт... А, гори синим пламенем! Если обслугу представить не можете, то хоть смену на полтора часа сбавьте для компенсации, правильно я говорю? А чо вы меня гегемоном зовете, а обращаетесь, будто я лошадь безмозглая, да и то корму недодаете, так я на вас плюну, и вы треплитесь себе на здоровье. Давайте, давайте! – чо давайте, если дайте сперва эту самую инициативу... Коля, а чо ты не хрюкаешь? Раньше начнешь с тобой, а ты хрю да хрю... Я хрю?! Брось, Коля... А, мы это обсудим, лады... у проходной”. Моментально Ухерина перевернуло и потащило ногами вперед импульсами казенного баса: ”Хапаев, ты? Что у тебя в телефоне трещит? Так вот слушай: я тебе указание дал – кровь из носу, сделай... Чего у тебя нет – твоя забота, я за тебя думать не буду. Хоть заявление подавай, мне дела нет, на меня сверху жмут... Активизируй, повышенные соцобязательства возьмите. Ты руководитель или жалобщик? Что? Пишешь заявку?.. Хапаев, слушай, Хапаев! заявки потом, я в Совмине краснеть не хочу, понял? Не выполнишь – а в отчете пиши перевыполнил. В следующем квартале недостачу покроешь... Вот так. Что тебя каждый раз учить надо? Я тебя вытащил не для того, понял? Ну, кончили... и не хрюкать, иначе за профнепригодностью... Не хрюкал? Это ты детям рассказывай. Есть и повыше тебя, между нами... А-ха-ха-ха! Ну, все, все, работай!”; ”Леночка! – покатило Ухерина новым сигналом. – Ты? Я думала, что не ты...И ты думала, что не я? Будем обе богатыми, а почему ты так думала?.. Потому что не хрюкала?.. Совпадение: и я думала из-за этого... А какие дела? Никаких, как обычно, хотела встретиться в семь хрю, то есть в семь, где всегда... поболтаем... Вчера его

видела... да, у Светки. А ничего, страсти бурной, конечно, не чувствовала, то да се... не защитится он, я узнавала о теме: какие-то древние древности, пробить трудно... А Мишенька – да! Мишенька хоть и глупый, да папочка Мишеньку не оставит, Мишенька в командировочки ездит, тряпочки будет возить... хи-хи-хи! Леночка, я целую, а хрю. Хрю и хрюй, хрюхи хрюсь..."

Кувырками Ухерин низвергся в распределитель и угодил в провод Киевской АТС. Визг и хрюканье пасовали его по различным каналам в течение многих часов. Неожиданно все перебил голос ведьмы: "Пузан в лаврах, где ты?" – и оторвавшийся от стены автомат выдал Ухерина. Это было на том же Арбате в людное время дня. Алгаритма стояла в наброшенной на халат шубе напротив.

– У меня к тебе просьба: помести одну девочку в кремлевскую больницу. Ей требуется мумиё с Гималаев, а я не могу проскочить за границу: радары меня засекают и атакуют ракеты. Так как?

Отряхнувшись, Ухерин взглянул на [illegible]: "Кончим шутки шутить", – и пошел на Калининс[illegible] такси.

– К Куйбышевскому проезду.

Шофер ехал, косясь на него, и [illegible] что, артист?

– Хр-р-ых, хварх шухрю-хр, [illegible]!! – взорвался Ухерин.

– У, сердитый какой. С недопою, [illegible], что слова тебе не скажи?

– Ахр-хр фахрю, фахрю хр-р похрю! – рявкнул Ухерин и вынул ручку с блокнотом.

– Чего? – Шофер резко затормозил и подъехал к обочине. – Будешь фамилию записывать? В таком случае у меня нету прав всякую пьянь возить. Ты на себя глянь сначала, писака! – Он шлепнул по зеркальцу над приборной доской.

На Ухерина глянул тип в лаврах вокруг головы, в вытертом на локтях пиджаке и с оборванным галстуком. Он растерянно буркнул: "Ахр-ахр", – что означало: "Неслыханное безобразие", но шофер счел, что он извиняется.

– То-то. Надрался где-то на оргии в римском стиле, так ехай помалкивай. А то высажу у отделения, и разбирайся как знаешь. Венок хоть сними, император! – Он свернул в переулок старинного Китай-города, полный луж и капели. Солнце то пропадало, то вспыхивало на перекрестках в окнах контор, министерств, учреждений. Ухерин качался, как кукла, уставившись в пустоту.

– Прикатили. Расплачивайся и вылазь, – затормозил шофер.

Встрепенувшись, Ухерин зарявкал, захрюкал, заерзал, указывая вперед, потому что не мог в таком виде присутствовать на работе, однако шофер, утверждая, что он не ямщик, предложил в качестве альтернативы милицию.

— Все, выметайся! Галстук с венком нацепил, книжечку, чуть что, достаешь. Корчит из себя что-то. Да ты мне до лампочки. Мне отпущено прожить сколько надо, и я проживу без того, чтоб меня каждый галстук учил.

Высаженный Ухерин, закрыв пятерней темя, метнулся по тротуару к метро, но, заметив какого-то подчиненного, нырнул в двери служебного входа, взлетел черной лестницей к своему кабинету, шарахнулся от секретарши и хлопнул дверью. Стол его был завален бумагами, телефоны звонили, он перед зеркалом обрезал с головы листики, воя от боли, и видел, как отрастают немедленно новые. Он по колено стоял уже в листьях, а жизнь текла: фабрики, претворяя ухеринские директивы, производили ненужную дрянь и писали отчеты; Вика почти умирала без трав с Гималаев, а на Кубанщине тракторист ремонтировал агрегат и ругался. Ухерин со школы натаскивался по руководжению, чему много способствовала внушительность физиономии. Он карьеру проделал за кружкой пивка и трибуной и только потом, с должностной и ответственной ношей, погнался за поэтической славой, которая ему боком выходит.

— Хрю-ахрю, хря-хря-хря-хря хрюхря! — вбежала испуганная секретарша.

— Ахр-р архахр! — Ухерин уселся за стол и подпер лоб рукой. — Р-р-рах урх ыйу!

— Хря-хря-хрю дахрю. Вы рахрю?

— Рахрю, — ответил Ухерин, решив, что немедленно эту хрюкающую вертихвостку уволит, так как ее понимать невозможно. Он сделал вид, что просматривает бумаги, но постепенно оставил их ради прощупывания венка и не заметил, как секретарша вбежала опять.

— Похря не хрю?

Он в ярости на нее заорал. Дверь вдруг раскрылась, и появился Удавин с официальными лицами.

— Р-р-рахр! Хр-р-р-р, ухр-р-р-р, а? Р-р-рхух!

Ухерин вскочил и прикрылся ладонью.

— Р-р-рахр, р-рахр! — допытывался Удавин.

Ухерин, зажмурившись, пятился от подступавших гостей, а потом опрокинул вдруг стол и помчался из кабинета, тряся лавровой порослью. Официальные лица похрюкали осуждающе, переглянулись — и обмерли: каждый был в зелени лавров! Потому они быстро свернули кампанию по осуждению вышеозначенного Ухерина и разбежались по собственным кабинетам в тревоге. И как только кто-нибудь назначался ответственным — сразу он обрастал листьями.

Далее в глубину

Скептик в 5.30 проснулся, умылся, поставил разогревать завтрак, сам сел на стул в кухне и заклевал носом. "Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней..." Маршем, маршем, товарищи! Радио ожило, повещало и наконец предложило зарядку для тех, кому, видимо, на работу часам к десяти. А ему к восьми. Он зарядку не делает, и вообще ему лучше бы бабочкой в коконе... Но, уже надев шапку, он растянул рот в улыбке и поворочался, как предлагали, чтобы набраться энергии на весь день. Бодро сбежал он по лестнице. Небо еще было в звездах, сосульки мертвы. Лед хрустел под ногами людей, выливавшихся из домов и спешивших в метро. Переполненные поезда уходили один за другим: в них вминались с гримасами еще личности – отъезжали какие-то консервированные существа. Главное – вот так! в гущу жизни, бок о бок, пульс времени, изо дня в день! "Всехрю с коллехрю!" – вжимался очередной острослов. Скептик ехал одетый, как чушка. Ведь на ботинки наступят, светлое вывозят, шапку собьют. Серое, оно лучше. Все в сером, мудрые! В сером те, кому скудная доля. Яркое – по субботам. Девушка, глянь на меня, разгляди душу бессмертную сквозь неброский покров. – С души не кисель хлебать, [illegible] ты, на худой конец, ничего, но пока я надеюсь, по-моему понимаешь, мужчина – это который не будет толкаться здесь в грязной куртке, а встанет, когда встанет солнце, и тихо поедет на собственном автомобиле на чистую и красивую должность; я еще молода, я надеюсь, а ты, гад, трешься о мою грудь и пуговицу отрываешь. – Девушка, мне сказать нечего, нет авто и отдельной квартиры; прелести, что ты имеешь, не для меня; еду я на обычную должность, не для меня красота; ах, окаянная, как пойду для тебя против совести, как начну грабить, шабашить, лакействовать, как проеду во всем белоснежном мимо тебя – заглядишься! – Давай, действуй, посмотрим. Девушка выскочила в центре города и побежала служить секретаршей к Удавину. Вместо нее втиснулся муж невысокий, моргающий часто, отхаркивающий перегар. Черт ты этакий, уже думаешь, с кем собраться на опохмелку, с Васильтимофеичем или с Гришкой; ведь начитался, поди, этих мрачных романов про бывших сибирских купцов и про их кутежи и не знаешь, что может быть по-другому. – А чо, славные были ребята, кутили на тысячи, аж гудело кругом! мне б погудеть так с цыганочкой, а потом топи; развернуться мне дай хоть немножечко; и любили как смачно: десятки, слышь, баб; не как я: поймался в двадцать один и живу с тех пор с одной злыдней; только один раз в колхозе и переспал с пьяного дела, хоть есть о чем вспомнить. – Ах ты, чертушка, слышал о Бахе, смотрелся ли в небо? – Чо Бах? Бах слишком грамотный был, заумный. А в небо чо

пялиться? Щас стану к станку и буду в деталь пялиться. Чо мне
твой Бах? В рабочий полдень как этих бахов начнут гнать по
радио, хоть беги. А рабочему человеку чо надо? – Ротару весе-
ленькую, и конец; Пугачиху тож... Чо там в газете, третья серия
будет сегодня? – Господи из глубины я взываю, несущийся в ней
со всеми! Душа моя бьется птицей, дай волю! Возьми меня, нет
сил терпеть! Разум мой отними, ибо миру достаточно тела. Яви
свою силу, ибо уже упадаю я духом, уже дар твой бросить хочу на
дороге. Тело для мира, а душу зачем ты мне дал? Выпадает душа,
выпадает! Вытолкнувшись из вагона, Скептик пошел, пошел – и
явился на стройку. Сверкала звезда на востоке. "Выходим в
космическое пространство?" – перемигнулись напарники, когда
лифт их доставил на верхний этаж, где свистел, наметая сугробы,
ветер. Потом на лебедке втащили бетон, следовало кое-где
пробетонить. Скептик лопатой зачерпывал жижи и, относя куда
нужно, видел здание общества, из какого уволился, а возвраща-
ясь, вдали различал театр, в который к двенадцати на репетицию
придет Актриса. Вот, журналистка Треци Какпредписавна пишет
хрюизмы – и счастлива, и Актриса танцует в театре – и счаст-
лива. А он носит бетон, хотя сердце его далеко. Сердце ли остав-
лять там, где тело, или бежать на зов сердца?

– Верю, – сказал он остановившись, – что будешь, лопата,
бетонить, иначе зачем во мне столько хотения, что могу умереть
здесь на привязи.

Но лопата упала, как мертвая. Скептик почувствовал бешен-
ство, устремил взгляд на стылое солнце и выдавил: – Верю, что
полечу сейчас от земли, ибо тошно на ней.

Он домчался до низенькой стенки, но не смог прыгнуть. Он
еще побетонил, затем прошел к группе каменщиков и спросил
остроносого человека в очках: – Как работается?

– Ничего. – Тот орудовал мастерком. – Не жалуюсь.

– Вы кончили философский, а теперь здесь. Несоизмеримо.

– У меня голова чиста, понимаете? Я могу думать среди
кирпичей целый день о чем угодно, что тоже немаловажно. Вы
тоже, по-моему, ушли из общества ради этого? Что объяснять: вы
писали бумаги, и каково было внутренний личностный мир
представлений сообразовывать с директивным?

– Тяжело. Я не вытерпел.

Остроносый в очках отложил мастерок, чтобы высморкаться
в платок.

– Ну, и радуйтесь, перетаскивайте бетон и развивайтесь без
внешних ограничений. Внутри целый мир идей, на который, вы
согласитесь, ни кирпичи, ни лопата не посягают. Выстраивайте,
отделывайте дворцы умственных построений и разрушайте их,
если требует опыт, – занятие бесконечное.

– Но если бы вы занимались в тиши кабинета, вы успевали бы больше. Вы и здесь ограничены.

– Есть зависимость, есть. – Остроносый в очках снова принялся ловко работать. – Но не мечом же себе прорубать путь? Предпочтительней минимальные связи с видимым миром и укрепление связей с истинным, что внутри. Я думаю что хочу, хоть в бараний рог закрути, хоть мясником сделай. Внутренняя свобода не под влиянием.

– А я, чувствую, связан с миром накрепко. Я проклинаю его, потому что уверен, он должен быть не таким, и, когда примечаю ростки скрытой истины, я еще больше терзаюсь несоответствием. Я не могу мыслить вольно, идеи внутри меня соподчиняются и в источник уводят единый, который я не могу рассмотреть пока...

– Тю, Москва! – вскричал [illegible] Прораб. – Я тебя взял, чтобы ты философию здесь разводил? Мне работа нужна! Разговаривать я за тебя буду, у меня [illegible] такая. А ты работай-ка молча.

Скептик пошел и увидел лопату, [illegible] сама по себе. Он ее взял, но, почувствовав себя [illegible].

– Давай разбираться, – начал [illegible], – что ты за фокусы здесь устроил.

– Надо так понимать, – сказал [illegible] шлем и повернувшись к солнцу, – что души здесь ни при чем. Сколько душ пропадает за этой работой? Сколько пропало? Рабство было, чтобы свободную душу насилием умертвить заживо, а теперь летаргия души и дрессура конечностей вознаграждается и прославляется. Я туманно сказал? Спи, душа, все покойно в великом Хорезме! А тот, кто уходит от этого, что получит? Пойдем и посмотрим.

Скептик кончил и зашагал прочь.

– Ненормальный! Давай увольняйся! – крикнул Прораб.

– Я тоже уволюсь, – сказал очень юный строитель, – вкалывать здесь, как дурак...

– Ты? Давай, увольняйся. Я тебе характеристику напишу – ни одно ПТУ не возьмет! – разъярился Прораб и давай бить лопату ногой. – Ну, пади, агитация!

Но лопата, поднявшись, взялась за свое и работала дни и ночи. Строители обижались, что вот-де с железкой на равных работают, и подстраивали ей каверзы, но она нуль внимания. Все же этакое равноправие обижало. "Зин, выходи за меня замуж". – "Чего? За тебя? За лопату надежней, Виталя!" Писали в вышестоящие органы, но оттуда пришла директива: "Рахрю вышехрю, хрю хехрю..." и т. д. Потому власти стройки перевязали лопату почетною лентой, перевесили вымпел и кончили дело.

Скептик показывал "бурю" и рвался куда-то. Едва, утомленный, он опустился у зеркала во всю стену, Актриса сказала:

– Куда ты хотел?

– Из ветхого человека в нового, – сказал он.

– Может быть, это кому-то понятно, но зритель, который увидит тебя, не поймет.

– Был пустующий Байрейтский театр Вагнера, было много всего, что не приняли вовремя, и до сих пор есть спасение, брошенное в грязи, – вставил Скептик.

Однако актриса продолжила, будто не слышала: – Зрителю нужно вот это... – двинула животом и представила, что она глупая птичка. – Но я попрошу включить в программу твой номер, и ты убедишься.

И было так: он показывал "бурю" и рвался куда-то. Похлопали. А Актрисе, исполнившей танец грудей, аплодировали на бис. Концерт кончился, они вышли на улицу. Она стала, сказав, что за нею приедут. Знакомый. Не хрюкает? Нет. Скептик почувствовал ревность.

– Ворона, которая у тебя жила?

– Не ворона, а Воротила Финансович. Он перебрался к приятелю из хрюистов, которого я по его просьбе разыскивала.

– И со мной было чудо, – сказал он, подняв воротник от ночного холодного ветра. – Лопата на стройке вдруг заработала, и я понял, пора уходить. Интересно?

– Интересно. Но это твое чудо. Ты устроился на другую работу?

– В булочную. День работаю, два отдыхаю, читаю книги.

– Ты не боишься, что можешь уйти в себя и потеряться? Тебе тридцать лет?

– Почти.

Она вдруг пошла по тротуару и, обернувшись, сказала: – Не буду ждать. Он, наверно, опаздывает.

– Кто он?

– Один человек... Режиссер, – отвечала она, продолжая идти. Он молчал. Сзади их высветило светом фар, подкатила машина. Водитель позвал, выйдя:

– Я задержался, прости, – и открыл для нее дверцу.

Актриса окликнула Скептика: – Тоже садись. Доедешь до метро.

Скептик сел сзади и слышал, что говорили:

– Завтра тебе на "Мосфильм": сцена Паоло и Франчески. Повтори три последние терцины, отсюда: Любовь внезапно сердце опаляет...

– Любовь, любить велящая любимым, – сказала Актриса.

Он промолчал.

– А он, – спросила Актриса, – *он* будет?

– Эту сцену он объяснит ей сейчас и на съемках не будет.
– Но если он встретит ее, как сегодня, она будет рада... ей это нужно.

– Когда ей будет столько, сколько ему, – сказал он, выезжая на яркую улицу, – она поймет, что было не нужно. Пусть она вспомнит, что он крепко связан.

Актриса склонилась к коленям и выговорила совсем тихо:

– Она не хочет, чтобы он рвал то, что завязано... Она согласна, хоть редко, но видеть... хоть редко, но слышать. Это ее вина, если знает и все равно... хочет... а не подать – плохо. Если бездомная собака просит, не подать – плохо.

Скептик не посмотрел вслед машине, когда его высадили. На автобусе он доехал до дома; родители спали; он долго сидел в своей комнате, около часу оделся, отправился на Ярославский и взял билет до забайкальской Могочи. Поезд помчался. За Уралом Скептик послал ей письмо, написав, что уехал по срочному делу, хотя, он догадывался: ей безразлично. Он мучился от величия страсти, которой был зритель, и ехал по белым равнинам, чтоб вынести эту страсть. На ночных полустанках он выходил и кричал молча звездам: если я так потрясен, значит, есть! Есть не плоть, что темна и насытит, но дух, что вбирает без меры! Как жить в нем? Впереди уже свет, оттого непроглядна окрестная тьма! Ночью поезд взбирался на забайкальский хребет, он различил огонек, выкрал в купе проводника ключ от двери и спрыгнул с подножки. Было студено, хоть март кончался. Последний вагон вполз в тоннель. Луна освещала снега и блестела на рельсах. Он побежал в котловину, поросшую елями, – на огонек, спотыкаясь о бурелом, утопая в сугробах, шарахаясь от видений. На дне он застыл, не решаясь взбираться по мрачному склону к пропавшему из виду ориентиру. Мороз убирал его инеем, подготовляя для смерти, и разгонял пар дыхания. Хруст шагов испугал Скептика. Женщина, чуть одетая и с корзиной, прошла было мимо, но углядела его. "Что здесь делаешь?" – "Иду". – "Ну?" – "На огонь". – "Ты сам вот пошел, а другие широким путем дойдут. А тебе либо пропасть, либо дойти, до того ты вне мира. По моему следу иди". – "Вы откуда... такая?" – "А с Гималаев, милай, – заюродствовала Алгаритма, – травушкой для недужной одной расстаралась. Баю, милай, вмиг могу быть хоть в Лхасе, однако войну спровоцировать устрашаюсь: спутники-пеленаторы оболгут меня атомной бонбой да обпуляют ракетами. Пёхом поэтому добираюсь, милай, пёхом, хоть хворая помирает. Ух! Ух! Попрыжочками!" – взвизгнула она песенно и в два прыжка оказалась уже далеко, но ее голос остался и низко сказал: "Хоть на срок освободила. Сам понимай, каково гласу рода мужского в женской глотке? Пойдем, я тебя доведу. – И он двинулся впереди. – Вроде, должное говорит, а потом изовьет мысль ужом в непотреб-

ное. Ты хоть понял, что сказано? Есть овцы сначала, и есть от козлов. И какая тебе в этом честь, что пороки отцов в себе выжег, когда сделал должное? Видишь пороки, ибо выходишь из них. Так чего осуждаешь? Не в праведники же выходишь, а в овцы. Равны овцы и сопричисленный им. Не говори посему: я такой, я такой, а они меня хуже – спасающийся от трясины опору хватает повыше, а ходит потом, как другие. И вот, вылез в овцы – возрадуйся и возрастай, не осуждая козлов. Не корили ж тебя за козлячество! Если и выше стоишь, что за честь, коли был ниже всех". – "Что ты мне говоришь?" – сказал Скептик, едва поспевая за гласом. "А то, что уже отойди от дурного и больше о нем не печалься, или умрешь, осуждая. Ты не праведник, что выше плотской любви и дружбы, ты без любви плотской, без дружбы погибнешь". Загрохотал рядом поезд, и Скептик, увидев чуть выше рельсы и дом с освещенным окном, догадался, что мог бы добраться досюда железной дорогой, которая обходила обширную котловину поверху.

Он постучал и вошел. От печи выпрямилась рубенсовских форм женщина лет под тридцать.

– Здравствуйте. Можно погреюсь?

– Давай. – Она быстро прошла к столу и взяла нож для хлеба. – Откуда ты в кофте в мороз? Из зоны, что ли?

– С поезда я упал, – сказал Скептик, сев у печи на корточки. – На огонь пришел.

– Это мой муж на работу в четыре вставал, он обходчик. Только ты странно упал, – говорила она, подавая к вареной картошке вино, – ишь, с поезда...

– Я нарочно упал. – В голове у него закружилось от выпитого, он улыбнулся. – Ты хорошая. Как мне добраться до станции, где пассажирские останавливаются?

Она не ответила, прежде чем не закрыла дверь в комнату.

– Задержу для тебя товарняк, подвезут. Погоди, сейчас оденусь, пойдем. Вот, фуфайку накинь пока, а потом заберу.

Он взял не фуфайку, которую Женщина подавала, но руку и, притянув ее, обнял.

– Я так и знала: из зоны. Не шуми, дети спят, а мне тоже к шести на работу.

– Ты не от страха ли?

– Ты дурак, – перебила она. – Будто я и без желаний.

Оба, ушед в темную спальню, стали приготовляться.

– Мне выйти? – сказал глас.

Скептик, вздохнув лихорадочно, сел на постели. – Он со мной.

Женщина молча оделась.

– А при дружке я не буду. Я о тебе и не думала, что ты такой. Идите вы оба из дома.

Скептик понуро пошел, но, крутанувшись, забегал по спальне, рыдая и нанося в воздух удары: – Слишком много духовностей на одного, а?! Плоти хочу до отвала, ее! Что ко мне прицепился!!

Женщина тыкала шваброй в углы и, когда оба устали, сказала:

– Как же я на работу пойду, если этот твой зэк в доме спрятался?

– Нет никого, – сказал Скептик и вышел на улицу. – Я сам с собой разговаривал.

Они двинулись к стрелочной будке, где Женщина взяла красный флажок.

– На товарный тебя посажу, и [illegible].

– У тебя сколько детей?

– Трое. Четвертый не от тебя будет, [illegible], – сказала она, глядя вдаль. – Пятый будет, десятый, [illegible] не размотаюсь до ниточки.

– Зачем разматываться? – [illegible] прожекторы локомотива, выползшего из тоннеля.

– Затем, что куда мне [illegible]рила, махая флажком. – Внутри силов много, [illegible], а что я, кроме детей, могу?

Товарняк сбавил и без того [illegible] ход, машинист открыл дверцу, Скептик схватился за [illegible].

– Ты приезжай в Москву. [illegible], тридцать четыре, квартира шестнадцать, тридцать четыре шестнадцать. Приезжай в гости!

Женщина по платформке шагала вослед и кричала:

– Как же... детей на кого! скотину, курей... как приехать!

Он взял билет в путь обратный, и долго в купе был один. Ночью смотрел он в окно, слушая глас: "В тебе весь твой род будущий и ушедший, через тебя сейчас кормятся неродившиеся и исправляются ждущие. Ты их час нынешний, и на тебе их грехи и клад чистый. Твоя мать имела призвание, но прельстилась, и появился поэтому ты на убитой свободе и в плотном тумане..." – "Сам ты высказываешься туманно". – "Ты бы вещественности хотел, чтобы от каждого слова и образа ты тянул слюну жалкого опыта? Мать отказалась от благородного, а прабабушка силой была отдана за постылого, и насилия эти в твоей душе язва. А предок твой выбор имел, выбрал худшее, а в восьмом веке разбойничали твои родичи, и вот, то, что свершили, порой ужасает тебя непонятно. А жив ты накопленным кладом жизни от предков, который в тебе ныне с грехами вошел в равновесие. Хватит душу давить, распрямляйся, если хочешь жить вечно". – "Жить в своих трудах, в своих детях по мне все равно, что не

жить. Не хочу". — "Помолчи о своих представлениях, кои пыль в
зеркале истинном, и запомни, что чрез труды и детей, а не в них,
прейдешь в вечность самим собой, вот как есть ты, бровастый и
смуглый. Я говорю тебе, ты бессмертный и, хоть убит будешь,
встанешь. Я для тебя зажег свет, и пойдешь к нему, много сокро-
вищ найдешь по дороге". — "Хочу быть бессмертным, но тем
нестерпимее быть при ничтожных делах. А кто вверит вели-
кие?! — "Если не стоек в малых, кто вверит великие?" Скептик
вскочил и не знал, что ему делать с открывшимся пониманием. По
приезде устроился он на работу в гуманитарный НИИ, в книгохра-
нилище, и он знал, что заказывают. А заказывали сперва все, что
касалось до повышения качества, вдруг: "Тохрю! глахрю вопро-
хрю дисцихрю!" — и повалили за всем, что касалось до укрепле-
ния дисциплины, а тропы к качеству поросли мхом, и водились в
нем змеи. Двадцать четыре сотрудника не успели еще скомпили-
ровать диссертации по разжевыванию вышеозначенной темы, как
началась борьба с пьянством; но им, растерявшимся, Скептик
сказал, чтоб писали о любострастии. Точно, время спустя: "Пох-
рю любохрю!" — и двадцать четыре сотрудника сделались докто-
рами. Скептик же посоветовал пропитать НИИ флюгером, так что
малейшее дуновение разворачивало должным образом. Скоро все
учреждения были на флюгерах и забавно вертелись, хватая
господствующий ветер. А вечерами потоки людей шли к Арбату и
наезжала милиция. Может, снимался какой-нибудь фильм?
Скептику позвонил как-то Хлыщ и визжал долго о чем-то, а
оказалось, он предлагал встретиться и пойти посмотреть эту
"ржачку". Бульвары окаймлены были толпами, на Арбат не
пройти. Едва вспыхнули фонари, как раздался восторженный
рев. Все запрыгали, чтобы что-то увидеть. Рев удалился к Тверс-
кому бульвару, заглох, через час потряс Гоголевский и пропал на
Арбате. Народ, хохоча, расходился, а любопытные приставали к
счастливцам, которые видели. Хлыщ божился и звал к магазину
"Охоттовары", где был, по его мнению, эпицентр "ржачки".
Рекламные тумбы обклеены были рекламами: ТРАДИЦИОННЫЕ
УВЕСЕЛЕНИЯ КУВЫРОЧЕЧКИ! ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
Там же был маленький амфитеатр, созданный, видимо, для
именитых гостей. Прошла девушка, Хлыщ за ней увязался,
Скептик направился в переулок и разглядел падавший сверху
конверт и возносящиеся строки слов. Он, решив опустить кон-
верт в ящик, заметил, что адреса нет, и задрал голову. Форточка в
верхнем узком окне распахнулась, и в руки ему полетела бумаж-
ка: пропуск на КУВЫРОЧЕЧКИ. Он не поехал домой, а поехал на
стройку, поднялся по лестнице на последний этаж и под прожек-
тором увидал одиноко бетонившую лопату с вымпелом на черен-
ке. Он сидел допоздна под ветрами и снегом и встал вдруг.
— Верю, — сказал он, — что сейчас полечу от ужасной земли!

Разогнался и бросился вниз. Без чудес он расшибся, и отвезли его в морг, где молоденькие медички практиковались в отваге, вытаскивая из хлороформовой ванны, укладывая на столе и распарывая его скальпелем. Вдруг его сердце забилось, со стонами он поднялся, изрезанный, и уехал домой в слезах радости. Он, сварив суп, ел и плакал. Он просыпался в слезах и, садясь, вспоминал что-то с улыбкой и долго казался таким, погруженным в прекрасную память. Под вечер отправился он на Арбат, показал пропуск, сел в амфитеатре. Закат сверкал в стеклах окон и фонарей, люди звонко шумели, прозрачные голуби проносились поверх. Хлыщ подпрыгивал и махал рукой: мол, и я здесь, меж избранных! В голубом одеянии – и с ней девочка – подошла Алгаритма; немедленно из толпы повалили участники – больше сотни! На-Гора, двигая кулаком, надрывался:

– С нами в дружбе спорт, любовь и сила, мечты, успехи, подвиги, дела!

Официально одетый Ухерин, вполголоса рыкая, обьяснял Алгаритме, что он только что с совещания и никак невозможно ему в таком виде кататься. Зрители хлопали и свистели, ставили на обормотов, которые размахивались спортивно. Трещи Какпредписавна бегала с микрофоном, но так как вопросы она задавала по-свински, то ей отвечали уклончиво. А Ухерин проявкал, что кувырочечки – нужное начинание, и нахлобучил на лоб свою шляпу, чтобы не выбились кудри. Прохиндей был в спортивном костюме и тихо бубнил о любви своей к массовым мероприятиям.

– Все желающие присоединяйтесь! – крикнула ведьма, и из толпы, спотыкаясь, хватая соседей, ногами, боками вперед, были вырваны недоуменные личности. Хлыщ, разметав яркий шарф, на карачках стремился сбежать и тянулся к толпе, умоляя подать ему руку. Трещи Какпредписавна же елозила на спине, взвизгивая от стыда; вдруг, повернувши, ее покатило за всеми участниками под народные вопли. Один за другим сами зрители и почетные гости свергались на землю и кувыркались вослед.

– Остановитесь! Затушите ваши светильники жизни! – встал Скептик навстречу мятущимся локонам, каблукам, галстукам и подолам. – Что рвете пламя душ ваших? несите заботливо, что вам дадено. И свеча горит вверх, вы же тычете ваш огонь в прах!

Все укатились, и ветер погнал по брусчатке бумажки.

– Это уже было, – заметила Алгаритма. – Это они уже слышали. Но не верят.

– Что они сделали из себя? – спросил он. – Визг кувыркающийся, а назвали: полезное начинание.

– Они очень довольны собой, хоть и катятся не туда.

– Мне не нравилось до того, что я волей своей хотел выбиться.

– Как тебя зовут?

– Митя.

– Вот, – начала ведьма, меж тем как девочка, что была с ней, затанцевала что-то, – я устрою тебе выступление по телевидению. Ты скажи все, что имеешь.

– Что она делает? – он кивнул на танцовщицу.

– Я ваше имя танцую, – ответила Вика. – Но я уже его вытанцевала.

Они взяли такси и поехали на телестудию; постовому у входа сказали: ”Три генерала идут”, – и прошли беспрепятственно под отдание чести. Передавали как раз репортаж с трассы; модно одетый комментатор витийствовал: ”Ясный вечер апреля сгустился над Яузским, но [illegible] еще перспектива Замоскворечья, подернутая туманом с Москвы-реки. Кувырочники, набрав скорость, скатываются с [illegible]ского, чтобы продолжить свой путь по набережной. Т[illegible]... нет, десятки их тысяч сегодня, людей самых различных [illegible] и возрастов, решивших отдать в этот весенний день [illegible]ной народной традиции... Вот кувыркается девушка. [illegible] несколько слов телезрителям! ”Ой, срамота-то какая!” [illegible] не каждому быть первым, поэтому нам понятны [illegible] юной участницы. Впереди, как всегда, зачинатели массовых [illegible] прокатов: товарищ Ухерин Ка Эм, что, зажав в кулаке галстук, сорванный, видимо, для удобства, первый вываливается, так сказать, на Москворецкую набережную и, хрустя ледяной коркой луж, устремляется...” Ведьма, переключив вилки и штепсели для трансляции выступления Мити, завесила объектив газовым шарфом.

– Если нам хорошо, то ведь может быть лучше, и ради этого говорю. Дожили до того, что слова – звук свинячий, что из пятнадцати – нет здоровых, что сами себя сжечь готовимся – и довольны. Уши откройте – и ничего не услышите, кроме о деньгах и блуде! Есть ведь лопаты, чтобы навоз из душ выгресть, но остановится хоть один ради этого, если он соревнуется за зло с ближним? Если у вас хорошо – у кого плохо? Тогда что язвите других, если война внутри вас? Вы с собой разбирайтесь. В вас есть другие слова и поступки, ищите же их, вынимайте! Какой дар нам дан: жизнь внутри! Вы понимаете, ради чего? Не для блуда и пищи. В собаках и птицах душа куда меньше, а как поют те и резвятся другие! Вашим же душам глаза дадены, но стыд, на что они смотрят. До каких пор немногим, в которых вы камни швыряете, рубить для вас дверь будущей жизни? а вы же, порыгивая, усмехаетесь. Говорю: потом будете со слезами валяться в ногах у них, прося: вспомни, вспомни! Личинка в своей скорлупе не догадывается, что летать будет бабочкой, а вы, люди, что? Говорят вам – и верьте. Что верите тем, кто у вас требует, и не верите тем, кто не требует мзды? Что смотрите в грязь? Не увиди-

те! В небо смотрите: один, два, сто раз – и увидите. Не для того мы разогнуты, не для того в нас предчувствие, чтобы стлаться. Ни с чем не сравнимое нам обещается: жизнь вечная. Даже мартышки стараются, если подвесить над ними банан. Вы же не ради банана, но палец о палец ударить ленитесь. Делайте, ибо доколе в младенцах лежать нам спеленутых? Сколько есть слов и искусства, дарующих зрение, вы же внимаете только понятному, а оно мишура трав осенних, за зиму сгнивающих. Есть и другое для сердца, помимо уныния.

Кончив, он двинулся к выходу, оказался потом на вокзале, сел в электричку, идущую по белорусской железной дороге, вылез на некоей станции, выбрал из нескольких маленький и нешумный автобус, который поехал лесами, к селу от села, и в одном таком он сошел и побрел вдоль реки до огней деревеньки. Подмерзшие лужи хрустели, и [illegible] журчание выбившихся из-подо льда вод, а пласты снега в [illegible] белели в мерцании звезд. Сзади упал кто-то, ойкнув. Он, обернувшись, увидел тень.

– Это я, Вика.

Он не ответил.

– Меня Алгаритма послала за вами. – Она помолчала. – Назад мы уже не успеем.

– Откуда ты? – спросил он.

– Я не думаю, что вы меня в [illegible] не узнаете. – Она подошла ближе. – Вы, может быть, спрашиваете, где я живу и какую ношу фамилию. Я могу это [illegible], но не хочу. Я могу только сказать, что я видела вас в [illegible] и очень любила. Но вы говорите, что надо идти вперед, чтобы чувствовать новое и новое, и вот я так и сделаю, буду чувствовать и понимать настоящее и не топтаться в прошедшем, а что в нем неистребимо, то оно во мне есть, и того будет достаточно... Митя.

– Давай руку, – сказал он сквозь слезы.

Она подала, сняв перчатку.

– Когда бы ты видела, что внутри у меня, ты поняла, что я, старший, моложе тебя, что, о чем говорил я, – в тебе. Ты чаемый берег, и дай бог тебя быть достойным. Критики возразят, что величу я девочку, не совершившую ничего. Не летопись мира пишу, но что должно быть: должно всем быть, как ты, а не невежами языкастыми или сизифами попусту.

За плетнем стоял дом; еле заметен был дым из трубы, колебавший ночные светила. Он постучал в окно и снял шапку. Дрогнула занавеска, в сенях загремели засовы. Старушка, впустив их, закрыла дверь, а потом обняла Митю с плачем.

– Ой, страхов каких натерпелась! Сперва телеграмма приходит, что умер, потом – что живой. Еле выдержала я... Ну, внучек, на кухню, с дороги поешь. А я рано ложусь, потому что куда мне время девать и зачем я времени. – Она с русской печки на плит-

ку перенесла сковородку и зазвенела посудой, но неожиданно села на табуретку, закрыла ладонью лицо и заплакала снова. – Ноги не держат никак, не могу я на старости лет этот страх перенесть. Рази можно так, Митечка, неосторожничать на высоте? Пожалел бы ты бабушку, день и ночь бога молю о тебе.

Вика присела на корточки перед ней и взяла ее за руку.

– Что, бабушка, с ним случится, если вы за него просите. Если ваша забота спасает, тем более и забота того, кто отмерил ему должный срок. Вы сидите, а я приготовлю, что надо.

– Внученька, да ты кто? Невеста ему – так мала... И не помню, чтоб я тебя видела.

Митя, вешая пальто Вики на вешалку, сказал:

– Это подруга моя, Вика. Виктория.

– В школе учишься, Вика, или как?

– В школе.

Они сели ужинать. Бабушка нередка вскакивала и подавала то специи, то грибки, то варенье.

– А ты, внученька, береги себя. Ноне в школах ругаются, курят девочки, и какие они станут матери! От утробы дите свое метят горем-то. И сама я Митину мать, дочку мою, обижала чижолым трудом, а вот след я на нем вижу. Прости меня, господи! – плакала она, смахивая рукой слезы. – Время тады было чижолое. До зари летней встанешь скотину кормить, и доить, и хлев чистить, и дом прибирать, и в колхозе работать, – плачешь, бывало, порой, а куда деться? Жизни лучшей не видели, чтобы судить. Кино про колхозы глядишь, как они веселятся, и думаешь, где же такие колхозы, что говорят хоть по-русски, а сами вроде бы в тридевятом каком царстве. В соседство пойдешь – и там тоже хлеб на корню гниет неубранный, и скотина мрет в зиму с бескормицы. Что, думаешь, за судьба тебе, что бог тебя в самый худой из всех край поселил, который социлизм обошел, про который в кино! Так и бога почто корить, ежели люди сами после революции так деревню перекалечили, что и нонче шатается. Все-то ты зряшности видишь, а ни читать, ни писать не умеешь, и что у тебя есть, кроме совести. Куды ей, невидимой, против видимого закону! Как мой хозяин на финской погиб, я взяла дочку и вакуировалась к родственникам. Уж за Волгой была, как настоящая вакуация началась. А как я неорганизованна, я и застряла в Илабуге на татарской земле, судомоила то в детском садике, то на станции, с женщиной познакомилась умной, и до того мне слова ее в сердце легли, что сейчас помню... и вы не смейтесь, что бабушка хвастает, только женщина эта сказала: "Вы, Аннушка, вся от бога, вы – как ивангелье, говорит, вы сестра, говорит, Назорея, и приняли в себя то, что он вынес из уст". Она старше меня была лет на двадцать и образованная, – вон как сказала: "Вы, Аннушка – как ивангелье..." У меня и

волнение от ее таких слов, и скажи я ей, чтоб пояснила, потому как я, Марья Ивановна, говорю, темная и писать могу только имя.

Митя взял стакан чая в обе ладони и больше не шевелился.

– То есть, Аннушка, говорит, вы мудрая, интеллигентная. Да как, говорю, Марья Ивановна, вы так меня называете, и сама плачу от радости, потому что вы, говорю, языки знаете, а Иван Палыч, бугалтер, – цифры большие, и есть вы интеллигенты, а я что? Вы, Аннушка, знайте про это, и все, говорит, – спокойно, словно про это где в книге написано, а сама курит и курит. Зеленая-презеленая! – до того много курила. За дымом она вся и была.

– Как, бабушка?

– А кроме дыма не было ничего на ней – душа голая. Потому Иван Палыч к ней приставал, что она вся [illegible] и разговор ведет мудро, будто слова твои на [illegible] и уж хочется тогда в самую высь взойти. А мужик [illegible], что напрашивается. Вот ведь как! Я к ней домой вечерами [illegible], рассказывала она про Москву, про заграницу, читала [illegible], говорит, дым весенний. Куды голой такой было [illegible]? – Бабушка всхлипнула. – Уж я неграмотная, а [illegible] приспосабливаться к людям и через свой только [illegible] прожила. Уж не могу болтать, семечки лузгать да [illegible] смотреть, лучше лук какой выращу и за вас, детки мои, [illegible]. – Она тихо заплакала и достала проворно платок. – [illegible] жизнь в одиночестве, а как видишь, что цвет жизни всегда одинокий, – недоуменье одно. Хоть господь бы на том свете переиначил... А вы поженились бы, я умерла бы спокойно, видя вас вместе.

– Бабушка! – сказал Митя.

– Он хочет сказать, – начала Вика, потупившись, – что вы не видите разницу в возрасте между им и мной и другие серьезные обстоятельства. Может, в жизни есть вещи важнее; важнее жаждать, например, чем иметь пить. Потому что когда хочешь пить, проглотил бы огромную свежесть, а получив, убеждаешься, что это вода в глиняной чашке и что ее достаточно. Бабушка, есть у вас драгоценности или платье принцессы, чтобы одеться мне и этим блеском поведать о внутренних качествах? Иногда нужны внешние ухищрения, если знаешь, что с помощью их сократишь путь себе и идущему рядом.

– Мудрено ты говоришь! Я в мои семьдесят так не придумаю! – выпрямилась бабушка, удивленная. – Но про возраст я так скажу, что отсель, сколько мне, разницы не примечаю, а вижу похожесть. Коли для лада живут люди вместе – понятно, а коли для возраста: рази честней ягодка ягодки, если произросла раньше? – Она поднялась с табурета и потянула кольцо в полу. –

А покажу вам хозяйство живое. Уж как за окнами грязь да снег, хоть помирай без живого.

В подвале на каменных стенках висели вязанки: чесночные, луковые. В ящике в желтом песке, точно мины, скрывались морковки – "как свечечки!". Редьки тоже сидели в песке, похваляясь дородством; картошки набухли ростками, предчувствуя время; за стеклами банок тревожно взирали грибы, огурцы, помидоры; в бочонке под крышкой таилась фасоль; Вика черпала и выпускала шумящие пригоршни. Вдруг морковь высказалась: "А – мы живые". – "Знаю, знаю", – ответила Вика. "Но мы чрезвычайно живые! – вскричала морковь. – Мы не то что какой-нибудь камень!" – "Куды же вам против людей?" – удивилась бабушка. "Люди раз, своих две, – посчитала морковь, – кошки три, камни четыре, а может быть, пять". Камни подвала возьми да и сдвинься с ворчанием. "А мы так понимаем, – сказали они, – что, кто делает – вот как мы, например, сейчас будем обваливаться, – тот и жив. У-у!!" – [illegible]нули они. Вот что исполнила Вика в подвале, до крайности напугав бабушку.

Утром Митя дал ей письмо к [illegible]: "Если я рвусь и куда-то тянусь, то она уже там. [illegible] в театр", – и проводил до автобуса. По реке плыли льдинки, вороны летали над мутными водами. Лес увлажнялся туманами. Лужи хрустели под каблуками.

– Вы не поедете?

– Надо работать. Попробую здесь, в колхозе.

– Тогда приезжайте к нам в гости. Мы с Алгаритмой живем у Арбата. Вот телефон. – Вика пыталась идти рядом, но тропка была очень узкой, и ей приходилось оглядываться. – Я познакомлю вас с Каспием и с Перекати-Пустыней, правда, он очень болен... Вы знаете, Алгаритма ведунья!

– Я не могу сейчас выносить чудеса. Я пережил столько чудесного в малый срок, что душа парит в небе, привязанная к телу, которому нужно жить.

– Вы сетуете на чу́деса, вас раздвоившие? – тихо спросила Вика. – Вы думаете, что и мои чудеса обманные? Но мои чудеса с собственным голосом: у Каспия, например, очень вздорный характер. Если б вы встретились...

– Я не могу, – сказал Митя, остановившись. – Я погибну от нового чуда. Мне нужно войти в тесто жизни.

– Вы не верите. – Глаза ее заблестели от слез. – Вы не верите, что есть чудо этой жизни. Не верите, что чудесны Перекати-Пустыня, чудесна Алгаритма и... и я. Вы боитесь...

– Вы чудесны, но эти чуда ваши.

– Да, конечно. Ведь вы отталкиваете их, хоть они подошли. Вы верите только в чудо будущей жизни, а не этой. А эта для вас пустота. – Она села в остановившийся автобус и уехала.

Он пошел на ферму и сказал, что хочет попробовать себя в животноводстве. Коров выпустили во двор подышать свежим воздухом, а ему дали лопату чистить стойла. Сваливая навоз и гнилую солому в тележку, он долго не думал, отдавшись единственно ощущениям, но потом вдруг решил, что душа его здесь ни при чем. Моментально лопата задвигалась самостоятельно, руки только мешали. Он попросил новой работы. Ему поручили мыть грязных коров. Заведенные в станок твари блаженно мычали, пока их скребли и окатывали водой. Их довольство передавалось и Мите, и плен ощущений на этот раз затянулся.

– Здравствуй, – сказал позади него голос.

Это – руки в карманах пальто и без шапки – стояла Актриса. Важно не то, как успела она [illegible] его, если, где он, знала единственно Вика, которая, в соответствии с логикой нашего века, въезжала в Москву. Важно, [illegible] – здесь, ибо не алиби пишется. Но известно, что при [illegible] совершить акт мгновенно, а можно и потянуть. А [illegible] такие, что где-то ее поджидает смертельный удар. [illegible] весенний, пуговицы пальто расстегнуты. Митя, [illegible], стоял перед ней побледневший.

– Вика – эта девочка, [illegible], где ты. Я приехала, потому что звонила тебе [illegible], что ты...

– А ты... вы сейчас спектакль [illegible]

– Я не знаю, я взяла отпуск.

– Как же... ты ведь хотела [illegible]...

– Я знаю. Но так получилось... [illegible] на работе, то у тебя будет обеденный перерыв? Потому что мне неудобно мешать... или давай вместе сделаем твою работу. – Она подошла, взяла щетку и, чистя корову, спросила: – Я правильно чищу?

– Правильно, – вымолвил он. – Но мы можем отсюда пойти, потому что я еще не устроился официально.

– Мы домоем корову и уйдем, – предложила она, посмотрев из-под полуопущенных век.

Выйдя с фермы, он выяснил, может, она хочет в какое-нибудь определенное место. Она отвечала, что пусть он идет, а она пойдет рядом. Они поднялись на крутой речной берег в дубняк. На протаявшем склоне копались вороны; лазали по стволам с писком поползни.

– Здесь не так, как в Москве. – И она прикоснулась к коре древнего дерева. – А ты... правда или неправда?

Он понял, что она не решилась сказать. – Да. Но, может, нет, потому что я *видел* все время.

– Если бы тебя не было, было бы плохо. Я поняла это вдруг.

И она говорить стала сбивчиво, как и он.

– Ты... так теперь говоришь... так нельзя, потому что ты для меня много значишь.

Она, выслушав, с тихим вздохом уткнулась лбом в дерево.

– Даже хотя ты знаешь?.. о том режиссере?

– Я... люблю тебя, – сказал он.

Тогда она едва слышно сказала:

– Вот... ты хозяин бездомной собаки, если хочешь.

"Милый мой, тяжело ждать, даже зная, что сбудется! А сил вокруг, для которых все упование в словах? Мне ли их мучить – их, не имевших свидетельства, если сама я, имевшая, – слушай вопль мой: надламываюсь! Дай мне знак, или паду! Нет, не знак дай, а веру, чтоб выдержала! И не веру дай, но терпение ежечасное! Дай от места до места пройти чрез людей, не споткнувшись, людей, чрез которых мой путь к тебе. Устоять прошу сил, ибо слышу, как говорят не про то или против. В рог скручены, они скрученные продолжают свое. Воздымаю их – подгибают колени, чтоб ползать в прежней грязи. А мой путь до тебя – через них, и в безмерной я муке. Но, если будет, как ты сказал, что я тужусь? И как мне не тужиться, если и будет, может, благодаря этим потугам. Опять попадаю я белкою в колесо, а куда бежать, господи? Раз живу, значит, дается мне пищи для жизни ни больше, ни меньше, точь-в-точь, ибо, если и комары кровь находят, что сетовать мне, твоей близкой? – так думать положено по завету. Но нет у меня ничего. Нет, нет и нет. Я сплела из придуманных утешений канат и по нему лезу куда-то: *мертвая* лезу к жизни сквозь сон".

Подписав, она выкинула конверт в форточку и сказала сидевшей в постели с ногами Вике:

– Поеду на Дальний Восток строить железную дорогу.

– Катания по бульварам закончатся? И вы не поможете отыскать Черное море? Может, и мне надо ехать домой?

Громко вдруг закликушествовал из угла и затих переломанный, связанный в пук Перекати-Пустыня. Вика свесила низко голову.

– Мне одной будет страшно. Теперь, когда Каспий сбежал, получается, я ничего не могу.

– Прости, – Алгаритма погладила девочку по голове. – Но почему ты не можешь?

Вика уткнулась ей в грудь, бормоча: – Много есть почему. Одно вы сами знаете. Другое – это Перекати-Пустыня, который едва живой. Еще почему – это вы. Я без вас умерла бы, я вас люблю. Еще почему – это Митя, его я тоже люблю, я знаю... нет, я не знаю, но чувствую, что я – для него, а он и не чувствует даже. Зачем этот обман дается, когда хочешь туда, где не нужен?

Прежде всего улизнувший просоленный карла помчался к родной акватории и нырнул в синие волны. Немедленно новый Каспий схватился с ними и, оттаскав за волосы, вышвырнул на берег. С хулой на губах Понт Гирканский подвигнулся в битву опять, но, получив крепко в зубы, смирился и побежал на восток по пустыне к Аральскому морю, с кем дрался три дня и три ночи и был побежден наконец. Разъяренный, рванул он обратно в Москву, чтоб воспользоваться последней возможностью, буде она осталась, передохнул в консерватории на концерте и зашагал переулками к метростанции, обходя людей. Вдруг навстречу ему тоже, карла, одетый добротно, по моде. Каспий прошел было, но схваченный за рукав, обернулся [illegible] по инерции.

– Пойдем, брат ты мой, по душам [illegible].

– Я тебе брат?! – вырвался [illegible] мне пространство, я так развернулся бы, что ты [illegible] потенциально я в сто крат выше любого из этих ногастых [illegible]!

– Насчет потенций ты в [illegible]?! – Карлик внушительно поднял палец. – Потенциал [illegible] внутри нас, есть главное. Я почему тебя остановил [illegible] что увидел огромность твою. Мы бы потолковали [illegible] за бутылочкой, а то хочешь, к тебе пойдем.

– Как ко мне, когда [illegible] точно пес! – Каспий заскрежетал зубами. – Хожу [illegible], потому что негде развернуться.

– О! Как тебя разобрало! [illegible] Да пойдем, все расскажешь.

Несвязно крича об обидчиках, Каспий дал увести себя в дом на улице Писемского на четвертый этаж. Они, сев у окна, выпивали, поглядывая на освещенный Калининский, а жена карлика на другом конце комнаты на диване вязала.

– Как верно подметил! – приветствовал карлик новую инвективу против судьбы и потом вдруг сказал: – Хочешь, я тебе помогу? Жену найду, на работу устрою. Я сам с киностудии: в ролях царских и... человечьих шутов, а бывает, и в фантастических фильмах бегаю для антуража. А осенью... но, вижу, изнервничался ты совсем...

Каспий шарахнул стакан с вином об пол и вскочил – голова с подоконником вровень.

– Ты, пигмей, хватит меня оскорблять! Ты не видишь, кто перед тобой?! Живет здесь в каморке... Где выход?

– Что задираешься? – Карлик поднялся. – Я помочь хотел. Вижу – скачешь куда-то нервный.

– Ну, слов у меня нету! – Каспий, выскочив в форточку, киселем стек по стене на асфальт, где опять принял прежние

очертания, и продолжил свой путь. В Кунцево он приехал за полночь и, едва Прохиндей отворил на звонок дверь, двинулся прямо в комнаты, влез в удобное кресло и, раскрыв было рот, перед собою увидел дымящую сигаретой ворону.

— Выгони эту тварь! — крикнул он.

— Хрю-хрю-и,— сказал Прохиндей возмущенно, ибо не узнавал наглого гостя.

— Море кому загнал?

Воротила Финансович выплюнул сигарету, выпустил дым кольцем и покосился на компаньона, который, схватившись за шкаф и побледнев, хрюкнул. Тогда Воротила Финансович исчез в шторах и вдруг, выпорхнув сзади кресла, нанес гостю удар в висок.

— Ты знайт его?

Прохиндей замотал [illegible].

— Зато я знайт: [illegible] вылетев в форточку, он возвратился и сообщил, что у [illegible] но кагабэ".

— Надо делать, [illegible] по русской пословица, ноги. Где море, однако не [illegible] поддельный, давай — и бегим.

Ящик с новой подде[illegible]шийся у Прохиндея на всякий случай, вознесся на кр[illegible] Воротила Финансович утащил на соседнем балконе вер[illegible] Прохиндей, ставший спускаться, почувствовал, как прокл[illegible]ица, напав, с карканьем выволакивает у него из кармана плаща склянку с волшебным увеличительным порошком. Прохиндей зарыдал и задергался, но, лавируя крыльями, Воротила Финансович справил дело — и был таков. Приспустив рукава, Прохиндей соскользнул вниз стремительно и пустился за вором, мелькнувшим на фоне луны, но немедленно потерял его из виду. Вспомнив, что настоящее море у Эллочки, он решил отыскать ее и в автомате набрал номер Сонечки.

— Хрю, хрю-хрюак? — он изменил голос.

— Хрюи? Хрюи? — допытывался голос дочери.

Бросив трубку, он побежал в гараж, сел в машину и полетел в центр, пылая фарами.

Свет в окнах Ухерина не горел; кода замка двери в подъезде он не знал, а вахтерша ему не открыла. Он снова нашел автомат, позвонил; трубку взял сам Ухерин: "Ахр-ахр?" Прохиндей промолчал и, забравшись в машину, стал сторожить. Потому что без моря он превращался в нуль, полагал он.

Утром вышел Ухерин в надвинутой глубоко шляпе и укатил в черной огромной машине в недосягаемость. Прохиндей знал, однако, что вечером они вместе покатятся по бульварам в начале людского потока как лидеры-устроители. Сонечка тоже каталась, смешно переваливаясь через левое плечико и каждый раз поправляя спортивную свою шапочку. Эллочка вышла вторая,

одетая по последним стандартам, и зашагала. Прохиндей ехал за ней в отдалении, а затем, обогнав, выскочил и, преградив путь, захрюкал. Юная негодяйка ответила тем же; каждый, однако, догадывался, что другой хочет, и злился от этого пуще. Эллочка, наконец, приняла оскорбленный высокомерный вид и, оттолкнув его, пошла дальше. Сзади, до самой школы, ползли за ней "Жигули". Прохиндей проводил дочь до класса и стал у дверей, а потом между ним и учительницей литературы, которая была классной руководительницей, произошел разговор, начавшийся с уверений по поводу радости видеть друг друга и кончившийся раздражением и гримасами. "Только и может что хрюкать, – кипел Прохиндей, прикрывая за нею дверь в класс. – Чему она учит?" – "Не мудрено, что у таких отцов соответственно дочки", – помыслила классная руководительница, [illegible] швыряя журнал на стол и отходя к окну, чтобы прийти в [illegible] и приступить к изложению жизни и творчества Г. Р. [illegible], бывшего царедворцем и защищавшего феодальные [illegible], но также оставившего след в русской словесности, так [illegible], "старик Державин, в гроб сходя, благословил" и "[illegible]". Все.

– Держахрю хрю-иа, – [illegible] и приступила к опросу не с Эллочки, чтоб [illegible] хряку за дверью, как ей хотелось, а с [illegible] Немногих, который не хрюкал, чтобы разительнее [illegible].

– Прошлый раз, Оптимизьма [illegible], вы показали в учебнике пункт задания к этому [illegible] ознакомиться с несколькими стихотворениями Державина. [illegible] закрываем мы тему.

– Хрю.

– Я ознакомился и не хочу [illegible]. Я не знаю, чему научусь, если творчество гениев мы обходим, а малых поэтов зубрим по неделям. Все эти "годы проходят, все лучшие годы" и "березки под моим окном" ничего не дают, кроме чувствительности и слепоты. Когда срубят "березку" или те самые "годы пройдут", мне останется помирать или жить воспоминаньями, да? Ведь идеалы исчезли! – Тут Оптимизьма Бессмыслевна сняла очки, чтоб лучше слышать, а часть класса на фоне дискуссии предалась созерцанию фотографий поп-лидеров и обмену "пластами". Но после новых слов Одного из Немногих даже знакомый нам Обормот поднял голову. – У нас развита чувственность; каждый из нас прямо куча эмоций. Броский ярлык, громкая музыка, суперзвезды – это мы видим, мчимся на это стремглав. Кто ни поманит нас ярко – бежим задрав хвост. Чувственности до лампочки, что под блеском, у ней нет критериев. Даже бытует словечко: блеск! Эллочка хвастается сапожками, а к зиме презирать будет тех, кто такие наденет, затем что у ней будут моднее. Так что же меня пичкать этой чувствительностью и близорукостью – чтобы я в барахле жизнь истратил? А если вы скажете: не застав-

ляют, не трать, – вы солжете, ведь вы же меня поливаете, как из брандспойта, уроками этих щенячьих восторгов и прочей поверхностности и ставите, если я не иду под струю, двойки? А мне интересней Державин, которого, Оптимизьма Бессмыслевна, мы в полчаса извлекаем и спихиваем опять в историю. Разве тоска, что "годы проходят", достойнее понимания, что

Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал духов ты небесных
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества,
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь, – я раб, – я червь, – я бог!

Тут Оптимизьма Бессмыслевна откинулась на спинку стула и, рассмеявшись, сказала: – Я знахрю, хрю ты образохрю ма... – то есть: – Я знала, что ты образованный мальчик, но жить в нашем обществе и до сих пор не понять, что бога нет, и, следовательно, идея стихотворения изначально ошибочна, – это тебя не красит. Нет, не красит! Для своего времени поэт, может, и передовой человек, но теперь, спустя два века, не видеть наивности рассуждений и... Рехрю! кто скахрю Кохрю, а то он ещехрю в церковь ходить начнет. Ты, Элохрю! – назвала она, вспомнив про Прохиндея за дверью.

Эллочка встала манерно и заявила: – Хрюй-хрюй, – если нравится, мол, богословщина, то не значит, что надо пропагандировать, и при чем здесь ссылаться на личности? Если я хожу модно одетая, это мое дело, и нечего вмешиваться, потому что еще не хватало, чтобы меня поучали, как жить, хрюи-хрюй, лучше бы за собой посмотрел, а то бог тебя, хрю-хрюи, по одежде судить, оставил. – И, многозначительно поиграв взорами, Эллочка села.

Смазливый с зачатками вкуса, катавшийся в первой десятке и оттого знаменитый – ведь Эллочка, например, кувыркалась в хвосте, – переместил жвачку за щеку и громко прохрюкал о том, что мало что у Державина непонятная чушь про всяких "духов", но и язык допотопный, хрыак; и он прочитал, взяв у Одного из

Немногих книгу: – Весення утрення заря, Когда из понта голубого ведет к нам звездного царя, Румяный взор свой осклабляет... Хр-р-р, гы-гы-гы, ахрю-хрю, то есть какой понт в этой чуши, гы-гы.

Все посмеялись, тем более Оптимизьма Бессмыслевна согласилась и искореженным эпидемией языком сообщила касательно гармоничности Пушкина. Прохиндей изводился за дверью, зная, что вот-вот звонок, а поганец Один из Немногих опять начинает:

– Что вы ржете? Если вы смысл слов исказили и первосмысла не помните, плакать надо! От этого говорим вроде бы на одном языке, а выходит, на разных. Пушкина в пример ставите? Он не вечный стиль речи ввел, а этапный, и через сто лет он будет читаться, как нынче Тредиаковский! Главное в слове не форма, а смысл! А вам смысл до лампочки. Вы на уровне примитивных эмоций общаетесь, вам достаточно [illegible]... А ну вас.

Раздался звонок, и все вы[illegible] перемену. Эллочка сразу пошла в туалет, где, [illegible], со звонком выйдя оттуда, направилась быстро [illegible] замечая отца, что-то нашептывавшего сбоку. Из [illegible] в модные магазины и затерялась в отделе [illegible], потому что мольбы Прохиндея достигли той [illegible], что он ползал за ней на коленях и бил об [illegible] к дому Ухерина и торчал перед входом, [illegible], обеспокоившись, не позвонила в милицию. Он [illegible] на приличное расстояние. Было холодно, голодно и [illegible]. В сумерках в черной огромной машине подъехал Ухерин и [illegible] к лифту, чтобы успеть на проклятые кувыркания [illegible] в спортивное и по собственной воле пешком, а не повлечься туда, как мешок с требухой, некой силой. И Прохиндей, опасаясь того же, заторопился на старт, оборачиваясь в надежде узреть-таки Эллочку. По служебному пропуску он пробрался сквозь толпы к месту лидеров подле "Охоттоваров", где На-Гора, Изменяющий Скальпель и Обормоты – смазливый с зачатками вкуса и рыжий с фингалом – уже разминались под объективами кинокамер, не глядя на зрителей. Прохиндей же присел пару раз и ссутулился, проклиная судьбу. За минуту трусцой подбежал сам Ухерин в спортивном костюме. Музыка загремела, участники сели на корточки, группа лидеров расположилась на старте, поглядывая на плевки и бумажки в начале маршрута, в которые они вкатятся первые. Ведьма, однако, не приходила. Ухерин взглянул на часы и поднялся, за ним – остальные.

– Я ответственное лицо, – рявкнул он наконец. – Надо совесть иметь! Сколько средств тратится на обеспечение прокатки!.. В конце концов, где она?

Наступило молчание, все изумились, что он не рыкает.

– Думаю, эффективная мера воздействия – проработка через

печать, – высказался На-Гора. – Если вы, Петр Ильич, не возражаете, в следующий номер передовицей пойдет материал под заглавием "Чувство времени", или "Снова об экономии", или "Нравственный дефицит". Думаю, что читателям интересны покажутся размышления над поступками некоторых товарищей.

И ему подивились в молчании.

– Что, не будет ее, что ли? – спросил Обормот, безразлично какой. Но Ухерин рассвирепел неожиданно.

– Надо со всем этим кончать, молодой человек, – рявкнул он и скомандовал, подзывая милицию: – Телевидение и пресса свободны, народ рассредоточить, участники по домам. Хватит шутки шутить! Вы, товарищи, что стоите? Завтра рабочий день, и нелишне было бы подготовиться соответственно, вместо того чтобы толкаться здесь! – Он протиснулся к лимузину, который его увозил после финиша обессиленного, и хотел влезть в салон, но, удержанный Прохиндеем, помедлил.

– Петр Ильич... [illegible]...

– Что? Что такое?

– Я... моя дочь [illegible] у вас... мне ее нужно видеть...

– Послушайте! то, что я здесь случайно присутствовал, не дает права со мной панибратствовать. Всего доброго.

Он было сунулся в дверь, но ужасная сила поволокла его к старту и покатила на этот раз боком, а остальных – как попало, под радостный рев зевак.

– Ахрыак! – рычал он, хватаясь за урны, столбы и скамейки, чтоб задержаться. Куда там!

На повороте в Ухерина врезался Прохиндей, и они, странно спутавшись, покатились по улице, невзирая на обоюдные яростные попытки расстаться.

Вопли зрителей слышались на Ярославском, где на перроне была Алгаритма Ивановна с чемоданом и Вика, ее провожавшая.

– Покатились, ребятки, обламывать дурь!

Вика на это смолчала и начала о другом:

– Если вам нужно работать, вы бы могли где-нибудь неподалеку. Зачем ехать так далеко?

Ведьма села на чемодан перед девочкой.

– Я должна попытаться сделаться, как они, утопить себя в жизненных, как называется, трудностях. Или не выживу. У меня нет инстинкта их жизни, и я руководствуюсь книжкой. Вот здесь, в чемодане, есть книжка про то, где и как они счастливы, и написано, что сперва нужно ехать куда-то. На месте она, героиня, скучала, взяла и поехала на далекую стройку, и там нашла счастье. На месте у ней забот было меньше, и, стало быть, было время скучать. Полмира предпочитают жить вроде как стоя против течения щебня и защищаясь лопатой вместо того, чтобы

выйти на берег; страшатся остаться один на один с собой, потому что душу свою не чтят и не видят в ней значимости, и она полумертвая в них, между тем как они забавляются щебнем.

– И вы собираетесь с этой же пользой проводить дни? – спросила Вика. – Будете надрывать себе душу?

– Я попробую, девочка. Мне так надо... Уже я по-своему не могу... вдруг по-ихнему. – Ведьма встала и засмеялась. – Девчонки, трава не расти, пропади моя жизнь! Надоело мне жвачку жевать, полечу-ка я в розовы дали... Йэх! йэх! А я люблю же-натого! – С песней прошлась она в танце. – Чо-то меня туда тянет предчувствие, видно, суженый мне там есть. Йэх-йэх!

– Разобрало тебя, – ухмыльнулась [illegible] проводница. – Весело, значит, поедем.

– Во, девка! – сказал кто-то из [illegible] мужчин, проходивших к другому вагону. – Слышь, [illegible] не на БАМ едешь?

– А туда именно!

– Жди тогда в гости! Я тебе [illegible] королю поедем! Лады? Жди гостей!

– Не опаздывай! А то сосед[illegible] ко мне собирается. Йэх-йэх! – покружилась и [illegible] Алгаритма и после сказала: – Вот, началось... Ты [illegible] не покушайся этакой ерундой. Деньги в шкатулке. А [illegible], я к тебе самолета быстрее домчусь. Митю не сто[illegible], он будет твой, дочь моя милая.

– Ну, давай заходи, – торопила уже проводница.

Поезд пошел, все быстрей и быстрей. Разобравшись с вещами и приготовив постель, Алгаритма уселась на нижнюю полку у двери, которую приоткрыла. Ее две попутчицы стали ужинать и пересказывать друг для дружки, сколько они обходили каких магазинов и что за покупки купили. По коридору с мыльницами и полотенцами шастали взрослые и носились взад-вперед дети; двигались в сторону ресторана нестойкие вереницы мужчин. Тот, что задирал ее на перроне, пришел, сел напротив, упер руки в колени и обратился с веселою фразой:

– Что, Настюха, стало быть, едем? Давай информируй, откуда сама, по какой такой причине куда едешь?

Но не успела она отшутиться, как у кого-то из проходивших вывалился кошелек, и пришлось окликать. Дюжий парень, вернувшись и взяв свое, неожиданно задержал на ней взгляд, после, фыркнув, навис над ней, облокотившись на верхние полки, и улыбнулся.

– Привет, – сказал он.

Другой, не переменив позы, начал: – Слышь, по-моему, тебе все вернули, а? Или тебе что-то недодали?

– Это жена твоя? Ты жена ему? – спросил дюжий парень

опять, так как на первый вопрос услыхал просьбу представить ответ в письменной форме.

— Сама по себе, — хмыкнула Алгаритма.

— Слушай, ты шел ведь? — прервал первый.

— Шел.

— Ну, пойдем, я тебя провожу.

— Я сейчас, — обернулся к ней дюжий парень, подталкиваемый первым, который добавил: "Ага, через час", — и подмигнул ведьме.

Оба ушли. Женщины стали пенять ей:

— Что сидишь? Мужики драться пошли, а она здесь сидит. А до убийства дойдет?

— Что мне делать?

— Не знаем, что делать. Твои мужики, ты и заботься. А только смотри до крови не доводи.

По себе Алгаритма-то знала, как быть, — поступать следовало иначе, как едущей на далекие стройки. Из чемодана она быстро вынула книжку "Радужные [illegible]", которая ей служила справочником по вопросам морали последнего десятилетия, и нашла вот что: "Зина захлопнула дверь и навалилась спиной на косяк. Сердце ее билось взволнованно, мысли блуждали. Прислушиваясь к голосам на улице, она чувствовала, что ничего не в состоянии изменить. Если она выскочит и разнимет их, то ведь они снова сцепятся, как только она скроется в доме. А не может же она раздвоиться и проводить каждого. Если выбрать этот вариант, то придется провожать одного. Кого? Вроде бы Михаила, с которым знакома более года и который до этих пор был ей всех ближе. Но не сейчас, когда к ней пристал этот веселый шофер и она ощутила внезапно, что именно его, может, ждала все эти годы. Но выйти сейчас и проводить его — было невыносимо для ее женской гордости и разглашением, ей казалось, тайны любви, что нежным цветком зарождалась в ее сердце. Так и стояла она, обмерев, спиной к двери... Вдруг дверь их комнаты отворилась и вышла в ночной рубашке Клавка. "Что стоишь-то? — спросила она, опуская в ведро ковш. — Опять небось с Мишкой пришла?" Застыдившись, Зина двинулась к умывальнику, на ходу усмехаясь: "Что, забот, окромя мужиков, у меня нет?" Алгаритма захлопнула книжку, полезла на верхнюю полку с ухмылкой:

— Хоть пускай разобьются, мне что?

Скоро, однако, пришел дюжий парень и снова сказал ей: "Привет".

— Чего будет дальше? — спросила она, приподнявшись на локте. — Что имеешь сказать?

— Давай выйдем.

Когда они сели на откидные сиденья в коридоре, он высказался: — Так что или ты со мной, или я с тобой.

– Чего? – взгляд и тон, обращенные к дюжему парню, были презрительны, как у Зины из "Радужных горизонтов"; при этом еще полагалось небрежно болтать верхней, закинутой на другую ногой. – Ишь, прыткий! Много вас таких.

– Слезем в Тюмени? – сказал он. – Там самолет в Сургут – и прямиком в загс. Дело тебе говорю, а не кручу хвостом: по душе ты мне; а потом до родителей до твоих и моих съездим. Денег сейчас у меня навалом, свадьбу сделаем, как положено.

– Что ты вцепился в меня, как бульдог? – выпалила Алгаритма взволнованно, потому что, хотя и играла, парень был дюж и эффектен. – Второй-то где?.. этот?

– Зуб у него разболелся, – сказал парень и взял ее за руку.

Наступил момент проявить женскую гордость, в силу чего она, высвободившись, вскочила и скрылась в купе со слезами: – Ну, ты не очень. Тоже мне, Бельмондо...

Он в Тюмени не слез, а поехал с [illegible] и перебрался в ее купе. Она сделала вид, будто с [illegible], однако, не выдержав, брякнула: "Спятил?" – "[illegible]. И что из того?" – сказал он, сходил за журналом [illegible] проводницы, стал спрашивать у ней советов.

На БАМе застраивались [illegible] станция. Алгаритма устроилась маляром, д[illegible] на старое место работы за документами и [illegible]. "[illegible] как?" – спрашивали подружки из общежития, [illegible], она отвечала небрежно, что-де пристал и [illegible] не дает. "А чего ты ломаешься? Парень что надо. Пр[illegible] не за туманом". – "Ой, девочки, верно. Не было мне дома счастья. За ним и приехала. Только с ребенком я с первого брака. Ему и сказать боюсь, вдруг отстанет, и не сказать нельзя". Вмиг подружки ее окружили и мертвыми голосами спросили о первом супруге. "Известно, какой. Я по глупости с ним сошлась, с трубачом этим; где-то в концерте играл, – так по свадьбам и похоронам пропадал вечно пьяный. Потом ночью слышу: по телефону с любовницей треплется. Я ему высказала свое, слово за слово, на развод... Годка три прожила одна и сюда подалась, а дочь с матерью. Книжка есть у меня с точно такой ситуацией". – "Расскажи!" – взволновались подружки. "Одна тоже главная героиня с ребенком осталась, приехала в эти края, и за ней морячок ударял; но она вышла, точно скажу, за шофера, который узнал про ребенка и говорит: "Ну и что, что ребенок?" Подружки сказали, что нынче таких мужиков днем с огнем не сыскать и что разве про свадьбу их не описано? Алгаритма дала им ту книжку, после чего Верка отправила автору пухлый конверт, полный слез и желаний, чтоб было добавлено, как они женятся, а Настасья-монтажница тридцати трех годов собралась и поехала на ту самую станцию, где преуспела главная героиня.

Ведьма работала маляром, и одним из начальников был Прораб, командированный из Москвы на строительство. Изредка он забегал вдохновить: "Что, Москва, покажи им, как надо малярить! Где жила? На Арбате? Врешь: что-то все москвичи на Арбате... Ладно, потом адресок возьму в гости зайти. А пока ты, Москва, ко мне в гости". Достойным считалось ответить вот так: "А коль премию выпишете, то как раз к вам и буду". Прораб уходил, женщины прыскали со смеху и замолкали на время, чтобы обдумать событие. Вдруг одна, замедляя водить катком, начинала:

– Слышь, Ритка, а он на тебя глаз положил, по всему.

– А на то он начальник, чтоб бдить! – скалилась Алгаритма.

– Смотри, как забдит тебя где-нибудь в темном месте! – подсыпала перцу другая.

– На то ведь и бделка, чтоб бдили!

Взрыв хохота наполнял помещение и вырывался в окно. По звону подвешенной к ветке рельсы они устремлялись в столовую, сбрасывали спецовки на подоконник и занимали все столик, меж тем как одна толклась в очереди. Наконец, они ели, а парни шутили по поводу перемазанных красками их косынок.

– Пеструшки-то наши клюют как. Проголодались, сердечные! Эй, пеструшечки-курочки, приходите сегодня на танцы.

Женщины исполнялись восторгом, но отвечали, как Зина из "Радужных горизонтов".

– С вами ли, с маслеными блинами, плясать? После не отстираемся от солярки.

Этот ответ задевал шоферов, перепалка усиливалась.

Пообедав, они разморенные шли на объект, щурясь от солнца, топая прямо по лужам и грязи.

– Ой, поспать бы сейчас, девочки!

– Отоспишься в роддоме.

Молча они разбирали катки, начинали покраску; и разговор, если велся, – об отвлеченных предметах.

– Слышь, Ритка, правда, что ль, что в Москве хрюкают? Ты же не хрюкаешь и Прораб твой не хрюкает.

– Много таких, кто не хрюкает. А тебе что?

– Да просто. Болезнь очень странная. Аппендицит там или шизофрения понятно. А хрюканье от каких вирусов?

– А я так думаю: не болеешь – нечего напрягать мозги. Своих дел хватает. Вон у меня стирки на два дня скопилось. Как приду, бак разогреем. Пропади она пропадом, жизнь такая!

– Не ехала бы сюда, коли не нравится. Жила б в своем Омске.

– А то в Омске был рай? Две семьи на две комнаты и еще я в придачу.

– А здесь вшестером мы в одной. Много выиграла?

– Что ты набросилась? Тебе, ясно, все взятки гладки: с Сашкой распишешься и укатишь.

– Ой, девочки! – прервала Алгаритма. – Лишь бы войны не было. А без нее проживем как-нибудь.

– Это само собой, – согласились все и умолкли.

– А я стихи в "Огоньке" прочитала. Один поэт писал, он безрукий с войны. Так, девочки, жалко! Стихи простые, понятные: Он принял огонь на себя. – А мог бы не принимать. – И, кровью траву окропя, – Упал, чтобы больше не встать. Правда, здорово?

Алгаритма поникла вдруг вся и вздохнула.

– Вкруг вас, – начала она, не поднимая глаз, – вкруг вас, взывая, небеса кружат, Где все, что [illegible], – вечно и прекрасно, А вы на землю устремили взгляд.

– Ты чего? – удивились подружки.

Ведьма медленно возвратила [illegible] Зины из "Радужных горизонтов" и [illegible] по стене, зазвенела: – Ой, натанцуюсь [illegible]-и!

Дома гладили на одной [illegible] и переругивались: "Ритка, на ногу [illegible] чего встала, будто одна здесь?" – "Щетка [illegible]?" – "Пусть Валька плиту караулит, как [illegible] на стене репродуктор, в углу [illegible]. [illegible] смотреть, слушать, обмениваться [illegible], не забывая о деле.

– Девочки, тише, Громчева [illegible]!

– Ты гладь быстрее да место освобождай для других, а Громчева и без тебя отпоет.

– Я ее, как тебя, близко видела. Она, бедненькая, еле пробилась на сцену, потому что всякие бесталанные зажимали. И в личной жизни у ней не сложилось, муж бросил. Она, девочки, наша в корень! Ритка, ты в Москве ее видела?

Прежде чем отвечать, Алгаритма припомнила "Радужные горизонты": "Неустроенность Зину не раздражала. Больше того, она словно бы возвращалась в счастливые времена пионерлагерей и летнего трудового семестра в профтехучилище, когда все было общим, даже мысли, когда в маленьком помещении, где четверым было тесно, жили в радостной толчее, до хрипоты спорили и смеялись двенадцать. И сейчас Зина радовалась возвращению юности и немного грустила, что все кончается: кончится и эта пора..."

– Видела, девочки. Про кувырканья смотрели? Так и Громчева теперь кувыркается. Прямо с концерта, представьте, прикатывает на белой машине, шубу сбрасывает – и вперед через голову.

– Слышь, Ритка, когда у тебя будет отпуск, возьми и меня в

Москву пару дней посмотреть на нее. Легко на кувыркалья попасть? Чтоб с ней рядом, имею в виду, прокатиться?

– Ой, Верка, хочешь? Серьезно? Есть у меня там знакомый в милиции, может устроить.

– Ритка, дай поцелую! Тогда еще знаешь что? Нужен фотограф, чтоб снял нас с ней вместе.

– Верка, устрою.

– Риточка-а-а! – И подружка ее закружила по кухне, в силу чего опрокинуто было ведро, и другая подружка заметила:

– Верка, ты вроде не девочка, а ерундой занимаешься, скачешь, как дура, письма на телевидение пишешь. Так и пропрыгаешь до тридцати, ведь певцы замуж тебя не возьмут.

– А мне замуж... плевать, если муж будет дундук вроде тебя. Ты на себя посмотри, чем ты интересуешься! Сядет, сунет нос в спицы и вяжет. У-у, крыса! У тебя никаких интересов духовных нет! Чтобы кто видел, что ты книжку читаешь или радио слушаешь – да я лопну от неожиданности! Ритка, а. Ритка, а На-Гору видела? Приезжал к нам стихи читать. Во, мужик! Вылитый Маяковский.

– И с На-Горою могу познакомить. Я живу рядом с его работой.

– Риточка!! – взвыла подружка, набросившись с поцелуями, но как раз телевизор издал популярную музыку, и она бросилась в комнату, на ходу выключив репродуктор и ноя потом из-за полога: – Девочки! Рита! Ну хватит болта-ать, ничего ведь не слышно!

Поев и одевшись нарядно, они в сапогах, с туфельками под мышкой, двинулись в мини-клуб. Фонари, то есть прожекторы вдоль строительства, освещали им путь. Попадались колдобины и осклизлые скаты. "Пока дойдешь, вымажешься, как черт!" – "А почему: как?" – "Ха-ха-ха!" – "Стоило приезжать сюда, чтобы, как тракторы, добираться на танцы, когда могли в городе по асфальту..." – "Так в городе, хоть ты лебедем проплыви, на тебя нуль внимания, а здесь мужики без претензий, полюбят и тракторы". – "Ха-ха-ха!" Так как приехали неожиданно музыканты из агитбригады, то было особенно весело и присутствовало начальство. После концерта гражданственного звучания Прораб сказал речь:

– Спасибо комсомолу, что не забывает нас здесь, в глуши. А и правильно: дело мы делаем большое, государственное. Здесь ведь бездельники не уживаются, в экстремальных условиях. Что еще говорить? Будем работать ударно, чтобы задание выполнить досрочно. Правильно я говорю, ребята? ("А-а-а!") Нам и отдыхать полагается эффективно. Первый вальс я и сам пройду с нашим лучшим маляром Ритой.

– Чего уж там, – как полагается, забормотала в смущении

ведьма и с первыми тактами музыки сделала вальсовое движение, но оказалось, что вальсом Прораб обозвал перетаптыванье на месте с раскачиваньем влево-вправо. "Что, Москва, как тебе здесь, не скучается? А то пойдем в наш балок*, посидим, угостишься с начальством. Ты, вижу, характером огневая. За мужем, что ли, приехала сюда?" – "Ага, за мужем, – сказала она и вспомнила весь букет чувств, которые овладели бы в этой ситуации Зиной: "Когда Ступаев ее пригласил, все ее женское существо вздрогнуло. Он, мягко ее обнимая, рассказывал о грандиозных строительствах, о переменах, преобразующих лицо дикого края. Он говорил вдохновенно, и, слушая, она будто вырывалась из прежнего, ограниченного в чем-то духовного мира. Он ей казался героем первых [illegible], и не могла она с ним говорить языком прежних [illegible]. Она находила слова с высоким значением, будто какие-то [illegible] ее в вышину. "Знаете, – говорила она, – я [illegible] о нашей жизни, о жизни страны. Ведь есть что-то главное, что заставляет нас покидать обжитые места и ехать [illegible]. Здесь видится все как-то яснее, шире, дышится глубже. Здесь чувствуешь, что твоя жизнь отмечена чем-то [illegible], но вы и сами в сто раз лучше меня понимаете". [illegible] Прорабу, который сказал, что ее надо выбрать по [illegible] линии за активную жизненную позицию и что он [illegible], но что сейчас нужно бы поддержать компанию: с [illegible] какое-то начальство, а женского элемента [illegible] маловато, так что, Москва, в счет аванса давай потрудись.

Верно, в балке три товарища лет за сорок и журналистка Трещи Какпредписавна были за столиком перед чашками кофе и стограммовой коньячной бутылкой в дыму сигарет.

– Тю! Вы меня, никак, ждали, не ужинали? – воскликнул Прораб. – На кухне есть все, я вам говорил. Ладно, сейчас наша ударница нам приготовит. Рита, давай-ка колбаски, картошечки.

– Гостям завсегда рады! – оскалилась Алгаритма и удалилась на кухню, откуда немедленно появилась с подносом прекрасных салатов. – Экспресс-ужин для дорогих посетителей.

– Ну, Москва, у тебя и таланты, – привстал удивленный Прораб. – Когда ж ты успела?

– Не то еще можем, по всем пунктам ударники. Под вашим чутким руководством, – тотчас досказала она и увидела, что товарищи очень довольны.

– Вот так вот, а вы говорили, – сказала Трещи Какпредписавна, глубоко затянулась и рассмеялась, не глядя ни на кого.

– Э-э... Рита... Как вас по отчеству? – задал вопрос главный

* Перевозной домик.

товарищ при галстуке и дождался ответа. – Так вот, Рита Ивановна, вы, как говорится, у самых истоков, в ключе, так сказать, всех событий. Вы ведь маляр? Откройте, как вы оцениваете положение на строительстве, как настроение? Трудно?

– Трудно, конечно, – сказала она. – Дак знали, куда едем: не киселя хлебать!

– Люблю таких! – выпалил главный товарищ и стукнул себя кулаком по бедру. – Огневой народ, с ним что хочешь верши! Но, Рита Ивановна, – снова ударился он в задушевность, – есть ли какие-нибудь замечания? Вот товарищи из Москвы – пресса – предполагают, что мы скромничаем, лакируем, если так можно выразиться, действительность. Вы поэтому честно скажите им, по-рабочему, обо всем: о поставках стройматериалов в масштабах вашего участка, об [illegible], о питании, о проблемах.

Ведьма сидела на [illegible] табуретки прямехонькая, точно Зина из книжки на зас[illegible], и отвечала, как Зина, от сердца: – Питаемся хорошо. А [illegible]ает. Исправно все действует. А случается что-то – так [illegible] в Крыму, тут любой понимает, что суровые условия. [illegible] и не привезут вовремя красок, однако дороги у нас [illegible], сами видели. Тут и танки застрянут. Вот только бы...

– Говорите, смело говорите! – велел главный товарищ.

– Душевую бы нам расширить, чтоб после работы в очереди не стоять. Вот и все у нас просьбы к начальству.

Главный товарищ взглянул на Прораба, который немедленно стал оправдываться: – Да что, в самом деле! Завтра же соорудим! Новая стройка, забот навалом, проглядел. Что там – пять лишних кабинок...

– Какие бы ни были обстоятельства и заботы, – заметил нахмуренный главный товарищ, – а люди для нас – важнее всего, и прошу это помнить. Эта установка и линия для нас твердая и неуклонная. – Он поднялся и протянул ведьме руку. – Благодарю, Рита Ивановна, будьте всегда так решительны в критике недостатков. Спасибо за информацию. Можете идти и готовиться к завтрашнему рабочему дню... или у вас танцы сегодня? А мы еще посидим поработаем. – Сев, он пустился в беседу с другими товарищами и не смотрел больше на Алгаритму, которая, по указке Прораба, перенесла грязные чашки на кухню, оделась и двинулась в общежитие, с помощью колдовства слушая разговоры в балке:

– Ну, что писать будем? – спрашивала Трещи Какпредписавна. – С бытом-то плохо.

– Трудности смаковать просто, – дал указания главный товарищ, – однако не этим нам следует заниматься. Надо за трудностями видеть главное: эпохальную стройку и ее мужественных героев, идущих наперекор неустроенности. Красота чело-

веческого характера, героизм будней – вот истинная картина строительства. Этого забывать нельзя. Наша задача – мобилизовать массы, а не воспитывать злопыхателей. И читателю интересны не душевные, но факты энтузиазма, труда и величия, поданные в живом, образном слове. Доходчиво я выражаюсь?

– Бу-сделано. Пресса все поняла, – закивала и просмеялась Трещи Какпредписавна, стряхивая пепел в пепельницу.

Трещи Какпредписавну отвели в полумрак, к скрюченным и безликим фигурам. Она все просила какую-нибудь одежду прикрыться, но роботы отвечали:

– Дурь эту, видишь, перво-наперво из тебя вышибить надо. Стыдишься-то ты не самой этой вещи, которой ты много играла, а выдумки, что, значит, все вдруг [illegible] ты есть игрунья; зря: им до твоей голости дела нет [illegible], так и тебе дела не будет до ихней.

Но журналистка, оборонив[illegible]ной, не доходя до фигур, развернулась и [illegible], потому что рыжий парень с фингалом [illegible] полусмазанного лица.

– Иди сюда, что там села? – [illegible].

– Ничего, ничего, – за[illegible].

– Я объяснил бы тебе, [illegible] потому что без опыта ты обобьешься. Ну?

– А что вы обращаетесь ко мне, [illegible]? Я старше вас и я женщина. Отвернитесь.

К ней повернулась стертая до не[illegible]емости короткоручка.

– Он вам хочет помочь. Ваши комплексы здесь не имеют значения.

Вдруг все вскрикнули и помчались куда-то. Трещи Какпредписавна поначалу еще прикрывалась; потом же сознание утомилось, а руки понадобились, чтоб удерживаться от падения; наконец, закричав дурным голосом и заплакав, она преломилась и побежала, стирая о землю грудь, скулы и локти. На финише она рухнула и по инерции проскользила немного, после чего приняла вертикальное положение на ягодицах и долго, зажмурившись, переводила дух, а приметив истертую левую грудь, пролила тихие слезы. Глянув на грудь в другой раз, она громче заплакала: "Господи, садизм какой!"

– Еще не то будет, – сказал за ее спиной рыжий парень с фингалом, который, как многие, был на корточках.

Моментально Трещи Какпредписавна подобрала под подбородок колени, но села по-прежнему, обнаружив, что потайных мест не скрыть.

– Никакой не садизм, просто иначе из нас дурь не выбить, – заканчивал рыжий парень с фингалом. – А с дурью мы новую

жизнь запачкаем. За такое чистилище надо спасибо сказать. Сразу пусти меня в новую жизнь, я бы гонял на ракетах и ничего бы не знал, кроме слова: атас... Как на Земле, где я в "Ивах" торчал, ярлыки собирал, а потом пьяный попал под автобус. Под утро иду – вдруг сбоку фары... Теперь выложусь, но в новую жизнь попаду.

– Валя! Бекетов! – выкрикнул появившийся робот. – Иди сюда. В новую жизнь, видишь, пора.

Рыжий парень с фингалом вскочил.

– Это... как это? Может, ошиблись? Тут есть кто раньше меня. Я и грамотно говорить не могу.

– Мне, видишь, виднее. Давай сюда.

Рыжий парень с фингалом помчался, легко перескакивая через фигуры.

Тощий старик подивился: – Почему он – непонятно. Хотя я здесь дольше. Конечно, пусть он, если нужно. Но, рассуждая логически, что за багаж знаний несет в жизнь вечную он? Скудный, признаться, багаж. У меня же обширная образованность, мной написано много научных работ, я иду не с пустыми руками, но с четкими обоснованными представлениями.

– Знаешь, – сказал ему кто-то, – может, твои представления четкие, но не такие, как вечная жизнь, и поэтому ты еще здесь?

– Благодарствую, – сказал тощий старик. – Я подумаю, вдруг вы правы. Однако мне нужно опровержение хоть бы пункта моих представлений, чтобы я рассуждал о них с новой точки зрения, ибо сто восемь лет нахождения в этом месте в преддверии вечной жизни я, видно, стремился в обратную сторону.

– Сто восемь лет! – ужаснулась Трещи Какпредписавна и побежала за роботом. – Стойте, стойте! Что здесь за порядки? Какой-то мальчишка пошел припеваючи, а заслуженные люди... У меня трудовой стаж двадцать лет! Я член союза! Я...

– Ты, бабонька, эти заслуги держи при себе. Дай тебе, видишь, волю, ты бы валялась всю жизнь на постели. Что ты без принуждения сделала? Ничего, – сказал робот, остановившись. – Награды за свое рабство, всякие, видишь, льготы имела, а от души своей вольно ни разу не говорила. Вот и носись здесь, скоблись от невольных понятий. Я машина, а тошно смотреть, как вы даже у врат вечной жизни, которую вам добыли другие, себе первенства ищете! – Робот сплюнул маслом и зашагал дальше, обняв Валю за плечи.

Трещи Какпредписавна возвратилась к безликим фигурам и села на корточки. Роботы привели женщину в модных очках и смущенную собственной наготой, что прижимала к себе фотографию.

– Эй, идите, идите сюда! – помахала Трещи Какпредписавна не подымаясь.

Женщина подбежала на цыпочках и опустилась с ней рядом, дрожа от стыда и испуга.

– Здравствуйте, – прошептала она. – Непривычно, что здесь вместе женщины и мужчины... если не уточнить: неприлично. Что происходит? вы можете объяснить?

– Псевдо-Клемент Римский, – сказал, обернувшись к ним, сумрачный юноша. – Царство мое наступит, когда сбросите к ногам одеяние стыда, когда двое станут одно. – И отвернулся.

Женщина съежилась и, ближе придвинувшись к журналистке, забормотала: – Это вообще переходит границы... Здесь есть профсоюзный или партийный актив, так как прежде всего надо ставить вопрос о разделении по полам и о покровах. Признаюсь, этим я скована до того, что и шаг шагнуть не решусь, хотя следует выяснить, что здесь за вечная жизнь, о которой мне говорил робот. Вот, посмотрите. – [illegible] Трещи Какпредписавне фотографию, где она с [illegible] были под пагодой.

– Мой муж был помощник [illegible] за рубежом на Востоке.

– А вы?

– Я? – Женщина приняла [illegible] и, поправив очки, продолжала: – Я тоже жила на [illegible], потом выехала. Климат мог бы сказаться на [illegible], решила не рисковать. А в Москве стала [illegible], что на Ульяновской.

– В ГБИЛе? Быстрое восхождение, верно?

– Может быть... Вы спрашиваете, извините, как на дознании. – Женщина улыбнулась и обхватила колени руками.

– Я журналистка: ремесло дает себя знать, – отвечала Трещи Какпредписавна. – Кроме того, мне нужно выяснить кое-что для себя. Как вас по имени-отчеству?

– Кемта Подталкьевна. И проработала я в том секторе больше трех лет с хорошими и отзывчивыми людьми...

– Почему из них никого не назначили завом – назначили вас, прибывшую со стороны, то есть приехавшую из-за границы?

Женщина, сняв очки, пальцами чистила стекла и говорила старательно: – Знаете, любого за рубеж не пошлют. Предполагается наличие определенных качеств. Я с института активно участвовала в общественной жизни.

– Как вы попали сюда?

– Думаю, это недоразумение. Вот почему я спросила, есть ли здесь активисты. Должен ведь быть выход на руководство? Вы согласитесь, что человеку в определенном положении неудобно сидеть нагишом...

– Вы умерли, Кемта Подталкьевна? – тихо спросила Трещи Какпредписавна.

– Ннет... И не болела в последнее время. Роботы, провожая меня сюда, говорили, что я должна учиться новой жизни. Что это значит? Как вы попали сюда?

– Я не знаю. Я член союза, стаж двадцать лет, и представьте – в таком виде!

К ним передвинулась коротколручка:

– Я обеих вас слушала. Вы особенные, потому что здесь все умершие, которых готовят для вечной жизни. Мы учимся здесь, чтобы найти в себе наши души.

– Я, простите, не мертвая! – возразила Кемта Подталкьевна, поправляя очки.

– Ты заживо умерла, – сказал сумрачный юноша. – Там ты ходишь, а здесь тебя выправляют, спасают для вечной жизни. Может, спасут, а не то пропадешь.

– Но я! Я член союза, стаж двадцать лет! – крикнула журналистка. – Эту, я понимаю, за ручку по жизни вели от кормушки к кормушке. А я-то!

– Откуда мне знать твою жизнь, – кончил сумрачный юноша, – разбирайся сама.

– Я здесь уже месяц, – молвила коротколручка, – и поняла, что была заживо мертвой, потому что не делала ничего из себя, а делала, как говорили. У меня мысли дальше учебников не ходили. Какая же я была... Ой! – она ойкнула.

– Ой! – крикнула Кемта Подталкьевна, выронив фотографию и упав на карачки, но тут же ужасная сила ее подняла и помчала куда-то, так что свалились очки, а через час растрепались ее элегантно завитые локоны. В результате убийственного недельного бега по сумрачной местности ее разум затмился, и после она отсиживалась бок о бок с каким-то мужчиной, а отдышавшись, чуть отодвинулась и, уткнув подбородок в колени, скривилась в рыданиях.

Вечером в общежитии получили газеты, которые были расхватаны и перевернуты вверх последней страницей ради телепрограммы и потешных заметок.

– Ой, девочки! – закричал кто-то. – Про нас! – И взахлеб стал читать: – "Оставив где-то внизу столичный аэропорт, наш ТУ-154 послушно набирает высоту и берет курс на Иркутск. Сбылись пророческие предсказания лучших умов России относительно..." так... "разрабатываются крупномасштабные..." это тоже мимо... Вот! "Вот и мы летим сюда, чтобы встретиться с молодежью этой удивительной стройки, принявшей эстафету от своих отцов..." Ритка, сейчас про тебя... "Сегодня тут живут те, кто строит железную дорогу, объявленную Всесоюзной ударной... Наш вездеход прибыл на станцию Ульмча поздней ночью по живописной и сложной трассе. Свет фар вырывал порой из темноты тени

лосей и оскал хищных зубов. Вдруг среди расступившейся тайги заплескалось море огней, зазвучал голос огромной стройки. Невзирая на сорокаградусные морозы, двигались путеукладчики и натужно ревели "КамАЗы", в четком ритме работали каменщики, возводившие здания будущей узловой станции..." Во, врет, нашла дураков ночью в стужу работать!

– Да ты читай! – закричали все. – Пишет-то как красиво!

– "От студеного ветра железо делалось хрупким, как лед. Знакомство с героями началось, когда я, укрываясь от разыгравшейся пурги, спряталась за какой-то постройкой. Точно чудо, мираж, донеслись до меня звуки песни. Пели задорные девичьи голоса. За окном в свете прожектора группа снегурочек вела отделочные работы. Внимание привлекла стройная, несмотря на фуфайку, похожая на цыганку девушка, оказавшаяся ударницей стройки Ритой Ивановой..." Ритка, ты ж не Иванова!

– Что за слова-то цепляешься! – отмахнулась та. – Давай дальше.

– "Она сказала..." Ты, значит, Ритка, сказала... "сказала: "Это вторая моя ударная стройка. Конечно, здесь ощущаешь себя причастной великим событиям. Трудно? Трудно, конечно. Но мы не ищем легких путей. В нашей комсомольско-молодежной бригаде..." Ритка, ты что ей врала про комсомольцев?

– А ты бы взяла да поправила.

И все долго смеялись.

– "В нашей, значит, комсомольско-молодежной бригаде девушки со всех уголков страны. Мы решили каждый объект сдавать раньше срока". – "А личное счастье, Рита? – спросила я. – Возможно ли оно в этих суровых условиях?" – "А вы оставайтесь хотя бы на месяц, – откликнулись девушки и рассмеялись, – мы вам таких женихов подберем!" Ну, дает журналистка! "Девушки, планы, мечты?" – спросила я напоследок. "Планы, мечты у всех разные, – отвечала за всех бригадир, – но есть общая мечта после этой стройки всем вместе отправиться на другую ударную. Право на то, я уверена, мы завоюем своим трудом. Правда, девушки?" После работы я побывала у них в общежитии, и снегурочки, превратившиеся в замечательных поварих, угощали меня вкусными блюдами..."

В дверь постучали. Слушатели, не повернув голов, разрешили: "Входите!" И чьи-то огромные сильные руки обняли весь кружок. Как положено, взвизгнули. Алгаритма увидела дюжего парня в унтах и меховой куртке. Подружки, покашливая и манерничая, удалились из кухни.

– Долго ты за документами летал, – произнесла ведьма. – Про меня уж в газетах печатают.

– А теперь я от тебя никуда. Приказывай: хоть сейчас повезу тебя на юга через загс.

Отвернувшись, она стала мешать суп в кастрюле и вспоминать "Радужные горизонты": "Ветер чуть волновал молодую траву и посвистывал в иглах кедров. Что было ей отвечать? Что сердце ее разрывается от любви и она не хозяйка сама себе? Что все ее мысли о нем, и без него эта весна превратилась бы в зиму? Что она, как счастливая птица в силках? И она едва слышно сказала, не подымая глаз: "Чего говорить. Сам все видишь". И в то же мгновение мир выскользнул из-под ее ног".

– Ты во мне ошибаешься. Я совсем не такая, какою тебе показалась, – сказала она. – Трудно объяснить... но у нас очень разные взгляды на жизнь. Очень разные, а притворство мое обмануло тебя.

Он приблизился и развернул ее.

– Думаешь, я не видел, что ты притворяешься? Я тебя вижу, какая ты есть. Я сказал, у меня к тебе чувства серьезные, ну и хватит. На улице тут вездеход... покатаемся. – Он подхватил ее и понес. А она не могла раньше времени изменить книжной Зине. Поэтому вездеход съехал в просеку и застыл у гигантского кедра, стреляя подфарниками в сугробы.

Вышла поэмия На-Гоги "Кувырахр!", объявились бессчетные подражатели. Повсеместно уподоблялись Москве: кувыркались в степях и горах, в тундре, тайге и в пустынях. Лились директивы по усилению вовлечения масс. Предприятия соревновались по качественным и количественным показателям. Переходящее знамя удерживал НИИ ОТКЛИК. Выехав на периферию, Ухерин проинспектировал положение дел, и, как следствие, много товарищей живо списались на пенсию за проявленную халатность. Были рекомендации по эффективному перекувырку отдельно для тружеников рядовых и начальства. В области философской явление "кувыркания" вскорости трактовалось уже как "кувыркизм" и, наконец, – "кувыризм-истинизм"; выпускались труды относительно гносеологии и социальных корней.

КУВЫРАХР – В МАХР! – пестрели настенные лозунги. Кувыркались в одном направлении, но ответственные работники – по особым дорожкам из пуха за ограждением. "Вона, глянь: сам Удавин пошел!.." – "Не катаешься, так какие тебе в силу этого льготы, когда весь завод!.." Поощрялась личная инициатива, поэтому кандидат говорильных наук Хлыщ, заявив, что пора приходить часом рахрю и уходить часом похрю, стал доктором с правом катки по пуху, меж тем как не очень везучая журналистка Трещи Какпредписавна, кувыркаясь, писала заметки на общие темы.

АХР, АХР, КУВЫРАХР! КУВЫРАХР АХР АХР! КУВЫРАЮЩИЙ

КУМИР, РАЯ, КУВЫРАЕТ МИР! – громыхала в динамиках вдохновляющая поэзия На-Горы.

Театр "Отзвук" ставил балет "Кувырковье". На репетицию исполнявшая главную роль Актриса пришла вместе с Викой. Обе переоделись в трико, сели на сцене с другими танцовщиками. Режиссер сидел в зрительном зале на первом ряду, на границе рассеянного света и тьмы от лампы. Он предложил высказать каждому свое мнение о либретто. Кто-то сказал, что не лучше ли продолжать ставить "Фауста" Гёте. Оказывается, театр должен откликнуться на события нынешней жизни, на то, что волнует всех. "Ах, как меня трогают кувырочки!" – сказал первый танцовщик, усаживаясь на шпагат. И присутствующий представитель из Главтеатра сказал, что [illegible] не умесхрю, что будто бы люди пишут письма и [illegible] пластического искусства отразхрю действите[illegible] Сократа казнили", – сказал первый танцов[illegible] великолепный гранд ассамбле с шага-купе [illegible].

– Высказались, покапри[illegible] дело, – сказал Режиссер. – Попробуем [illegible] на трассе, когда героиня катится с женихом [illegible], сосредоточенно и увлеченно перегоняю[illegible] отсутствие левой руки. Так, герои: [illegible] – начали. С пируэта на аттитюд.

Все отодвинулись, и Актриса [illegible] стала делать движения рядом с партнером, потом [illegible] в баллоне вылетел первый танцовщик – Сергей. [illegible] танца росло, лица одухотворялись, зрительские сердца волновались. Присутствующему представителю очень понравилось. Пожелав творческого успеха, он удалился.

– Неплохо, – сказал Режиссер, – но можно лучше. – Он закурил и задумался ненадолго. – Главная героиня контрастна в движениях первой и второй части. Первая – будто сон, самоусыпление из-за незнания, скука жизни. Дуэт с Павлом на центробежной основе: вы чужды друг другу и связаны случаем, а когда возникает Сергей, происходит разрыв этих связей, еще неосознанный во многом... Начали еще раз. Музыка – сцена на трассе. Все остальные – фон участников, кто как видит пока... Вика, куда?

– Мне надо выйти.

– Нельзя было до репетиции? Или после? Нельзя?

– Надо выйти сейчас, – повторила она и пошла к выходу у последних рядов, где задержалась и обернулась. Актриса играла прекрасно: от пластики полусна к пробуждению жизни. Первый танцовщик был так же прекрасен, как в роли Красса в балете "Спартак". Режиссер сидел выпрямившись, не дымя. Вика плака-

ла, не сводя глаз со сцены. "Конечно, такая прекрасная балерина и женщина... А я для него что?"

– Ведь танцуют красиво как! – сзади послышался шепот. – Сходим на кувыркания, раз там такая любовь приключается?

– Ты что, веришь? Это ж выдумки, – возразил другой шепот.

– Красивая выдумка. Надо сходить, раз такие там страсти.

Это шептались уборщицы со швабрами. Вика скользнула прочь, склонив голову, переоделась и вышла на улицу. Солнце било в глаза, подымаясь над серым, готической архитектуры зданием, и порой трепыхалось каким-то пятном; но уже Вика смотрела на окна, сходившие вниз к тротуару, на грязный сугроб в закутке, льющий грязный ручей, и мальчишку, бьющего палкой по луже. Только за поворотом текли люди, машины, шумы. Здесь на балконах росли деревца, окна шагали ввысь к солнцу. Что-то мелькало, перекрывая лучи. Вика прищурилась и заметила птицу. Много ворон, голубей, воробьев просекали пространство, но птица на солнце – особая! Птица исчезла, и Вика пошла было прочь, но опять взвились крылья, побились в напрасном порыве взлететь, замерли и сваливались через барьер вокруг крыши. Вика вбежала в подъезд, села в лифт, въехала на последний этаж, забралась на чердак и, пройдя ржавым скатом, высмотрела бечевку, идущую от скобы за барьер. Осторожно она потянула и вытянула ворону, ободранную, схваченную за лапу петлей, так что от долгих попыток освободиться коленный сустав страшно вывернулся, и торчала острая кость. Хриплый рык, гнойный глаз – вот что отважилась она вынести, прежде чем положить птицу в сумку. Пока она поджидала лифт, старая и высокая дверь квартиры раскрылась; старушка с клюкой и ведром, появившись, заговорила немедля:

– Доченька, мусор снести помоги, восемьдесят четыре мне, уж и вниз тяжелей порой, чем вверх. Одинокая я.

– Хорошо, хорошо.

– Одинокая я, – говорила старушка и в лифте, уставив лазоревые глаза. – Ничего живу, пенсия есть, кран текет в туалете. Нас три живут на три комнаты. Угол сдам, или есть у тебя кто подружка, ей сдам. Прибрал бы меня бог, что я ему теперь. А не берет, и хожу в магазины за пропитанием, кран текет. – Они вышли на улицу, завернули во внутренний двор к мусорным ящикам. – Такая жизнь длинная, не приведи господь. С насекомыми извоевалась, а вижу-то плохо: едят со мной один хлеб, будто дети. – Старушка бежала за Викой, которая возвращалась к подъезду, и все норовила взглянуть ей в глаза. – Ить что знала – забыла, как лик человеческий есть, не помню, а зеркало облупилось внизу, а вверху я боюсь смотреть, где покойник мой муж смотрел. Дочка, что знала, забыла, ты бы зашла...

Вика ее посадила в лифт и, обещав, побежала. Но из театра

выскочила Актриса в наброшенной на плечи кофте и закричала ей вслед: — Вика! Вика! — и, как только та вернулась: — Ты можешь мне объяснить, почему ушла с репетиции? — уже негромко.

Вика молча смотрела в землю.

— Конечно, то, что тебя взяли в театр, свидетельство твоих способностей. Но, если ты взрослая в искусстве, нужно быть взрослой и в жизни. Репетиции — это ответственная работа, а ты это, кажется, не понимаешь. Или какие-нибудь особенные обстоятельства? Я тебя спрашиваю не потому, что, мне казалось, мы с тобою подруги. Правда, в последнее время ты дичишься меня...

— Я должна срочно идти, — молвила Вика, подняв глаза, — и поэтому я не смогу объяснить всего. Только я твердо знаю, что в этом балете участвовать я не буду. Вам, может, не кажется, что прекрасное не должно агитировать за [illegible]. Пусть даже изображаются чувства, не имеющие к [illegible] отношения, и хотя вы можете дать мне совет танцевать не кувырочницу, а, например, весеннюю дымку. [illegible], чтобы вынести жизнь, выдумывают себя, как [illegible], но не выносят себя таковых в бытие, оставляя себе [illegible] лучшего только для отношений с друзьями. Теперь [illegible] ноги, не потому что я не хотела бы разговаривать, [illegible] что у меня в сумке раненая ворона.

— Ворона? За несколько [illegible] три вороны, — сказала Актриса. — То есть, хочу сказать, я сама обихаживала двух ворон, из которых одна говорила. [illegible] я прошу, заходи ко мне. Обещания я не буду брать, но ждать буду.

В мединституте птице отрезали лапу и дали лекарства. Вика устроила инвалидку на подоконнике у Алгаритмы и поздно вечером, на постели читая Катулла, услышала хриплое карканье и слова:

— Подымите глаза, мисс, на бедный страдалец!

Ведьма и дюжий парень, сняв угол в домике старожила, зажили как жена с мужем. Ее выбрали в комитет профсоюза, и утром она изводила начальников.

— Так когда будут народу лишние душевые кабинки? — стучала она по столу. — Я молчу о магнитофоне для танцев, а душ ой как нужен. Тут есть разные ситуации: есть беременные женщины, которым вынь да положь горячую воду, так им очереди дожидаться?!

— Ты, Москва, что ль, беременна? — говорил Прораб, обнимая ее. — Дай проверю.

— А хоть я! От тебя б — постарался б, небось?

— Какие кабинки, когда план горит! — опять била Прораба ответственная лихорадка. — Ты, как местком, как сознательный

государственный ум, должна планом болеть, а не кабинками! Ты народу скажи: вот квартальный сдадим, тогда будем...

— А свет-то чего экономишь? Что за закон: после одиннадцати свету нет? Люди после работы духовно хотят отдохнуть, про поэзию почитать, а их в тьму, как при старом режиме.

— Вышли мы из лимита! Понятно? — орал Прораб ей в лицо. — Дай отстроиться, а потом пусть хоть ночь напролет насыщаются этой культурой. Вообще, Москва, баба ты смелая, но дотошная — мочи нет. Ты брала бы путевку и ехала б отдыхать, а, на время? Ей-богу, хорошая есть путевка!

— С чем влезла — с тем слезла, весь разговор попусту.

— Потому что пока ты есть несознательная, а вот в партию примем, будешь осознавать эту... главную линию и приставать с мелочами не будешь. Кабинки, кабинки... нудишь, как смола. Все, иди на объект, а то выработку завалишь, принцесса.

Ведьма вернулась малярить и промалярила до шести, после чего с дюжим парнем отправилась в клуб. К Первомаю нужна была зрелищная программа. Инструктор, постукивая карандашом по бумаге и подперев кулаком голову, понуждал культактив выходить с предложениями с учетом талантов.

— Я на баяне могу, — сказал дюжий парень.

— Баян. Хорошо.

— Я спою модную песню.

— Тоже неплохо, но мелко. Давайте спектакль, что ли.

— Давайте фонвизинскую или мольеровскую комедию! — прокричал кто-то в восторге.

— Тянет вас на архаику, — покривился Инструктор. — Народ напрягается на великих свершениях, можно сказать, — вот что отображать надо.

— Тогда, может, "Любовь Яровую"?

— Ой, девочки! — начала Алгаритма. — Такую я книжку читала, как одна женщинка, вот как мы, из хороших условий поехала строить на Дальний Восток. У нее и ребенок остался там в городе, и разведенная-то она, и как трудно ей было, и про любовь есть. Будто про нас написали. Читаешь — и плачешь слезами. И там как раз есть про спектакль, как образованная одна, которая все особилась, говорит, мол, давайте какой-то там "Рай-Зарай" умный ставить, а эта женщинка, Зина-то наша, и говорит по-простому: по-моему, говорит, надо свою жизнь нам понимать, а чужая нам незачем. И такой, девочки, Зина спектакль поставила, что все плакали. Я считаю, что нам нужно взять эту книгу и показать на спектакле; вот как она, например, уезжает из города, оставляя ребенка, как ей шофер один встретился... ну и прочее.

— Ритка! Не голова у тебя, а Дом Советов! — вскричали все. — Давай главную героиню!

— Представь сцену, — молвил Инструктор, — чтоб утвердить.

– Ой, да я не умею! – прикинулась ведьма, но встала. – Есть там про то, как приезжает один большой руководитель Ступаев и приглашает ее танцевать. Она, ясно, простая-то, Зина, и очень волнуется, что такой человек пригласил ее и рассказывает о масштабной работе. Ну, музыка тихо играет, и после она ему тоже рассказывает. – Поманив дюжего парня, она продолжала: – Вот так, может, она танцевала и говорила с волнением: ”Знаете, я сейчас подумала о нашей жизни, о жизни страны. Ведь есть что-то главное, что заставляет нас покидать обжитые места и ехать строить новые города. Здесь видится все как-то яснее, шире, дышится глубже! Здесь чувствуешь, что твоя жизнь отмечена чем-то высоким... Ой, да вы и сами в сто раз лучше меня понимаете!..” Это она от смущения, что разболталась с таким человеком. А?

– Ну, ты вообще, Ритка, талантливая! – протянул культактив.

Напланировав, что им нужно, [illegible]. Ведьма с мужем вернулись в свой угол, пере[illegible] и [illegible] в постель. ”Ты умная, – сказал дюжий парень, – [illegible] ”Рае-Зарае” такой смысл, что Зина не захотела [illegible] на колени, поправила длинные волосы. ”Ты [illegible] – [illegible], привстав. ”О серьезном нельзя говорить лежа”. – ”[illegible] это... или ты шутишь?” – ”Нет, не шучу. Но ты [illegible], а [illegible] еще два”. – ”Ты сразу ведь не ответила, а [illegible]”. – ”Но я действительно не могу говорить лежа об этом. [illegible] слушать, по-моему, невозможно. Будешь слышать, но не поймешь”. – ”Я, ясное дело, знаю меньше, но как это я не пойму?” – ”Потому что раз человек стал человеком через свое вертикальное положение, значит, в горизонтальном он к человеческому невосприимчив”. – ”Короче, я должен сидеть, чтоб тебя понимать?” – спросил дюжий парень. ”Я думаю, да”. Он сел, как она, и сказал: ”Давай дальше”. – ”Не обижайся, – сказала она, – я говорю правду, – и, так как он не ответил, продолжила: – И пойми, что тебе я высказываю обратное тому, что от меня слышат все. А причину мне объяснить сложно”. – ”Не хочешь – не надо”. – ”Отвечу на твой вопрос, ладно? Если читаешь ”Рай” всей душой и всем сердцем, а не школярским умом, то проникаешься уважением к Высшему Качеству и сознаешь разницу меж законами вечными и законами, что вокруг; и последние обесцениваются, первым же ты наследуешь, претерпев очищение”. – ”Если кто, значит, читал и не понял, тот грязный?” – ”Выслушай без обиды: по большому счету – да”. – ”И, значит, Зина твоя тоже грязная?” – ”Зина питается собственным опытом, угождая ему, не трудясь добыть новое, потому что так легче. Учиться ведь, сам знаешь, непросто. А без духовных усилий ты в высшем значении слова – бездельник и хуже, раз оставляешь свой разум неразвитым, преступая законы

творения, давшего тебе разум, чтоб ты постигал, но не держал его мертвым или питал его призраком". – "Каким призраком?" – "Это случается, если культурное окружение не подымается над самой жизнью, ибо тогда я спрошу: разве двух глаз твоих недостаточно, чтобы видеть все то, что тебе представляет подобная фотографическая культура? Много ли проку от зеркала, если неведом тебе идеал и ты даже не знаешь, нужно ли утирать нос или в обычае, чтобы он был слегка мокроватым? Если Зина предпочитает свой опыт чужому, ты чувствуешь, ей приятней кружиться на месте, нежели сделать шаг к новому? Жизнь принуждает посредством работы и быта к физическому усилию, а к духовному не обязывает, и поэтому большинство в старости, каковая расстраивает аппарат восприятия, погружаются в память и замыкаются в своем жизненном опыте, так как разум их мертв и не вывел их за пределы их личности. Сызмала пес преследовал собственный хвост – и [illegible] за этим занятием". – "Я тогда тоже пес, если "Рая" не [illegible] и живу вроде Зины", – сказал дюжий парень, насупившись, потянулся и взял со стола папиросы. "Если обиделся [illegible] ты не понял, что я говорила". Тогда он швырнул папиросы на пол и прервал: "Скажи я кому, что жену ночью слу[illegible] в постели, и как она псом обзывается, обсмеются, а [illegible], что ей все собаки и что она про какие-то нечелове[illegible] докладывает, то и смеяться не будут". – "Не думала я, [illegible] наших с тобой отношениях, – ведьма до подбородка закуталась в простыню, – выйдет как в притче: я высказала сокровенное, а ты топчешь нога..." Не успела она досказать, как он обнял ее, повалив. А потом она снова пыталась ему объяснить, и опять помешал он любовью. Тогда Алгаритма заплакала и сказала: "Чо, кобелина, уездил познание?"

Так как небритый, оборванный Прохиндей днями охотился на машине за дочерью и устраивал с ней свинячьи дуэты, требуя Черное море, и многие были свидетели, то однажды его увезли в компетентные органы. Увещеватель сидел за столом в современном чиновном мундире и от порога до стула препровождал Прохиндея глазами, меж тем как в руках вертел ручку. Увещеватель был сыт, чисто выбрит и гладкощек. Он вспомнил, что говорилось в последнее время об отношении к человеку, а именно: без бюрократизма и чванства вникать в нужды масс и отдельных людей, потому что идет речь о живых индивидуумах с их различиями и особенностями, – и начал так, задушевно и мягко трактуя о нормах морали, которые существуют, тем более в нашем обществе, и обязывают сограждан к их соблюдению: – Хрыйух-хр-р-р ахр ухрю, хрю-хрюи.

Прохиндей, успокоенный тоном сочувствия, ибо ждал окри-

ков, свесив голову, вымолвил: — Хрю, я хрю в бехрю-хрю-хрюа, а хрюх.

Увещеватель тогда перевел взоры на ручку и в нескольких "хряй-ыхр-ах" выразил порицание несерьезности, с какой, видимо, принимается искреннее желание разобраться, помочь в сложной сложившейся ситуации. Потому что, уже объяснялось, хрюисты не ведали, что они хрюкают, а в других замечали.

— Я хрю, хрю-хрю-хрюй! — отвечал Прохиндей, тоже следя за крутящейся ручкой.

Молчание.

— Ыхр-ыхр ахр захр ыйухрюйак, — продолжил Увещеватель, указывая, что подобное непонимание будет расценено однозначно и что у общества есть иные пути довождения истины.

Прохиндей выпалил: — Хрюйу-хрю! — не понимая, в чем дело.

— Хрыарыаыа рухр! — отшвырнув ручку его собеседник.

— А-хрю хрю хрю хрю?

— Храх-ах-рах-ррах! — Увещеватель [illegible] стол ладонью.

— Ррррь... — Прохиндей сполз [illegible].

— Ррухр!!! — Увещеватель, [illegible] на дверь и, едва индивидуум сбежал, рухнул в [illegible].

Едва рельса стукнула, [illegible] кисть и забегала, приводя место работы в [illegible], девочки, сёдня дел много, а мы тут красим.

Гурьбой поспешили они по [illegible] дороге.

— Ритка, куда бежишь, [illegible] рожать.

— Ой, девочки, нужно [illegible] да постирать кое-что, а голова от краски кругом идет, [illegible] и спи. Вечером, ко всему, репетиция. — Она сбилась и замолчала, не слушая, что говорили. Воздух над талой землей валил из кедрового леса, высвеченного солнцем, и подавлял чувства. Как пьяная, добралась она до дому и поставила на плиту бак с водой, а сама взяла книжку "Радужные горизонты" и стала читать. Но не смогла; вышла на огород. В межах еще был грязный лед; корни срезанных в прошлый год кочанов разлагались и пахли на грядке. Черный подсолнух стоял одиноко, внизу под лучами, которые уже стлались выше и грели бревенчатый дом. За плетнем стало весеннее половодье, куда несли жизнь ручьи и где каркали на деревьях вороны. Открыв книжку, она прочитала: "Весна пришла бурная и пьянящая. Зина с Андреем взошли на сопку и долго стояли, открытые свежему ветру, оглядывая горизонты, куда уплывал первый гром; вскоре закатное солнце, выглянув из-за туч, понаделало много радуг, и Зине хотелось шагать по ним к свету, любви и добру. Андрей взял ее за руку, и она, ощутив слабый толчок под сердцем, сделала первый шаг к радужным горизонтам". Дальше стояли место и год написания. Алгаритма закинула

труд за плетень в талую воду и, глядя, как разбухают страницы, сказала: "А ну!" Сокрушая кусты, из лесу выбежал задом вперед человек с пивной кружкой в руке и с креветкой в другой и, ударившись о плетень, расплескал содержимое по костюму с жилеткой, после чего сказал: "Черт!" – и хотел обернуться, однако воткнувшаяся между ног палка мешала.

– Где был? – начала ведьма.

Человек дернулся, но, не сумев обернуться, ссутулился и сказал, поведя кружкой в одной и креветкой в другой руке: – Вот, пивко в доме творчества пил себе... Что такое, где я? У меня ноги мокрые!

– Вон в грязи "Радужные" твои "горизонты". Зачем их писал?

Тот попрыгал на палке опять и сказал: – Выразил свои чувства. Мне пишут письма со всех уголков страны, книга нравится.

– Слушай, певец радужной жизни. Если еще существует нетребовательность, то не значит, что нужно ее умножать. Люди плохой хлеб едят, ибо мало хорошего. Был бы ты просто пошляк – но ведь ты подрядился распространять пошлость и даже учить, как жить! Скольких дур пожрала твоя книжка, когда пустота помогла б им найти руководство достойнее. Цыц! спорить с тобой я не буду – что в колодцах дурака, черпающего по поверхности? Дожирай свою рыбу и знай, нарекая свои благоглупости, что подохнешь, как пес, в иной жизни пройдут мимо, зажав от зловония твоего ноздри. И будешь отныне писать через то, что напомнит о качестве писанного: сжав творящую руку промежностью, – вот как будешь писать. Брысь!

Хлюп-хлюп-хлюп по воде! Человек убежал за кусты, а ее развернул к себе появившийся муж.

– Кто это, что за мужик? Я его отлуплю, ты знай!

В молчании переливали они воду из чана в корыто, в молчании выжимали белье; на репетицию не пошли, вместо этого молча поужинали, и она, попросив у него папиросы, пошла на крыльцо покурить. Выждав время, и он вышел, в свитере, сунув руки в карманы.

– Ишь, тает. В Москве уже сухо, а здесь только-только снег стаял. Я буксовал нынче час у Воронихи.

Но она промолчала, глядя поверх тайги на закат.

– Буксовать-то оно ерунда, но когда выбиваешься из режима, – сказал он, – мысли приходят. Ветки рублю под колеса и думаю... все о нас с тобой. Почему мне вроде радости и забот хватает, а ты маешься, как цветок в бурьяне.

Откинув окурок и глядя на догорающий огонек, она сунула в рукава руки.

– Улитка поглощена лопухом четверть жизни, но этого не добьешься от сокола. Предназначения разные. То, чем ты увле-

ясен, постигается мной очень быстро, и открывается выход к другому, меж тем как ты все еще занят прежним.

– И потому у тебя был тот мужик, что ты меня постигла и стала скучать?

– Да, он из мира, который я в состоянии охватить.

– Много там мужиков есть охватывать?

– Там разнополые люди. Их много.

– А мне вот хватает тебя.

– Это твоя беда – не достоинство.

Он шагнул к ней.

– Значит, нормально, что ты с мужиками встречаешься?

– Этого мало.

Швырнув ее на перила крыльца, он ушел в дом.

В рыданьях и в истерическом хохоте ведьма отправилась прочь по воздуху, лицом к мужу, который бежал за ней долго в тайге, задыхаясь.

Это о том, как должно быть, а не как есть. Как струна ходит влево и вправо, чтобы звучать, так и мир, клонясь в стороны, идет к цели. Кто ж видит прямой путь, пусть тот не сворачивает со всеми. Бродя во мраке по собственным болям, толпа вопиет, что стезя ее правильна оттого, что всеобща, что вся она взяла истину и тот истинен, кто идет рядом, рассказывая о минутных терзаньях и радостях, ибо что бог ни делает – к лучшему. А обособленный о чем будет петь, если движется в сторону и не знает всеобщих забот? Песнь его будет ложна. Молчите, лакающие пьяный дурман, вы, чужие для истины! Ложно движение окоём, и судьба ваша будет судьбою Исава, надеявшегося, но отринутого, так как не в слепоте и традиции право, но в зоркости. Если новое обозрение докажет ошибки, ужели не поняли, что весь путь крив. Если ж довольны и любите ваш дурман – ради спасения своего не швыряйте каменья в прямоидущих, которые звук ваших судеб колеблющихся! Что они у вас просят? Избранников вы несете в носилках, а им и сказать не даете? Возьмите в себе корни слуха и вырвите, ибо корни прогнили, а вечный язык падает в сердце без ухищрений. Неужто погибнуть для вас – звук пустой? Уж висит вверху смерть, повернув в нас погибель, а все еще рыкаете уверенно: в нас правда! А правда не порождает смерть, знайте! Доколе вы рты забиваете и малюете бледной краской, дотоле и быть темноте, потому что кого привлечет голос слабый и цвет неясный. Никто не залепливает вылупляющегося птенца и не заталкивает плод в утробу, желающий жизни. Кто делает так, он убийца.

Понт Гирканский, в костюме, при галстуке, с табуреткой прошел через сцену к трибуне, возвысился до микрофона и начал

защиту. Членкоры в президиуме и простые ученые в зале, прикрыв глаза, думали, что вещает титан, а открыв – убеждались в обратном.

– Товарищи! Обстоятельства заставляют пересмотреть нашу деятельность на современном этапе. Ни для кого не секрет, что допущено было много ошибок во многих, я бы сказал, ключевых направлениях нашей работы, что отразилось, естественно, на всей жизни науки. (Молчание в зале.) Ибо закон диалектики непререкаемо убеждает во взаимосвязи явлений, и знание этого факта, товарищи, нужно использовать. Следует с полной ответственностью заявить: нынешнее положение дел нетерпимо, дальше так жить нельзя! (Гробовое молчание.) Нужно менять стиль, порядок... (шум возмущения), да, менять стиль, порядок всей нашей деятельности. – Понт Гирканский глянул поверх голов и опять углубился в бумаги. – Нельзя вливать молодое вино в старые мехи, а я скажу, что в последних давно нет вина! (Напряженная тишина.) Ибо отчетные показатели не соответствуют истине!

В первом ряду встал почтенный мужчина и, поправляя очки, бросил: – Позвохрю...

– Нет, не позволим! – сказал в исступлении Понт Гирканский и застучал кулаком. – Не позволим вам, доктор Петров, на основании псевдонаучных работ о глубинных экстремумах, якобы раскрывающих суть проблем, делать преступные выводы! Как нет Чёрного – нет Каспийского моря, в силу чего аргументация ваша, попросту говоря, напоминает любовный трактат, писанный евнухом.

Председательствующий академик склоняется к микрофону и говорит в зал: – У президиума складывается мнение, что соискатель довольно ретиво... э-э, ахр, нападает на уважаемых наших коллег, причем, хрыу, использует доводы, говоря мягко, почерпнутые не в науке, к которой имеет он честь приобщиться, буде выдержит конкурс на соискание вышеозначенной должности, а в истерии и самомнении, столь же беспочвенных, как начало услышанной нами защиты. Поэтому либо мы перейдем к теме защиты, а именно: Эволюция гидросферы Каспийского моря, – либо сочтем заседание завершенным, хрыахр, по причине некомпетентности автора.

Карлик, работавший на киностудии, у которого Понт Гирканский стал жить после случая с Прохиндеем, влез на кресло и заявил, что легко человеческой отстраненностью усугубить природный гнет, без того тяготящий увечного, но трудней изумиться величию его воли, а пуще – исполниться пиететом к тому, кто несет на себе генетические заблуждения человечества, ибо давно не секрет, что один у всех корень и преступления роста не избываются в пустоту, но через звенья того, что в развитии, сохраняются и наличествуют, наряду с прочим служа образом состояния

человечества; а последнее, обрекая их гибели, самочинно отказывается от зеркала и от сосуда для собственных нечистот, что весьма неприглядно, как будто вина в том последних. Выслушав, зал подумал и перевел взгляд на Понта Гирканского, выказав неподдельное осознание смысла увещевательной речи.

– Этот карлик, – сказал тот, – преувеличивает, относя меня к своему племени. То, что есть я, не есть я в действительности. В моем случае старого гнома в прозелени волос форма не соответствует содержанию, а содержание – форме, что приложимо и к ситуации с Каспием, коего, в сущности, нет; есть одна видимость.

– Но минутку! – вскочил доктор Сидоров с острой бородкой и энергичный. – Не далее как зимой, после глобального беспрецедентного оледенения я выезжал для термальных исследований и не только – гм-гм! – убедился, что море наличествует, но и что вертикальные градиенты температур как в поверхностных водах, так и в глубинных структурах не претерпели существенного изменения. То же свидетельствуют и определения турбулентного теплообмена с атмосферой, и [illegible] циркуляции вод, и анализы гидрохимических и тер[illegible] экстремумов.

– А я говорю вам, – вопил Понт Гирканский, – что совокупная масса воды ниже Астрахани [illegible] по имени Каспий! Если вы чешете терминами и кидаетесь [illegible], что из того?! Говорю правду и истину от всего [illegible] не Каспий, а лужа натекшая. Я собаку вот видел на [illegible]нике, думал, живая, ан нет – синтетическая. Что вы [illegible] мне параметры Видимости?!

– Товарищи, – подняла руку и встала доктор Иванова. – Мне кажется, что наши сдержанность и терпение, вызванные необычностью внешности соискателя, отрицательно сказываются на науке. Я не пойму, – притворилась она ошарашенной, – о чем спор? Море есть, море плещется в берегах, как положено. Я не пойму и коллег, выступающих с доводами – вы извините меня – против наглого пустозвонства. Давайте-ка прекратим балаган. Что касается наших личных несчастий, то я и в войну голодала, и два инфаркта вынесла. – Она села, а зал погрузился в себя для сравнения доводов той и другой стороны.

– Браво, женщина, браво! – забормотал Понт Гирканский, потупившись. – Распинай истину! Я ведь всего-навсего только Морская идея. А ты доктор наук. Между тем я-то знаю, что говорю, а ты не знаешь. Кто не согласен со мной, как ты, тот палач истины. Если ты вынесешь третий инфаркт, то из-за собственного упрямства, упрямства невежды, воюющей с истиной.

– Как вы смеете! – побагровев, встала доктор, и зал поддержал ее ропотом. – Оскорблять меня, женщину одного с вами возраста и заслуженного профессора. Да вы кто такой?!

Председательствующий приник к микрофону: – Товарищи,

выразхрю общее мнение. если я попрошу этого, мягко сказать, гражданина покинуть собрание. Попрошу, хрыак! – повел он рукой к выходу.

Понт Гирканский, позеленев от волнения, кинул в папку бумаги, с трудом долго слезал с табуретки, двинулся через сцену, ссутулившись, но на средине остановился, и плечи его затряслись. Папка шлепнулась на пол, послышалось всхлипыванье; он прикрылся руками. Официальные черные его туфли были как лодки, из коих высовывались мачты бежевых, с искрой, носков, так что узкие брюки, скомканные на ягодицах, были выше лодыжек; пиджак же, по-видимому, с третьеклассника, распирало дородное тулово. Он высказывался сквозь рыдания: – Бедный урод, его надо простить... ведь куда он пойдет? Ему жить тяжело... неужели его не простят? Он не будет, как раньше, а четко доложит по теме... Ы-ы-ы! – Так он стоял боком к залу, пока не смягчились и не позволили защищаться, а начал он странно: – Сентиментальная ложь попирает сердечную правду, и сожаление спасло проповеди распятого. Посему приступаю я к игрищу ради истины через ход, будто квазистационарные динамичные зоны, связанные с циркулярными подсистемами, держат первое место в глобальном обмене вещества и энергии. Вместе с тем существует и мнение, что разлитие вод экстремального свойства зависит от изопикничности (аплодисменты), и эволюция гидросферы Каспийского моря имеет большую историю, что убедительно было доказано доктором Ивановой, а также коллегой Петровым (бурные аплодисменты)...

Он защитился блестяще и занял вакантную должность. Со странностями, но гениален, шептались коллеги. Через неделю увидела свет написанная на основании самых последних цифр статья "Видимость эволюции гидросферы Каспийского моря", а позже – "Специфика вод Каспийского моря как не морская, а также последствие таковой для развития экономики прикаспийского региона", где убедительнейше доказывалось, будто в бедах последних лет виновато Каспийское море, лишенное нужных качеств. И с берега и с судов в Каспий стали вливать обязательные, благотворно влияющие на структуру ферменты, а Понт Гирканский получал ордена за научные разработки. По паспорту он был Цыбиков Петр Петрович, тридцатого года рождения, с. Ванькино Псковской области.

Концы и начала

Митя остановился, взял нужную книгу и двинулся полутемным проходом до сумрачного коридора, представленного с двух сторон книжными полками. Лампы в пыльных стеклянных футлярах висели под пыльными сводами в пятнах плесени. Остано-

вившся — тишина наступала могильная, только изредка ниже пола из плит перестукивались колеса метро. Положив книгу в лифт и взяв требованья на новые, Митя двинулся в глубь хранилища, размышляя, зачем он здесь, в подземелье, где редко пройдет человек, между тем как вверху в светлых людных пространствах стучали машинки и каблуки и смеялось и говорилось. Однажды, прельщенная его мыслями, девушка сверху гуляла с ним после работы, и Митя, заметивший за монологом, что кружат они по кварталу кафе, понял и ввел девушку в бар, выпил с ней по коктейлю с орехами; опьяневшая девушка укорила его, почему, такой умный, не пишет какой-нибудь кандидатской и прозябахрю в норе. Он ответил, что хочет сберечь жизнь через себя. Девушка указала, что нужно тогда дать потомство. Митя сказал, что и кошки дают; у Иакова было много сынов, самый славный был друг фараона Иосиф, блистательный, в чести и золоте, но завет патриарх передал не ему, а Иуде. Иуда Христа прехрю! — вспомнила девушка, — ну его! нужно было Иосифу, потому что потомству нужны не пустые слова, а жилище, одежда и средства для воспитания. Верно, что не пустые, — признал Митя. — Но где фараонов Египет, Ассирия или древние римляне, а евреи идут сквозь века и народы с законом пророков, и, видимо, грехи, совершенные для закона, простились им, то есть и не было их с точки зрения чаемого обетования; и христианство есть приобщение, милостью высших сил, к обетованию не через плоть избранного народа, но через дух; сказано же: я послан только к овцам дома израилева. Где русскость, если мой прадед еще звался Семён — Симеон — и воспитывался на обоих заветах, как истинный россиянин? в тех двух крестах, что имел он за первую мировую? — и, может, поэтому и имел, что был тверд в вере; а удаль бойцовская без заимствованных заветов разбоем была, отчего и набеги на Византию. Девушка, выпившая три коктейля и раскрасневшаяся, вскинулась: а революция, совершенная нашей Россией, которая положихрю начало освобождению человечества? как это ты прохрю собственного народа?! Митя сказал: рвануть ворот и крикнуть: да я!.. или выдать набор наипоследнейших штампов, так как последние устарели? что хочешь? — Правду! Говори правду! — (Пылкая девушка! — заявил молодой армянин по соседству.) — Правда в том, что само по себе место инертно, как и народ, проживающий там; то и другое становится значимым, только усвоив идеи. Чем мы руководствуемся, как не целью всех сделать счастливыми? То же самое возглашал назорей, — он же черпал из иудаизма; ты видишь, спускаемся к праотцу Аврааму? ведь если ты думаешь, что с перерезанной пуповиной становишься автономной монадой, ты ошибаешься, как те многие, что пустились в побеги от истинного ствола; посему ты держись причин, чтобы был от тебя, а не от

внуков твоих только толк; ты шагнешь в сторону – внук шагнет дважды, и трижды, и тысячекратно назад к вечной жизни, от коей ушли его предки; история не сосиска, чтоб резать ее на куски. – Ах! ничего я не понимаю! – крикнула девушка и прикрылась рукой, потому что совсем опьянела и молодой армянин не сводил с нее глаз. – Хватит меня учить... и вообще, давай выпьем. – Она очень долго вытаскивала из пачки "что-нибудь покурить", так что тот молодой, подойдя, предложил иностранные сигареты. – Позволтэ, – сказал он, усаживаясь рядом и щелкая зажигалкой, потом достал карточку, на которой был адрес его, род занятий и имя.– И что, вы художник?– не верила девушка. – Можэтэ убэдитса, сядэм в машину и съэздим, но прэждэ шампанское. – Он был блестяще одет, молодой армянин, крепок, здоров и всесилен. Он рассказал про козу своей бабушки и другие веселые анекдоты, и девушка так заслушалась, что, когда Митя сказал, что пойдет, повела в его сторону радостным и невидящим взглядом, ибо как раз молодой армянин объяснял ей структуру "портрэта я с вас нарысую". Два месяца она бегала возбужденная и нарядная, девушка, а потом помрачнела и стала много курить, перебарывая муку сердца.

Митя был муж Актрисы и жил вместе с ней в Ясенево, в небоскребе, на самом верху. Дверь она открывала бесшумно и плавно. Они обнимались, и он шел мыть руки. За ужином он поглядывал на нее и молчал, обходясь репликами: "Вот соль, пожалуйста". – "Соус острый, ты знай". – "Может, еще положить?" Она ела бесшумно и аккуратно, как кошка.

– Вика звонила, – сказала она. – Очень умная девочка. Знаешь, она отыскала и лечит того самого мистера Во. Накануне звонила тебе, а со мной очень сдержанна. Странно, родители у нее в Ставрополье, однако она, по всему, не скучает и даже не заговаривает о них.

Промолчав, ибо Вику воспринимал не рассудком, но сердцем, причины не зная тому, он сказал: – У вас скоро спектакль?

– Вот, – сказала она, отложив вилку и взглядывая на него, – очень кстати ты это спросил, так как Вика отказывается играть в нем, спектакле. Кто и сочтет это временным, возрастным; я, однако, с ней разговаривала и поняла, что у ней твердый взгляд на искусство. Она притворяться не может. Пока ее опыт чувственен, то есть пока она передает образы мира зримого, ей будет легко. Но что будет потом, когда с возрастом ей придется играть человеческие отношения, я не знаю. Вернее, догадываюсь: зритель не примет искусства, идущего от иных, незнакомых ему побуждений.

– "Кувырканье", ваш новый балет, – сказал Митя, откладывая вилку, – действительно невыносим.

– Жизнь есть жизнь, и приходится делать всякое, – возразила она, отвернувшись.

– Актерам нетрудно самообманываться, – продолжал он, – и кувырки обращать для себя хоть в полет, но режиссер, созидающий на заведомо пошлом материале...

– Каждый несет ответственность за свои дела, – перебила она. – Обвинять всего легче, не делая ничего и не зная людей, каковых обвиняешь. Ты бы увидел другие работы этого режиссера!

– Я понимаю, – сказал Митя, встав, и ушел в комнату, где сел за ширму писать сто восьмую страницу "Эстетики". Он разложил на столе сделанные накануне выписки из работ Бахтина и Жан-Поля, открыл тетрадь, но в глазах стыли слезы, прорвавшиеся из глубин вместе с читанными когда-то словами: "... днем вопию и ночью перед тобою, ибо душа моя преисполнилась бедствиями, жизнь моя подошла к преисподней, и надо мной твоя ярость, и ярость твоя сокрушила меня..." Митя знал, что Актриса страдает с ним; но и знал, что он нужен ей, пока боль несчастной любви ее мучит; и, зная, он должен был скрывать это.

Посуду она мыла тихо, позванивая фарфором и вилками. Свет на кухне погас. Он писал очень медленно и догадывался, что она сейчас в дверях комнаты, переживая любовь-нелюбовь к нему. По паласу зашелестели шаги ее, и она обняла его сзади, сказав, что "хозяин не должен сердиться на собаку, если завел ее"... Мало-помалу она отстранилась, легла, наконец, у стены и затихла. Чтобы ей дать разобраться с собой, он убрался на кухню, закрыл плотно дверь и склонился над книгой, представившись, что читает. В прихожей послышался шорох и щелкнул замок. Когда он показался из кухни, дверь затворялась. Под утро, когда он лежал еще, она вбежала и, как была в плаще, молча припала к его изголовью.

В клубящихся облаках, так что ветер свистел в ушах, Вика передвигалась вдоль аттика, огораживавшего стеклянную многоскатную крышу, а Воротила Финансович, высунув клюв из сумки, сверкал черным глазом.

– Крррах, дева, смело! Здесь роза ветров, когда я пролетайт, и две вещи падайт сквозь стекло.

– Но все стекла целы, – молвила Вика, осматриваясь.

– Я потратил огромный средств и терял ногу! – настаивала ворона. – Стекло заменили, конечно, вы должен искать самый чистый стекло.

– В непогоду все стекла серые!

– Скажите на милост! А солнце сияйт – как бы влезли сквозь эта милиция?! Кррах, я не забыть даже в этот решающий миг, что Актрис холодно меня встретил! Я к ней летел прежде-наперво

прям в театр и попадай в петлю! Три дня я кричал ей: мисс! мисс! Но как ходит она свесив голову ноль внимания!

– Вас и вправду нельзя было снизу заметить, – призналась Вика, остановившись. – Кроме того, вам предпочтительна помощь, чтобы устраивать ваши дела, но не сами помощники... Вон, я вижу стекло без потеков, но далеко.

Выпорхнув, Воротила Финансович поскакал на ноге, опираясь на крылья, и заглянул потом внутрь. – Мой вещи! На сетке! Быстро, дева, я не могу от волнений! – Он мельтешил вокруг, пока Вика лезла на четвереньках по остову из железа и разбила стекло каблуком, а когда она потянулась и вынула склянку с увеличительным порошком, он прокаркал восторженно и застыл неожиданно; шепотом он произнес что-то, после чего зазвенело стекло, затрещал остов и жирный большой человек в черной шубе наполовину уехал под крышу, которая продавилась. Вика, едва удержавшись, тихо сказала, чтоб он превращался в ворону, иначе провалятся оба, однако, не слушая, он таращил глаза и подергивался, поглощенный своей долгожданной личиной. С треском и звоном они вдруг низверглись на сетку. Внизу закричал кто-то: ”Стой, руки вверх!” Набежала милиция, ибо действие происходило в музее, и одноногого гражданина с акцентом в добротных, не по сезону, мехах и гражданку-подростка доставили в отделение. ”Ахр-ахр?!” – кричал один строго, другой же пытал, кто такие и как инвалид влез на крышу. ”Я жалуйся МИД!” – обрывал Воротила Финансович. Перед ним извинились и увезли его на Лубянку, а Вике сказали, что ей, видно, школьнице, спутавшейся с иностранцем, позор, быстро адрес родителей и причину гуляний по крышам, не то в заключение для малолетних и самых опасных преступников, тьфу, если б моя дочь такая, убил бы. ”Вы только передаете, а сотворяете дочь не вы, чтобы вам посягать на нее, – высказалась Вика. – А я из Ставрополья”. Такая-то? – переспросили ее, посмотрев на бумагу, где числилась еще осенью прошлого года пропавшая Вика Такая-то. Так, значит, отец с матерью ее ищут, она же в Москве развлекается. У кого ночевала, зачем взобралась на музей? А, молчишь? Вот приедет отец, он тебя выпорет по-родительски, скажешь.

Вику свезли в интернат, где у выходов располагалась милиция, и вручили одежду, хорошую, но характерную, чтобы, переодевшись, шла в класс на занятия, так как среднее образование обязательно. Склянку с увеличительным порошком Вика носила с собой, не показывая никому. Литературу вела строгая женщина Оптимизьма Бессмыслевна, преподававшая, кроме школы, ещé в интернате, так как готовила материал к кандидатской на тему ”Особенности преподавания литературы для малолетних преступников”. Сведения о новенькой вызвали интерес, ибо здесь, как усматривала она, сочетались распущенность, осложненная

псевдолюбовью или корыстью, с изменой. Зная, что девочка помещена на короткий срок, Оптимизьма Бессмыслевна отклонилась от плана занятий, чтобы проверить казавшуюся ей безупречной методу. "Ты хрю-ди?" – спросила она. "Из Ставрополья". Тогда, отойдя к окну, она молвила: "У вас некогда жила девочка, юная партизанка, расстрелянная фашистами. Не могу я спокойно о ней вспоминать, наворачиваются слёхрю. – И Оптимизьма Бессмыслевна, сняв очки, вытерла щеки ладонью. – Красивый ваш край, а могила той девочки у дорогхрю, увенчанная звездой... И не одна она. Сколько их, унесенных войной!.. Нет, не могу. – Она села за стол. – Я должна вам рассказывать о героях войны, но расстроилась. Кто поможет, ребята? – спросила она, подымая заплаканные глаза на Вику. – Расскажет о юных героях, что знает, что удержалось в сердхрю. Ты, Вика? Встань, расскажи. – Так как Вика всё ниже склонялась к парте, она подошла и склонилась, заглядывая ей в лицо. – Ну, девочка, не стесняйся, я очень прошу тебя мне помочь. Очень".

Вика медленно встала. – Если вам нужно назвать имена, то я знаю их много. Но больше я не могу вспоминать... видите, я плохая помощница.

– Вика, но чувства, которые вызывают их подвиги? Кажетхрю, ты б могла рассказать, ибо им мы обязаны самым святым в нашей жизни. Ты даже можешь прочесть стихотворение о войне. Надо быть благодарным за счастье жить и учиться на нашей свободной земле, правду я говорю?

Все молчали и дожидались ответа.

– Мне так трудно, я не могу отвечать.

– Вика, это урок. – Оптимизьма Бессмыслевна, стукая каблуками, вернулась к доске и оттуда воззрилась опять в ожидании. – На уроках мы учимся мыслить и отвечать.

– Тогда я отвечу, что подвиги на войне понимать сложно.

– Хрю, – заметила Оптимизьма Бессмыслевна. – Продолжай.

– Святость некоторых не нуждается в объяснениях. А мотивы других могут случиться обратными их достоинству. Нужно знать каждый случай со всех сторон, чтобы судить безошибочно. Если совершено то, что названо подвигом, нужно это проверить не чувствами, о которых философы говорят, что они часто ложны, как, например, вид ходящего по небу солнца или патриотизм, оборачивающийся шовинизмом, а опытом и свидетельством тех, чья мысль была проникновенной.

– Так. – Оптимизьма Бессмыслевна села и посмотрела на ногти. – Теперь мне понятно, как ты с подобными мыслями бросила дом и сбежала в Москву за сомнительным счастьем. Правильно: что нам сердечность и родина, если живем на содержании у иностранца, забыв даже родителей. – Оптимизьма Бессмыслевна ощутила кружение в голове и качнулась. Какие-то ро-

боты поволокли ее под руки, обнаженную, в темное место, бурча: "Видишь, сама себя губит и губит других, злыдня". Она от стыда и от ужаса взвизгивала и бледнела. Видение было так живо, что мысли, не успевая оформиться, таяли. Она жестом освободила ребят и пошла к двери, стыдясь голого своего тела и умственной неполноценности.

Через час Вику с алгебры вызвали в кабинет, где какой-то мужчина спросил, правда ли, что на крыше они доставали какие-то вещи. Вика ответила, что действительно так и было, однако они не успели. Схватив шляпу, мужчина рванул к черной "Волге".

Из расписания выяснилось: поезд будет через четыре часа. Он пошел к кассам и, взяв билет, спрятал в бумажник, который засовывал долго в карман пиджака, так что галстук и лацканы изломались, потом застегнул пуговицы на плаще и повел, приноравливаясь, плечами. "Готово. Поедем, посмотрим Москву". "Здесь власти находятся на демонстрациях", – пояснил он на Красной площади. В ГУМе потратили они все оставшееся время, поэтому торопились, обвешанные покупками, на вокзал, и он часто покрикивал на отстававшую Вику: "Быстрее, ей-богу, пень на плетень". Пока он ходил в туалет на вокзале, она позвонила – но были по-прежнему затяжные гудки. Появившись, он зашагал на платформу и только в вагоне, свалив в купе вещи, пристально посмотрел на нее в первый раз за всю встречу, но ничего не сказал. А сказал после ужина в коридоре, когда коридор опустел и за окнами в темноте плыли огни: – Ну, дочь, рассказывай, как гуляла в Москве без отца и без матери.

Молча она отодвинулась.

– Красиво жить хочешь?

– Спрашивать нужно того, о ком хочешь узнать, – отвечала она. – Если имеется мнение, спрашивать незачем.

Он запустил руку в карман и достал сигареты. – Пойдем-ка мы в тамбур.

В грохоте и прохладе, куда они вышли, он долго курил и глядел в пол.

– Здорово ты отцу отвечаешь. Прямо какая-то независимая баба. Будто я тебя не растил четырнадцать лет. Как же мне мнения не иметь, если ты одеваешься дамой-мадамой и гулеваешь с туристами? Вот погоди, дома тебя отхожу, как сидорову козу, сучка такая! – Он выплюнул и раздавил сигарету носком, но немедленно закурил новую непослушными пальцами. – У нас в роду таких не было. Я землю пашу, мать на ферме, а у тебя рано пожар загорелся! Уж лучше бы ты умерла, как мы думали, чем я приеду с такой и в глаза не смогу людям смотреть. Что молчишь? Хоть бы похныкала, как девчонка.

– Мне хныкать незачем. Я знаю, что я хочу. И если у нас

отношения сразу сложные и нежелательные, лучше их ограничить насколько возможно. Не надо меня воспитывать и вставлять в рамки собственных представлений. Не надо со мной обращаться так, как не принято среди людей, потому что родительские права действуют, пока в них нужда, а я сказала и повторю, что теперь нужды нет и теперь есть единственно дочерние обязанности с ссылкой на то, что пока вам от выполнения их проку мало.

Он давно не курил, а держал сигарету в опущенном кулаке и внимал, глядя в пол. Старый его мешковатый костюм и обветренное лицо помнились Вике с детства. Когда она, говоря, глянула на его руки с въевшейся в поры соляркой, с кривыми ногтями и шрамами, он одну сунул в карман.

– Я имею в виду, – мягче заметила Вика, – что теперь я сама могу себя прокормить. И в Москве я работала в театре.

– Какой театр? Откуда ты можешь? – сказал он и кулаком с сигаретой потер лоб, потому что смутился и правильной речи дочери, и последних слов.

– Я могу танцевать и танцевала в театре.

– Как же без образования?

– В танце дипломы и справки не требуются, а на конкурсе отбираются лучшие.

Он разозлился.

– Значит, ты ноги показывала, а после гуляла с туристами.

– Я не гуляла с туристами.

– Где жила тогда? Что делала с тем туристом на чердаке?

– Об этом долго рассказывать, и пускай это будет моим личным делом. Я не могу раскрывать тайны людей без их на то разрешения.

– Значит, враки про тебя говорили? – Он быстро и глубоко затянулся. – Что ты это... не девочка.

Вика потупилась и промолчала; потом вдруг ответила: – Если это важно – не девочка.

Он, давя сигарету, сказал: – Ну, иди в купе.

Вика была уже в коридоре вагона, когда зазвенело стекло и отец, показавшись, свернул в туалет смыть с пальцев кровь.

Алгаритма вбежала к себе с сумками и, опять не найдя Вики, ссутулилась. Выставляя на подоконник мешочки, пакеты и свертки, она то и дело выглядывала на улицу. Вики не было. Вскоре Арбат с переулками поглотились толпой кувырочников и зевак. Зная, что Вика навряд ли появится до окончания, ведьма вышла купить цветов и на улице Горького нагрузилась букетами. Тут, не в силах терпеть, пробираясь сквозь движущиеся потоки, она полетела через Центральный почтамт напрямик. Вики не было. Бросив цветы на постель, Алгаритма уселась и просидела до часу. Отсвет от фонарей освещал окна дома напро-

тив. Редко внизу на брусчатке стучали шаги. Кошки вопили и прыгали в воздух, спасаясь одна от другой. Ведьма, тронув живот свой, прошла до стола, где взяла лист бумаги и ручку писать. ”Милый, любимый! Милый, любимый, такое в себя приняла, что паду я от тяжести. Фамарь после Ира вошла к его брату, а после к отцу их Иуде, дабы чрез себя пропустить благодатное семя, которому обетована жизнь вечная. Я же взяла в себя мусор мира – неверие и вплела себя в мертвый побег. Что завязала я, кто развяжет? Уж в разные стороны разошлись мы с тобой, и найдешь меня в мусорной куче с потомством моим и с предшествием. Ты пройди тогда мимо, закрыв глаза. Получила я, тварь, свое и, оскаливши зубы, околеваю. В мертвом моем хороводе скачу я и прыгаю в преисподнюю, и рыдают глазницы мои от высокого твоего света. Коль я, так любившая, сверглась, кто выстоит? Что, видевши, я не взяла, кто возьмет сослепу? Не туда все идут, а я что? Блудить так блудить в нашей тьме окаянной, в погибельном странствии. Не к тебе мне идти уже, а на что мне идти тогда? Ах, я вру! Не сама я иду – волокут меня, волочет *внутри* жизнь, я теперь ей раба и служительница, как баграми дохлятину, тащат меня, и сама я кормлю собой крючья... Нет, не буду!!” Она поднялась, бросив ручку, и повторила: ”Не буду”. Потом побежала за спичками и сожгла письмо. Налила таз воды с марганцовкой, присела над ним ковыряться в себе ножницами. Пот, кровь и слезы текли по ней струями. Зазвонил телефон. Дотянувшись, она подтащила за шнур трубку, откуда спрашивали: ”Алло? Алло?” – ”Девочка, ты!.. Где ты? Иди сюда, ну, иди!” Трубка выпала из трясущихся рук. Тотчас Вика, как выбежала из вагона на станции в одной кофте и юбке, всосалась, как дым, в аппарат и появилась уже перед ведьмой, которая прятала таз под кровать.

– Что делаете? – Вика спросила совсем детским голосом и попятилась.

Ведьма переползла к ней на мокрых коленях и обхватила руками, прижавшись с неженскою силой.

– Девочка, милая, стой... я с ума сойду, я сойду!

Вика боялась, что потеряет от страха сознание, но объятья слабели, и женщина повалилась на пол. Вика выхаживала ее неделю, не спрашивая ни о чем. ”Я, кажется, ничего не смогла”, – выговорила Алгаритма однажды. Вика тогда поняла и сказала:

– Давайте пойдем в гости. У вас есть друзья?

– Друг у меня ты. Видишь, солнце какое на улице? Давай приберемся здесь, я лет сорок не прибиралась. – Она взяла тряпку и стала мыть пыльные стекла, вытерла на столе древние пятна, вычистила деревянные ножки кровати и вешалку. Вика скоблила ножом доски пола, окатывая их водой, потому что внизу было более четырех этажей пустоты. Воздух первых дней

мая, вливаясь потоком в распахнутое окно вместе с верезгом воробьев и голосами, развеивал аромат от букетов, которые, где только можно, торчали из ваз, банок, кастрюль.

– Очень много цветов, – молвила Вика, тронутая благоуханной волной. – У вас был праздник?

– Это тебе цветы, – произнесла Алгаритма. – Я думала, хорошо будет, когда ты вернешься и их увидишь... Я ведь тебя, дочь мою милую, не могла возвращать силой, поэтому...

– Спасибо. Я не подумала, что это мне так много цветов. Когда знаешь, что что-нибудь для тебя, все совсем по-другому. Но только... – Она выпрямилась и откинула со лба волосы, собираясь сказать что-то, как неожиданно в дверь постучали. Вдвоем прошли они к дырке в полу и прислушались. Стук раздался опять. Ведьма скинула лестницу вниз и сказала, чтоб Вика, спустившись, открыла не опасаясь, так как плохих визитеров она при нужде заморочит. Вика, откинув крючок, пропустила внутрь рыжего парня, одетого, как большинство его сверстников в городе, и посмотрела на ведьму вверх. Парень тоже туда посмотрел и сказал:

– Здравствуй. Я Валя Бекетов. Узнаешь?

– Это ты и товарищ твой – "драные лейблы"? Кувыркаетесь в первой десятке? Сейчас у тебя внешность и речь приятнее. Подымайся.

Валя, взобравшись, втащил вместе с лестницей Вику.

– Я на один день, даже меньше, мне нужно спешить. Но одно поручение для тебя. Ты писала, и вот тебе отвечают. – Он, сняв с пальца кольцо, протянул Алгаритме, которая, взяв, побледнела и отошла к окну.

– Если ты рылся в могиле, не знаю, что я с тобой сейчас сделаю.

– Маргарите – Сергей, – сказал Валя. – Под темной вуалью глаза огневые. Жаждущая, ты насытишься. Не торопи срок, не торопи.

Ведьма, стремительно подойдя и схватив его за руки, крикнула: – Но откуда ты знаешь! Под темной вуалью глаза огневые – откуда?! Отвечай, отвечай мне немедленно!

– Месяц назад я попал под автобус и умер.

Медленно отпустив его, Алгаритма спросила неслышно: – Ты... видел?

– И тебя с ним.

– Почему ты, а не он? А? Ты, а не он?

У Вали в глазах стали слезы. – У меня здесь тоже есть мама, которую я... которую...

– Прости! – Она вытянула к нему руки с мольбою.

– В девять вечера я пропаду, – сказал он. – Надо спешить. Надо сказать кое-кому, что жить нужно.

– Стой! Я устрою тебе выступление по телевидению, как Мите!

– Так мне нельзя, – сказал Валя, развертывая вниз лестницу. – Без свидетельства даже ты не поверила, а другие? Кроме того, у других есть другие, а мне нужно к тем, кто меня знал.

– Слушай! пойдем с тобой! Мы тебя будем спрашивать по пути, – убеждала его Алгаритма, скидывая с себя фартук с халатом и надевая платье. Потом она вымыла руки и, покраснев, навлекла кольцо на безымянный палец.

В лифте, видя, что обе женщины озирают его, Валя им запретил, он сказал, что всем быть, как ему.

– Всем? – прервала Вика и снова поехала вверх к квартире, откуда вернулась с чем-то набитой сумкой.

Так они шли по Арбату: он – торопясь, мужским шагом; ведьма – частя, но уверенно и с глубокой улыбкой в глазах; Вика – бегом почти, перекидывая с плеча на плечо сумку. В переулке Аксакова он прыжками вбежал на второй этаж и сказал, что боится войти, чтобы не напугать, но что пусть идет Вика и позвонит. Вика звонила-звонила – никто не открыл. Валя пошел тогда вниз, говоря, что догадывается, где мать.

В крошечной церкви Филиппа горели светильники в виде свеч, отражаясь на золоте внутреннего убранства. Какая-то женщина в черном ставила перед иконой свечу настоящую. Валя, толкнув Вику, спрятался. Когда женщина дочитала молитву, Вика приблизилась и спросила, Анна ли это Михайловна. Да. Я знала вашего сына и очень жалею, что как перенесть вечную эту разлуку. Анна Михайловна отвечала в слезах, что бог милостив и разлука не вечна, как он дал ей верить. Я вас провожу. Медленно они шли к дому, но Валя не подходил. Он застыл, свесив голову, сунув руки в карманы, и долго не двигался с места. Потом они снова пошли – за Калининский, к школе, нашли нужный класс и увидели перед дверью подслушивавшего Прохиндея в изорванной грязной одежде, который, узнав Алгаритму, бежал, озираясь. До перемены еще было время. Они втроем стали ждать у окна, не разговаривая от волнения.

– Генная инженерия, – сказал Валя. – Вам я говорю, я вас там видел. Что вам объяснять? А Смазливого там не видел... Пришел я напрасно. Его там не будет, а я пришел, вот ведь как! Голова кругом идет!

По звонку распахнулись все двери и вывалили старшеклассники. Франтоватый смазливый с зачатками вкуса, шедший, видимо, покурить вместе с Эллочкой, задержался, узрев Алгаритму, и, подойдя, объяснил: "Здрахрю, катахрю же вечером, или хрюах хрю йа что?" Ведьма кивнула на Валю. Смазливый с зачатками вкуса, открыв широко глаза, изменился в лице.

– Ты? Джон говорил, что ты... вроде, попал под машину. Не

ходишь на кувырканья. Или Джон с кем-то спутал, что будто тебя на Хованское кладбище...

– Ты ходил на Хованское?

– Как-то времени не было, – засмущался смазливый с зачатками вкуса, но вдруг нашелся: – А что мне ходить, если Джон наврал.

– Ты бы сходил, начал бы с этого. Может...

– Атас! Ты чего, ради чего мне туда? Ты, вообще, где пропадал? Вот Эллочка... я тебя тогда не познакомил. Эллочка!

– Хрюи!

Ведьма сказала ей, чтоб говорила нормально. Эллочка фыркнула, выражая свою независимость, но подошла, потому что у Вики атасное было платье, а Алгаритма была знаменитость и женщина роковой красоты. Эллочка, чтобы не уступать, вобрала живот и чуть выпятила подбородок, уже поглощаемый шеей. Смотрела она, опустив веки; тогда, по ее мнению, взор охватывал главное в человеке: ноги и выше. Касательно собственных нижних форм, чрезвычайно обтянутых, Эллочка была крайнего мнения. – Говорю я нормально, в чем дело? – сказала она головным пустым голосом, будто высунута из скворечника.

– Мне нужно вам обоим сказать, – начал Валя, – что вас не будет.

Смазливый с зачатками вкуса сказал: – Ясное дело.

– Но если вы будете жить по-другому, вы будете.

– Тебя как зовут? Вика? – негромко выпытывала Эллочка. – Ты это где взяла? Атас. Пойдем ко мне, я скопирую.

– Мы пойдем к тебе, – сказал Валя. – Но ты позови всех знакомых.

– Шутишь? – Эллочка одарила его пояс взглядом. – Ко мне пол-Москвы соберутся, стоит сказать. Я их всех должна приглашать?

– У меня важное сообщение.

– Извини меня, – тон ее был снисходителен, – но важнее того, что у меня, быть не может, – и двинулась к телефону, поигрывая ягодицами. – Алё, Аська? Ты можешь ко мне? в Геленджик... Грек, алё, приезжай...

Не глядя на Алгаритму, но млея от близости знаменитой начальницы кувырканий, Эллочка собиралась представиться личностью тоже могучей, имеющей Черное море, а заодно изумить друзей связями с знаменитостью. То, что ведьма, когда пошли к Эллочке, шла молча сзади, так что прохожие любовались прекрасным соцветием, было лестно. Эллочка выступала принцессой, пресыщенной и снисходительной, и рассказывала: "Грек подкатывает на "Форде". атас, знаете, вдесятером сели, а места хватает; выбрались за Москву, Чапа маг включил. У Аськи на даче сауна, весело было, просто прелесть. Я никогда не пила

так: "Мартини", "Джонни Уолкер" – атас. Вика, давай с нами. Ты учишься? Где, в театре? Атас! Вместе в бассейн для дипломатов будем ходить, отчим пропуск достанет, он в первой десятке катается на дорожке для руководящих работников, вчера мне такие подошвы достал – атас!" Видя, как Валя слушает болтовню со слезами, ведьма молвила: "Хочешь, захрюкает?" Он обернулся, румяный от гнева: "Свои ускорения прекрати. Без тебя наказали ее".

На квартире Ухерина, где жила Эллочка, пока ждали гостей, прибывающих непрестанно, сидели, курили и слушали популярную музыку. А когда все пришли, дым сгустился, – смазливый с зачатками вкуса вкатил стол с напитками, и, опробовав, разнополые обормоты задефилировали туда-сюда, хвастаясь сперением. Визг свинячий усиливался. Юный, однако потасканный Грек, длинный и с шиком одетый, грыз ногти и осаждал Вику с помощью эрудиции, ибо знал, кто в мире самый богатый, кто "мисс юниверс" этого года, какой мощности двигатель у японской "Тойоты" и сколько сотрудников в американском посольстве. Последнее вызвало несогласие у смазливого, папа которого был из МИДа и знал, дескать, точно, меж тем как родители Грека заведовали районной торговлей. Справившись и у ведьмы о том, почему уже месяц она не приходит на кувырканья, Грек со стаканом в руке опять подсел к Вике, уже повествуя о чудных Гавайях, где девушки на купальниках рекламируют вызов "девственность излечима", как она думает? Эллочка, положив на край пепельницы сигарету, прошла в свою спальню и, вынеся ящик с морем и положив на палас, медленно разоблачилась до пляжного состояния. Прочая молодежь, кочевряжась нарочно в присутствии Алгаритмы, последовала примеру и погрузилась в нирвану, разлегшись вкруг ящика. Субтропические ароматы и бризы и легкий шум волн опьяняли.

– Ребята, я вас позвал, – начал Валя, вставая, – что вы не тем занимаетесь. Вы разве вечную жизнь не хотите?

– Атас, пьяный в стельку, – произнесла Эллочка, переворачиваясь на бок. – Вика, давай раздевайся!

– Вот ты, Виктор, – прервал Валя, кидая смазливому его джинсы. – Оденься и уходи, пока не поздно. Что ждешь, дурак? Что на меня смотришь? Я ради тебя и вернулся, вставай же немедленно, ну, подымайся! – он тянул того за руку.

– Облом. Я так не могу. Что за бред? – увернулся смазливый. – Ты из психушки.

Валя, сгорбившись, постоял-постоял и направился молча к выходу. Вика же что-то поведала ведьме, которая так заменила бутылкою Черное море, что молодежь продолжала блаженствовать, не заметив подмены, и перехрюкиваться об атасных делах.

Валя, сопровождаемый ими, брел по сумрачной улице и молчал. Вика тихо сказала:

– В сумке живая трава Перекати-Пустыня. Возьми ее, потому что она вся изломана, и она бредит. А там ее вылечат. Ты возьмешь?

– Давай. – Валя, взяв сумку, опять пошел молча. А Вика у ведьмы взяла ящик с морем. Вдруг Валя на них посмотрел – и куда-то помчался. Спросив у прохожего, сколько времени, он помчался быстрей и, завидя свой дом, закричал:

– Мама! Мама!

Однако, едва открыл дверь подъезда, как обратился в туман и рассеялся.

В тот же миг подле Вики и Алгаритмы, шагающих по тротуару безлюдного переулка, взвизгнула тормозами машина и выскочивший Прохиндей со свинячьим испуганным визгом полоснул Вику по горлу пилой, вырвал ящик и укатил, истерично похрюкивая. Девочка умерла через минуту, открытым ртом и глазами пытаясь вобрать небо, а правой рукой с аккуратными ноготками стискивая плечо Алгаритмы.

Ведьма взяла тело и ящик под мышку, перелетела в жилище свое на Арбате и вызвала Митю. И в ту же ночь Вику захоронили.

Около трех часов ночи, выдавив раму окна, в ее узкой комнате оказался убийца, все прижимавший ящик к груди. "Алгаритмочка, ахрю, Ивановна! Разве я что-нибудь против вас! Мне просто тихонечко жить, чтобы на черный день был кусохрю..." Тут он увидел, что нос превращается в свинское рыло, и отбежал к зеркалу. Он метался, а превращение продолжалось. Он падал и бился у ведьминых ног в исступленье. Она, пробиваемая мелкой дрожью, сверкая от пота, сидела, как статуя, глядя невидящим взором. С вихрями залетали в окно бормотанья и визги в крылатых плащах. Черный хряк обозначился и, вскочив на копыта, застыл. Алгаритма набросила на него петлю, улицами отвела к площади и заколола посередине. Земля дрожала, когда хряк забился в конвульсиях, встал и, с ножом в боку, проливая чернила, бежал в переулок. Ведьма вернулась к себе, приложилась губами к кольцу, принесенному Валей, и выпила порошка. Прибывший по звонку ее врач нашел женщину в родовых судорогах. Когда приступ прошел, она вымолвила, что торопится, что не может ждать, вот вам плод, а ее отпустите.

Родившийся был увечный, она умерла в молчаливых слезах.

Утром Митя, приехав, увидел милицию и услышал, что ночью здесь в родах скончалась "какая-то без прописки", а маленького уродца свезли в детский дом. Митя усыновил и увез его к своей бабушке. В ход пошли деревенские молоко и заботы. Сам он

вернулся в Москву и опять оказался на Арбате. Стенку с окном Алгаритмы выламывали; высоко на кирпичном торце была вешалка, но рабочий поддел ее ломом и скинул по требованью наблюдающих снизу шляп, из которых одна был Ухерин, строгий и представительный. Брызнула СЕРАЯ краска, и маляры в люльках, спускаясь, закрашивали историю. Заложив руки за спину, шляпы направились к кувырочному старту, который стирался и демонтировался. Митя поехал в театр к жене и узнал, что балет "Кувырковье" изъят из репертуара срочною директивой, хотя неделю назад в переполненном зале Ухерин бисировал в главной ложе стоя, показывая пример многочисленной публике. Увидав Митю, Актриса дала ему знак подождать, потому что актеры заканчивали репетицию "Ветр весны" по мотивам романа известного автора, показавшего, как несладко жилось в пресловутые годы и как им сулит счастье весна перемен. Режиссер, озирая изгибы танцовщиц, вставлял замечания, и Актриса внимательно слушала. По окончании, переодевшись, она пошла с Митей к метро.

– Балет в основном разработан, – сказала она. – Но хочется сцену прощания дать в необычном пластическом разрешении. Я съезжу к знакомому балетмейстеру, у него своеобычная школа. Может, даже сегодня. Ты не обидишься?

– Надо не *как*, а *что*, – сказал Митя. – *Как* – это модификации *что*. Любви Юлии и Ромео не превзойти возвышающей самое себя на ступенях познания любви Дантовой к Беатриче. Порнография, демонстрирующая многообразие одного, – вот образец всяких *как*, исходящих от одного, так что одно забывается и предстает в непохожих личинах, каждая из которых способствует розни вкусов и представлений. Явление множится в собственных формах и заслоняется ими. Случайные сложности и пристрастия, порожденные этим, губят суть.

– Это из твоей "Эстетики"?

– Это о заблуждениях разума, – сказал Митя, – о том, как, блуждая, он лепит ненужное и работает с видимостью, из нее заключая; работает с формой и извлекает из формы страдания или радости, что пагубно. Этот культ формы от человеческой лени, ибо лежащему и короткие ноги покажутся длинными. Каждый за принцип берет свою точку зрения. А у *что* есть одно *как*, и вложенное в каждого чувство ведет к этому *как* вернее охотничьего пса к добыче, лишь бы не затмевала глаза порнография, разрывающая целое в клочья искуса. Дай волю выбрать прекраснейшую, каждый, учась на сравнениях, доберется до Единственной, за которой сама Красота. Ваш театр делает искус из видимости и недостоин тебя. Правда то, что из сердца. Вы три дня назад переживали коллизии "Кувырковья", нынче пылаете страстью "Ветра весны".

– С тобой тяжело разговаривать, – сказала Актриса. – Я не утверждаю, что ты не прав, но это – не моё. Моё – другое. Может, отшельничество, вызываемое презрением к язычникам, не желающим служить истине, праведно, – только я не Фамарь. Я другая.

Они помолчали.

– Я буду жить в деревне, – сказал Митя. – Здесь жить невозможно, хотя бы из-за ребенка.

– Ты не спросил меня, когда усыновлял его. – Актриса остановилась. – Наверно, есть причины, по которым сейчас это невозможно. Если тебе они неизвестны, это не значит, что их нет. В приюте он не пропал бы, а мы бы имели возможность взять его, сообразовавшись с удобными обстоятельствами. Теперь, конечно, и я ответственна за мальчика и вынуждена уделять ему много времени. Ты хорошо рассудил, ты напролом идешь к своему через многие *как*, а я так не хочу. Я не Вика, которая бы тебя поняла. Я – это я в театре, а не в деревне, и ты, принимая ответственность брака, мог это предвидеть. Я так не хочу. – И она пошла прочь, опустив глаза.

– Ирина! – позвал он.

Она скрылась в толпе.

Дома Митя не спал и все ждал ее. Утром собрал свои вещи и только хотел уходить, как дверь распахнулась. Ирина вбежала, но, глянув на чемодан, прошла в комнату. Он постоял, потянулся к замку. Она тихо приблизилась и отошла, прикоснувшись губами к щеке его. В дверь постучали.

– Можно? – услышал он, отворив, и увидел Женщину с забайкальской железной дороги с большим чемоданом. – Это я. Как пригласил, так и приехала. А хозяйство пока на сестре, да и дети. Ну, заходить, что ли? – Увидев Ирину, она замолчала и выговорила наконец: – Кто это? Не вовремя я?

– Это моя жена.

– С радостью, очень приятно... Говорил: приезжай, а сам вон как. Я пойду тогда, до свиданья.

Слышно было, как зашагала она вниз по лестнице.

Митя, взглянув на Ирину, вздохнул, вышел, съехал на лифте и встал в подъезде. Женщина появилась усталая и хотела пройти мимо, но он задержал ее.

– Но! Давай-ка пройду.

– Не пройдешь, пока не признаешься.

– Что признаваться-то, коли все ясно.

– Ты за покупками приехала или за меня замуж?

– Ой, ладно тебе... – потянулась она из подъезда, но он удержал.

– Эта женщина, что наверху, бывшая моя жена. Выходи за меня, жить будем в деревне здесь рядом.

– Ты это взаправду?
– Давай чемодан.
Они шли к остановке автобуса, и она говорила: – Анна я, что ж, и имени моего не знаешь. На Сходненскую я приехала, а родители, что ли, твои говорят: там-то. Я и сюда. А тебя я с тех пор вспоминала, прямо не знаю как. Муж-то мой пьяница по сравненью с тобой... Только если ты в шутку, то лучше не надо: не вынесу я...

II. ПЕРЕВАЛ

Мартовское равноденствие

Выстроили завод, оснащенный сверхновыми автоматами, и Ухерин поехал туда на торжественное открытие. Сидя в большой черной машине в дубленке и шапке, он озирал занесенные снегом поля, избы и корпуса старых зданий в прозрачных лесах – то ли ферм, то ли промышленных предприятий. Ветер свистел за стеклом, скорость за сто; впереди, веля встречному и попутному транспорту съехать к обочине, несся эскорт. "Не так ли и ты, Русь, как эта тройка, несешься", – подумал Ухерин и прекратил за невозможностью вспомнить дальнейшее. Вместо этого он поправил выбившиеся из-под шапки волосы. В шестьдесят лет он чувствовал себя полным сил и желаний нести бремя власти и завтра летел в Бельгию заключать договор с фирмой "Гасбюндер" касательно новых поставок. В апреле, заехав за Сонечкой в Гагры, он свозит ее на охоту к калмыцким озерам. Машина свернула с шоссе на проселок и по причине оттепели забуксовала. Старший эскорта направился к съехавшему в кювет трактору и открыл дверцу кабины, в которой сидели трое.

– Ты цепляй, а вы два сзади толкайте.

Два подчинились, но третий их ждал и курил.

– А ты что? Давай помогай. Я кому говорю?

Человек, повернувшись, побрел по обочине прочь. Старший эскорта, догнав, развернул его с криком:

– Тебе что, особый указ?! Ну, живо!

Но человек, стряхнув руку, двинулся дальше.

Ухерина непослушание оскорбило. Когда кортеж рванул дальше, он с удовольствием наблюдал, что слякоть, летящая из-под колес, пачкает человека.

В актовом зале Ухерин взошел на трибуну и, пробуя микрофон, рыкнул: "Ахр-хра", – отчего все притихли. Тогда он, взглянув на часы и сказав: "Что ж, приступим", – заговорил, считывая с листа и взглядывая временами окрест.

– Обстоятельства нынешнего периода заставляют со всей ответственностью дать анализ всей нашей работы на прежнем отрезке времени. Ни для кого не секрет, что допущено было много ошибок во многих, я бы сказал, ключевых направлениях нашей работы. Со всей ответственностью заявляем теперь: прежнее положение дел исправляется, жить по-старому мы не хотим и не будем, ахр-ахр... – Он отпил воды. – Долгое время, товарищи, назревал вопрос об изменении стиля работы, и мы, товарищи, с полной ответственностью изменим его. Ваш сверхсовременный завод есть наглядный пример правильности нашей новой политики и свидетельство коренных изменений, товарищи, всей нашей внутренней жизни.

Бурные аплодисменты.

Окончание следует.

МОЛИТВА

Расплывался вечерний малиновый звон,
Переполненный страстью бесстрастною,–
Там старуха молилась, забыв про канон;
"Серафимушко, солнышко ясное..."

Убиваясь, молилась в своем шушуне
Преподобному Сергию, Тихону
О пропащей земле, о великой стране –
Покровителю, Ангелу тихому.

О безгрешном сем дне, о заблудших властех
И за христолюбивое воинство,
Обо всем, обо всех и навеки о тех,
В ком треклятые бесы заводятся.

О покое святом убиенных родов,
Да спастись нам от скверны и гадости,
Да избавиться нам от змеиных плодов –
Паки, паки – Нечаянной Радости.

И как будто в лесу, освеженном грозой,
Осияло ее, безутешную,
Проступала в подглазьях слеза за слезой –
Богородица слышала грешную.

И сходили лучи на истерзанный мир,
На березы, на вербы плакучие, –
Звуки неких неслышных таинственных лир,
Словно ясные звезды падучие.

И вливалась молитва в святую капель
Той, великой весны пробуждения,
И на мертвую Русь опускалась купель
Для грядущего новорождения.

1979

* * *

Бьется голубь в стекло
с налета.
Бьется белый комок в стекло.
– Обернись, там за нами кто-то.
– Нет, не вижу, заволокло...

– Потому ты не видишь это,
Что в грядущем горит Москва,
На какую сторону света
Ни повернута голова.

– Это, милый, нам только снится.
– Что ж проснуться я не могу?
То ли дома, то ли в больнице,
То ли в роще на берегу.

И палит, и палит пехота...
Капля крови –
И вдруг светло...
Бьется голубь в стекло с налета.
Бьется белый комок в стекло.

НА ХОЛМАХ

В стороне от дороги Можайской,
На холмах, у ручьев, у пруда,
Были села.
И землю ту райской
В письмах звали порой господа.

Храм стоял.
А вокруг поселяне
Пели песни и сеяли хлеб.
И молился со причтом во храме
Престарелый отец Боголеп.

Но канун подоспел. И от грая
В тополях задыхались грачи.
Рожь горела, скирды и сараи.
Пес оскаленный мчался по краю.
Бесноватое племя Мамаем
Шло на Русь, будто чад из печи.

Так настала лихая година.
В землю врезался молнии сверк.
Всех стрелять без суда заедино.
Приказал комиссар Айзенберг.

Всю-то ночь возле поля широка
Пулемет задыхался, нелеп...
Русских русские били жестоко
За всеобщую правду и хлеб.

И строчил он послание в Центр:
Мол, подавлен кровавый комплот.
Остается снести только церковь,
Черной сотни последний оплот.

Он строчил, задыхаясь
в надеждах,
Он не слышал вокруг ничего...
Но *три отрока* в белых одеждах
Вдруг предстали
пред взором его.

И пропали.
Бумаги белее,
Комиссар замарал про комплот.
Всю-то ночь он сидел, цепенея,
Всю-то ночь он курил напролет.

. . . . . .

И стоит этот храм,
словно слезы.
Пять старушек – всего-то
приход...
И березы шумят,
И березы
Плачут, радуясь говору вод.

И князья миновали, и вече,
Холод, голод, и горе,
и грусть...
Только каждое утро и вечер
О Израиле молится Русь.

Печенеги, хазары, татары –
Все прошло.
Только в наши года
Выкрест – правнук того
комиссара
Из Москвы приезжает сюда.

И в тревоге склонились березы,
Руки-ветки к ручью преклоня –
Знать, приблизился час,
Знать, угрозы
Не напрасны земного огня.

Знать, великие близятся слезы,
Радость велия Светлого Дня.

"КРАТКИЙ КУРС"

Рыдая над орлом двуглавым,
Не помнить о судьбе самой...
Шел за семнадцатым вертлявым,
Давясь безумием кровавым,
Метущий всё тридцать седьмой.

О дыме грезы и о *нови*
Завесили и глубь и высь,
И содомические крови
На лед колымский пролились,
Чтобы вовеки обесславить
Тоскливо-многовековой
О счастии всесветный вой
И *часть шестую* вновь
восставить,
Где б варвар мог прийти
и править
Конем над бездной мировой.

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР НА РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ

Чрез звуки лиры и трубы...

Г. Державин

Пути конец — пути начало.
Гундося, плача и гудя,
Играют трубы у причала
В сопровождении дождя.

Сама ли жизнь — язык Эзопов?
Чья это рифма — сей парад?
Уходит к Угличу "Андропов"
И "Тухачевский" в Волгоград.

Насквозь промокли
транспаранты,
Раструбы медные горят —
И вот играют музыканты
Весь день, весь год,
весь век подряд.

Играют трубы — гул весенний
Над жизнью, может быть, самой,
Играют трубы — воскресенье,
Играют трубы — день седьмой.

Сворачиваясь, над рекою
Времен повисли времена...
Когда-то бывшею рукою
Мне кто-то машет из окна.

* * *

Он встает и ходит кругом Кремля
Мимо строя сомкнутых часовых.
Не найдут его среди нас, живых,
Даже лазерные поля.
Это в полночь бывает, когда часы,
Что при нем играли "Интернационал",
Приближают любому удар косы,

Не щадя даже стражников и менял.
Он встает и ходит, как в том году,
Когда въехал в разбомбленный этот дом.
Только круг очерчен огню и льду,
И от трех соборов он прочь ведом.
Он кругами ходит за кругом круг
Мимо праха соратников аккурат,
А когда в Филях пропоет петух,
Возвращается в щусевский зиккурат.
И, пока он ходит ночной Москвой,
Месту Лобному шлет свой косой прищур,
Все сильней гремит доской гробовой
Толь чурбан, толь чурка, толь пращур-чур.
Все слышнее ворочает недра навь.
Будет некому этот пожар тушить.
Кому есть где жить, те спасутся вплавь.
Здесь полягут те, кому вечно жить.
Как Егорьев конь приподымет круп,
Как проснется рать по Руси святой,
И в ходы подземные канет труп
Вместе с каменной этою пустотой.
А что дальше будет — не иму вед.
У Царицы-Владычицы Русь в горсти.
Слышал, есть один под Тюменью дед,
Да ему не велено толк вести...

* * *

Во юдоли во древней во слезной
Заплетается русский язык
Все о том, как идет по железной
Да по муромской ветке мужик.

Высота поднебесная, где ты?
Глубина подколодная, где?
Эти версты ни вбиты, ни вдеты
Никуда, никогда и нигде.

Не учите его, не грозите,
Вы, пролившие в роще руду...
Ни один не расскажет сказитель,
Что написано нам на роду.

Полсела пулеметом скосили,
Полродни извели под рубец,
Лом железный во славе и силе
Перелили на хлопок-сырец.

... И бормочет, а что –
не расскажет,
Спотыкаясь о речь языком.
Все семь бед не решит –
не повяжет
Ни единый райком-исполком.

И пылает по-алому топка,
И в коммуну летит паровоз.
Затерялась в торфянике тропка
Среди чахлых болотных берез.

Лишь за то, что неладен
да вздорен,
И что вызнал – ни спеть
ни сказать,
Эх, едрит да твою да во корень,
Путевого обходчика мать!

* * *

На размокшую землю, прощаясь, положишь ладони...
Под хранительным льдом только снились все эти года –
До войны всеземной от расстрела в Ипатьевском доме
Только шаг, только миг да крещенская с кровью вода.

А вокруг слиты в свальном грехе коммунисты, "прорабы",
чинуши,
Либералы и люберы – катится в пламя клубок...
И не слышит никто, как из лейки невидимо тушит
Белый мальчик в матроске пылающий русский острог.

Юрий МАСЛОВ

Светлой памяти Анатолия Передреева

ТЯЖЕЛЫЙ РУБЛЬ

Рассказ

В автоколонне Щербакова недолюбливали. Одни – за скрытный, молчаливый характер, другие – за "культурность": был он всегда нарочито вежлив и, даже если случался конфликт из-за путевки, слов на перебранку попусту не тратил, все больше помалкивал, колюче, недобро усмехаясь; третьи – за то, что одевался не как все, добротно, пижонисто, что водку не пил и копейку в руках держал крепко – не вырвешь. Правда, в помощи он никому никогда не отказывал. Запчасти нужны, детали, к примеру, дефицитные – пожалуйста, деньги – бери, но отдай в срок, чтобы не ловить тебя потом у кассы. Кто возвращал хотя бы на день позже, мог больше к Щербакову не подходить. И эта его крестьянская расчетливость, твердость озадачивала, обескураживала многих. Вроде и не жадный, а своего не упустит: подбросил "пиджака" – так водители окрестили левых пассажиров – гони рубль; вроде и надежный, а в критические минуты предзарплатных поисков недостающего минимума на "буксовку" к нему предпочитали не обращаться – на вино Щербаков давать не любил.

Из гаража он обычно выезжал первым. Раньше всех приходил, не спеша, хозяйственным глазом осматривал машину, оформлял документы и первым выезжал. А в этот день задержался: обнаружил, что приспустило левое заднее колесо, и, пока домкратил, ставил запасное, все разъехались.

Щербаков тихо выругался, с присущей ему аккуратностью сложил инструмент, обтер руки ветошью и заторопился в диспетчерскую. Дежурила Лида Прохорова, женщина манерная, властная, поглощавшая все пространство автобазы неутомимым переругиванием с шоферами. Ребята ее прозвали "Айсберг". Не за рост, конечно, роста она была нормального, даже ниже среднего, а за огромные василькового цвета глаза, казавшиеся неуместными на ее вздорном, туго обтянутом – ни одной морщинки –

смуглой коже лице. Взглянешь в них порой – и задумаешься. А она тут как тут – или кулаком по столу, или в крик. На землю, значит, возвращает. А голос резкий, неприятный, как у ночной птицы. Вася Коньков, который на нее довольно часто поглядывал, однажды не выдержал, сказал:

– Моя воля, я бы тебе рот зашил.

– За что? – изумилась Прохорова.

– Красивая ты, когда молчишь.

Это Вася верно заметил. Однажды Прохорова охрипла, и в нее разом влюбился весь гараж. А через неделю – возненавидел: заговорила...

Появление Щербакова несколько озаботило и удивило Прохорову.

– Скоро! – воскликнула она, поправляя прическу и с удовольствием разглядывая его крепкую, по-крестьянски широкую фигуру. Он ей нравился, и она не скрывала ни своих чувств к нему, ни желания сойтись поближе. Но именно эта откровенность, напористость, инициатива с ее стороны и помогли устоять Щербакову. Он видел в женщине прежде всего твердь и оплот домашнего очага, хозяйку, мать своих детей. Так жили его предки, так жил и он, Семен Щербаков. Другие отношения его не устраивали. Погулять, правда, и он был не дурак, но... Гулять – одно, жениться – другое. А что у Прохоровой намерения серьезные, Щербаков не сомневался, а потому избегал ее, при встречах больше помалкивал.

– Я думала, до обеда копаться будешь, – проговорила Прохорова, качнулась вперед, навалилась высокой грудью на стол и замерла, подперев ладонью щеку.

– Копаются жуки, – Щербаков протянул за путевкой руку. – Иль не выписала? – спросил он, запоздало догадываясь, почему с таким важным и таинственным видом прошагал мимо него с полчаса назад Вася Коньков. Конечно же, он перехватил наряд и уехал на ликерку...

На ликеро-водочный завод водители ездили по строгому расписанию и с большой охотой – там можно было неплохо заработать. На каждую машину инструкция предусматривала две битые бутылки – издержки производства, так сказать. А кто и когда из шоферов бил груз, если в его интересах доставить последний целым и невредимым? Не было такого случая. Ну, а довез – получи. Натурой, деньгами – дело хозяйское. Но брали обычно деньгами, а натуру с завода вывозили. За пазухой или под сиденьем. В общем, кто как мог. А кто не мог, кого совесть мучила, в магазин бежал: в удачливый день с водителя причиталось.

– Коньков, значит, уехал? – спросил Щербаков.

– Коньков, – воинственно вскидывая подбородок, подтвердила Прохорова. – Там план, там ждать не могут.

– А мне куда?

– На вокзал. Шерсть на фабрику возить.

Щербаков зло хлопнул дверью. Прохорова проводила его долгим мстительным взглядом и усмехнулась, жестко сомкнув алые губы.

Он заметил ее сразу за поворотом, перед выездом на старое шоссе, и, увидев, что она вскинула руку, притормозил. Но когда открыл дверь, всмотрелся, пожалел: больно уж молодо выглядела девчонка, с такой рубль не сдерешь, он у нее единственный, на обед.

– Куда? – хмуро спросил Щербаков.

– На работу. Подвезите, пожалуйста. Опаздываю.

– Куда?

Девчонка растерянно заморгала.

– Я на вокзал еду, – сказал Щербаков. – А вам куда?

– На улицу Ломоносова. Это... кажется, рядом.

– Совсем не рядом.

Девчонка расстроилась и отступила, обиженно уткнувшись в воротник тонкого светло-коричневого плаща.

– Садитесь, – сказал Щербаков.

– Спасибо. – Девчонка бойко вскочила в кабину и неожиданно сильно для ее хрупкой фигуры с осиной талией и тонкого нежного запястья хлопнула дверью.

Ехали молча. Щербаков привычно и быстро гнал машину вперед, но перед железнодорожным переездом, когда боковым зрением заметил, что девчонка заулыбалась, очевидно обрадованная тем, что все обошлось, что на работе она будет тик-в-тик, влекомый безотчетным чувством досады на собственный так неудачно начавшийся день, испорченное настроение, резко притормозил, поменял рядность и медленно поплелся за груженным бетонными блоками "МАЗом".

Расчет оказался верным. Переезд перед самым носом закрыли. Щербаков приоткрыл стекло, откинулся на спинку сиденья и закурил, равнодушно поглядывая по сторонам.

Из-за поворота показался товарный состав. Он шел на подъем, тащился, как черепаха, и черные округлости пузатых вагонов издали походили на сваренные швы уходящего в бесконечность трубопровода. Девчонка обеспокоенно заерзала, взглянула на попыхивающего сигаретой Щербакова и, выведенная из себя его спокойствием и безучастностью, дерзко вскинула голову:

– Вы что, никогда на работу не опаздывали?

– Нет.

– Странно. Кто же вас так...

– Выдрессировал?

– Дрессируют животных, – тихо заметила девчонка, – а вы человек.

– Горького я читал. – Щербаков иронично улыбнулся. – А приучил меня к дисциплине папа.

– Как же ему это удалось?

– Он с пяти лет говорил мне: "Сынок, кто рано встает, тот золото гребет".

– Мудрый у вас папа. – Девчонка ущипнула себя за кончик носа, задумалась. – И пословица мудрая, но что-то в ней...

– Крепкое, кулацкое... Вы это хотели сказать?

– Я не люблю свинцовых слов. – Девчонка нахмурилась, и Щербаков заметил, что не так уж она молода, как ему показалось с первого взгляда. Ей было за двадцать. Возраст скрадывали смуглость кожи, яркая, как у ребенка, синь удивленных глаз и выбивающиеся из-под косынки озорные колечки спутанных волос.

– А чем занимается ваш папа? – продолжая хмуриться, спросила девчонка.

– Землю пашет.

– А вы, почему вы земле[illegible]?

– Выучился, – мрачно обронил Щербаков.

– Десятилетку кончили?

– С медалью.

– Ну и?

– Провалился.

– В сельскохозяйственном?

– Это я отцу сказал, что в сельскохозяйственный поступать еду – он только с этим условием меня в город и отпустил... А сам в Москву дернул, в автомеханический. И засыпался. Крепко засыпался. Так засыпался, что до сих пор глаз домой не показываю.

– Поругались? – Голос девчонки прозвучал мирно и участливо, и Щербаков, тронутый ее расположением, впервые за всю дорогу улыбнулся:

– Не так, чтобы очень, но дороги разошлись.

– А второй раз вы не пробовали поступать?

– Не захотел, передумал.

– Что-нибудь случилось?

– Жизнь по другому руслу потекла...

– А старое пересохло?

Щербаков ответить не успел – подняли шлагбаум. Он включил скорость и, чувствуя облегчение оттого, что выговорился, высказал наболевшее, выстраданное, что кто-то его понял, легко и быстро погнал машину по опустевшему шоссе.

– Вы очень хорошо ездите, – сказала девчонка, когда Щер-

баков свернул на улицу Ломоносова и по ее приказу остановился напротив нового – стекло, бетон, металл – девятиэтажного здания. – Я бы даже сказала: лихо! – Она выскочила из кабины, шлепнула о кожу сиденья металлическим рублем и убежала.

Щербаков сдвинул на затылок кепку-восьмиклинку, спрыгнул на землю, неторопливо пересек улицу. Прочитал: ”НИИ электронно-вычислительных машин”. Постоял, подумал, мягко покачиваясь с пяток на носки, затем, словно ставя точку на своих размышлениях, рванул вверх застежку-молнию кожаной куртки, которую приобрел по случаю у загулявшего летчика-отпускника, и заторопился на вокзал.

В гараж Щербаков вернулся поздно, усталый и задумчивый. Быстро вымыл машину, загнал ее под навес, молча, без обычных разговоров о завтрашнем дне – куда ехать, что возить? – сдал путевку и зашагал домой. В проходной его остановил Вася Коньков. Смущенно кашлянул в грязный кулак, виновато помаргивая, спросил:

– Не присоединишься?

– Можно, – подумав, ответил Семен.

Маленькие, бегающие, словно мышата, глазки Конькова изумленно дрогнули, остановились, но через секунду, когда хозяин освободился от чувства неловкости за свой незапланированный вояж на ликерку, забегали веселее обычного:

– Ты на меня, Сеня, зуб не точи, не по своей воле я, Лидка путевку подсунула...

– Куда?

– Как куда? – Вася придержал шаг. – На ликерку.

– Да забудь ты свою ликерку. – Щербаков раздраженно отмахнулся. – Я спрашиваю: куда идем?

– Как обычно – ресторан ”Пеньки”.

Автобаза находилась на окраине города. Рядом шло строительство какого-то комбината, а прямо за стройкой тянулись в синеву неба худые шеи берез – довольно большая, но уже изрядно прореженная роща. Это и был ресторан ”Пеньки”. Щербаков хоть и не пил, но посещал его регулярно. Сядет в сторонке, обязательно под березкой, потрется щекой, незаметно, будто невзначай, о ее белесую кожу и повалится, расслабленный, в мягкую зелень травы. А ребята выпивают помаленьку, галдят, словно грачи над гнездовьем, что-то доказывают, обсуждают... Хорошо им. И Семену неплохо. Лежит, думает, иногда село вспоминает, дом родной, себя – шестилетнего, тонкого, с ивовой корзинкой в руках. Без этой корзинки Семен себя почему-то и не представлял. Он ловил ею рыбу. Под берегом. Опустит бочком на дно, а ногой загоняет, шурует в глубинах нор и темноте водорослей. Иногда крупная попадалась: окунь, плотва с ладонь, щурята с локоть. А корзина чуть больше. Здесь не мешкай, пробкой выскакивай из

воды: не то уйдет, только хвост увидишь... Счастливые дни, радостные, напоенные солнцем, удачей.

А потом школа... Этот отрезок Семен по непонятной причине всегда перескакивал, словно машина времени, на которой он путешествовал по своей жизни, на этом участке выходила из строя и... включалась на койке областной больницы.

В десятом классе Семен тяжело заболел – застудил на охоте легкие, слег и... влюбился. В медсестру Любу – крепкую, ладную девчонку с грустными, как осенние листья, глазами. Сильно влюбился, остро, так остро, что вскоре сам не понимал, чем болен: в груди и так покалывало, но когда в палату входила Люба, и Семен, как насторожившийся жеребенок, непроизвольно задерживал дыхание, то грудь уже не покалывало, а разламывало, точно в нее всадили нож.

Трудно далась Семену первая любовь. Ему восемнадцать – мальчишка, школьник, хоть и ростом выше отца, а ей двадцать, чуть старше, а за спиной – жизнь, парень двухлетний дома. От кого прижила – неизвестно. На селе такое – позор, хоть на край света беги. А Люба – ничего, молодцом держалась, глаза в сторону не отводила, даже заигрывала, но не больше, близко к себе никого не подпускала. И Семена не подпустила. Поцеловала только, когда в армию провожали, сказала с тоской:

– Был бы постарше – подумала.

– Дождись! – рванулся Семен.

А она снова усмехнулась:

– Я-то дождусь, судьба моя теперь такая – ждать. Вот кого?..

– И ушла, низко склонив голову.

В село Семен не вернулся, но Любу не забыл. Не смог. Она подарила ему ощущение женщины – первое несмелое прикосновение, резкий, дурманящий голову запах тела, горькую неутоленность желания, и, вспоминая родное село, Семен первым делом вспоминал Любу, ее ласковую порывистость, нежность рук, грусть последнего поцелуя, и всегда сравнивал со знакомыми девушками и, если не находил общего, становился сух, неприветлив, молчалив, и знакомство на этом обычно прекращалось – легко и безболезненно.

– Закусывай, Сеня, не стесняйся. – Вася развернул лежащую на пеньке газету на сто восемьдесят градусов. – Огурчики домашние, сало из деревни, хлебушек, извини, магазинный, но ничего, бывает и хуже.

Семен выпил, попробовал огурец, крепкий, средней засолки, остро пахнущий укропом и чесноком.

– Хорош! – сказал он. – А ты сам-то давно из деревни?

– Восьмой год.

– Скучаешь?

– Да как тебе сказать... Тянет иногда, все-таки пуповина...
– Пуповина, говоришь... – Семен усмехнулся. – Ну а дети у тебя есть, пуповина?
– А как же, трое! Девка с нами, в третий класс уже ходит, а пацаны еще маленькие, я их в деревню спровадил, к бабке, пусть мясом обрастут.
– Мясом?
– Мясом, – подтвердил Вася. – Там – вольно, озеро, лес, здоровье от сосны так и прет.
Семен задумался.
– Не веришь, что ль? – спросил Вася.
– Верю. Только понять не могу... Какого черта ты здесь околачиваешься, если там так все распрекрасно?
– А копейка? Где я там столько зашибу?
– И там бы хватало, – махнул Семен.
– Хватало? – Вася качнулся вперед, хищно вперив в Семена остановившиеся зрачки. – Тогда тот же вопросик, Сеня, вам... Ты что здесь потерял?
– Я другое дело, я учиться хотел.
– Выучился – и вали обратно! А меня учить нечего, сам грамотный.
– Вижу, – вяло протянул Семен.
Но Вася не унимался.
– Сам кого угодно поучить могу. И тебя в том числе. Хочешь?
– Поучи.
Вася снова качнулся вперед, зашептал жарко:
– Сам живешь – и другим давай. Не заедайся.
– Не понял.
– Не понял – объясню. Лидка... Она в этом деле не стесняется... – Вася щелкнул пальцем. – У всех берет.
– Знаю.
– А ты? Ты бы ей хоть цветочек или еще какой там презент выкатил! Или договорился бы... Она, по-моему, на тебя давно глаз положила.
– Заметно?
– Извелась вся.
Семен тяжко вздохнул:
– Не могу, не нравится мне она.
– Да ты что, маленький? – возмутился Вася. – Нравится – не нравится... Это жизнь, Сеня! Да и соседи вы... В одном доме живете.
– Подъезды разные.
– Опять удобство – зимой валенки одевать не надо.
– Иди ты к черту!
– Ну смотри. Тебе жить. Только если она удила закусит, пропадешь, затопчет, стерва!

– Ладно. – Семен встал. – У меня к тебе просьба.

Вася изумился: не было еще такого, чтобы Щербаков у кого-то что-то просил.

– Сделаю, – сказал он торопливо.

– Сперва выслушай.

– Слушаю.

– Вместо меня завтра на ликерку не съездишь?

Вася изумился еще больше.

– А я шерсть возить буду.

"Что-то здесь не так". Глаза-мышата воровато забегали, засуетились, соображая, с чего бы это Щербаков отколол такой номер. "Может, с кладовщиком снюхался? Решили пару тюков налево пустить? Непохоже. Семен – мужик крепкий, не будет из-за пустяков себе биографию портить, а вот кладовщик... Странно". Вася глянул вслед уходящему размашистым шагом Щербакову, напрягся, поломал голову еще пяток минут над проблемой деньги – товар – деньги, но, так и не уловив сути дела, присоединился к ребятам, облепившим соседние пеньки.

Она стояла на том же месте, и Семен, заметив ее одинокую фигурку, радостно притормозил. Он все еще не мог себе признаться, что ждал, искал этой встречи, но теперь, когда она состоялась, вдруг почувствовал, что не готов к ней, и ощутил беспомощность больного, обреченного на постельный режим.

– Ах, это вы! – Девчонка в нерешительности остановилась.

– Я, – кивнул Семен. – Опять опаздываете?

– Представьте!

– Представил.

– Подвезете?

– Подвезу.

Она вскочила в кабину и так же крепко, решительно, как и в первый раз, хлопнула дверью. Вид у нее был гордый и независимый.

Семен плавно тронул машину с места:

– Давно опаздываете?

– С полгода, – равнодушно ответила девчонка. – Как переехала.

– А раньше?

– Раньше я в общежитии жила, рядом с институтом.

– А здесь квартира?

– Комната.

– Незамужем, значит.

– Если вы такой сообразительный, то попытайтесь столь же логично объяснить причину моих опозданий. А то шефу надоело: бабушку провожала, мама приехала, утюг забыла выключить.

– Проще пареной репы, – пожал плечами Семен. – Сам в

новом микрорайоне живу... Такси утром не поймаешь, а автобус штурмом брать – не каждому по плечу. Да и пуговицы жалко.

– Верно. – Темные глаза девчонки стали огромными. – Верно, – грозно повторила она. Перевела взгляд на Семена и неожиданно спросила: – Так почему вы раздумали поступать в институт?

Семен задумался. Как объяснить? Как объяснить, что тебе нравится крутить баранку? И не легковушки – "Жигуленка", например, или "Волги", а именно тяжелого грузовика, на котором ты мотался по Союзу, как извозчик в старое время по Москве – из конца в конец. Не объяснишь, не расскажешь. Не расскажешь, как нещадно палит солнце, когда твой "ЗиЛ" ровно и быстро мчится по зеленеющей долине, и как надсадно и тяжело стучит его сердце, когда он лезет по серпантину горной дороги на перевал... Не расскажешь, как это трудно – вести машину, когда с одной стороны – монолит скалы, уходящей в поднебесье, а с другой – стометровая пропасть, в которую и глянуть страшно, и сколько раз колеса его "ЗиЛа" зависали над этой бездонной ямой, и ощущение было такое, что, казалось, дыхни – и загремишь в эту пустоту и костей твоих не соберут; и какое иной раз требовалось напряжение, чтобы вырвать машину из этого звенящего тишиной ада и довести груз до места...

И все-таки Семен решился. Девчонка слушала его внимательно, не перебивая, теребя длинными напряженными пальцами сумочку и сморщив лоб. Когда он кончил, сказала:

– Интересная мысль. Вас надо запрограммировать.

– Это как?

– Я хочу сказать, что эту мысль надо вложить в машину. Ваш ответ небезынтересен для выбирающего профессию.

– А вы кем работаете? – подумав, спросил Семен.

– Оператор ЭВМ.

– А зовут?

– Надя.

– Надежда, значит, – с удовольствием повторил Семен. – Учитесь?

– Совершенствуюсь.

Семен расценил это как обвинение, вздохнул, с обидой сказал:

– Мне дальше некуда – первый класс.

– А в свободное время чем занимаетесь?

– У меня его практически нет.

– А если бы было?

– С машиной бы возился. Вот куплю...

– Скоро?

– Как очередь подойдет.

– Цельный вы человек. Вы, наверное, никогда не ошибаетесь.

– Почему? Иногда заносит, крепко заносит.
– Влево?
– И влево, и вправо, – не заметив иронии, поддакнул Семен.
– А чем вы занимаетесь? Вернее, ваша машина?
– У нас много проблем. – Надя загадочно улыбнулась.
– Ну, например?
– Ну, например, проблема совместимости.
– Счастья? – уточнил Семен, не терпевший неясных, расплывчатых вопросов и ответов.
– Счастья, – кивнула Надя.
– Значит, так... – Семен заметно оживился. – Вы закладываете мои параметры в машину, и через несколько минут она выдает мне справочку – где, на какой улице и в какой квартире мучается моя вторая половина. Верно?
– Не совсем. Вы просто получите определенный набор совместимых партнеров, а знакомиться вам с ними или нет – дело ваше, хозяйское, как говорится.
– Выходит, гарантии никакой?
– Никакой.
Семен озадаченно повел бровью:
– Тогда уж лучше по старинке.
– Это как?
– По любви. Понравилась девчонка – и баста, завязывай с холостяцкой жизнью.
– Скоропалительные браки чаще всего кончаются разводом.
– А обдуманные? – Семен остановил машину у знакомого здания, выключил мотор и, улыбаясь, с интересом взглянул на собеседницу.
– Зря смеетесь. – Надя распахнула дверь и, постучав костяшками пальцев по стеклу, сказала: – У вас дверь скрипит. Почему?
– Понятия не имею, – удивился Семен.
– А Чехов подсчитал, что это простейшее приспособление может скрипеть от шести причин. Кто же в силах подсчитать, от скольких причин может заскрипеть сложнейший механизм семьи, – Надя хлопнула металлическим рублем о кожу сиденья.– Спасибо. – И убежала. Легко и стремительно.
– Подождите! – запоздало крикнул Семен.
Надя не остановилась.

Прошел месяц. Вася Коньков по-прежнему ездил на ликерку, а Щербаков возил на фабрику шерсть – тихий, задумчивый, ни с кем ни слова. В диспетчерскую он больше не заходил – получал и сдавал за него путевку Вася Коньков.
– Вот это война! – сказал Вася как-то по этому поводу. – Сеню вроде как мешком пыльным по голове треснули, а Лидка...

– Он заливисто расхохотался. – Мадам кожа дэ кости! Одни глаза сверкают!

Но однажды он выскочил из диспетчерской, словно пробка. Завертелся волчком, рыская глазами, и, наконец приметив Щербакова, заорал:

– Сеня, не дает! Иди сам объясняйся.

– Почему?

– Удила закусила, копытом землю роет!

Семен невесело усмехнулся, вспомнив Надю, задумался. Она чем-то незримо напоминала Любу. Но чем? Семен искал сходства в характере, в чертах лица, в манере держаться, в движениях, жестах – напрасно, это были разные люди. Люба – скупа на слова, но ласкова, рассудительна, по-крестьянски бережлива и хозяйственна. Надя – резка в суждениях, своенравна, честолюбива, обидчива и главное – расточительна: часто покупала вещи только потому, что они ей нравились, но без которых вполне могла обойтись, деньги тратила не считая, не думая, хватит ли до получки, и чуть ли не треть своего, по-видимому, не очень большого заработка, прокатывала на такси. И все-таки что-то их роднило. И это что-то было не внешним сходством, а ощущением, которое подарили Семену эти две столь несхожие между собой женщины.

Семен влюбился. Автобаза, собственные заботы, стремление побольше заработать, негласная война с Прохоровой – все отодвинулось от него и стало мелким, будничным, безразличным. После встречи с Надей он как-то незаметно стал жить в другом измерении – не для себя, для нее. Ему постоянно хотелось быть с ней, оградить ее от усталости, городской суматохи и тревог, от непосильных, как он считал, нагрузок: работа, учеба, безумно дальняя, в два конца, дорога. Теперь самое незначительное, что он мог для нее сделать, приобретало особый смысл и наполняло его жизнь ярким, как вспышка магния, светом. Но это были мгновения... А Семен желал видеть, слушать ее голос постоянно – утром и вечером, днем и ночью.

Надя не могла не заметить, что происходит с Семеном, но по-прежнему отделывалась шуточками, туманными намеками, неясными полуулыбками, и Семен все чаще и чаще, особенно длинными одинокими ночами, испытывал чувство безотчетного страха и пустоты. Ну кто они, кто? Друзья, знакомые, попутчики? Что он для нее? И каждый раз, когда ее легкая фигурка вырывалась из-за поворота дороги, вместе с радостным облегчением в душу закрадывался страх, тяжелый страх перед неопределенностью будущего. Тяжелел и металлический рубль, что она день ото дня швыряла ему на кожу сиденья. Как-то попробовал отказаться. Надя нахмурилась, сдвинув брови, сказала:

– В таком случае мне придется ловить такси. – И с грустной

усмешкой добавила: – По счетчику это удовольствие обойдется несколько дороже – рубль тридцать.

Горько стало Семену, обидно, но свернуть со знакомой дороги, промчаться мимо, забыть, не видеть Надю он уже не мог.

Щербаков прошел в диспетчерскую, строго спросил:

– В чем дело?

– График, – не поднимая глаз, сухо обронила Прохорова. – Поедешь на ликерку.

– А Вася?

– Зарвался Вася – два раза с бутылками ловили.

– Ты чего мелешь! – Коньков задохнулся, грохнул железным кулаком по столу. – Ты видела?

– Начальник цеха звонил.

Коньков мгновенно стих, мышью юркнул в дверь. Щербаков проводил его недобрым взглядом, спокойно и твердо сказал:

– На Конькове свет клином не сошелся, пошли кого-нибудь другого, хотя бы Терехова – он непьющий, а я шерсть возить буду. Понятно?

– Нет.

– Тогда я увольняюсь.

Такого поворота событий Прохорова никак не ожидала. Щербаков – один из лучших водителей, и если до начальства дойдет, что он ушел по ее вине... Она молча протянула ему путевку.

Около машины Щербакова поджидал Коньков. Черты лица его от злости заострились, глаза-мышата сверкали голодно и колюче.

– Ну как? – спросил он, вставая. – Дала?

– Терехову.

– Не баба – змея подколодная! – Вася сплюнул и сунул в рот сигарету. – Десятку не одолжишь?

– На водку не дам, – тихо, но отчетливо проговорил Щербаков.

– Жаден ты, однако. – Вася презрительно сплюнул.

– А ты добрый?

– А чего с меня взять.

– Вот именно: взять с тебя нечего. Пьяный – кидаешься, кричишь: десятками обклею, а трезвый – вечно без денег. Вот и вся твоя доброта... Гуляка! – Щербаков отпустил сцепление, и машина с грохотом вылетела за ворота.

... Она ждала его на обычном месте и, когда Щербаков притормозил, легко и привычно вскочила в кабину, улыбнулась, хотела было заговорить, но, почувствовав, что с ним происходит неладное, что он не в настроении, устроилась поудобнее и за всю дорогу не произнесла ни слова. Семен был благодарен ей за это,

но когда подъехали к институту, когда увидел, что она открывает дверь, – вот-вот спрыгнет, уйдет, и может быть, навсегда, – он, больше не доверяя случайности, которая свела и сводила их изо дня в день и которая с такой же легкостью могла и развести, ринулся напролом:

– Надя, ваша машина... когда-нибудь ошибается?

– Довольно часто. Она ведь еще ребенок.

– А ей можно верить? Ну хотя бы процентов на пятьдесят-шестьдесят?

– Вы хотите, чтобы я заложила в нее ваши данные?

– Да, – выдохнул Семен.

– Ну хорошо, – подумав, ответила Надя. – Вы свободны в понедельник?

– Освобожусь.

– Тогда приходите к часу дня. Сюда. – Она выскочила из машины. – Я буду вас ждать. Договорились?

– Договорились. – Щербаков проводил ее счастливым взглядом, но, заметив на сиденье сверкающий рубль, помрачнел и долго вертел его в руках, не зная, что с ним делать.

В понедельник Щербаков взял отгул, сходил в парикмахерскую, постригся, побрился, дома надел новый, в диагоналевую полоску костюм, повязал галстук и ровно в час предстал перед изумленной Надей.

– О-о! – сказала она, бросив на него короткий, оценивающий взгляд.

– Не понял, – смутился Щербаков.

Надя рассмеялась и, заметив, что Щербаков покраснел, пояснила:

– Когда наша машина сталкивается с нечетко поставленным вопросом, она отвечает точно так же: "Не понял, повторите".

– Понятно, – сказал Щербаков, поправляя галстук.

Они поднялись на лифте на шестой этаж, прошли вереницу светлых с узкими дверями-нишами коридоров и наконец оказались в просторной с высоким потолком комнате, вдоль стен которой расположились окрашенные в защитный цвет машины-роботы. Щербаков в нерешительности остановился. Такого количества кнопок, зеленых, красных глазков-лампочек, перламутровых рабочих клавиш на пульте управления ему видеть еще не приходилось.

– Садитесь. – Надя кивнула на стул, пересекла комнату и остановилась в дверях смежной. – Эрик!

Словно из-под земли вырос Эрик – высокий молодой парень с узким лицом и светлым возбужденным взглядом.

– Я занят. – Он хотел было уйти, но, заметив Семена, задержался.

– Познакомься, – проговорила Надя. – Это...

– Щербаков, – представился Семен.

– А-! – воскликнул Эрик и неожиданно широко, дружески улыбнулся. – Перфокарта с вашими данными в машине. Я, признаться, уже кое-что из нее выудил, но ответ меня несколько озадачил.

– Простите, а мои данные... Это чья информация?

– Моя, – сказала Надя. – Я знаю вас тридцать два дня. Все наши разговоры, вернее, мои вопросы можно расценить как тесты. Вы при этом чувствовали себя раскованно, отвечали искренне, правдиво, ничего не выдумывая и не приукрашивая. В общем, лучше не придумаешь.

– Так. – Щербаков перевел взгляд на Эрика. – А чем же вас озадачил ответ?

Эрик ладонью пригладил взлохмаченные волосы, сунул руки в карманы белоснежного халата с двумя оторванными пуговицами и принялся правильными, постепенно сужающимися кругами колесить по комнате. Остановился в центре, напротив растерянного, пунцового от смущения Щербакова и без всякой связи и логики, видимо, продолжая преследовавшую его по пятам мысль, сказал:

– Сущность совместимости остается неуловимой.

– Какая же тогда, извините, польза от этой коробки скоростей? – Семен угрюмо кивнул на перламутровый набор клавиш пульта управления.

– Скорость! – деловито заметил Эрик. – Ведь пока речь идет только о расширении круга общения, об ограничении власти случая над судьбами людей в устройстве личной жизни. Резко сужая круг возможных ошибок в выборе партнера, машина может помочь найти оптимальные варианты совместимости, но... для этого нужно знать: какие признаки или, точнее говоря, какая взаимная совокупность признаков является необходимым условием совместимости? А этими сведениями мы, к сожалению, пока не располагаем. Это область ученых других профессий: психологов, психиатров, социологов, педагогов... Так что, как видите, задачу совместимости будет решать не ЭВМ, а люди. Вы меня поняли?

– Не совсем.

– Что вас смущает?

– Ты увлекся и как всегда забыл поставить точку, – сказала Надя.

– Сейчас поставим. – Эрик подошел к пульту управления и быстрым движением пальцев нажал ряд клавиш. Внутри машины что-то щелкнуло, загудело, мгновенно ожили разноцветные глазки-лампочки. – Пожалуйста. – Он осторожно, двумя пальцами, взял выскочивший бланк-распечатку, помахал им, словно

прослушивая, положил на стол и прихлопнул ладонью. – Это данные человека, с которым вы, по всей вероятности, могли бы ужиться. Хотите ее увидеть?

– Простите, – опешил Щербаков, – вы сами только что говорили о безликости, абстрактности...

– Верно. Объять необъятное невозможно. Но Надя предложила решить эту проблему частично – объять наш институт. Мы собрали на всех сотрудников – естественно, холостых и незамужних, коротенькие досье. Данные вашей распечатки совпали...

– Я могу дать ее телефон, – перебила его Надя.

Щербаков вдруг почувствовал всю призрачность, непрочность, придуманность отношений, связывающих его с этой взбалмошной девчонкой и ее миром, понял, что он для нее – всего-навсего прохожий, случайный человек, случайный настолько, что его открытость и откровенность с ней обернулась против него же – все их разговоры она уложила в казенные тесты, значение которых он понимал отдаленно и смутно.

– Не стоит. – Щербаков рывком встал. – Вы правы, ваша машина еще ребенок. Проводите меня, пожалуйста.

Они вышли на улицу. Надя взяла Щербакова за пуговицу пиджака и с безответственностью набедокурившего школьника спросила:

– Вы обиделись?

– Я принял это как шутку.

– Вы обиделись, – повторила Надя. – Вы обиделись и... Мне нравится, что вы не разучились обижаться. – Она провела ладонью по щеке. Ей многое хотелось сказать Семену. И то, что он в общем-то неплохой парень, что на него, пожалуй, можно положиться, поверить, даже влюбиться и что номер телефона, который с такой беспощадной быстротой и ловкостью вычислила машина и который она предложила ему записать, ее собственный. Но ничего этого она ему не сказала. Вспомнила его взгляд, когда они впервые встретились, взгляд расчетливый, настороженно-недоверчивый, и промолчала.

– Может быть, пообедаем? – спросил Щербаков, расценивший молчание Нади как первый шаг к примирению и мгновенно простивший и отпустивший все ее грехи.

– Я в институте обедаю, – сухо ответила Надя.

– С Эриком, конечно?

– С Эриком.

– А он вам, собственно, кто? Жених?

– Не знаю.

– А он знает?

– Он за мной ухаживает.

– Ухаживает, значит... – Щербаков торопливо вытащил

бумажник, отсчитал тридцать два рубля и сунул их в карман плаща своей собеседницы.

– Это шутка? – вспыхнула Надя.

– Это деньги. Плата за услуги. Тридцать две поездки – тридцать два рубля. Надеюсь, в такси вам будет удобнее. – Он хрипло рассмеялся и в два прыжка настиг уходящий автобус.

– Ребята, держите меня, я падаю! – Вася Коньков и впрямь рухнул на первый попавшийся пенек и, вытянув руки в направлении березовой рощи, заикаясь, пробормотал: – Это же Семен! Щербаков!

– А ведь верно, Сенька. – Водители изумленно переглянулись, прибавили шаг.

Семен сидел на земле, разбросав ноги, спиной облокотившись о белый березовый ствол, и сильным, неузнаваемо хриплым и жутким голосом выл: "А в терем тот высокий нет хода никому..." На пеньке – надкушенная луковица, кусок колбасы, а рядом, в траве, опорожненная бутылка армянского коньяка.

– Картинка! – Вася восхищенно потряс кулаком. – Неужто один засандалил?

– Один, Вася, один. – Семен оторвал от березы голову и окинул водителей мутным, чужим взглядом.

– Угощаю! Всех !

– Во гуляет – Вася сдвинул на затылок кепку, придвинулся ближе. – А чем, Сеня?

– Чем? – Семен подтянул ноги и рывком, как старый дог, встал. – Хочешь покажу, как ты гуляешь?

– Ну покажи. – Вася на всякий случай попятился.

Семен вдруг вскинулся, рванул на груди рубаху и тонким фальцетом заорал:

– Лидка-а! Зови в гости, хату червонцами обклею! – Повел глазами, ехидно спросил: – Обклеил?

Водители рассмеялись. Вася обиженно шмыгнул носом:

– И тебе слабо.

– Слабо? – Семен неожиданно схватил его за шиворот, нагнул и, вытащив из бокового кармана пачку десяток, стал методично и зло пришлепывать их к тощему, извивающемуся, словно червяк, Васиному заду. При этом приговаривал: – Не в долг даю – даром, помни Щербакова, падали кусок!

Коньков вырывался молча, кричать гордость не позволяла. Водители откровенно похохатывали: проучить Васю следовало, чтоб не зарывался, не позорил рабочий класс, но, когда увидели, что бедняга посинел, – больно уж крепко прихватил ему голову Щербаков, – сжалились, оттащили. А Семену сказали:

– Езжай домой, хорош! Терехов подбросит.

– Хорош, так хорош, – сразу согласился Семен и, глянув еще

раз на Васю, который со слезами на глазах топтался среди раскиданных по земле десяток, тяжело зашагал в сторону шоссе, в гараж.

– Дим Димыч, подвезешь?

Терехов весело улыбнулся. Он всегда улыбался. И когда молчал, и когда разговаривал, когда был не в духе или счастлив, и по его улыбке – кислой, безмерно радостной, сомнительной – можно было, как по барометру, определить настроение хозяина.

– Тебе уже такси подали.

Щербаков осмотрелся и, заметив у дверей диспетчерской "Волгу" в шашечках, недоверчиво потер переносицу.

– Лидка, что ли?

– Гуляет, – неопределенно ответил Терехов. – День рождения у нее сегодня. А ты с чего?

– Вредная она баба, – продолжая думать о своем, сказал Щербаков.

– А ты въедливый!

– Какой?

– Въедливый.

– Это как понять?

– Все по-своему перекроить хочешь. И жизнь, и людей. А люди разные, все под богом ходят. И Лидка, и Коньков, и мы с тобой – все! И каждый по-своему – человек. А для тебя одна правда – твоя. Ты свою собственную картинку жизни нарисовал, и кому она не по душе, тот тебе враг. И выходит, Сеня, только ты правильный, умник, а остальные... Ты меня понял?

"Не понял, повторите". Так отвечала Надина машина, когда сталкивалась с нечетко поставленным вопросом.

– Понял, – Щербаков хлопнул Терехова по плечу. – Значит, день рождения, говоришь, ну-ну... – Шагнул к дереву, росшему у забора, сломал несколько веточек сирени, и сложив их в букет, с наглой ухмылкой заспешил навстречу выскочившей из диспетчерской Прохоровой. – Разреши поздравить, Лидочка, говорят, праздник у тебя, прими! – Семен, шаркнув ножкой, протянул ей сирень. – Цветы, говорят, лучший подарок, украшение жизни, так сказать.

– Спасибо. – По лицу Прохоровой растеклась растерянная, счастливая улыбка. – Спасибо, Сеня.

– Не за что. – Семен услужливо распахнул дверь такси. – Прошу!

Лида боком сунулась в машину, выронила один из бесчисленных свертков, которыми под завязку была набита ее бездонная сумка, ойкнула, заигрывая, повела глазами. Семен на лету подхватил сверток, вернул хозяйке:

– Приглашаешь?

– Отказать лучшему шоферу автобазы – грех.

– Благодарю. – Семен шлепнулся на сиденье, захлопнул дверь и, открыв стекло, подмигнул разочарованно улыбающемуся Терехову. – Вот тебе, Дим Димыч, и картинка. С выставки. – Повел налитыми плечами, нехорошо посмеиваясь, крикнул: – Так, говоришь, все люди – братья? Проверим. – И водителю: – Жми!

От Прохоровой Щербаков ушел под утро, и не вышел, а вылетел, как жеребец из опостылевшего за зиму стойла, тряхнул головой, вздохнул полной грудью свежего росистого воздуха – не полегчало. С трудом поднялся на свой – четвертый – этаж, торопливо разделся, наполнил ванну, вылил в нее чуть не полфлакона шампуня и, нырнув в теплую воду, долго плескался, зло отфыркиваясь, пытаясь смыть раздражающий устойчивый запах духов, чужого тела, выгнать из себя крепость [illegible] и водки – всего, чем поили и кормили его в этой чистой, стерильной, как больничные покои, украшенной дорогими [illegible] малогабаритной квартирке. Но как ни старался, [illegible] ни работал мочалкой, а избавиться от прикосновения [illegible] жадных Лидкиных губ не мог, они продолжали ласкать [illegible], а в ушах стоял ее сухой, жаркий голос: "Ох и [illegible] тобой, Сеня, ох и жить бу-удем!.."

Резко и отрезвляюще [illegible]. Семен пробкой выскочил из воды, ладонью [illegible] на место и заметался по квартире, собирая [illegible] в беспорядке вещи.

На автобазу он добрался вовремя. Придирчиво осмотрел машину, долил воды в радиатор, [illegible] мотор и, уже выезжая за ворота, вдруг заметил, что так и не сменил вчерашний, надетый по случаю, праздничный костюм. С горькой иронией подумал: "По Сеньке и праздник. Все. Баста. Отгулялись!"

Дорога была пустынной и тихой, темной от обильной утренней росы. В открытое окно вместе с ветром врывались тяжелые капли начинающегося дождя, секли лицо, шею, стекали на грудь, но холода Семен не чувствовал. На душе было пусто и одиноко.

Надя ждала на обычном месте. Увидев знакомый профиль, по-детски открытое, обращенное к нему лицо, переполненный нетерпением взгляд, Семен отвернулся, до боли сомкнул зубы и выжал полный газ.

Метался по кабине ветер, натужно ревел мотор, летела вперед, набирая скорость, машина, и все, что оставалось позади: Надя, предприимчивый Вася Коньков, вездесущая Прохорова, шумный, грохочущий, словно товарный состав на стыках рельс, город, вчерашний день – все постепенно утрачивало связь с ним, становилось не его, а чужой, ненужной, незнакомой жизнью. И когда наконец дорога затерялась среди лесов и полей, Щербаков

почувствовал облегчение: то смутное и неопределенное, что бродило в нем до этой минуты, неожиданно обрело мысль и цель – теперь он знал, куда едет, и безвольно, и безропотно подчинился неодолимо толкавшей его вперед силе.

В село Щербаков въехал поздним вечером. Сильный, прыгающий по ухабистой дороге луч фар высветил знакомый забор, калитку, полузавалившийся сруб колодца. Семен выключил двигатель, закурил и, когда глаза привыкли к темноте, удивленно и долго, словно силясь вспомнить что-то важное, но давно ушедшее, вглядывался в отцовский дом, в сад за домом, подернутый ночным туманом, в знакомую, но уже непривычную улицу, безлюдную, сонную, молчаливую, и не верил, не мог поверить, что он на родине, что в третьем доме за поворотом живет Люба, что за ельником – речка, в которой он когда-то голышом ловил окуней.

Семен спрыгнул на землю, свою землю, радостно притопнул, сделал шаг, второй и вдруг остановился, пораженный возникшим в себе ощущением – не было желания войти в дом. Хотелось покоя, тишины, а там – объятия, расспросы, слезы матери, деловые – отец мгновенно брал человека за горло – разговоры. Неожиданно вспомнил: "Сынок, хватит, что было – быльем поросло, не держу на тебя обиды. Но пойми и меня, людей не хватает, а ты – наш, коренной – где-то на стороне болтаешься. Пора и честь знать, погулял и хватит. Приезжай. Село разрослось – кирпичный заводишко поставили, механизированную ферму, гараж... Может, примешь гараж-то? И мастерские заодно. Ты ж по этому делу мастер, а хватка у тебя – дедовская. Подумай, крепко подумай. С ответом не тороплю".

Это было последнее письмо отца. Семен на него так и не ответил. Да и что было отвечать? На следующий день он встретил Надю, и весь его четкий, хорошо отлаженный механизм житейских истин и правил вдруг забарахлил, заглох, как мотор отслужившей свой срок машины.

Семен резко повернулся и зашагал к реке. Она была совсем рядом – за деревьями сонно помаргивал одинокий, пронзительно красный глаз бакена. Но не дошел. В ельнике остановился, сладко вздохнул и, как подкошенный, рухнул в мягкие пахучие травы. Лежал тихо, не шевелясь, смотрел на низкие звезды, слушал нервные короткие всхрапы лошадей, доносившиеся с дальнего берега, редкие всплески разыгравшейся рыбы, колючее шуршание разлапистых елок и вскоре, утомленный дальней дорогой, но умиротворенный, счастливый от соприкосновения с детством, успокоенный близостью домашнего очага, незаметно для себя задремал.

Проснулся внезапно, будто от укола, рывком сел, стараясь

понять причину охватившего его беспокойства, машинально взглянул на часы. Стрелка приближалась к шести. В это время обычно трезвонил будильник, возвещая о начале нового трудового дня.

Распевали птицы. В лощине лежала река, плотно укрытая осевшим за ночь туманом, но верхушки деревьев, освещенные первыми лучами солнца, уже серебристо блестели – день обещал быть безоблачным и ярким. "Да я же ведь дома! – остро кольнула мысль. – Домой приехал!" Семен вскочил, попробовал стряхнуть въевшуюся в костюм зелень травы – бесполезно. Затем ладонью провел по заспанному щетинистому лицу и, только тут вспомнив, что с ним произошло, крепко выругался. Постоял, подумал и, раздраженный собственной нерешительностью, решил искупаться.

Вода была теплая и неестественно черная – кругом велись торфяные разработки. Но это не смутило Семена. Он не забыл сладковато-дурманящий запах реки и, окунувшись, проплыв несколько десятков метров, почувствовал себя свежим, бодрым и... проголодавшимся. Как в детстве, стал думать, что у матери на завтрак. Могла быть жареная картошка или рыба, яичница со свининой, гречневая каша со шкварками или, на худой конец, творожники. Молочную пищу Семен по необъяснимой причине недолюбливал, но сейчас с удовольствием отведал бы и творожников, и сметаны.

Он выбрался на берег, наскоро оделся и заспешил домой. Но чем ближе подходил к родному порогу, тем неуверенней и короче становился его обычно упругий, сильный шаг. Что-то давило, не пускало, сдерживало.

Семен обошел вокруг дома, робко поднялся на крыльцо и, чувствуя сильное сердцебиение, взялся за ручку двери. Осторожно повернул, понял, что заперто, закрыто, что домашние еще спят, и неожиданно для себя ощутил странное, неосознанное облегчение. Сразу глубже задышалось, перестало прыгать сердце, и эта маленькая, почти невесомая успокоенность на какое-то время затмила боль необдуманности своих поступков.

– Спят, – шепотом сказал Семен, потер лоб, взъерошил мокрые волосы и, не замечая, как вода струйками потекла за воротник, бессильно привалился к косяку двери.

На него вновь навалились одиночество и пустота. Он ощутил утраченность всего, что связывало его с жизнью: и автобазы, и людей, с которыми так долго работал и неплохо сработался, свыкся, и деревни, в которой так и не нашел спасения, и... "Она ведь ждала меня вчера... – Семен ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку, но тут же отбросил, отшвырнул. – Такси она ждала..." Он вспомнил ее растерянно-испуганный взгляд, когда с грохотом промчался мимо, обдав веером дождевых

брызг, и как она – в боковом зеркале хорошо было видно – рванулась следом и остановилась, замерла, бессильно опустив руки, поникшая и опечаленная.

Семен еще раз обогнул вокруг дома, затем вокруг машины, не зная, что предпринять, на что решиться.

Из-за угла вышла женщина. Семен скользнул по ней пустым, безразличным взглядом и... попятился, нащупал ручку двери кабины, открыл, запустил двигатель – прямо на него шла Люба. Семен смотрел на нее расширенными глазами, но видел только лицо – неправдоподобно постаревшее, в морщинах, не успевшее отдохнуть за короткую летнюю ночь. Вспомнилось: "Я-то дождусь, судьба моя теперь такая – ждать. Вот кого?"

Люба, заметив машину, ускорила шаг, радостно взмахнула: видимо, рассчитывала, что подвезут.

В Семена точно выстрелили. Он дернулся всем телом и, чувствуя полуобморочный мрак в глазах, до боли в суставах сжал баранку, дал задний ход, развернулся и, как сумасшедший, не разбирая дороги, помчался назад, в город.

Александр ЖУКОВ

ЛЮБИТЕЛЬ

Рассказ

– Жизнь такова, – как-то обмолвился Борис Евсеевич, – что я могу стать миллионером.

Он сидел во дворе на старой скамейке, рядом стоял пенсионер-философ Загоруйко. Тот промучился два года в немецких лагерях, потом восемь лет в [illegible], смотрел на жизнь с нескрываемым пессимизмом и [illegible] сказал так:

– Когда мы оказались в [illegible], то верили: там, на Большой земле, помнят о нас и [illegible] десант, чтобы освободить. А там в эти дни сочиняли [illegible] о том, что все попавшие в плен – изменники Родины. [illegible] стоит бежать из плена, как попадем в объятия [illegible], а [illegible] попали в руки охранников. Мир живет по каким-то [illegible].

– Я не хочу, но могу стать миллионером, – с грустной иронией уточнил Борис Евсеевич.

– Я тут свою пенсию на [illegible] весах завесил. Семьдесят рублей одними десятками – около восьми грамм. А миллион, соображаешь, сколько потянет? – насмешливо прищурился Загоруйко. – Килограмм семьдесят! Тебе одному с таким весом не совладать. Возьми в пай!

– Люблю работать в одиночку.

– Поделись секретом: с чего начнешь?

– Куплю подзорную трубу.

Загоруйко эти слова не удивили. В сталинском лагере ему однажды захотелось поиграть в оловянных солдатиков. Они ему полгода снились.

– Я деньжат на трубу поднакопил, но опасаюсь: вдруг не хватит? – Борис Евсеевич выдержал нужную паузу. – Не одолжите двадцать рублей?

Сосед-философ достал две десятки.

– На пару недель. Я живу тютелька в тютельку. Хочу закончить жизнь так, чтобы после меня не осталось ни копейки. Пусть государство хоронит. У меня с ним – свои счеты. Я ему служил верой и правдой, а оно вело себя, как ветреная женщина. Крутило роман с усатым солдафоном. А вы действительно решили купить подзорную трубу?

– Да, такую, знаете ли, как в тире.

– В тире?.. Покупайте! День назад мне захотелось попускать с балкона мыльные пузыри, и я не отказал себе в этом удовольствии.– Загоруйко, похожий на сухой перекрученный корень, повернулся к Борису Евсеевичу спиной. – Пойду к телевизору.

– Там, кажется, детектив?

– Сначала новости. Люблю смотреть на дикторов. Они всегда роскошно одеты, жизнерадостны. Люди из того будущего, за которое мы боролись.

Желчь, казалось, сочилась из всех морщин философа. Но она не раздражала Бориса Евсеевича. Он великодушно списывал ее на счет горькой судьбы Загоруйко: со второго курса университета ушел добровольцем на войну, а после двойной отсидки работал лесорубом, кочегаром и сторожем. Ему Борис Евсеевич авансом прощал все сегодняшние и будущие колкости.

Заполучив два подстраховочных червонца, Борис Евсеевич полдня протаскался по городской барахолке, похожей на всесоюзную самодеятельную ярмарку. Приезжие самочинные купцы из Прибалтики торговали янтарными бусами, брезентовыми куртками. Не отставала от них и местная барахольная знать: выбросила на дощатые прилавки замшевые кожаные кепки, широкие женские пояса со множеством сверкающих заклепок, цветными орнаментами. Барахолка походила на выставку материализовавшихся настоящих и прежних желаний рядовых и с потугом на заграничный изыск граждан. Здесь почти не существовало средних цен. Все модное, даже изрядно заношенное, стоило первозданно дорого; новое, напоминавшее о времени прошедшей пятилетки, сбывалось по непристойно низким ценам.

Борис Евсеевич не удержался, надел черную кожаную кепку и посмотрелся в овальное зеркало, обрамленное резной деревянной рамой. Его зеркальный двойник походил на таксиста старой московской школы, родившей целый фейерверк интеллигентных вымогательских починов: возить девственно доверчивых пассажиров с Казанского вокзала на Ярославский, с Ярославского на Ленинградский, брать доплату за "ветерок". Борис Евсеевич пригладил торчавшие серебряными кустиками широкие баки и не удержал самодовольной улыбки.

– Батя, если не берешь кепку, положь. А то у тебя лысина такая желтая, словно постным маслом намазана, – продавец кепок, разбитной малый в кожаной куртке, пошитой в подпольных салонах Самарканда или Бухары, уже протянул было руку к козырьку, чтобы стащить кепку с Бориса Евсеевича, но тот изящно уклонился, вытащил из внутреннего кармана плаща желтое портмоне, мизинцем небрежно оттопырил отделение, в котором краснело пять десяток, и спросил:

– Почем товар?

– Полтора червонца, – продавец, похожий на современного нахрапистого таксиста, слегка оробел. Борис Евсеевич, сын дореволюционного телеграфиста, владел и жестом, и голосом. Телеграфисты, эти слуги электрического телеграфа, как вы знаете, носили довольно приличную форму, чем-то напоминавшую ту, которую носят современные прокуроры, и занимали ступеньку между инженерами и мелкими лавочниками, ниже которых располагались городские извозчики. Борис Евсеевич, потомствен-

ный связист, искусно держал паузу, великолепно знал, что чем длиннее ощутимее между точкой и тире, тем выше ценится почерк телеграфиста. И когда несколько голов, словно стрелки компаса, повернулись к ним, как к возникшей магнитной аномалии, он снял кепку и, держа ее за козырек, только и сделал, что посмотрел поверх нее, чуть сузив глаза, заглянул вовнутрь и чуть выпятил нижнюю губу, при этом продавец кепок занервничал.

– Отдам за червонец.

– Если вы мне э т о даже подарите, я не возьму.

Борис Евсеевич и взглядом не удостоил кустарного короля. Одним жестом, которым полубросил, полуположил кепку, он поставил точку, похожую на пулевое отверстие, в этой словесной дуэли. И был настолько очарован своей победой, что четверть часа блуждал по дебрям барахолки, счастливый и помолодевший. Увидел красных рыбок в круглом, похожем на зеленый помидор аквариуме и вспомнил, что пришел сюда не для физкультурной прогулки. На барахолку его привела идея, подсказанная стрелковым тиром. Еще будучи инженером городской телефонной станции, он ходил на соревнования по стрельбе, чтобы получить полностью премию по соцсоревнованию: с неучаствовавших снимали по двадцать пять процентов, – и увидел в тире подзорную трубу, через которую судья рассматривал пораженные мишени. Эта труба имела свое то ли латинское, то ли жаргонное название, за неупотреблением оно выветрилось из памяти, а черная мишень, приближенная трубой, как последний зрительный образ, осталась. Борис Евсеевич днями обращался за советом к своему жизненному опыту, и тот ответил: такая труба стоит рублей семьдесят, но на барахолке ей красная цена – тридцатник. Частных тиров пока нет, а значит, и спрос на эти трубы определяется чьей-то причудой и случайным интересом. Такой невеселый расклад навел на мысль, что этих труб может вообще не оказаться на бойком месте, где, в отличие от госторговли, спрос рождает предложение, – последняя почему-то упорно хочет идти против природы. Но в магазинах таких труб никогда не было, наверное, потому, что продавцов не водили еще на стрелковые соревнования. И опять же жизненный опыт подсказал Борису Евсеевичу: на барахолку выносится все, что можно вынести. А чем прикажете барышничать слабооплачиваемому работнику тира, каждая винтовка – на строжайшем учете; будь этот учет чуточку подобрее, вполне бы могла возникнуть угроза гражданской войны, а для подстрекателей войны у нас есть соответствующая статья в уголовном кодексе. Оставалось одно – вынести трубу.

Борис Евсеевич, уставший от громких голосов, непугливых взглядов спекулянтов, толчеи, приткнулся к забору, на котором висели прославленные в песнях оренбургские пуховые платки, перевел дух и вытащил из кармана пузырек с таблетками нитроглицерина. Еще не закололо под левой лопаткой, еще дыхание не вышло из ритма, но Борис Евсеевич, не раз побывавший в том пограничном состоянии, когда земная жизнь кажется далеким призраком, а та, пугающая, другая, намекает о своих правах, на всякий случай подложил под язык холодящую таблетку и осмотрелся. Людское разноликое море шумело, шло мелкой зыбью у прилавков, свивалось в тугие буруны возле торговцев лако-

мым дефицитом. Борис Евсеевич прошел ряды с рыболовными снастями и опять не удержался: пощупал рукой немецкую зеленую леску, которая, словно хамелеон, меняла свой цвет – на руке становилась розовой, на прилавке – серой, а в воде, как понял Борис Евсеевич, ее совсем не видно. Он покрутил американскую, сверкающую никелем безынерционную катушку для спиннинга. Катушка со множеством изящных рычажков, винтиков походила на добротную деталь космического аппарата.

– Почем товар?

– Полторы.

– Сотни? – наивно уточнил Борис Евсеевич.

– Давай! – Владелец американской катушки бесцеремонно отобрал ее у Бориса Евсеевича и укоризненно заметил: – Ведет себя, как денежный.

Борис Евсеевич сделал вид, что его заинтересовала блесна, но это уже была мелкая унизительная игра. И он бы, наверное, разнервничался, подложил под язык еще пару таблеток нитроглицерина, но внимание привлек зеленый продолговатый предмет. Он лежал на дерюжке по соседству с петлями, дверными ручками, связками ключей, мотками проволоки и коробочками с мелкими гвоздями. Или, как говорили на барахолке, гвоздочками. Борис Евсеевич пробрался поближе. Зеленый предмет напоминал то ли модель атомной подводной лодки, то ли ракеты с отвинченной боеголовкой. Да, это была подзорная труба! Старичок, владелец скобяного натюрморта с подзорной трубой, не избалованный вниманием, дремал, сидя на фанерном ящике.

Первым желанием Бориса Евсеевича было схватить долгожданную трубу и больше не выпускать ее из рук. Но, как человек воспитанный, он не мог позволить себе такое.

– Уважаемый! Почем труба? – деликатно поинтересовался он.

– На кой хрен тебе труба? – не просыпаясь, отозвался старичок.

– Это уже моя проблема, – взял выше Борис Евсеевич. – Покажите трубу.

– Тебе надо, ты и смотри.

– Спасибо. – Борис Евсеевич медленно присел на корточки. Брюки сзади натянулись, как на барабане. Одно неловкое движение, и они с треском лопнут по шву. Такое случалось не однажды в те первые месяцы, когда Борис Евсеевич вышел на пенсию и стал полнеть.

Он приподнял трубу – холодную, тяжелую, словно щука, которую только что вытащили из реки.

"Были бы линзы в порядке", – суеверно подумал Борис Евсеевич, зажмурил правый глаз, заглянул в окуляр и увидел милицейскую фуражку с красным околышем. Покачиваясь, она парила над барахольным сборищем.

"Что это за оптический эффект?" – Борис Евсеевич открыл зажмуренный глаз и посмотрел вдаль. Возле прилавка с кепками стоял блюститель порядка и смотрел на себя в зеркало, как двадцать минут назад делал это Борис Евсеевич, примеряя черную кожаную кепку. А форменная фуражка висела рядом на колышке.

– Ты чего затих, милиционера, что ли, увидел? – хмыкнул старичок.

Угадать мысли потомственного связиста это сонное, стриженное по бокс существо не могло. Оно, видимо, просто изрекло заезженную базарную остроту и неожиданно угодило в яблочко.

– Почем товар?

– Сколько дашь?

– Вы хозяин товара.

– Назначай цену. Я торговаться люблю, – старичок, словно будил себя, шлепнул ладонью по стриженому затылку, маленькими белесыми глазами, которые уже не надеялись, что этот мир явит им что-то новое, посмотрел на Бориса Евсеевича, понял: клиент не сумеет пощекотать его торгашеское самолюбие, и скучливо добавил: – Сороковник.

Борис Евсеевич поднялся, подержал трубу в руках так, будто прикидывал: потянет она на сорок рублей или нет, и назначил свою цену:

– Двадцать.

– Ах ты, сукин сын! – ожил старичок. – Новую штуку и за бесценок? А ну накинь, не жмоться.

– Тридцать – и ни рубля больше, – отрезал Борис Евсеевич, играть роль "сукиного сына" ему не хотелось. Он достал портмоне и отсчитал три десятки.

Старичок разочарованно сплюнул, взял деньги и задремал.

Борис Евсеевич полдня провозился с трубой. Как бывший инженерный работник он знал: чтобы механизм или прибор работал долго и надежно, нужен уход. Он почистил трубу, протер одеколоном, смазал вазелином выдвигающийся окуляр, а потом с помощью фотострубцины приладил ее на спинке стула, на треноге укрепил фотоаппарат с телеобъективом и подсоединил к нему тросик для дистанционного спуска. Отворил дверь балкона и навел объектив на скамеечку, стоявшую в укромном уголке парка, – изображение в трубе, в отличие от фотоаппарата, было сочное и раза в четыре крупнее.

– Замечательно! Замечательно! – Борис Евсеевич радостно хлопнул в ладоши, помахал руками, словно делал зарядку. В последние месяцы он мечтал о такой трубе – зрение категорически сдавало и позарез была нужна дальнозоркая помощница.

Борис Евсеевич пошел на кухню, заварил грузинский чай № 300. "Неужели настанет такое время, когда мы увидим 299 его чайных братьев!" – улыбнулся он своей шутке, которой веселил молоденьких продавщиц бакалейного отдела. Как и всякий одинокий человек, Борис Евсеевич имел массу мелких капризов, занудных привычек, и, поскольку изводить было некого, он изводил ими себя: подгорит каша в кастрюле, и хоть он ненавидел запах горелого молока, но заставлял себя съедать ее всю, до последней ложки. Забывшись, сыпанет в кастрюлю соли – этого "белого врага человечества" – втрое больше, морщится, но ни за что не выплеснет щи в помойное ведро. Зато никакая сила не могла заставить его намазать ботинки гуталином, он не переносил низкопробный запах. Борис Евсеевич мазал ботинки детским кремом, и они испускали тонкий аромат лечебных трав. Единственным свидетелем его страстей и причуд была белокурая девушка. Со всепрощающей улыбкой она наблюдала за ним с фотографии, обрамленной черной траурной рамкой. В ее крупных, немного

раскосых глазах были восторг и удивление и какая-то затаенная мечта, разгадать которую Борису Евсеевичу так и не довелось. Через пять лет они развелись, вернее, жена ушла от него, избранником стал бывший летчик-истребитель. Борис Евсеевич его видел: молодцеватый, поджарый мужчина с глубокой ямочкой на подбородке. В сорок пять лет он вышел в отставку, имел машину и пенсию больше инженерной зарплаты Бориса Евсеевича. По словам жены, любил рыбалку, гостей, собак, немного играл на гитаре и пел. Перед таким набором блестящих мужских качеств Борис Евсеевич сразу сник, хотя невольно шевельнулось в душе сомнение: не оказалась ли его жена той женщиной, которая первой подвернулась покорителю небесных высот, опьяневшему от сладких прелестей гражданской жизни, — он промолчал. Жена была в хмельной власти народившегося чувства и его слова приняла бы как должное: брошенный муж должен злословить, проклинать, пугать, обвинять, умолять!.. Наверное, ей, находившейся в упоительной эйфории, невольно, как теперь пишут, подсознательно хотелось остроты, перчика, чтобы все далось непросто, не с кондачка, а "ценой больших мучений и утрат", как постоянно подчеркивала она в разговорах, без стеснения расписывая прелести своего будущего супруга. Борис Евсеевич, потомок телеграфиста-первопроходца, занимавшего не последнюю ступеньку в иерархии тогдашнего несовершенного общества, гитару презирал (мещанский вариант!), имел строгий черный костюм, в котором "ходил в симфонические концерты"; спокойно слушал изменившую ему жену, во всем с ней соглашался и даже спрашивал: "Я могу вам быть чем-то полезен?" — чем повергал ее в смятение, она всплескивала руками и говорила: "Боря, это чудовищно! Ты — не человек, ты — аппарат!.." Да, он был спокоен, только сердце колотилось так, что срывалось с ритма, и тогда возникала пугающая пауза. Однажды эта пауза возникла, когда он стоял у плиты на кухне. Борис Евсеевич очнулся на полу. Рядом валялось полотенце и ложка, а его любимая манная каша превратилась в коричневый пирог. На кухне потом с неделю пахло горелым молоком. Но возмущаться было некому: жена ушла. Через месяц он сказал себе: "Она умерла", — и покрасил рамку в черный цвет. То же самое он заявил ей по телефону. Жена от неожиданности ойкнула и тихо заметила: "Ты все-таки нашел, как меня уколоть!" Борис Евсеевич был далек от такой мысли, он помолчал и, верный своей привычке, любезно распрощался. Приятели советовали выбросить фотографию, "жениться на молоденькой". Борис Евсеевич работал на телефонной станции, в царстве женщин, где даже хронические женоненавистники теряли голову и обретали второе дыхание, но он ничего ни в своей жизни, ни в комнате не поменял. И потом, спустя пять лет, когда от приятелей узнал: у жены не все ладно в жизни, то ли супруг не оправдал восторженных надежд, то ли она оказалась не той женщиной, о которой он мечтал в небе, — с печальной иронией заметил: "Это было неизлечимо, как лейкемия". И все, и больше ни одним словом не обмолвился о прошлом. Он жил спокойно и размеренно, с болезненной щепетильностью охранял себя от неприятностей, опасался, что не дотянет до пенсии — черты, за которой начинается бедная, безработная жизнь. Он стал походить на старинный телефонный аппарат, доставшийся от отца. Трубка была отделана

слоновой костью, диск покрыт таким прочным и качественным никелем, что спустя семьдесят лет так же правдиво, как когда-то интерьер третьеразрядных квартир эпохи Николая II, отражал интерьер хрущевской квартиры, по количеству комнат уступавшей николаевской вдвое, и по площади – втрое. Аппарат возвышался на столе не как экзотическое сооружение из дореволюционного мира: он попал в волну моды "ретро" и по ценам черного рынка стоил около трехсот рублей. Здесь же за столом было рабочее место Бориса Евсеевича. Нацепив очки на нос, он ремонтировал соседям телефоны, приемники, но если ломался утюг, заворачивал в газету и нес в мастерскую, гнушаясь грубой работы. Особое место над столом занимала полка, заставленная коробками со слайдами. Борис Евсеевич одиноким туристом объездил множество городов и теперь, когда здоровье заметно пошатнулось, путешествовал вечерами с помощью диапроектора. Так он и жил и, наверное, умер бы вечером, не дотянувшись до телефона, или поутру, так и не очнувшись от кошмарного сна, если бы не слабое сердце. Оно добавило и волнений, и переживаний. Сердце настолько износилось, что вышло из повиновения и стало походить на капризную взбалмошную девчонку. Все чаще возле подъезда Бориса Евсеевича останавливалась "скорая". Ему делали сердечные уколы, прописывали успокаивающие снадобья, но все они приносили лишь временное облегчение.

Борис Евсеевич, блаженствуя, пил кофе со сливками и посматривал в окно. На укромную скамейку присела парочка. Борис Евсеевич салфеткой вытер губы и припал к окуляру трубы. Он и Она сидели так близко, что казалось, он, Борис Евсеевич, стоял у них за спиной в кустах сирени. Да-да, было все, как в тот майский день. Проснувшись с головной болью, он до обеда провалялся в кровати, а потом направился в сквер. Врачи советовали дышать воздухом, насыщенным фитонцидами. Борис Евсеевич забрался в гущу сирени и стал случайным слушателем разговора влюбленных. Больше говорил парень, нетерпеливо, напористо, суконными фразами из дешевых телефильмов: "За тобой пойду на край света", "Только встретил тебя и понял, как влюблен"... Он видел, как девушка молча таяла, словно кусочек льда на горячей ладони, через минуту превратится в горячую каплю, и от холодной твердости останутся лишь воспоминания. "Наверное, так же когда-то поддалась очарованию слов и моя бывшая жена, – подумал Борис Евсеевич, – а теперь она несчастна, и все уже непоправимо. Мне было с ней хорошо, ей со мной – не очень. Теперь троим нехорошо: ей, ее мужу и мне. Один глупый поступок – и двумя несчастными стало больше. Простая человеческая арифметика. Как же мы слабы в ней!.." Сильное наивное чувство овладело Борисом Евсеевичем: эта девушка слепа, да ее ухажер – тоже, они не понимают, как умножится их глупый поступок в будущем, и я, Борис Евсеевич, должен приоткрыть им глаза на банальную истину: как от собаки рождается собака, так от добра – добро, от глупости – глупость, а от зла – зло... "Жизнь просветила меня для того, чтобы я уберегал от ошибок другие души!" – подумал Борис

Евсеевич, и это возвышенное состояние родилось не на пустом месте: оно отвечало строю его души и важности момента.

"Да-да, чтобы в мире не множились несчастья!" – Борис Евсеевич испытал то радостное волнение, которое испытывает музыкант перед выходом. Вот-вот ведущий назовет его имя, он выйдет на залитую светом сцену, и тысяча глаз с ожиданием, с надеждой устремятся к нему... Борис Евсеевич раздвинул тяжелые от фиолетовых цветов ветви сирени и вышел к влюбленным.

Девушка, похожая на синицу, – желтая с черным кофточка, острый носик, – испуганно всплеснула руками, словно они были крыльями и она хотела вспорхнуть. Но парень тут же взял их в кольцо своих сильных рук и помешал полету.

– Поверьте мне, старому человеку, – от волнения голос Бориса Евсеевича задрожал. – Не обманывайтесь. Понимаю, вам хочется любить и быть любимой...

– Дед, если выпил, то гуляй! – парень грубо оборвал Бориса Евсеевича. Серый свитер плотно, словно кольчуга, облегал его прямые плечи. Парень притянул девушку к себе, словно хотел защитить ее.

– Молодой человек...

– Кончай базар! – взорвался парень. – Сейчас позову милиционера и сдам, чтобы не выступал.

Плечи Бориса Евсеевича обмякли. В его душе еще жило ощущение полета. Но оно уже не радовало, поскольку было в прошлом. Он посмотрел на девушку. Нет, она не походила на синицу, ее руки с короткими пальчиками, цепко вцепившимися в парня, не могли превратиться в крылья; они напоминали плети мелкого вьюна, который путается под ногами, цепляется своими присосками за одежду, оставляя на ней несмываемые зеленые следы. Да и парень был не похож на средневекового рыцаря. Он смотрел с нагловатой улыбкой:

– Гуляй, дед, гуляй! Нечего фотографировать нас глазами. Ты слишком пошло развлекаешься, прячась в кустах!

Борис Евсеевич уже оправился от неловкости, дыхание успокоилось. Он мог двумя-тремя фразами сразить наповал сопливого остряка. Мог ли этот безусый юнец тягаться с потомственным телеграфистом?! Девушка первой учуяла опасность. Словно зверек, она сжалась, будто хотела свернуться в клубок, затаиться под рукой парня. Ее глаза-бусины умоляли о пощаде.

"Дурочка! Простушка! Одиночка!" – Борис Евсеевич уходил не свойственной ему походкой, словно убегал. Его пятки щекотал ломкими игольчатыми зубками щенок смеха – это спутник девушки праздновал победу.

"Одиночка!" – с горечью выдохнул Борис Евсеевич. Это слово в пору его юности не сходило с газетных страниц. "Одиночками" называли фельетонисты матерей-одиночек, ставя на них клеймо, подобное тому, которым когда-то во Франции метили проституток.

В тот вечер Борис Евсеевич не включал телевизор. Он сидел в кресле, смотрел на старинный телефонный аппарат и, как бы призвав в союзники его почти вековую осведомленность в житейских делах, размышлял: он хотел из самых добрых побуждений предупредить молодых влюбленных: не нужно спешить, торопливость может все поломать, она так же вероломна, как грубость,

но они напрочь отвергли его человеческое участие. "Милые мои, – продолжил Борис Евсеевич несостоявшийся диалог, – я ушел. Вы сделаете свои ошибки, потом их поймете, кому от этого станет лучше? Вам?.. Вы будете сожалеть о случившемся. В мире прибавится горечи разочарования, которую вы сами разносите на кончиках языков. Я уже страдаю оттого, что не сумел предупредить ошибку, и от своего бессилия. Так, наверное, и ангелы, если они есть, летают над нами, смотрят на пакости, творимые нами, делают нам знаки, что-то подсказывают на своем ангельском языке, но мы не знаем их языка. Эти двое тоже ведь не поняли моих слов. Я прав?.." Борис Евсеевич посмотрел на дореволюционный телефон, он живо поблескивал никелированным диском, словно подмигивал. "Новый аппарат не проявил бы такого интереса. Он ничего не знает про ангелов. Как и большинство из нас... Но как же быть мне? Я не смог уберечь свою бывшую жену, не смог вмешаться и сейчас... Стоп. Почему не мог?.." Борису Евсеевичу вспомнились слова парня: "Нечего нас фотографировать глазами", но тут же его взяли в плен, если верить современной литературе, интеллигентские сомнения: "Имею ли я моральное право вмешиваться в чужую жизнь?.." Борис Евсеевич, образование которого начали родители, – после которых ему досталось несколько подшивок журнала "Нива", библиотека и телефонный аппарат, – а завершил профком телефонной станции, возразил себе: "У нас жизнь общая!" – "Но общих жен и общих детей пока не получилось!" – довольно потирая руки, парировал последний довод Борис Евсеевич. Он намекал на модные в двадцатых годах течения "Долой стыд!", "Да здравствует свобода полов!". "Вы – идеалист! – не сдавалась вторая половина Бориса Евсеевича. – Представьте такую ситуацию: вы – врач. Ваш товарищ, а мы все – товарищи, смертельно болен раком. Но болезнь еще только началась. Товарищ бодр, весел, строит планы на двухтысячный год. А вы знаете: больше пяти лет он не протянет. Вы ему – про операцию, а он смеется! Он не понимает вас. И тогда вы делаете операцию против его воли. Потом показываете ему удаленную опухоль, и он в благодарность целует вам руки, как своему спасителю. Так же и те двое, сидевшие в сквере, еще не ведают, что творят... Мы должны повести решительную борьбу с несознательными товарищами, с теми, кто находится во власти ложных идей и настроений. Борьбу за чистоту жизни!" Последний аргумент оказался для Бориса Евсеевича решающим. Ему всегда хотелось жить светлой и чистой жизнью. Вдохновившись, он изменил всегдашней привычке ложиться спать в десять вечера и просидел за столом почти до утра, собрал простенький передатчик на трех транзисторах; дождавшись восьми часов, снял с книжки деньги и купил дорогой телеобъектив. Борис Евсеевич намеревался "повести борьбу с сознательными и несознательными разрушителями жизни".

Борис Евсеевич включил приемник, чуть подстроил его, и комнату наполнил низкий мужской голос:

– ...жизнь несправедлива. Я уже сто лет ждал тебя. И вот – встретились. У тебя – семья, у меня – тоже.

– А я давно живу без надежды. Превратилась в домашнюю машину: постирать, приготовить, убрать в квартире, проверить у

ребенка уроки. С утра – работа, вечером – телевизор. У мужа – еще шахматы и газеты.

"Можно подумать, что с новым мужем у тебя появится незагрязняющееся, немнущееся белье. Питаться вы тоже будете эфиром", – Борис Евсеевич подлил себе чая, подбавил сливок.

– Никогда не понимал шахматистов, – ровным голосом продолжал мужчина. – Зачем ломать голову над задачками, от решения которых никому не станет лучше?

– Ты очень точно сформулировал то, что я думаю.

– Извини, Галя, я не хотел в чем-то упрекнуть твоего мужа. Наверное, у него свои представления о жизни. Просто они не совпадают с твоими.

– Дай я тебя поцелую!.. Он – хороший домашний человек. Он думает, что раз ему хорошо, то и всем должно быть хорошо. Мы с тобой всего неделю встречаемся, а говорим так, словно знаем друг друга давно...

Борис Евсеевич посмотрел в трубу: мужчина и женщина целовались. Он нажал дистанционный спуск фотоаппарата. Взвел затвор и сделал несколько снимков.

Сухие щелчки затвора, усиленные акустикой полупустой холостяцкой комнаты, неприятно напоминали выстрелы малокалиберной винтовки. Тогда, в тире, они показались Борису Евсеевичу игрушечными. Патрончик с пулей был тоньше карандаша, и отверстие в мишени пуля делала крошечное. Но инструктор предупредил, что патроны им дают со звездочкой, "усиленные", убойная сила пули до километра. Борис Евсеевич стрелял, беспокоясь об одном, чтобы пуля ненароком не прошла мимо железных щитов, отвечавших на каждый выстрел глухим "пам".

Совпадение звуков преследовало Бориса Евсеевича. "Это не выстрелы, так щелкает капкан, – успокаивал он себя, – они у меня в капкане". Для верности Борис Евсеевич еще раз нажал спуск фотоаппарата.

– Знаешь, Игорь, вечером, когда он приклеивается к своему телевизору или утыкается в шахматную доску, разбирая партии, мне так хочется позвонить тебе, услышать твой голос. Но я боюсь попасть на твою жену, – в голосе женщины было неподдельное смущение. – Я все время испытываю чувство вины перед твоей женой. Она у тебя хорошая?

– Да.

– Кем работает?

– Учительницей. Я у нее наподобие ученика. Она не любит, когда у меня не застегнута верхняя пуговка рубашки.

– А мне это нравится. Некоторая небрежность украшает мужчину.

– Она, как увидит эту пуговку, делает страшные глаза и смотрит на меня, смотрит: мне хочется пойти и встать в угол. Слушай, давай звонить друг другу по коду.

– Как это?

– Ты делаешь два звонка и кладешь трубку, а потом звонишь снова.

– Потрясающе! Ты сам это придумал?

– Приятель рассказал. Он у меня – донжуан.

– Мне почему-то неприятно, что у тебя такие приятели.

– Мы с ним редко встречаемся. Бывший одноклассник.

Мастер спорта по гимнастике. Рабочий телефон мой ты один знаешь, запиши домашний, и еще один рабочий...

Борис Евсеевич аккуратно записал телефоны в школьную тетрадь и зевнул. Раньше, в самом начале своей "спасительной миссии", он мучился в догадках: почему от пустяковых слов те двое, что сидят на скамейке, пьянеют, приходят в состояние восторга? Великим знатоком человеческих душ Борис Евсеевич себя не считал, но на его глазах взрослые люди, обмениваясь, словно таинственными знаками, невзрачными междометиями, молодели, превращались в детей, то в капризных и обидчивых, то в глуповато-доверчивых, то в шумноватых, расчетливых, разговор уже походил не на взаимное собачье обнюхивание, а перестрелку холостыми патронами. Борис Евсеевич недоумевал: к чему эти скамеечные игры в красивые слова, распускание перьев, поспешные клятвы и обещания, когда вполне можно объясняться на пальцах.

Ему уже давно набили оскомину эти разговоры-объяснения, главное для него начиналось потом. Он мельком посмотрел на часы: около одиннадцати. "Сейчас закончат. Оба сбежали с работы, но за пять минут до обеда должны там появиться". Борис Евсеевич пошел на кухню [illegible] со сливками. Он взял чашечку, выглянул в окно и мысленно поторопил нежных влюбленных: "Ребята, я знаю про вас все: где работаете, где живете. По аллее гуляют новые клиенты, уступите им место!"

Теплый чай слегка [illegible], Борис Евсеевич привалился спиной к стене и вытянул ноги. Напротив на стене висел "График замены питания". Зайди в комнату любой, самый сведущий инженер, он бы не догадался, что означает этот график, как и многие записи в школьных тетрадях пришлись бы не по зубам даже опытному следователю. "График замены питания" указывал сроки замены питания маломощного передатчика, установленного под скамейкой. Его хватало на две недели, и сейчас кружочки, отмечающие дни, подходили к красной черте. "Достать бы телефонные батареи, которые ставили в пятидесятые годы на сельских телефонных станциях!" – мечтательно подумал Борис Евсеевич. Он помнил эти увесистые кирпичи, по бокам которых стояла маркировка "+" и "–". Такие батареи можно было спрятать в дупле соседнего клена. Их бы хватило, пожалуй, месяца на два–четыре, а то и на полгода. Но где их найти теперь? Раньше даже телефонные аппараты делали не меньше чем на век. Вот стоит один из первенцев дооктябрьского периода, внутренности, конечно, поменяли, но он все так же крепок и элегантен, год от года становится все моднее. "Неужели в нем эти качества были заложены с рождения?" – думал Борис Евсеевич. Он смутно представлял дооктябрьскую жизнь красавца-телефона, и неясные ощущения, запавшие в память в далеком детстве, походили на осколки цветного стекла, из которых он безуспешно пытался сложить мозаичное полотно, поскольку не знал общего рисунка. Для него олицетворением того времени был отец, застреленный басмачами возле телеграфного аппарата. Он воевал в Средней Азии в батальоне добровольцев. Отец никогда не говорил: работаю на телефонной станции. Он говорил: работаю на маячном стане, и когда упоминал телеграф, то непременно подчеркивал, что

он – электрический. Сейчас редко кто уловит эту тонкую разницу.

Борис Евсеевич прислушался к приемнику – голоса уже сменились. Он поспешил к трубе – на скамейке сидели мужчина лет тридцати и женщина лет сорока – сорока пяти. У женщины на короткой шее был повязан белый шарфик, сквозь черные волосы мужчины просвечивали розовые залысины. Голос у него был мягкий, покорный.

– ...мне сейчас так хорошо, как еще никогда не было. Кажется, я только начинаю жить.

"Остановись! Посмотри на себя со стороны. – Борис Евсеевич чувствовал, как внутри у него все закипает от праведного гнева. – Не позорь нашего мужского племени!.."Он ненавидел подобные пары, называл их "обратными", поскольку лидером в них выступала женщина. Она вела себя грубовато, снисходительно, как и подобает вести себя хозяину. По опыту он знал, что "обратная" пара часа полтора проведет в разговорах, целоваться начнет неожиданно, и тут важно – момент этот не пропустить. Когда Борис Евсеевич наблюдал в окуляр фотоаппарата, то минут через десять глаза начинали слезиться, он плохо видел, что происходит на лавочке. Но теперь у него была труба – давнишнее изобретение безвестного гения. Оно сделало человека самым дальнозорким существом в природе.

"Что это они замолчали?" – Борис Евсеевич припал к окуляру трубы. Мужчина целовал женщине руку.

– Андрей, не надо, я прошу тебя... – голос у женщины был резкий, почти гортанный.

– Наташа, я все брошу. Я теперь знаю цену настоящему.

– Все не так просто, Андрей.

– Ты имеешь в виду моих детей? Старшему – восемь. Он самостоятельный. Младшему через год будет три. Надеюсь, ты подождешь?

– Ты мог бы и не говорить об этом.

– Вот и хорошо. Ты у меня такая красивая и добрая. Страшно даже подумать, что так вот и прожил бы оставшееся и не встретил тебя.

– Андрей... Ой, какой же ты милый и нежный!..

Борис Евсеевич нажал кнопку дистанционного спуска фотоаппарата. Последовал сухой щелчок, и женщина превратилась в змею – главное воплощение вселенского зла. Борис Евсеевич долгими вечерами читал германскую и египетскую мифологию и, чтобы как-то разнообразить свою каждодневную "спасительную" миссию, проводил прямые аналогии с мифологическими сюжетами. Мужчина представлялся ему в виде молодого белого кролика. Борис Евсеевич, чтобы защитить это кроткое наивное существо, окружил его капканами.

Гипнотизируя свою жертву, змея замерла. Кролик замигал розовыми глазами и покорно опустил голову. Змея, довольная своей гипнотической властью, скользнула вперед.

Борис Евсеевич нажал кнопку "спуск" – щелчок, сомкнулись стальные створки капкана. Змея свилась в клубок.

"Попалась, голубушка!" – тихонько засмеялся Борис Евсеевич.

Змея вздрогнула и разделилась на две части – дужки капка-

на перерубили ее. У одного куска змеи отрос хвост, у другого – голова. И две змеи поползли к кролику.

– ...я хочу тебя порадовать: я решила купить машину, – голос женщины стал теплее. – Ты кончишь курсы, и тогда мы с тобой больше не будем, как бедные родственники, скитаться по паркам. Дня на два закатимся в Суздаль. У меня там живет хорошая приятельница. Она отдаст нам свою шикарную дачу... Знаешь, Андрей, я все же чувствую себя преступницей, твои дети, жена, они меня возненавидят. Что молчишь?.. Да, все так и есть. Но такова жизнь. Все в ней берется с боем, а значит, с обидами, с огорчениями, ненавистями. Я работаю в кадрах, и все эти приемы, увольнения, смещения – все эти трагедии проходят через меня.

– Ты не в кадрах, – натянуто улыбнулся мужчина. – Ты – замдиректора по кадрам.

– Тебя не пугает, что я начальник?

– Пока нет.

– Ты сейчас доволен своей работой?

– Да, бывает, по полдня делать нечего. Сижу, читаю журналы и скучаю по тебе.

– Я тоже постоянно хочу быть с тобой.

– Не будь ты у меня такой большой начальницей, мы могли бы видеться чаще.

– Скоро так и будет. Моя приятельница на две недели уезжает в командировку, и ее квартира – в нашем распоряжении. Ты доволен?

"Ну, скажите хоть что-нибудь про телефон, адреса, – раздраженно подумал Борис Евсеевич, – Меня уже тошнит от ваших перспектив! К тому же я старый человек, и мне надо совершить прогулку. Врач предписал мне гулять не меньше часа в день".

– Андрей, тебе какой цвет машины больше нравится?

– Не знаю. Никогда не думал о машине. Да и какое это имеет значение? Машины – дефицит. Возьмешь, какую дадут.

– Завод у нас большой. Машин дадут двадцать пять штук. Замдиректора может себе позволить такую малость: выбрать цвет. Какой?

– Белый. Нет, это очень маркий. Зеленый. Зеленый успокаивает.

– Все, решили и постановили.

"Пора заканчивать это собрание!" – Борис Евсеевич через силу дождался конца свидания, но не успел выключить приемник, как услышал голоса.

– ...адидасовские кроссовки идут по семь с половиной рубликов.

– На барахолке – по рубль двадцать.

– Там с ними еще торчать надо. Делиться с обэхээсниками. То же выйдет.

Борис Евсеевич посмотрел в трубу – на скамейке сидели два парня со спортивными сумками.

"Юные маркитанты. Торговцы шмотками! Шмон, шмотки... Какой-то лагерный жаргон. В какое время мы живем? – Борис Евсеевич выключил приемник, убрал трубу, вытащил пленку из фотоаппарата, проявил и, убедившись, что негативы получились четкие, подсел к телефону.

— Игорь Павлович?.. Очень приятно. Часа полтора назад я видел вас с очаровательной женщиной... Как где? В сквере... Кто я? Сложный вопрос. Надо бы встретиться. Только с одним условием: ей ничего говорить не надо. Дело-то пустяковое. Ровно в четыре часа я жду вас во дворе дома, который стоит рядом со сквером. Я буду сидеть на скамейке в белом плаще... Не беспокойтесь, я же вас видел и сразу узнаю. До свиданья!

Борис Евсеевич записал в школьной тетради: "16.00", в последние годы память заметно сдала, но для того и существуют карандаш и бумага — верные помощники старых людей, чтобы они не чувствовали себя ущербными в вечно молодом мире.

Борис Евсеевич знал: Игорь Павлович придет с запасом минут на двадцать. Тайна, таинственность — это величайшие силы! Как-то, размышляя в вечерние часы, Борис Евсеевич пришел к мысли: алкоголь, наркотики — насморк, мелкий заусенец по сравнению с тайной: она забирает человека целиком и превращает в верного раба. Игорь Павлович сейчас меряет улицу шагами и готов, пожалуй, на любые условия, только бы узнать: как? почему? зачем? Борис Евсеевич овальной щеточкой, опять же доставшейся от отца, причесал баки, из пульверизатора пустил на себя облако приторной "Красной Москвы", надел белый плащ. Он носил его уже восьмой год с такой непостижимой аккуратностью, что ни единого пятнышка не было: казалось, плащ старился под стеклянным колпаком.

Борис Евсеевич еще раз посмотрел в зеркало и остался доволен собой: выглядел довольно внушительно. Предстоящий разговор и для него во многом был тайной.

Борис Евсеевич ощущал зовущую пленительную силу, боялся ее, как талантливые актеры, знающие вкус вдохновения, боятся сцены. Это бездарности выходят под свет юпитеров с тупой самонадеянностью, что они не хуже, в чем-то лучше других. Но в отличие от актеров, Борис Евсеевич должен был не играть роль, а быть собой. Именно: *собой*. От этого, как он считал, зависел не только успех дела, а успех *его дела*.

Борис Евсеевич вышел во двор. Игорь Павлович уже стоял под аркой, как бездомная дворняга, в поисках лакомого кусочка забежавшая во владения более сильной соперницы, и обреченно ждал. Казалось, цыкни любой мальчишка, тут же умчится, поджав замызганный хвост.

"Бедный Див, современный донжуан. Простоишь этак до утра, словно провинившийся школьник... Не превращайся в циника! — сердито выговорил себе Борис Евсеевич. — Освободись от этой горькой приправы к серой жизни". Он перехватил взгляд Игоря Павловича и кивком предложил ему пройти к лавочке в самом углу двора, за детской песочницей.

— Кто вы? — с ходу, взволнованно спросил Игорь Павлович.

— Вы, как я понимаю, Иосиф, хранитель девственности Марии-Галины, — Борис Евсеевич с первой фразы умело огорошил собеседника. По словам Загоруйко, наибольший страх у подследственных вызывали образованные следователи. Борис Евсеевич верил своему приятелю, побывавшему в руках у пяти фашистских и одиннадцати сталинских следователей, которые вели себя столь одинаково, словно каждый месяц встречались на практических семинарах по обмену опытом.

– Я что-то не понимаю... – Игорь Павлович растерялся еще больше.

– Библию в школе не изучали, мифологии не знаете, – Борис Евсеевич чувствовал себя следователем по особо важным человеческим делам.

– Я – рядовой инженер.

– Иосиф был прямым потомком династии Давида, но вел жизнь рабочего-ремесленника. А мы наследники, не знающие своих родителей.

– Вы?.. – Игорь Павлович приостановился.

– Не больше, чем вы, – усмехнулся Борис Евсеевич.

– Извините, я не хотел вас обидеть. Просто все так неожиданно! – смущенно оправдался Игорь Павлович.

– ...что вы приняли меня за сумасшедшего! – Борис Евсеевич несколько театрально хохотнул. Раз от раза он замечал, как в нем убывает следовательский энтузиазм, и он вел себя все вульгарнее, все наглее, оправдывая себя тем, что главное – результат.

– Откуда вы знаете Галину? Вы ее родственник, знакомый?

– Вы сразу бы хотели знать степень опасности?

– Да.

Борис Евсеевич тяжеловато опустился на лавку:

– Зря пугать не буду. Эту степень вы определите сами.

– Извините, я вас опять не очень понимаю.

– У вас с Галей все серьезно?

– Еще бы!

– Тогда вам ничего не грозит. И я зря затеял весь этот разговор.

– Вы ее родственник?

– Нет.

– Кто же вы? – Игорь Павлович замер. Во время разговора Борис Евсеевич ни разу не посмотрел в его сторону. Голос, интонация собеседника столь же неповторимы, как отпечатки пальцев, они говорят куда больше, чем лицо. Что бы там ни говорили досужие театралы, но великие актеры всегда играют голосом, а мимика, жесты – лишь дополнение, поджаристая корочка на булке, не больше.

– Я – фотограф-любитель.

Борис Евсеевич сполна насладился тягучей паузой. Будь рядом Загоруйко, он бы смог по достоинству оценить ее. Это состояние Борис Евсеевич сравнивал с тем, которое происходит внутри электронной лампы или транзистора: мощный поток энергии, послушный, словно ребенок, управляется крохотными мыслями об опасности, догадками о подлости и мгновенно превращается в страх или гнев.

– Вы – шантажист? – еле сдерживаясь от возмущения, спросил Игорь Павлович.

– Что это меняет в вашей жизни?

– Это гнусно! Я понял: вы знаете Галю и вам что-то нужно от меня. Вы решили взять меня на испуг. Ошибаетесь, не на того напали!

– Можете добавить, что старому человеку этим заниматься не к лицу, – скучливо подсказал Борис Евсеевич.

– Да! Что вам нужно? Запчасти к "Жигулям", левый бензин,

покрышки? Я не работаю на станции техобслуживания. Я – рядовой инженер и, кроме ватмана и кальки, ничего достать не могу!.. Впрочем, что я так разволновался? Подумаешь, видели нас вдвоем! Ну и что? Как вы это докажете? Да и кто вы такой, чтобы вам верили?

– Посмотрите, – Борис Евсеевич достал из кармана плаща конверт и протянул собеседнику. Он слышал, как тот от волнения слегка порвал конверт, и подумал: дополнительные шесть копеек расходов. Воспитание не позволяло вручать порванный конверт следующему "клиенту".

– Я вас недооценил.

– Это наша общая беда: себя мы переоцениваем, а других... как вы только что подметили.

– Что вам от меня нужно?

"Следователи работают на контрасте: добрый – злой, добрый – злой", – вспомнились Борису Евсеевичу рассказы Загоруйко. "А мне приходится вкалывать за всех одному!" – пожалел он себя и удивился: откуда в его лексиконе потомственного связиста появилось слово "вкалывать"? Посмотрел на собеседника. Он представлял техническую интеллигенцию, это она изобрела жаргон: "вкалывать задарма", "рожать идеи", "пялиться на начальника", "корчить шишку"... "Еще пару лет, и я буду говорить, как ломовой извозчик", – снова пожалел себя Борис Евсеевич и мягко улыбнулся Игорю Павловичу:

– Вернемся, уважаемый, к началу нашей беседы. Вы сказали: у вас с Галей все серьезно.

– Очень.

– Когда вы поженитесь?

– Послушайте, но это же хамство! Так бесцеремонно влезать в чужую жизнь!

– Вам что-то мешает.

– Вы, наверное, знаете, что у меня семья, у нее – тоже.

– Да.

– Интересно, откуда.

– Изучаю жизнь.

– Я уже понял, что имею дело с опытным человеком.

– Спасибо за комплимент. Когда вы бросите семью?

– Что вам нужно?

– Галя сможет оставить своего ребенка?

– Вы страшный человек, вы – чудовище!

– Чем же вы лучше? Будете лгать жене, Галя – мужу, в этой грязной атмосфере будут расти ваши дети.

– Тоже мне, святоша!

– Давайте про меня забудем, и про вас – тоже. Подумаем о близких вам людях.

– Поймите вы!.. Все это не так просто. Мою жену надо подготовить.

– Сколько вам нужно: месяц, год?

– Не знаю.

– Извините, я устал, у меня – больное сердце.

– Вы хотите, чтобы и мое стало таким же?

– Откажитесь от Гали.

– Хорошо. Я больше не буду с ней встречаться.

– Прекрасно. Я вас больше не задерживаю... Что же вы не уходите? У вас это не первая внебрачная связь.

– Вы и это знаете.

– Жить праведником вы не сможете. Рано или поздно мы опять встретимся на этой скамейке.

– Поймите, я бедный инженер. У меня нет ни средств, ни времени, чтобы иметь любовницу. Видите, я перед вами наизнанку выворачиваюсь!

– И все же у вас есть отдельная сберкнижка.

– У вас даже в сберкассе – свои люди. Но ведь это же – подсудное дело, как и все, чем вы занимаетесь.

– Заявите. Пусть меня привлекут.

– Вы – монстр! Я попал в ловушку. Что же вы от меня хотите? Говорите, у меня тоже есть сердце, я живой человек.

– Я тоже, – Борис Евсеевич достал пузырек с нитроглицерином. – Вы думаете только о себе, а я думаю о других, об их будущем. – Он высыпал на ладонь две таблетки и предложил Игорю Павловичу. Тот отказался. Борис Евсеевич положил таблетки под язык. – Через два дома от меня – Дом ребенка. Пойдемте, посмотрим на брошенных детей.

– Не валите все в одну кучу.

– Давайте разбираться. Вы без Гали не можете жить?

– Да, да, да...

– Можно без истерик?

– Извините.

– Если вы уверены в своем чувстве, женитесь на ней.

– Это произойдет позже. Поверьте, мне очень нелегко сделать такой шаг. Цена его, если так можно сказать, очень высока.

– Сегодня же вы снимете со своей книжки все ваши сбережения и принесете их мне.

– Что?!

– Принесете мне в десять вечера.

– За что же я вам должен платить? За молчание? Значит, вы мне тут толковали о разных высоких материях, играли на моих отцовских чувствах – и все ради того, чтобы так вот, бесстыдно, обобрать?!

– Мне нужны деньги с вашей книжки. Семейную я не трону.

– Но я рассчитывал именно на эти деньги. Нам с Галей придется начинать с нуля.

– Когда поженитесь, я вам эти деньги верну.

– Забавно! – Игорь Павлович сдавленно засмеялся. – Почему я должен верить вам? У вас же на лбу не написано, кто вы такой!

– У вас – тоже, – без особого напора парировал выпад Борис Евсеевич, словно ракеткой отбил незамысловатую подачу. Он чувствовал, как появились нити власти, его власти, опутали "клиента" по рукам и ногам, перехватили горло, и тут было важно: не пережать. Пережмешь, он завтра кинется под электричку или сиганет с двенадцатого этажа, оставив пошлую записку о том, что в своей смерти виноват сам. Один из "клиентов" пробовал отравиться уксусной кислотой, но побоялся боли и разбавил ее – все закончилось банальным расстройством желудка. Он сам потом со смехом рассказывал Борису Евсеевичу; нет, не таких результатов хотелось ему, "следователю по особо

важным человеческим делам". – Вы, уважаемый, наверное, читали в газетах: после развода не разрешается улучшать жилищные условия в течение пяти лет. Сейчас судам предоставлено больше прав для укрепления семьи... Но я не хочу приравнивать вас к фельетонным многоженцам. Я охотно допускаю, есть высокие чувства, мысли и, может, вы близки к ним. Мне же ничего не стоит разрушить вашу связь. Стоит мне позвонить Гале, и вы будете видеть ее только издалека.

– Вы в ней ошибаетесь.

– Допускаю, что она уйдет из семьи, но вы к этому не готовы. Вы можете оказаться недостойным ее.

– Черт возьми! В ваших словах есть доля правды.

– Поверьте, Игорь Павлович, у меня нет желания вмешиваться в ваши отношения. Я хочу одного, чтобы вы относились к своей жизни серьезно.

– Именно этого хочу и я!

– Немного сомневаетесь в себе?

– Есть такой грех!

– Отныне я – ваш верный союзник. Вам опасаться совершенно нечего. Как только вы с Галей поженитесь, я вам верну деньги.

– Но... как бы это сказать, – замялся Игорь Павлович.

– Я же поверил в вашу порядочность. И вам остается сделать то же самое. Мы оба в ловушке. Нам остается одно: верить друг другу. И все – больше никаких вопросов. Я жду вас в десять. Извините, вынужден вас покинуть. Мне нужно полежать, успокоить сердце.

– Я вам помогу! – с готовностью вскочил Игорь Павлович.

– Спасибо. До вечера. – Борис Евсеевич даже взглядом не удостоил собеседника. Партия была сыграна блестяще, и он уже думал о другом: впереди был разговор с замом директора по кадрам. Судя по всему, она была каленым орешком. У Бориса Евсеевича было всего две подобных встречи. Первый раз столкнувшись с женщиной-мужланом, как он окрестил ее, Борис Евсеевич растерялся, начал деликатничать, "клиентка" устроила истерику; она была чем-то похожа на Игоря Павловича – покорно сдалась. Вторая оказалась натурой романтической, денежной, поскольку в двадцать четыре года "выскочила" за шестидесятилетнего генерала, она отдала пять тысяч, не задумываясь.

Борис Евсеевич посмотрел в сторону первого подъезда. В эти часы возле него обычно стоял Загоруйко. За годы лагерной жизни он даже спать научился стоя и отдыхать, сидя на корточках. Все сидят на скамейке, свободное место есть, а он сидит рядом на корточках.

У первого подъезда никого не было. "Наверное, печень закапризничала, а может, желудок, – подумал Борис Евсеевич, – могли и нервы разойтись. Зря погоду не послушал. Видимо, упало давление. На сердце что-то беспокойно..."

Замдиректора приехала через двадцать минут после звонка. Когда Борис Евсеевич спустился во двор, она уже сидела на скамейке и читала газету. Женщина успела сменить кремовый костюм, в котором недавно была на свидании, на иссиня-черный, покрытый блестящими чешуйками. "Похожи на чешуйки змеи-

...вой кожи", – отметил Борис Евсеевич. Умеренное декольте закрывал неизменный белый шарф.

– Что любопытного происходит в мире? – он опустился на скамейку.

Женщина дочитала заинтересовавшие ее строки, сложила газету пополам и в упор посмотрела на Бориса Евсеевича.

– Слушаю. У меня крайне мало времени. Через полчаса совещание. Меня ждет служебная машина.

– Вас зовут Анна...

– Михайловна.

– Можно не смотреть на меня по-прокурорски?

– Давайте без эмоций: сухо, коротко, ясно.

– Я видел вас с мужчиной.

– У вас еще вопросы есть? Я отвечу на все сразу.

– Ваши намерения серьезны?

– Кто вы такой, чтобы спрашивать меня об этом?

– Как пишут в газетах, ваш современник, соотечественник.

– Не густо. Я так и предполагала.

– Зачем же вы приехали?

– Из-за Андрея.

– За себя не боитесь?

– Я прошла такую школу жизни, что меня напугать, знаете ли... Хотела бы я посмотреть на такого человека!

– Посмотрите! – Борис Евсеевич слегка поклонился.

Анна Михайловна задрала ногу на ногу, платье на бедрах натянулось, чешуйки заблестели, загадочно подмигивая Борису Евсеевичу.

– Я думал, что Кибелы перевелись, – тихо заметил он и, увидев недоумение на лице Анны Михайловны, пояснил: – Эта богиня требовала полного подчинения себе. Она появлялась в окружении диких львов и пантер, и корибантов и куретов.

– Кого-кого? – наморщила выпуклый лобик Анна Михайловна.

Борис Евсеевич выдержал нужную паузу:

– Пьяных молодых мужчин.

– И это все? – надменно усмехнулась Анна Михайловна. – Послушайте, а вы забавный старик. С удовольствием бы поболтала с вами, но до совещания осталось двадцать минут.

– Не смею задержать. Возьмите фотографию на память, – Борис Евсеевич достал из кармана новый конверт.

– Качество не ахти, но момент, надо сказать, выбран пикантный. Это куда же у него рука потянулась... – Анна Михайловна заметно смутилась. – Сколько стоит эта картинка, разумеется, с негативом?

– Не продаю.

– Зачем же вы меня пригласили?

– Поговорить. Меня беспокоит судьба детей этого молодого человека.

– Им ничего не грозит.

– Я вам не верю.

– Угрожаете? Но чем? Картинкой, что ли? Пошлете жене? Ее это не удивит. Она сама запуталась в любовниках.

– Я не собираюсь разыскать его жену. Я пошлю фотографию в партком.

— Папаша, у вас никакого психического заболевания нет? Вон вы и словечки какие-то употребляете, какие нормальному человеку в голову не придут.

— Вы опоздаете на совещание.

— Спасибо за заботу! — Лицо Анны Михайловны пошло белыми пятнами. — Вы понимаете, что одной такой невинной шуткой можете сломать мне жизнь? — Она придвинулась поближе. — Папаша...

— Не надо фамильярничать. Мы же с вами не друзья еще.

— Но и не враги.

— В вас начинает просыпаться что-то человеческое.

— Извините, как вас?..

— Никак. Обращайтесь ко мне, как к пустому месту или к памятнику.

— И все же?

— Называйте меня "гражданином", "бандитом с большой дороги", я к этому привык.

— Товарищ гражданин, — проговорила Анна Михайловна так, словно зубы у нее склеились. — Поймите, для меня Андрей — это упавшее с неба счастье. Я всю жизнь прыгала, как карась на горячей сковородке. Была мастером, начальником цеха. Меня подсидели, я слетела в начальники отдела. Опять выплыла. Дома меня почти не видели. Потом я поняла, что дома у меня и не было.

— И теперь вы решили взять реванш. Меня поражает ваша трогательная забота о молодом спутнике.

— Что вы имеете в виду?

— Вы решили купить ему машину.

— Допустим... — голос у Анны Михайловны дрогнул.

— Зеленого цвета, — многозначительно уточнил Борис Евсеевич.

— Чертовщина какая-то! Вы не в филармонии работаете? Там выступают такие, что находят в зале иголку, отгадывают мысли. Раньше я думала, что это все — ловкость рук, мошенничество.

— Сегодня в половине одиннадцатого вы принесете сюда те девять тысяч, которые отложили на машину. А после свадьбы я их вам верну.

По лицу Анны Михайловны промелькнула ироничная улыбка.

— Нет, не нужно!.. — Борис Евсеевич не договорил, коварная боль, затаившаяся под лопаткой, напомнила о себе так, что дыхание перехватило. Он открыл рот и задышал судорожно и часто, словно рыба, выброшенная на берег волной. — Не нужно ничего приносить...

— Нет уж, сделаем по-вашему. В день нашей свадьбы, куда я приглашу вас, вы подарите нам машину. Знаете, это будет очень трогательно.

"Она сидит и ждет моей смерти! — эта мысль заставила Бориса Евсеевича собраться. Он выхватил из кармана спасительный нитроглицерин. — Для нее девять тысяч — пустяк. Я скоро стану миллионером!" Борису Евсеевичу захотелось, чтобы эта самоуверенная женщина поскорее ушла и больше никогда не появлялась, но ему не давала покоя судьба Андрея, его детей. Он понимал, что Андрей глуп, ветрен, и все же было жаль его, как

бывает жаль щенка, выброшенного на улицу из домашнего тепла.

Под лопаткой снова пугающе закололо. Нитроглицерин еще не рассосался и не начал свое спасительное действие.

– До вечера. Я приду, видимо, пораньше. У меня встреча с нужным человеком. До моего вопроса на совещании осталось восемь минут. Я еще успею.

Борис Евсеевич слышал угасающие твердые шаги и не мог пошевелиться – колющая боль пронизывала тело. Но было все же ощущение, что он опередил ее и этот раунд болезнь проиграла.

Загоруйко затемно вышел из подъезда, шумно вздохнул отстоявшийся за ночь воздух, окинул острым взглядом пустой двор, подметил покосившийся грибок на дальней детской площадке – это в потемках развлекались "хомячки" – так он именовал парней и девчат, затянутых, словно в тугие перчатки, в фирменные джинсовые костюмы; сытые, разопревшие от неудовлетворенных желаний и чувств, они устраивали под грибком "свальные игрища", выказывая удаль и силу перед своими подругами, похожими на фарфоровых куколок. Потом раздумчивый взгляд философа Загоруйко наткнулся на два колченогих стула, чинно стоявших возле третьего подъезда, – это ленивые жильцы приготовили подарок дворнику.

"А это что?" – страдающий близорукостью Загоруйко прищурился: на скамейке под разлапистым кленом лежал белый куль. "Бумагу выбросить не могут. Нынче все бумагу на книжки в магазин тягают. Стулья сорок метров пронести не могут, а бумагу по два пуда каждый интеллигент прет, как ломовик!" Любопытствуя, Загоруйко подошел поближе к скамейке, различил туловище, ноги. "Пьяный уже проспался бы, а бездомных у нас нет, не Америка!" – желчно подумал он и по плащу узнал Бориса Евсеевича. Тот лежал, неловко завалившись набок, его рука свесилась почти до самой земли, словно хотела дотянуться до тускло горевшего бутылочного осколка.

"Подышать вышел, и сердечко прихватило", – Загоруйко хотел приподнять разжиревшего соседа, растереть ему грудь и привести в чувство, но заметил бурые пятна на безукоризненно светлом плаще, они были похожи на пятна засохшей пожарной краски. Еще не соображая, что произошло, подчиняясь лишь внезапному страху, Загоруйко остановился и увидел на плоском, похожем на маковку спелой дыни, затылке Бориса Евсеевича круглую дырку.

"Вот те раз! Кому же это он поперек дороги встал? Впрочем, я ведь тоже никогда и никому не мешал. Вся жизнь – сплошной абсурд?" – Загоруйко, за лагерные годы привыкший ко всякому, уже спокойнее посмотрел на серое лицо соседа, на сплющившийся о жесткую скамейку нос и подумал, что нос, наверное, застыл и не распрямится. Он вспомнил, что Борис Евсеевич должен ему двадцать рублей, и подумал: эти деньги ему, малообеспеченному пенсионеру, никто не вернет. Он вытащил из кармана соседа желтое портмоне, в нем лежали две десятки, и потеплел: товарищ хотел вернуть ему долг, но не успел, а значит, он, Загоруйко, все сделал правильно. Он спрятал деньги по давнишней лагерной привычке в носок и пошел вызывать милицию.

P. S.

При обыске в квартире Бориса Евсеевича нашли 156 тысяч рублей.

Деньги лежали в пакетах из-под сахара, манной крупы и риса, от 9 до 2 тысяч в каждом. Пакеты были, что удивило следователя, зачем-то пронумерованы. Из сорока трех пакетов не было пятого и двадцать шестого. На портмоне Бориса Евсеевича экспертиза обнаружила отпечатки пальцев Загоруйко, и он уже вторую неделю находится под следствием.

ХАМ

Рассказ

Солнце плавило город. Черенок лопаты жег ладони, ее острое жало двоилось, троилось, брызгало серебряными искрами. Алексей хотел поплевать на ладони, уже натертые до мозольной твердости, но вязкая слюна прилепилась к нижней губе.

"Все! Баста!" – он рукавом шмурыгнул по шелушившимся губам, отшвырнул лопату и по сыпучему откосу самодельной канавы выкарабкался наверх; от вспотевшего асфальта поднималось смуглое марево; в нем вязли дома, машины, зыбкие человеческие тени; привыкшие к перекопам, перестройкам, граждане стороной, с пониманием обегали свежую яму и развалившегося на рыхлой земляной перине Алексея; гудели в них заведенные с утра моторчики с нетрудной программой: "Успеть!.. Позвонить!.. Не опоздать!.. Успеть!.." И попробуй разорви это кольцо, похожее на круг ипподрома, – собьется с ритма моторчик, затрясет бедолагу, недовольно застучат сработавшиеся детали, того и гляди заглохнет или пойдет в разнос, и тогда в страхе подумаешь: "Лучше бы не притрагивался к нему. Пусть катится, тарахтит, пока не развалится сам по себе".

"Ну и жарюга, ну и печево!" – разморенно вздохнул Алексей, уставший не от летней землекопной работы, – ему ничего бы не стоило прорыть траншею через всю площадь, – мучило и мешало другое: почему, с какой стати он должен рвать пупок? Есть, пить ему, что ли, нечего?

Алексей, прищурясь, посмотрел в сизое небо.

Грибной дождь пролился внезапно, то ли из белесого, прозрачного облака, зацепившегося за Останкинскую телебашню, то ли из пепельной угарной тучи смога, нависшей над городом. Алексей стянул с лохматой головы серую кепку и в ожидании прохладных щекочущих струй прикрыл глаза; лицо у него было широкое, нос приплюснут; говорили, что когда мать жила на севере, то на чукчу насмотрелась; руки его, опиравшиеся на комковатую землю, напоминали клешни рака; правая была заметно больше левой, и сила в них чувствовалась недюжинная; если уж кто в драке попадал ему под руку, он мог играючи кости поломать, и удар у него был отменный: бил, как молотом. Алексей откинул со лба волосы, нетерпеливо облизнул сухие, узкие губы, но напрасны были его ожидания – грибной дождь не долетал до

раскалившегося, размякшего от высоких температур асфальта. В метре от пористой, испускавшей испарения смолы и гудрона поверхности он испарялся и повисал жарким парным облаком. Алексей прикрыл глаза и, не мигая, посмотрел на тусклое солнце, отделенное от него стеной сверкающего дождя и тысячами километров воздушного и безвоздушного пространства. Глаза у Алексея были острые, настороженные, привык он, что на него не один раз смотрят, а два: сначала, чтобы общий рисунок схватить, а потом, стараясь понять, чего же в этом рисунке не достает: грудь природа дала Алексею широкую, развернула его в плечах, налила крепостью шею и руки, а вот с ростом у нее что-то не заладилось: как обрезало.

Смотрит Алексей на солнце с усмешкой и думает, вернее, вспоминает еще из школьных лет: "Только тот, у кого совесть чиста, может, не мигая, смотреть на солнце". В те годы много разных анекдотов про Мао Цзэдуна было в обиходе у дворовых мальчишек; тайком, стараясь проверить себя, они поднимали лицо к солнцу, но глаза тут же закрывались, из них выкатывались слезы, и потом минуты на две терялось зрение, словно дерзнувший поднять глаза к солнцу тут же наказывался за свой необдуманный поступок. Тогда же, мальчишкам, китайский вождь, "самый-самый светлый", как писали тогда в газетах, и впрямь представлялся человеком необыкновенным и загадочным и конечно же бессмертным.

"А вот теперь небо такое грязное, что каждый может смотреть на солнце, сколько ему вздумается", – Алексей лениво зевнул, потянулся; от глинистой, еще не успевшей прогреться земли исходила мягкая прохлада. "Эх, сверху бы еще капнуло, совсем бы жизнь клевая пошла!" Алексей посмотрел на сгустившийся пар и рассудил так: "Если дождь идет из тучи смога, то наверняка он керосиновый или бензиновый. Потому и до земли не долетает. Сейчас в то место, где пар погуще, зажженную спичку бросить, так шарахнет, что полгорода, а то и весь город снесет. На хрена еще какую-то нейтронную бомбу изобретали?" – Алексею такой поворот мысли пришелся по вкусу. "А может, вскорости вся атмосфера поменяется, – фантазировал он дальше, – в самом низу будет что-то наподобие солярки, повыше – керосин, а еще повыше – бензин, а на самом верху... на самом верху – эфир". Алексей с трудом припомнил это старинное слово, засомневался, поскольку школьную химию уже забыл и не знал: из чего получают эфир, вернее, можно ли получить эфир путем перегонки бензина? Но тут же сообразил: небесный эфир – совсем не тот, что продается в аптеках. "А откуда тот, небесный, возьмется, если кругом будет бензин и керосин? Значит, наверху будет аптекарский", – опечалился Алексей и, жалея себя, подумал, что, будь у него времени побольше, начитался бы он разных ученых книжек и, глядишь, не сидел бы сейчас на краю траншеи, вывалявшийся в глине, пропитавшийся городскими нечистотами, а решал, скажем, глобальную задачу, как H_2O, воду то есть, дешево и сердито разложить на водород и кислород. Нашел бы такой способ – и сразу все энергетические проблемы канули в прошлое; природа гениально соединила топливо–водород и окислитель–кислород и подарила это соединение людям в таких огромных количествах, что... "Ума, ума еще не хватает, чтобы

все понять, – усмехнулся Алексей, – выходит, что я, полуграмотный Лешка, и тот лупоглазый профессор, что шлындает по белым кафельным полам в белом халате, днями и ночами пялится в очко микроскопа, выполняя правительственное задание по выращиванию грибка-импотента для производства безалкогольного пива, одинаково глупы...”

– Почему загораете?

Алексей опустил глаза, увидел плотного мужчину в черном костюме и подумал: почему тот не сварился вкрутую? Волосы у мужчины подстрижены коротко, в руках – коричневая папка; морщась, мужчина кивнул в сторону вонючей лужи, растекшейся в левом углу небольшой площади перед райсоветом.

– Почему загораете?

– Не понял вас? – с едкой вежливостью спросил Алексей.

– Где ваш начальник? – рявкнул мужчина.

– На то он и начальник, чтобы не докладываться, – Алексей притворно вздохнул, взял в руки комок земли и, словно снежок слепил, стал тискать ее. ”Мелковата птичка, мелковата, а как из себя пыжится. Нет, голубчик, ты скорей сам себя напугаешь, а я глазом не моргну. У меня бригадир так собачится, что если бы ты хоть разок услышал, от зависти бы сдох”. Слепил Алексей земляной шарик и с руки на руку его перебрасывает, вроде бы как жонглирует.

– Когда все в порядок приведете? – косясь на шарик, уже мягче спросил мужчина.

– Чего вы так вопрос ставите, словно я это наделал?

– Слушай ты, говорливый!

– Слушайте! – поправил Алексей.

– Это по вашей вине творится такое безобразие! – на ходу перестроился мужчина.

– Вы там работаете? – Алексей глазами показал на белокаменное здание, окруженное молодыми серебристыми елочками. – Понятно. Значит, пробочка не по моей, а по вашей вине образовалась. Побольше бы надо за нашу жизнь волноваться, пожиже... ходить будете. Полегче будет всей нашей цивилизации.

– Канализации, – автоматически поправил мужчина и с досадой сплюнул: – Хам!

– Откуда знаете меня? – дурашливо улыбнулся Алексей и в ответ на озадаченный взгляд мужчины с нагловатой галантностью представился: – Харитонов Алексей Михайлович. Сокращенно: ХАМ. Да-да, голубчик, а вы что думали? В системе цивилизации, – Алексей опять глазами показал на вонючую лужу, – академики работают? Да не смотрите на меня так: съесть меня нельзя. Я насквозь провонялся. К тому же, ”химик” я, чего с меня возьмешь?

– Проживание в столице и ее зеленой зоне ”химикам” запрещено. Постановление есть. – Грамотный попался мужчина, голыми руками такого, как живого налима, не больно-то ухватишь, но и Алексей не гнилыми нитками шит, почесал бок и снисходительно заметил:

– От жизни отстаете: и постановление есть, и ”химики” есть. В зеленой зоне живут, как партизаны.

Мужчина хотел, видимо, сказать что-то, видно, очень значи-

тельное, но слова подходящего не нашел, коротко сплюнул и пошел, как веером, обмахивая себя коричневой шляпой.

"Химик!" – улыбнулся Алексей; он уже отработал себе такую формулу, кому в автобусе на ногу наступит или встанет в магазине в самое начало очереди, на него цыкнут, а он вежливо: "Я химик". Люди посмотрят на его брезентовую куртку с нечеткой эмблемой какой-то строительной организации и притихнут: "химик" – это и не преступник, и не нормальный рядовой гражданин, а какой-то третий сорт, наподобие картофельных очисток.

"А я и есть настоящий химик! – уже веселее подумал Алексей. – Значит, H_2O. Все тут очень просто. Если сложить хлеб и масло – это бутерброд, а водород и кислород – это вода. А как их разделить? Как?.." Перепалка с мелким начальником все же нарушила привычное течение Алексеевых мыслей, выбила его из наезженной колеи; ему больше не [illegible].

"Наверное, нужна передышка. Каждый день – одно и то же, – Алексей опять посмотрел на [illegible] физиономию неба – дождь кончился, так и не [illegible] жидкими струями до истосковавшейся по влаге земли. – Чем грязнее работа, тем быстрее от нее устаешь. Насчет того, что "химикам" в зеленой зоне жить нельзя, атмосферу [illegible], законники доперли, а тут... Им бы часок-другой [illegible] на этом бережке, – Алексей перевернулся на живот, – [illegible] это амбре цивилизации, тогда бы ускорение в мыслях [illegible]. У-у, вашу мать! – просто так, от прилива чувств [illegible] Алексей, словно холостым патроном выстрелил. – Эх, [illegible] бы!" – он кулаком хватил по рыхлой земле; только ни с того ни с сего не заболеешь. Врачи – люди ушлые, их не больно-то вокруг пальца обведешь, а если уж очень на них нажмешь, они тебя к стенке припрут: "Ложитесь в больницу на обследование"; может, для одинокого пенсионера залечь в больницу на обследование – предел мечтаний, там тебе и питание трехразовое, бесплатное, и собеседников полно, и белье тебе постирают, и цветной телевизор в фойе бормочет, но не для Алексея такая жизнь.

"У-у, падла! Чтоб тебе жариться на керосинке!" – опять без адреса, беззлобно ругнулся он, перевернулся на спину и сел; посмотрел на перепачканный рыжей землей тупорылый ботинок сорок четвертого размера, пошевелил пальцами левой ноги – мизинец двигался трудновато, будто чужой наполовину был. Этой весной Алексей, дойдя в тоске до ручки, зажмурился и, словно пестом, ахнул по ноге обрезком трехдюймовой трубы, перебил мизинец, и сразу – другая жизнь. Уже не надо в половине седьмого вскакивать от полоумного будильника и, наскоро перекусив, сломя голову мчаться к остановке, рывком вжиматься в переполненный автобус, в душной металлической утробе которого сдавленно попискивают зачумевшие от духоты женщины.

"Нужна передышка, нужна!" – Алексей поднялся, отряхнул брезентовые штаны от налипшей земли, глянул в собственноручную траншею – на дне уже собралась млечная вонючая жижица, и подумал: если грохнуться в траншею боком, то может ребро гавкнуться, только уж очень он весомый, запросто может не одно, а два или три ребра разом поломать, и ну как одно из них проткнет кишки, тогда считай, на всю жизнь инвалид.

"Вот, гаду Вовке повезло!" – топчась на краю ямы, зло позавидовал Алексей старшему брату; полгода назад врачи обнаружили у него цирроз печени, и тот теперь неделю работал, неделю бюллетенил и жил в свое удовольствие. Ему теперь стоит пойти к врачу, пожаловаться, тут же освобождение дают, да еще путевки в санаторий предлагают. А вот в чем эта братова болезнь заключается, Алексею непонятно: брат как закладывал по целой неделе без просыпу, так и сейчас тем же занимается, питейные способности от цирроза не убавились. А если уж, как говорят те же врачи, лет десять до старости не доживет, так, может, оно и к лучшему; кому нужна эта старость, когда ходишь по стеночке, когда то нельзя, это нельзя. Вот сейчас Алексею все можно, кроме одного – побюллетенить недельку, передохнуть.

"А почему бы и не сделать передышку? Почему? – все круче, все жестче накручивал он себя. – А почему бы тебе еще годик старости не отдать за кайфовую жизнь? Ты же на сто лет заведен. А тебе бы вполне хватило пятидесяти; но такой жизни, чтобы в свое удовольствие. Значит, те пятьдесят тебе как валюта даны. Можешь на них покупать удовольствия более высокого качества, как те, кто работал за границей, товары в магазине "Березка". Чем ты хуже их?" Тут Алексей аж зубами заскрипел от злости, чеки – это его больное место; муж сестры уже третий год работал в Иране; он был тоже из простых работяг, но нашел связи, завербовался, и теперь сестра имеет чеки и носит такие кофточки, что его жена Надька вся изъздыхалась. Алексей пробовал с сестрой и по-хорошему поговорить и пугал ее, но она ни в какую не соглашалась продать чеки один к одному, все норовит содрать с него один к двум, а за такую цену их у любого барыги купить можно.

"Ну, где наша не пропадала!.." – Алексей с маху плюхнулся в траншею, головой ткнулся в мягкую землю, ударился ногой о торчащий из земли кирпич, на мгновенье увидел сверкающую лужу вонючей жижицы и даже подумать не успел, как бы не попасть в нее, – земля из-под коленей поползла, и он ткнулся лицом прямо в вонючую жижу.

"Во, бля... – Алексей чуть было не захлебнулся нечистотами и на корточках выполз наверх, рукавом вытер лицо. – Неужто я зря дерьма наглотался? – мысленно он прошелся по своему телу, нигде и ничего не болело. – Во, падла, как заговоренный!" – не на шутку разозлился он.

"Садануть, что ли, чем по пальцу?" – уже разжегший себя, накрутивший, Алексей возбужденно осмотрелся, увидел разводной ключ, потом кувалду; схватил ее, увесистую, за черную захватанную грязными руками ручку и поискал тот самый кирпич, о который зацепился, падая в траншею; он хотел положить на него палец, но вспомнил про свою прежнюю весеннюю попытку: он тогда положил палец на доску, и когда опускал молоток, то в последнюю долю мгновения пожалел себя; искры брызнули из глаз, запрыгал Алексей от боли, но палец только посинел и распух.

"Безнадега. Сильно хватишь, палец раздробишь, слабо – только намучишься впустую", – Алексей отшвырнул кувалду, чтобы попусту не смущала, и посмотрел на часы; с минуты на минуту мастер прибежит, он даст ему жару, чтобы не загорал, а копал траншею до седьмого пота, стоя по колено в испражнениях

сограждан: где-то пробка образовалась, он уже три метра прокопал, а место это злополучное пока не обнаружил.

"Во, попал, во, попал!" — Алексей увидел высунувшийся из земли кирпич, хотел было поддать его носком ботинка, чтобы выместить на нем всю свою злость и досаду на неласковую к нему судьбу, но оступился и с маху свалился в траншею, боком шаркнул о трубу, правая нога его уперлась в податливую землю, и Алексей почувствовал, как ноге становится холодно — это затекала в ботинок зловонная [illegible]; он рывком вскочил, но поскользнулся, нога неловко подвернулась, и что-то хрустнуло в ступне; от боли Алексей тихо, по-щенячьи пискнул, словно в это мгновение забыл матерные слова, понимая беспомощность перед настоящей болью, и замер.

"Неужто ногу сломал? — [illegible] он, не смея стронуться с места. — Неужто ногу?.." Алексей [illegible] тяжесть тела на здоровую ногу, оперся рукой о землю, лег на живот и, осторожно подтягивая к животу [illegible] и дело останавливаясь, чтобы убедиться, "как она там, не [illegible] еще?", выполз на гребень траншеи, [illegible] ощупал разом онемевшую ступню.

"Вроде кость цела. А [illegible] перелом? Черт его знает! Врачи разберутся! — [illegible] он. — Хотя перелом нам ни к чему. Тре[illegible] дело. Трещинка — она особо не навредит". Алексей [illegible] к лопате, опираясь на нее, поднялся и доковылял [illegible] улегся на пружинистый, недавно подстриженный [illegible] в тени каштанов и, морщась от боли, вытянулся [illegible]; ступня стала понемногу отходить, и колкие [illegible] покалывали то подошву, то пятку.

"Нормалек, полный нормалек!" — блаженствовал Алексей, приятно удивляясь тому, как это ему неожиданно подфартило.

"Значит, судьба. Значит, нужна передышка, и вот она теперь есть!" Он прикрыл глаза и, разморенный прохладой, задремал. Проснулся от лающего, похожего на сухой кашель голоса:

— Я тут с ног сбился, а он дрыхнет себе! А ты, розмарин, подумал, что тебя из окна райсовета видно?! Они, может, уже "воронка" вызвали. И он к тебе уже на всех крыльях летит? И что не тебе, а мне по первое число врежут? Ты об этом подумал?

Нехотя освобождаясь от сладкой дремоты, Алексей проморгался; словно красная лампочка для освещения теплиц, над ним нависало лицо мастера.

— Привет, Михалыч! — примирительно улыбнулся Алексей. — Я тебя только что во сне видел.

— Где взял, еще двух нету?..

— Шаблонно мыслишь, Михалыч. У меня нога лопнула.

— Труба?

— Я же сказал: нога. Нога, Михалыч, понимаешь, нога!

Бригадир осторожно, словно ступал на светлый ковер в чужом доме, шагнул на райсоветовский газон и наклонился к Алексею.

— А ну дыхни!

Алексей посмотрел на его лицо, похожее теперь на ноздреватую губку, и ему захотелось плюнуть в него, поскольку имел он в эту минуту право на такой вот поучительный поступок.

Михалыч даже словом не воспротивился: привык, бедолага, к хамству, но Алексей подавил сладкий соблазн — бригадир и так стоял перед ним на коленях, словно вернувшийся блудный сын: топчи его ногами, ругай последними словами — не пикнет, гад. Алексей заметил на рубашке у бригадира разные пуговицы и подумал: аккуратистка у него жена, а моя Надька все норовит меня к делу приспособить, чтобы я — ей! — пуговицы шил. Острая жалость к себе иглой воткнулась в сердце, стало так больно, что хоть плачь. Алексей тревожно посмотрел на Михалыча, не смеется ли тот над его тихой болью.

— И как тебя угораздило? — бригадир грубовато притронулся к больной ноге Алексея.

— Только без рук, Михалыч, только без рук, — поморщился раненый Алексей, сразу забыв о своих переживаниях. — Что я тебе, экспонат, что ли?

— Ты уж потерпи, — бригадир поднялся с колен.

— Вызвал бы "скорую", а то еще заражение произойдет.

— "Скорая", она акт составит, премии всю бригаду лишат. Ты же на работе...

"Неужто бы я себе ногу стал дома ломать!" — поразился Алексей недогадливости бригадира и проворчал:

— Ты за премию удавишься. Ты за деньгами людей не видишь.

В другое время Михалыч сказал бы ему что-нибудь эдакое: дай ему автомат, он бы всех таких к стенке поставил, а тут промолчал, не стал тужиться.

— Я сейчас "аварийку" со второго участка вызову. — Михалыч пошарил по карманам. — У тебя двух копеек нет? А то у меня десюнчик, и разменять негде.

— Ну и жлоб ты, Михалыч, — Алексей разобиженно отвернулся. — Пожалел! Да случись такое с тобой, я б тебя на спине до больницы доволок... Слушай, дай-ка мне твое плечо, я на него обопрусь и, может, до остановки доковыляю.

— Да обожди, я сейчас "аварийку"...

— У меня жизнь одна, — Алексей повернулся на бок и подумал, что в больнице еще час с ним провозятся, а он мог бы уже сидеть в родном дворе под грибком и подтрунивать над безобидными, скучными, но такими забавными пенсионерами. Ему нравилось, что пенсионеры с ним заигрывают. Это очень даже правильно, что он их в страхе держит, потому что облезлому племени только волю дай, они тебя и заложат, и донесут, и до сведения доведут; оголтелый народ, которому нечем занять опустевшую от безделья и старости голову. Но его они уважают, все с ним первыми здороваются, а если уж совсем осмелеют, то и ручку — сморщенную, худенькую — тянут: во-во! Так бы всегда!

— Давай, Михалыч, давай, милый, — Алексей засмеялся: очень уж трогательно, наверное, выглядело со стороны: пожилой бригадир в полупоклоне, можно сказать, выносит на своих плечах пострадавшего на рабочем месте молодого товарища. А товарищ, хоть и ранен, но жизнерадостен...

Через два часа, опираясь на костыль, Алексей, а впрочем, можно Лешка, ибо теперь к дому ближе, можно без церемоний, показался в родном дворе. В кармане брюк топорщился и по-

хрустывал, похожий на ассигнацию, свежевыписанный бюллетень. С маху Лешка распахнул дверь подъезда так, что она шваркнулась о стенку.

Пусть высунется из своей двери Нюра-нерва. Она всю жизнь проработала телефонисткой и теперь вздрагивает от каждого шороха; пусть высунется и обомлеет, увидев забинтованную Лешкину ногу; пусть высунется и всплакнет: Лешку ранили! Неужто не хватит ее дешевых слез оплакать еще одну несправедливость жизни? Поплачь, Нюрок, поплачь!..

А потом пусть раскроет безумные глаза татарка Рая. Лешка живо представил, как заработает в ее торгашеской башке сложный кассовый аппарат: с кем пил, кто его бил, сколько дать, если в долг попросит? Дай, Райка, трюльник, отпусти и бутылянчик, не заставь колченого хлопца бечь в магазин, уступи по сходной цене рабочему парню маленькое утешение; глядишь, и он тебе пригодится — он ведь только ногу поломал, а остальное-то в полной сохранности и боевой готовности.

А вот и второй этаж, и третий миновали — сейчас щелкнет дверь Агриппины Ивановны; тянет из ее двери теплым хлевом; редко выходит из дома бабка Агриппина, трудно таскать по этажам многотонное тело, вот и приоткрыта дверь в жизнь, вот и светится оттуда ее хитрый глаз; сидит у двери на стульчике, всех по шагам узнает, а уж с кем поговорить, кому так просто дорогу дать, сама решает.

Но не открылась дверь Нюры-нервы; подумала, поди, пьяный Лешка; слышны в коридоре ее взвинченные шаги. Знает Нюра, что Лешке пьяному — слова не скажи. Будет три ночи стоять под дверью и звонить, и стучать, и ногами бить: выходи, мол, старая дура, покурим, я тебе про свою мать, а ты мне про свою дочь расскажешь. Так, растак, да не эдак. Слово за слово, слеза за сердце. Боится, курва! Невдомек Нюре-нерве, что Лешка сегодня от радости ошалел. Вот она, нога, забинтована, и бюллетень в кармане. Хирург сказал, что недели на две Лешка свободен от работы, и посоветовал побольше ходить. А зачем ему ходить? Ему и принесут, и нальют. Умеет жить Лешка! А ты, хирург, со своими советами, знаешь куда бы шел?!

А вот и четвертый этаж. Коричневая дверь, обитая под кожу. Здесь живет Люська-воображала. Посмотрел на эту дверь Лешка, и досада взяла: можно сказать, четыре этажа впустую прошел, а она, видишь ли, не появляется; нажал кнопочку, оперся на костыль и элегантно так выставил вперед раненую ногу; выпорхнула Люська в одном халатике, сделала кислую мордочку и стала дверь закрывать: одна, значит, и испугалась, стало быть. Но Лешка не промах: сунул костыль, и дверь теперь без Лешкиного позволения не закроешь.

— Дай двадцать копеек, на лекарство не хватает, — сказал Лешка едко.

Ни слова не проронила, ничем не выдала своего всестороннего расстройства, вынесла двадцать копеек, покорно так протягивает; Лешка даже обиделся, ишь, какая спокойная! Она бы ему одно слово, а он ей — два, она бы — два, а ему бы и побольше можно, он — раненый. Ах, как приятно поговорить с интеллигентным человеком!

Зря четыре этажа проковылял, снова пожалел Лешка. Ладно,

решил он, на обратном пути наберет на портвешок. А вот и его, Лешкина, дверь; полез было за ключами, но глядит, дверь приоткрыта; зашел, а точнее сказать, скакнул в прихожую, а на тахте сидит пополам сложенный перочинный ножик.

– Брательник! – обрадовался Лешка.

В отличие от Лешки все у Вовки узкое, острое, словно его в детстве дверью прищемили.

Только увидел он Лешку, кинулся к нему, а в руке мелочь звякает: трясется рука братана.

– Слушай, Лешк, дай двадцать копеек!

Лешка разжал кулак и протянул нагревшуюся Люськину монету.

– Где взял? – не поверил такой удаче брат.

Лешка многозначительно поднял указательный палец: в послеобеденной тишине были хорошо слышны щелкающие звуки, словно кто-то, балуясь, стучал маленьким молоточком по жестянке.

– Да я уже слышал, – сказал Вовка, – чеканкой кто-то занимается.

– Деньги кует! Вообще-то, это Люська-писательница на машинке стучит, – сказал Лешка с печалью в голосе, – она завсегда отвалит рубль или полтинничек. А сегодня вот и двадцати копеек не пожалела.

– С соседками ты сам разбирайся. Меня это племя интересует так же, как выборы в Дарданелле.

– По-моему, такой страны нет.

– Ну и хрен с ней! Главное, чтобы в магазине было.

– Да обожди, не суетись!

– Неужто есть? – не поверил Вовка.

– Под ванной стоят банки с краской и две бутылки с растворителем. В той, с которой этикетка наполовину сорвана, запас на черный день.

– Ну ты даешь! – поразился Лешкиной запасливости старший брат. – Белой горячки боишься?

– Вдруг прихватит. Надька, хоть помирай, ложки не нальет. Но теперь я на бюллетене. Обновлю свои запасы и пополню. Понимаешь, брат, я недели две, а если повезет, и три – сам себе хозяин. За такую везуху и выпить не грех!.. Слушай, а как ты сюда без ключа попал? – Лешка немного удивился: почему это раньше у него такого вопроса не возникало. – Через замочную скважину, что ли, пролез?

Вовка уже извлек из братовых запасников бутылку, и ему было не до словесных игр.

– Надька пустила. Она в магазин пошла.

– За закуской, значит, – Лешка пропустил брата вперед.

Сели они на кухне друг напротив друга, выпили по полстакана, и сначала плавно, а потом все быстрее, все горячее побежал разговор; оживился Вовка, глаза блестят, жесты исполнены достоинства; нет, не циррозный пьяница сидел перед Лешкой, а въедливый, всезнающий прораб, да чего там прораб! Начальник участка, съевший собаку на отделке бетонных коробок, очумевший от пышущих жаром мангалов, которые затаскивают зимой в промороженные квартиры, чтобы немного подсушить их, подклеить, а что с ними дальше будет, про то голова не болит! Нет,

болит, только что может он, небольшой начальник? Но вот Вовка берет еще выше, он почти начальник треста, но слишком дотошно знает жизнь, слишком болеет за всё, нет, не усидеть такому... Обо всем говорили старший и младший братья, ко всему прикоснулись заинтересованным, а подчас и ядреным словом, отчаянно уверенные в том, что судят и милуют толково, праведно, что их слово не растворится в томном июльском воздухе, как брехливый собачий лай. Да и когда же, где поговорить им о больном и наболевшем, когда возвыситься мыслями к небу, как не в эти дорогие — и буквально тоже — минуты сопричастности со всем миром; ты все о нем знаешь, и уже почувствовал свое, самой судьбой отведенное место в нем; и уже потянуло нафталинным холодком от приоткрывшейся двери в никуда, но ты собран, великодушен, скуп на глупости и эти оставшиеся крохи проживешь так, чтобы искупить мотовство и [illegible] души, и, может... Нет, к черту все эти "может", "наверное", "возможно"! Ты переродишься и умрешь другим человеком, счастливым и довольным собой. Так будет. Да и что там будет! На глазах перерождается Вовка, и младший брат от него не отстанет. Пусть приложит сосед ухо к замочной скважине — и усомнится: Лешка ли это говорит?

Да и когда же простому — черт побери! — человеку поговорить, помечтать об устройстве того места, куда кинула его судьба, как не в те минуты, когда [illegible] хмель течет по знакомым ему мозговым извилинам, когда [illegible] висит и раскаивается в ошибках родной брат? Когда же и простить его и себя? Да сейчас, сию минуту — и надо за это [illegible]... Поднимай, брат, неверную, дрожащую руку! Давай поцелуемся, милый мой брательник!..

— Окопались, черти!.. — в дверях [illegible] с двумя авоськами, набитыми молодой картошкой, стояла нарушительница творческой атмосферы — жена Надька. Была она крутобока, щекаста и походила в своей юбке со множеством оборок на созревший кочан капусты.

— Все, Надек, все, милая, — Лешкин брат задом прижался к стене, казалось, сделался еще тоньше и острее и, словно в игольное ушко нитка, просунулся в узкую щель между Надькиным локтем и дверным косяком; изумленная Надька хотела было зажать скользкого Вовку, но он сложился на этой стороне, а разогнулся уже на другой, за Надькой.

— Стой же! — прикрикнула она, но Вовка уже считал ступеньки лестницы.

— Ты чего сегодня такая нежная? — игриво улыбнулся Лешка, наливая жене остатки водки. — Иди, я тебя поглажу.

Надька швырнула сетки с картошкой в угол. Почуяв недоброе, Лешка вытащил из-под стола забинтованную ногу и торжественно положил ее на табуретку.

— Я тебе сейчас и вторую укорочу, — ничем Надьку не проймешь, схватила она стакан со стола и выплеснула содержимое в раковину. У Лешки даже под лопаткой заныло: зря сам не выпил. В другое время он разозлился бы, стукнул жену разок для острастки, но сегодня что-то в нем появилось новое. Он еще помнил неожиданную боль, когда — уж не от стыда ли за самого себя? — скребло у сердца. Он еще не остыл от пылающей страсти и высокого напряжения в разговоре с братом, и потому — пусть бог тебя простит, бедная женщина, я тебя игнорирую! Глупая ты, Надька, как и все мы! Живи, я тебя не трону!

— Дай костыль! — Лешка глазами показал в угол, где стояла деревяшка, его теперешняя спутница в жизни.

— Тебе нужен, ты и возьми!

Ничем не тронуть. Вот она, истинная деревяшка, спутница жизни по судьбе и призванию. Казалось, увидит она его без головы — и тоже не огорчится, а может, обрадуется, шапку покупать не надо.

"Если ей голова моя не нужна и ноги тоже, то что же ей надо? И бил ее, и колотил, а ведь не уходит. Что же держит ее со мной? И я не ухожу". Опустил Лешка голову; были у них раньше планы, мечты: получить отдельный угол, купить машину, дачу. Автомобиль Лешка хотел взять подержанный, он бы с ним полгодика повозился, тот бы лет восемь пробегал. Но очередь на жилье такая, что лет пятнадцать надо стоять, семь лет беспросветно мыкались по квартирам; когда родилась дочка, еще труднее стало: с ребенком никто на постой не пускает. Тут уж стало не до машины и дачи; спасибо Надькиной бабке: глядя, как они мучаются, отказала внуку и прописала ее к себе, а то бы до сего дня скитались по чужим углам. Конечно, со стороны поглядеть, семь лет — всего полторы пятилетки, но эти годы — годы молодости, а тут уж, как на Крайнем Севере, коэффициент: один к двум, а то и выше; когда бабка умерла, Лешка ей памятник за тысячу рублей поставил — большую плиту из белого мрамора, на котором золотом, крупно были написаны ее фамилия, имя и годы жизни, а помельче: "... от любящей внучки и ее мужа"; мечты еще помнились, планы — тоже, но ушли куда-то желания. "Ну, куплю я машину, дачу строить начну, а чего от этого изменится? Ничего. Только расходы увеличатся", — уже трезво, без полета души думал Лешка, и такая ленивая тоска на него находила, что гвоздь в стенку забить жена не допросится, но сегодня его лирическое настроение даже Надька не могла испортить. Он потянулся за костылем, приспособил его под мышкой — плечо болело с непривычки, потом встал, опрокинул табуретку и на обычное Надькино "пень неповоротливый" и оглядываться не стал: ниже его достоинства отвечать на грубость. Промолчал с каким-то даже удовольствием и вышел из квартиры.

Во дворе, под общественным грибком, было пусто; пенсионеры поужинали и по всем правилам новообретенной информации ходили парами рядом с домом, ощущая сытую тяжесть в желудке и сонливость, бороться с которой можно было только движением. И разговоры у них, догадывался Лешка, текли такие же мягкие и безвкусные, как обезжиренный творог, который рекомендовал им журнал "Здоровье" есть утром и вечером. Но Лешке их было не жалко.

"Пенсия — это занудство, — решил он про себя. — Когда тебе нужен стакан кефира и телевизор, а сам ты уже никому не нужен, это не жизнь". Вот дали бы пенсию Лешке сейчас — и как там, наверху, не поймут, что пенсию молодым давать надо. Вон, Агриппина неделю назад подманила его к своему сидячему трону и призналась, что ей бы теперь, на семидесятом году, ребеночка родить; в молодости у нее трое было, но хотелось погулять безалаберно и на людей посмотреть — все не до детей было; может, оттого и выросли такие, как ей кажется, никчемушные: один болеет, а пуще того жалеет себя, другой в Казахстан

уехал искать чего-то, и если раз в год письмишком побалует, уже, считай, повезло. А дочка?.. Про нее Агриппина и вспоминать не любила. Что же, у каждого есть свое больное место, к которому лучше не притрагиваться. А место это саднит, так и хочется порой его разодрать!

"Надо прожить свободные дни толково, красиво". Спускаться по лестнице с костылем труднее, чем подниматься. Лешка даже взопрел от неловкости; вот сейчас покултыхает по двору туда-сюда, туда-сюда, пусть пожалеют трудового инвалида, и когда Надька выскочит из подъезда, чтобы загнать его домой, пусть на нее окрысятся справедливые пенсионеры, и она хоть разок устыдится бабьей своей бесстыдности.

Хорошая болезнь – растяжение связок, заметная; с ней Лешке теперь никто не указ, мог бы сегодня и бригадиру не только в рожу плюнуть, но и в лоб дать, мог бы и Надьке не спустить ее нагловатую бесцеремонность; но нет, с бригадиром бы вышло, а Надька – баба крепкая и дошлая; она сама знает, что растяжение связок – "насморк для спортсмена", она занималась метанием копья; да, было время, Лешка то с перебинтованной рукой, то с забинтованным коленом ходил, штангой в заводском спортзале баловался; там он с Надькой и познакомился; Лешка в те годы тоже на заводе фрезеровщиком работал, имел четвертый разряд; давно это было, остались от тех дней одни воспоминания; они такие живучие, ничем их, даже водкой, не вытравишь из памяти; Лешка и теперь, когда выпьет, ужасно говорит кому-нибудь из алконавтов: "А ну, ложись, на землю!" И никто не осмелится ему не подчиниться; он подходит к распластанной на земле жертве, как бывалый штангист, потирает руки, настраивается; жертва хоть и пьяная, лежит ни жива ни мертва – переживает свое унижение; но вот Лешка, крякнув, опускается, расставляет руки пошире, берет щуплое, испитое тело сотоварища и рывком, под восторженное, артелевское "ух!" поднимает его над головой; покачиваясь, держит его, радостно, довольно улыбаясь.

– Бросай его, бросай! – кричат ему ошалевшие от водки и зрелища одностаканники. – Вес зафиксирован! Чего ты его держишь, как невесту? Кинь!

"Только бы не оступиться, только бы не оступиться!" – стучит у Лешки в висках; он подносит своего пленника к горе пустых ящиков и сажает на самый верх; товарищ, уже немного протрезвевший, смотрит на своего истязателя с ненавистью, ему хочется отомстить Лешке, да уж больно жалкое он представляет зрелище – от унижения еще оправиться нужно; он смотрит вниз, смиряется с положением и начинает жалобно канючить:

– Слышь, сними, Лешка. Упаду, насмерть разобьюсь!

Опять Лешкиным сотрапезникам потеха, а впрочем, каждый из них может оказаться жертвой великолепного Лешкиного произвола.

– Ты у нас сторожевой! – кричат они жалкому одностаканнику. – Мы тебе за верную службу рюмочку нальем!

И наливают, и больше, чем себе, хотя это и не совсем по правилам, но товарища жалко; вот тебе, друг, маленькое вознаграждение: наполнят граненый стакан, сверху кусочек хлеба положат, а на него – кусочек копченой скумбрии и подадут наверх.

— Лешенька! — крикнула из окна Нюра-нерва. — Что это у тебя с ногой?

В голосе Нюры — искренний испуг; такое у нее зрение: рядом пройдешь — не узнает, а вдаль, как через бинокль, видит. Лешка как-то сказал, что ее бы на спутник-разведчик посадить, цены бы ей не было; она оттуда бы, сверху, безо всякой миллионной аппаратуры все рассмотрела, что у них там на военных базах делается.

— Авария была! — громко, так, чтобы все кругом слышали, отвечает Лешка. — Трубу из-под земли вырвало и пошло мотать. Как пошло... — дальше сказать Лешке нечего, и он многозначительно замолкает.

— Да где уж там, — слышится скрипучий голос Терентьича, этот хмырь в соломенной шляпе знает все. — Водопровод — не газопровод. Поди по пьянке ногу в автобусе защемили.

— А что, без пьянки в автобусе защемить не могут? — добродушно огрызнулся Лешка. Ушлый народ эти пенсионеры, ничем их не проймешь! Им бы только в суде на общественных началах работать. "Нет, в суд их допускать нельзя! Засудят нашего брата-алкоголика. Целомудренная братия наведет такие порядочки, что всем тошно станет. Им же для себя, известное дело, ничего не надо. Они же для других живут. Для детей своих, которые ломаного гроша не стоят, для общественности, которую понимают, как нечто неуправляемое, чем только они и могут управлять. Да черт с ними, о них государство позаботится. А я?.." Лешкины мысли опять вернулись к тому, как провести завтрашний день, послезавтрашний. Теперь их столько, свободных дней, будет, что... Воображения не хватало представить, сколько у него впереди счастливых дней, не заполненных постылой работой. Их было так много, что могло не хватить денег на них. Впрочем, Лешка и тут не пропадет: возьмет в руки холщовую сумку, найдет старый дочкин портфель, где хранятся инструменты, вентили, краны, дефицитные прокладки и увесистый паяльник из красной меди, и пойдет в народ — по старушкам одиноким да одиноким вдовушкам; у них и кастрюли и краны всегда текут; раз нет мужской руки в доме, в нем, в Лешке, всегда нужда будет, а раз так, то и накормят, и поднесут, а то и одарят трюльничком, и еще, неграмотные, спасибо скажут за то, что снабдил их Лешка ворованным дефицитом. Пока народ не образовался, жить можно!

— Ну что, подкинуть тебе костяшек? Или свои еще есть? — намекая на больную ногу, поближе к Лешке подсаживается Терентьич, за ним потянулся к грибку отряд остальных доминошников.

— Ты слышал, в Иране опять заварушка.

— Не может быть!

— Чему радуешься? — укоризненно качнул головой Терентьич. — Люди по глупости друг друга стреляют. А через это мы дня спокойно не живем.

"Ну, сеструха, ну, стерва, дождалась-таки!— ликовал Лешка.— Поди, дрожишь над своими чеками. И кофточки тебя не греют. Будешь знать, как ради барахла на второй срок засылать своего разлюбезного в чужие края. А мужика жалко. Да-а, жалко. Бабы, они от достатка звереют", — Лешка уже хотел высказать свои

размышления вслух, но рядом сидел Терентьич; он, конечно, в душе с ним согласится, но на словах непременно осудит; такой уж он есть, двусторонний, как медаль; Терентьич работал директором автоколонны и при случае, ударив костяшкой домино по столу, любит напомнить про свое блестящее автомобильное прошлое: "У меня когда-то две тысячи в подчинении было. А уж тут как-нибудь сообразим!"

Только больше Терентьич проигрывает, не вышел все-таки интеллектом. Его всегдашний противник, бывший прокурор Дудин, молчаливый и вечно недовольный, своего не упустит; он, как догадывается Лешка, всегда предпочитал двум тысячам в подчинении две тысячи в кармане; говорит, сто тысяч лежат у него на книжке — ждут своего часа. Он живет лишь на пенсию, а накопленные денежки не трогает: то ли боится потратить лишнюю копейку, то ли привык к воздержанию — деньги ему не нужны, то ли ему приятно, что есть у него деньги, их он изъял у несовершенного общества, и вот может израсходовать их, а не станет, потому что не желает быть похожим на чернь, которая, едва заведется у нее копейка, [illegible] ее потратит на еду или тряпки. Лешка подумал, что, может, прокурор часто любуется на произведение своей жизни — [illegible] денежное накопление — и думает уважительно, что [illegible] жизнь прожил, вот она, цена его жизни! А может, он [illegible] себя государственным банком или Рокфеллером и ждет того часа, когда разрешат не только кооперативное кафе открыть, но и автомобильный завод построить, и будет он клепать "[illegible]" для своих сограждан.

Впрочем, будь у Лешки сто тысяч, как бы он ими распорядился? Но у него пока только две [illegible] в запасе, и то он не знает, что с ними делать.

— Компанию составишь? — опять скрипит Терентьич.

— А ты мне?.. — выразительно и грубо спрашивает Лешка и щелкает пальцами по горлу.

Терентьич, похоже, шокирован.

— Видишь, у меня нога больная. Там теперь за этим очередь на полдня. Может, постоишь? — спрашивает Лешка осторожно — вдруг выгорит дело? Конечно, он и так не пропадет, только похрусти в кулаке червонцами — и изо всех углов, как тараканы на сладкое, выползут алкаши.

Но Терентьич — особый разговор. Терентьич — пенсионный праведник; ему теперь ни вино, ни женщины, ни сигареты — ничего не нужно, зато ему необходимо доказать кому-то, что так все должны жить на белом свете — без излишеств.

— Грамм пятьдесят нальешь? Спасибо скажу.

Лешка приходит в ужас: что же случилось со старичком? Уж не сломала ли доминошная игра его начальническую психику? А Терентьич растолковывает:

— Теперь водка все равно что черная икра. Экзотический продукт. Я читал, ее где-то по талонам передовикам труда отпускают. Придет время, когда ее врачи по рецептам выписывать будут. Как женьшень. Только для особо высокого начальства.

— Не смешно, — говорит Лешка.

— А я и не смеюсь, — с нажимом отвечает Терентьич; ему, похоже, нравится поражать людей. — Не хочешь играть, — поды-

тоживает он беседу, – освободи место! Вон, видишь, машина приехала! Разгрузить помоги.

Хотел было Лешка сказать ему: осел ты автобусный, но поленился; слишком уж мелко, слишком уж нудно острит Терентьич.

– Женился, что ли, кто? – Лешка всем корпусом развернулся в сторону первого подъезда, к которому подъехал крытый фургон.

– Развелся, – хмыкнул Терентьич и вмазал костяшкой домино по столу.

– Квартирой, значит, разменялись.

Лешка хотел подойти к машине, посмотреть, кто это пожаловал к ним в дом, но стоять на одной ноге и пялиться, как таскают вещи, несолидно; но по взглядам доминошников он понимает, что им не до игры, что под грибок они сели пораньше только затем, чтобы исподволь посмотреть, кто приехал, что привез?

"Почему бы мне поближе не подойти? Я теперь, можно сказать, трудовой инвалид. Для меня посмотреть, кто приехал, для здоровья полезно. Пенсионеры целый день за всеми смотрят, может, потому и живут долго: чужую жизнь наблюдают, а до своей и дела нет. Живут чужой жизнью, а своя целехонькой остается, не расходуется", – Лешка поудобнее перехватил костыль, свободной рукой оперся о плечо Терентьича так, что чуть к лавке его не придавил.

– Потерпи, дедок, – хохотнул, – и с тобой несчастье может случиться.

Промолчал Терентьич, не стал связываться с инвалидом производства, и прокурор Дудин ни слова не проронил, хотя так на Лешку посмотрел, будто одарил постановлением на пятнадцать суток. Не уставал прокурор продолжать свою общественную жизнь, поскольку личной не было.

"У меня отец машинистом был, ушел на пенсию, а все во сне вскрикивал. Казалось ему, что в рейсе заснул. А этот, поди, приговоры все выносит. Нет, приговоры выносит судья, а этот... А, все одно: милиция!" – Лешка опирался на костыль, словно маятник раскачивал забинтованную ногу и с гордостью выбрасывал ее вперед – любуйтесь, люди, как надо выкладываться на производстве, чего стоит быть передовым классом!

Машина была крытая, стояла задним бортом к подъезду, над которым навис краснознаменный лозунг "Все – на выборы!" Из кабины вывалился упитанный рабочий и, соблюдая достойную походку, подошел к задней двери фургона, неторопливо снял плоский замок. Дверь открылась. В густой темноте кузова слабо колебалась белая, будто усталая тень; превратившись в девушку, она легко выпорхнула на тротуар.

Лешка раскрыл глаза пошире и подобрал забинтованную ногу – его траншейная рана тщеславно заныла – он прыгал в канаву так грациозно.

Побывав в полете долгую секунду, девушка мягко приземлилась и тревожно посмотрела по сторонам. Когда могущественный грузчик, понимающий свою власть, стал приближаться к ней, она втянула голову в плечи, взглянула на громадного человека, неотвратимого, как падающий шкаф, и сказала:

– Квартира тринадцать.

– Охотно верю, – говорящий гардероб полез в кузов. Лешке хотелось подпихнуть грузчика в неразворотливый зад, но тот, поднатужившись, втянул его сам. Лешка почувствовал себя неловко. Его трудовые кулаки зачесались, запросили легкой работы по переноске мебели; здоровая нога замахнулась на большой шаг вперед, а другая – жертва Лешкиного легкомыслия – тут же ответила болью.

Два очумевших от жары и нудной работы грузчика в отечественных джинсах, пошитых из импортной ткани, с тихой озлобленностью, пропуская через щели между зубами яростный матерок, потащили первые узлы. Девушка, миниатюрная, в белой панамке, дай ей в руки желтый сачок, получилась бы пионерка с картинки из "Родной речи", – она, парализованная бытовой ситуацией, беспомощно ломала трескучие пальцы. Когда заказанные ею производители работ ухватисто забросили за спины по увесистому мешку, она тихонько вскрикнула:

– Там книги, не порвите!.. Нет-нет, там хрусталь! Ах! Ах!..

– Тьфу! – сплюнул рыжебородый грузчик, вытер ладонь об удобно болтавшуюся рубашку. – У вас с нормальным имуществом узлы есть?

– С нормальным? Но я же заплачу!..

– Психом с такими клиентами станешь! – производитель работ за ножку вытащил полированный стол, и если бы Лешка не подхватил его, то грохнул бы на асфальт полированное имущество советской гражданки.

Стол был тяжелый, даже в костях что-то хрустнуло.

– Ну как же так? – девушка бессильно всплеснула руками. – Это же бабушкино наследство.

– Вот бабушка пускай бы его и таскала, – грузчик крышкой положил стол на такую же широкую спину и, театрально раскачиваясь, будто ноша была непотребно тяжелой, пошел к подъезду.

– Ты чего тут стоишь? – Лешка подмигнул девушке. – Где твой папаша? Тут мужик должен командовать.

– Папаши нет, а мужик... мужик сбежал, – пожаловалась из-под белой панамки девушка.

– Держать надо было мужика за разные места, – убежденно сказал Лешка. – Давайте знакомиться: председатель женсовета. Так что по всем женским вопросам ко мне приходите. Приму в любой час дня и ночи. А сейчас ответьте мне на совершенно необходимые для дальнейшего вашего существования вопросы. Где работаете?

– Я пенсионерка.

– Шутка, надо сказать, удачная, – согласился Лешка.

– Я вам ясно сказала, пенсионерка, – повысила голос девушка и, заметив недоумение на Лешкином лице, сжалилась: – Я танцевала в балете, а у нас на пенсию уходят в тридцать пять лет.

– Не может быть! – поразился Лешка столь счастливому существованию балетных сотрудников. Оказывается, то, о чем он взахлеб мечтал в вонючей траншее, не сказка. Ему сейчас тридцать шесть с половиной, и будь у него родители помудрей да подальновидней, сунули бы его пораньше в балетные классы; глядишь, и он был бы избранником судьбы, уже полтора года сидел на почетной юной пенсии, все было бы чин чинарем, не

надо было бы ломать ног, которые кормили бы Лешку, своего хозяина.

– Что вы так опечалились? – участливо спросила девушка. – Я ушла не по болезни. По возрасту. А мужик сбежал, так это теперь дело нередкостное, совсем невыдающееся. Он просто еще не хочет на пенсию. Стало быть, ему с пенсионеркой жить не с руки.

– Вы мне все так вежливо объясняете, словно я ваш близкий родственник, – удивился Лешка.

–Всё равно все всё узнают, – девушка кивнула в сторону затаившихся пенсионеров. – А вы ногу на работе?.. Что с ней?

– Да так, ерунда.

Была в голосе девушки такая дорогая по нынешним временам искренность, что Лешка засмущался, заныло его чувствительное сегодня сердце. Обычно он в карман за словом не лез, нагловато острил или остроумно подшучивал, не взирая на пол и привилегии возраста, а тут вся его боевая сноровка пропала.

– Болит?

Лешка кивнул.

– Знаете, при растяжении главное повязку правильно сделать. Потом свинцовые примочки. Неплохо йодом смазать. И ни в коем случае не греть. У нас эти растяжения через день на другой случались. И знаете, как обидно бывает: все тащуют, и тебе, болезной, на сцену надо. Сцепишь вот так зубы и выскочишь на люди. Скажу по секрету, бывало так: сделаешь укол обезболивающий и скачешь. А уж как увидишь зал, глаза в нем, которые смотрят на тебя сначала с восхищенным недоверием, тут все забудешь: надо, чтобы потеплели, чтобы восхитились тобой эти недоверчивые глаза. А уж как домой придешь, как начнет заморозка отходить – такая боль! – у девушки даже голос задрожал, видно, и в самом деле было нешуточно больно. – Сидишь до полночи и плачешь... Знаете, у меня подруга – очень хороший врач. Она часов в семь ко мне придет – помочь по хозяйству. Давайте и вашу ногу ей покажем. Эммочка быстро вас на ноги поставит, вылечит, стало быть.

– Хозяйка, стопарик нальешь? – жарко дыша, рыжебородый грузчик полой рубашки вытер лицо. Лешка поглядел на его бледный, рыжий в черных потеках грязи живот, содрогнулся от отвращения и сказал не очень солидарно с рабочим классом, к которому принадлежал:

– После стопарика тебя столом придавить может. Или даже стулом. И вообще, стопарика у девушки нет, есть только хрустальные фужеры, из которых ты пить еще не научился. – В голосе Лешки вдруг появилась та зловещая тень, от которой шарахались его сотоварищи: в такие минуты он выходил на головокружительную прямую и мог съездить в нужную для жизни часть тела и вывести ее из строя.

– Шел бы... – грузчик не успел произнести "ты", как свободная Лешкина клешня рванула его за воротник рубашки и с легкостью восторженной импровизации сначала прижала к груди, а потом швырнула на реденький пыльный газон.

– Ну зачем вы так? – укоризненно посмотрела на Лешку девушка.

– Не волнуйтесь, он пошутил, – Лешка заметил, как рука

парня выковырнула из бордюра полкирпича, и усмехнулся: – На бюллетень, что ли, захотел?!

Грузчик послушно положил кирпич на место. Опираясь на костыль, Лешка зашагал к своему подъезду, еще переживая приключение с новоселкой. Он слышал, как девушка, оставшаяся сзади, перевела долгое дыхание.

На лавочке, на самом краю, сидела Нюра-нерва.

– Лешенька, это кто же к нам приехал? – спросила она самую суть.

– Ты бы лучше поинтересовалась, где меня так? – сказал Лешка раздумчиво, все еще переживая приключение с новоселкой. Он хотел выставить больную ногу вперед, пококетничать с соседкой, но понял: не хочет кокетничать.

– Где это тебя, Лешенька? – поправилась Нюра.

– А! – отмахнулся тот. – Там народная артистка приехала.

– Не может быть! В наш дом? – задохнулась от волнения Нюра.

– Учила меня балетному делу, вот ногу я и поломал. С непривычки, значит, – устало пожаловался Лешка.

– Ой, Лешенька, нам с больными лучше не связываться. Мы ногами не вышли. Неуж народная? – спросила Нюра с трепетом.

– Народнее не бывает, – недужно съострил Лешка. – Скажи, старуха, почему так? Тридцать пять лет и уже на пенсии. За что нам с тобой такая дискриминация?

– Значит, до смерти два месяца осталось, – мудро вздохнула Нюра. – Пенсию, Лешенька, до срока дают только больным инвалидам.

– Спасибо, старуха, тебе бы помощником у прокурора Дудина работать. Больно много знаешь из разных областей жизни. И умеешь вперед заглянуть. На два месяца.

– Да уж могу, Лешенька!

В другое время Лешка порадовался бы содержательному разговору, упоительному действию своей обольстительной мужской власти и загнул бы что-нибудь такое-разэдакое, от чего Нюра-нерва зашлась бы в уважительном хохоте или сразу бы – на четвертый этаж и крикнула из окна:

– Дурак ты, Лешенька. И как с тобой Надька живет?

– Спускайся, расскажу, – безнаказанно улыбнулся бы Лешка, потому что почувствовал бы, как у Нюры от его распущенности душа радуется; потом она перехватила бы его на лестнице, тихо поманила пальцем и налила, виноватясь, граненую стопочку: за потеху, значит, за удовольствие – большое, значит, спасибочки.

"Тридцать пять лет – и уже на пенсии. Чего же она делать-то будет? – Лешка даже растерялся. – Это что же, жалею я ее, что ли? – Он костылем потыркал выбоину в асфальте, потом поковырял лысенький газон. – Может, к нашей компании прибьется. А что? У нас весело. И выпьем, и станцуем, и расскажем такое, о чем по телевизору не покажут. Витек в МИДе работал. Кержак... как же его по-настоящему зовут?.. А-а, ладно, Кержак есть Кержак. Он философский закончил. Всех классиков наизусть шпарит. Диплом, квартиру пропил, а память еще нет. Венька! Один Венька чего стоит!.. Насшибают они кучу мелочи, бросят ее на доску. А он через секунду не только ее всю до копеечки

сосчитает, но и скажет, сколько на нее портвешка ладут. На вычислительных машинах работал. От них, видать, так быстро считать научился. Вот, балериночка, такая у нас развеселая компания!"

В тридцать пять – и уже на пенсии! Чтобы с работы не уходить, уколы обезболивающие делала. Ну и дела. Да-а... И вот уже никому не нужна. Чего же она делать-то будет? Лешка пожалел девушку, растерявшуюся от свалившихся на ее голову житейских неурядиц, от столь стремительного поворота судьбы. "Она ж, поди, кроме своих танцев ничего не умеет. Может, шить научится?" Он вспомнил, как жена Надька года три ходила на разные курсы кройки и шитья, купила себе немецкую машинку, за которой опять же он, муженек, занимал очередь с двух часов ночи, но машинка – этот предмет спокойной гордости, занимает почетный угол в комнате, а заплату положить на Лешкины брюки по-прежнему некому. "А чего ее жалеть-то? Знает, куда шла. Знала, чем это кончится!" – Лешка хотел было ожесточить себя, но напрасно: недавнее благодушие легко переплавлялось в мягкую жалость, и она обволакивала, тревожила; казалось, еще чуть-чуть отпустят внутренние тормоза, и рассиропится Лешка, станет ему жалко всех – Нюру-нерву, и Агриппину, и даже прокурора Дудина: пусть сидит себе важный, как филин в передаче "Что? Где? Когда?", Лешку не проведешь, он знает, что Дудин ни других, ни себя не пожалеет; потерял он этот дар человеческий, а может, украдкой выбросил или вытравил из себя по капле, каждодневно верша свои прокурорские дела. Ну, да ничего, Дудин, Лешка тебя пожалеет, а заодно Терентьича, тот жалеет общество "в целом" и никак не может допетрить до такой простенькой мысли, что Лешка – тоже часть общества, как и те две тысячи шоферов и механиков, которых он любил "в целом", и распекал "на ковре" каждого по отдельности, словно наделенный не временными диктаторскими, а чуть ли не пожизненными царскими полномочиями; ничего, у Лешки – грудь широкая, сердце в ней живет огромное, у него на всех жалости хватит!..

Лешка услышал хриплый автомобильный гудок, обернулся – это, разворачиваясь, пятился грузовик. Когда он отъехал, то на его месте появился, словно из асфальта вырос, Кержак; бородатый, в линялой красной футболке, он, едва увидев Лешку, забасил:

– Не узнаю. Алексей, божий человек, не узнаю. Проворонил такую интеллигентную работу. Собрание сочинений Толстого – двадцать два тома – одна ходка, Диккенс – тридцать семь томов – две ходки. А в результате, – Кержак глазами наткнулся на забинтованную Лешкину ногу, – а в результате мы имеем трояк и с радостью угостим честного инвалида социалистического труда.

Лицо у Кержака было бледное, потное, дыхание частое, поскольку еще не вошло в норму.

– Слышь, Алексей, – он растянул за кромки трешку, приложил к губам и извлек громкий дребезжащий звук. – Если свобода – это осознанная необходимость, то выпивка – бессознательная потребность. Пошли, Алексей, а то прокиснешь...

Если бы утром Лешку спросили, кто с ним гулял в тот вечер и ночь, он бы всех не вспомнил. Одни приходили и уходили,

других он даже по имени не знал. Основные, конечно, – Кержак, Венька, Витек – эти его не разлей вода были; о чем они только ни говорили, о чем ни спорили, – Витек тряс промасленной газетой, написавшей о прокуроре-лихоимце, и доказывал, что за прокурорами надо установить народный контроль, тогда получится "кольцевое наблюдение": прокурор–суды–народ–прокурор, и при таком контроле едва у кого-то появится "хвостик", его тут же прикусят; Кержак с ним не соглашался, он требовал вообще устранить судопроизводство, поскольку законы и статьи не учитывают всю сложность человеческой личности, и если одному за украденный из булочной батон надо припаять два года, то другому просто погрозить пальчиком. Лешка подначивал то одного, то другого, а Венька-математик кисло морщился и разочарованно зевал: "Нет, братва, пока наши поступки мы не научимся описывать математически, все эти разговоры о справедливости, равенстве так и останутся туфтой. Правда, Леха? Ты посчитаешь так, я посчитаю по-другому. А где правда?.." Лешка поддакнул и, в свою очередь, пожаловался, что вот одним, балетным людям, например, [illegible] – в тридцать пять лет списывают на пенсию; можно сказать, в самый расцвет жизни, и ты уже свободен и скромно обеспечен. "Нашел кому завидовать! – обрезал его многознающий Кержак. – У меня в юности была подруга из кордебалета. Она же не [illegible] жила: того нельзя, этого нельзя. Все пальцы на ногах в мозолях; с ней только и удовольствия было: пройтись, как с породистой борзой, по улице. И главное, чтобы молча. Они же там ногами думают". – "Верно. На глупенькую похожа", – уже себе под нос пробурчал Лешка, вспоминая беспричинную откровенность переселенки. "Почему балет так красив! – неожиданно под боком у Лешки вдохновился Венька, ноги его уже отнимали, но мозг еще был способен улавливать нить разговора. – Почему балет красив? Каждое движение этих порхающих бабочек можно описать математически. Мы не понимаем, не хотим понимать, что любим в других математику. Если ее нет, то кругом – хаос и пошлость. Пошлость – это формулы с ошибками, псевдоматематика. Хотя несведущих они пленяют. Да, пленяют, соединяя несоединимое. Все. Я все сказал", – Венька повернулся на живот и пополз в кусты.

Далеко за полночь разбрелись, расползлись, кто куда, слабосильные Лешкины товарищи, и он, зевнув, понял, что уже давно хочет спать; ночь приглушила знойную июльскую жару, дышалось свободнее и глубже, но прохлада не остудила больную натруженную ногу, она распухла и горела, словно ее завернули в горчичники. Лешка потрогал ее, помял, морщась от боли и, опираясь на костыль, поковылял по утрамбованной тропинке между кустами персидской сирени; еще не было случая, чтобы Лешка заночевал в ящиках или под кустом. Он крайне гордился тем, что всегда приходил домой своим ходом; костыль был непослушным, все норовил выскочить из-под мышки, жидкий свет далеких фонарей не освещал дорогу, а лишь слепил глаза. Лешка потерял равновесие и кувырнулся, сплюнул пыль и, ругнувшись, стал наощупь разыскивать отлетевший в сторону костыль, набрел на его жесткие ребра, рывком притянул к себе и тут же услышал тихий жалобный писк. Лешка не сразу понял, что это мяукает то

ли заплутавшийся, то ли кем-то выброшенный котенок. Лешка потревожил его, вот он и подает голос.

– Где ты там, заблуда? – Лешка пятерней пошарил по земле, его пальцы наткнулись на мягкий дрожащий комочек, притулившийся под жестким листком лопуха. От страха за свою неокрепшую жизнь котенок царапнул Лешку, и тот великодушно пробормотал: – Драться не будем. Не-ет, не будем! – Он сунул пищащего котенка за пазуху и, опираясь на костыль, неуверенно поднялся.

Котенок отчаянно барахтался, коготками царапал майку, отчего Лешке было щекотно.

– Потише, потише там, мурлыка! – пьяно засмеялся Лешка. – Одежку порвешь, а зашивать кто будет? Некому.

Котенок покрутился, поколготился и, пригревшись, затих; не всякий брат-человек сунет за пазуху непородистое существо, каким был двадцати дней от рождения котенок; ухватив нутром слабую радость униженного кошачьего существа, Лешка осторожно, ощупывая дорогу здоровой ногой, поковылял к дому. Он боялся упасть и ненароком придавить доверчиво уснувшее живое существо, которому не нашлось пока хозяина, а значит, не отпущено ни тепла, ни хлебной корочки. Согревшись от Лешкиного живота, котенок замурлыкал. Расчувствовавшись, Лешка сунул руку за пазуху и по пьяной неаккуратности пальцем ткнул котенка в мокрый нос, но тот не зашипел, как раньше, а лишь тихонько пискнул и тут же лизнул Лешкин палец шершавым влажным языком; Лешка даже покачнулся от такой ласковой неожиданности; в кого был так незлобив и добр котенок? В загнанную, запаршивевшую от бездомной жизни маму или в циничного, отожравшегося на объедках кота, искушенного в великом искусстве котопроизводства?..

"Спи, мурлыка, спи!" – от робкой нежности Лешка слегка протрезвел и благополучно добрался до дома. Крошечная лампочка освещала кусочек двери, а дальше шла темная лестница в пять этажей – вертикальный путь через спящие квартиры; и он, Лешка, ночной калека, пройдет его тихо, не застращает одноподъездников отборной бранью.

Утром Надька увидела такую картину: положив голову на старые ботинки, Лешка спал, блаженно разметавшись по узкой прихожей; воздух с упругим шипением наполнял его огромные легкие и с тихим свистом покидал их; возле отброшенной вправо Лешкиной руки, свернувшись калачиком, спал серый замызганный котенок.

Ни слова не говоря, Надька брезгливо, двумя пальцами взяла котенка за шкирку и сунула в хозяйственную сумку, чтобы по дороге на работу выбросить его в соседнем дворе.

Вольная проза и поэзия

Сергей ОХЛЯБИНИН

ЧЕСТЬ МУНДИРА

ГВАРДИЯ

Кавалергардия — старая гвардия

Кто такие? — Кавалергарды. На какой предмет? — Почетный конвой. Кем задуманы? — Петром Первым, Великим. Впервые ладные высоченные красавцы появляются на коронации супруги Петра — Екатерины I. Для чисто театральных, репрезентативных целей. В коронационном представлении принимает участие и Петр, непосредственное участие. Он возлагает на себя звание капитана Кавалергардии. Хочет сделать празднество не только торжественным — просто великолепным. Первым засучивает рукава Лефорт. В короткий срок энергичный швейцарец (к тому времени уже вышел в генерал-майоры) формирует конскую офицерскую роту Кавалергардов, или, как еще их иногда называли, драбантов.

А кто же командует офицерами, кроме "капитана"? Петр тотчас назначает в командиры самых близких к себе лиц. В офицерах здесь ходят генералы и полковники, в капралах — подполковники. А кто же рядовые? Это шестьдесят самых рослых и представительных. Шестьдесят красавцев на подбор — обер-офицеров.

Пожелания Петра стремительны. В дело включается деятельный Толстой. Он уведомляет Военную коллегию, что по указу Петра "приготовлено на 60 человек драбантов платья 60 кафтанов да 60 красных верхних накладных кафтанов же с гербами по обе стороны и штаны, и сим требуется, чтоб то на драбантов платье в Военную коллегию принять и велеть определенным драбантам надеть и примерять, и ежели которым из них будет коротко или узко, и иные драбанты о том объявили, и то будет поправлено".

Фактически драбантов (читай: кавалергардов) было больше. Четыре командира. Шестьдесят рядовых (офицеров), четыре запасных, один литаврщик и два трубача. А вот и звания кавалергардских командиров. Капитаном-поручиком кавалергардии удостоен быть генерал-лейтенант Ягужинский. Поручиком —

Продолжение. Начало см. в №№ 1, 2, 3 МВ.

генерал-майор Дмитриев-Мамонов. Подпоручиком – бригадир Леонтьев, а прапорщиком – полковник Мещерский.

Русские художники делают массу рисунков грядущей, будущей формы. Будущая должна стать настоящей. Богатое воображение водит по листу бумаги яркими, сочными красками. Тут же рождаются выкройки. Мундир обретает цвет, форму и своего обладателя – кавалергарда. Форма, поразительная по своей красоте и богатству. Глубокий зеленый тон кафтана. Ярко-красный, прямо-таки алый камзол и плотно облегающие рейтузы. Однако это еще далеко не все облачение. Поверх красного кафтана надевается красный супервест с андреевской восьмиугольной звездой на груди и государственным гербом на спине. Наряд, истинно церемониальный, довершает шляпа с плюмажем.

Звучит серебро пронзительных труб и литавр. Весна в цвету. Начало мая. Знаменательный 1724 год. Конный строй кавалергардов открывает торжественное шествие из Кремлевского дворца к Успенскому собору. Другая полурота на таких же смоляных вороных лошадях замыкает шествие. На подбор не только сами кавалергарды. От всего московского купечества, русского и иностранного, на церемониал вытребованы самые красивые и рослые верховые лошади. По сторонам на площади, по ступеням стоят и спешенные кавалергарды. Искрится в майском ласковом солнце золото широких галунов. Темнеют треугольные шляпы с горделивым плюмажем над волной пудреных белесых париков.

Далекий теперь восемнадцатый век не оставляет для нас чисто зрительного, цветового впечатления о всей гамме тонов. Правда, мундиры кавалергардов остались. Украшают груди манекенов Зимнего дворца. Но то отдельные "всплески колорита". Не помноженные на 60 алых камзолов кавалергардии. Не дополненные утонченной мозаикой – фоном других армейских и гвардейских частей.

А Екатерина тем временем направляется к Вознесенскому девичьему монастырю. И снова ее охватывает конный строй кавалергардии. И это в последний раз. К исходу мая рота прекращает свое существование. Расформирована. Солдаты – офицеры разбредаются по своим полкам, предварительно сдав пышные красочные мундиры. Куда? В Московскую мундирную контору.

А через год с мундиров смахнули пыль. Оправили стать плюмажей и восстановили, "реставрировали" роту. Сейчас уже трудно сказать, что послужило этому толчком. То ли необходимость в новой почетной страже, то ли воспоминания о только что ушедшем Петре? Эстафета "премьерства" переходит к Екатерине. Она принимает звание капитана. А капитаном-поручиком назначает светлейшего. Меншиков церемонно поправляет плюмаж на

стареющей кавалергардской треуголке и решительно надевает старый мундир.

Темные времена Анны Иоанновны торопливо скрывают даже память о кавалергардах, и только дочь Петра – Елизавета в короткие промежутки между возлежанием на канапе вдруг вспоминает о рослых красавцах в высоченных, лоснящихся смолью ботфортах и с тугими плечами лихих рубак. Как, их нет? Восстановить! Не их – так хотя бы форму. И вот уже новая гвардия – лейб-кампанцы надевают мундир с чужого плеча. Мундир, к которому они не имеют ровно никакого отношения, – кафтан петровской кавалергардии. Уже заметно постаревший и полузабытый. Но... все же, все же, все же. "Церемониально-боевая" единица получает и новый титул – "кавалергардский корпус". Из кого? Все из тех же полюбившихся и пришедшихся ко "двору" лейб-кампанцев.

Серебряные трубы звенят, зовут. Сбор. Ловко работают пальцы. Быстро надеваются короткие и узкие кафтан, камзол и штаны. Все это ярко-красного цвета. Мелькают полы кафтанов, подбитые васильковым бархатом и украшенные широкими лентами золотых галунов. Полы мгновенно заворачиваются, сводятся друг с другом и скрепляются плоскими серебряными застежками. Синева серебра струится по нарукавникам кафтанов, по набедренникам, накладкам, полоскам и тонкой работы серебряным цепочкам. Вот, кажется, и полдела. Наконец натягиваются сапоги с наколенниками из кованого серебра. Надеваются супервесты из звучного василькового бархата, обшитые галуном и украшенные многоугольными коваными серебряными звездами с вызолоченными гербами. Супервесты быстро укрепляются на серебряных застежках и пуговицах. "Новые" кавалергарды уже одеты. Теперь пальцы торопливо перебирают, пристраивают портупеи, тесаки, лядунки и погонные перевязи. Мягко скользят, струятся легкие лосиные ремни. Глаза замечают карабины, а руки тем временем тянутся к высоченным (в три вершка) серебряным шишакам. Это какие-то необычные, странного вида каски. Круглая тулья украшена вызолоченным гербом, узорчатыми полосками и бляхами. Внимательные глаза кавалергардов посматривают из-под угловатых приподнятых козырьков. А над шишаками тревожно развевается, точно у гвардейских гренадерских шапок, густой, как дым, пук черных страусовых перьев.

Сквозь анфиладу залов быстро, почти полубегом, проскальзывает, поправляя золотой шарф, рослый офицер. Пышет жаром румянец щек, с трудом проступающий сквозь пудру. Покачивается белая косица, оплетенная черной шелковой лентой.

Вот уже пробежали шесть, десять, тридцать кавалергардов, бережно увлекая за собой оружие, и только тут можно заметить серебряную (вместо медной) оправу карабинов и карабинные

ремни, аккуратно обшитые галуном. Поет, льется на высоких нотах звучная армейская труба. Зовет в строй забытых кавалергардов.

Однако и при Екатерине II новая слава кавалергардов звучнее полковых труб. Почитают здесь за честь состоять шефами "корпуса" и Гендриков, и фаворит князь Григорий Орлов, и известный Платон Зубов, и, наконец, сам Потемкин-Таврический. "Офицеры гвардии", говорит Ланжерон (тот самый француз-эмигрант, впоследствии увековеченный в названии района Одессы), "состоят из всего, что есть наизнатнейшего и богатейшего в России среди высшего дворянства, а сержанты принадлежат к дворянству второстепенному..."

Однако честь порой требует и денег, притом немалых. Вот как, например, отзывается о чести гвардейского мундира и о том, во сколько эта честь обходится, историк Болотов:

"Всем известно было, что гвардейская офицерская служба сколько была до сего лестнее, столько, с другой стороны, для самих их крайне убыточна... нельзя было обойтиться без содержания 6 или по крайней мере 4 лошадей, без хорошей и дорогой новомодной кареты, переменяемой когда не в каждый год, так по крайней мере через два или три года, без многих мундиров, из коих и один не менее стоил 120 рублей, без множества иной и дорогой одежды... фраков... сюртуков... плащей и великой цены стоющих шуб... Сверх того надобно было иметь хорошую квартиру, негнусный стол, многих служителей, одетых порядочно, также либо егеря, либо гусара, облитого золотом и серебром".

Однако на пути кавалергардов встает Павел. И не столько даже кавалергардов, а их полустроевой, развинченной, развенчанной манеры держаться в строю. Все должно быть не так – иначе, чем у ненавидимой Екатерины.

Сапоги с раструбами меряют шаги в Царскосельском дворце. Позванивают серебряные шпоры, укрепленные на штибель-манжетах. Иначе. Все иначе. Форма, строй, сам стиль. И странное дело: теперь, на закате восемнадцатого века, отдалившись временем от крестовых походов, можно увидеть какую-то странную форму. Кто же они, эти гвардейцы времен кардинала Мазарини? И почему у них на груди, на красно-серебряных колетах, белые мальтийские кресты?

Наверно, прежде всего стоит взглянуть на того, кого охраняют эти солдаты. На Павла I. Мундир, сапоги "бутылками" до самых колен. Трость. Шпага. Пояс. Откинутые небрежно назад, за плечо, витые шнуры аксельбантов. Муаровая лента через плечо, а под ней... полуприкрыт все тот же мальтийский крест. Большой, нагрудный, на цепочке. А слева на груди еще другой, поменьше. Мальтийский раздвоенный крест проскальзывает даже на штандарт Кавалергардского корпуса.

Однако это лишь начало. Павел ретиво раздает командирские и кавалерские кресты. Составляет себе мальтийский двор и даже заказывает для лакеев мальтийскую ливрею. Обряжение русских в мальтийцев идет полным ходом. Сам Павел уже не ограничивается ношением мальтийских орденов. Поверх мундира преображенца он надевает на себя далматик из пунцового бархата, шитый жемчугом, а поверх – широкое одеяние из черного бархата. С правого плеча спускается широкий шелковый позумент, называемый "страстями". Иногда он даже надевает венец мальтийского гроссмейстера.

Русские офицеры начинают носить мальтийскую кокарду и опоясываться мечом, вспоминая времена рыцарей средних веков.

Отчего же все это? Оказывается, Павел под влиянием западных эмигрантов (рекой устремившихся в те годы в Россию) увлекся идеями Мальтийского ордена и даже стал с разрешения Папы Пия VI Великим магистром этого ордена. И если художник Шварц еще изображал Павла в обычном мундире перед строем кавалергардского караула, на портретах Боровиковского Павел осенен мальтийскими крестами и облачен в мальтийские одежды.

Что же стало с кавалергардами? Они теперь не просто гвардия, а гвардия магистра ордена св. Иоанна Иерусалимского.

Проходит еще несколько нелегких лет, и кавалергардский корпус превращается в полк кавалергардов. И за короткие годы Отечественной войны получает Георгиевский штандарт с надписью "За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года".

Теперь серый петербургский рассвет оглашают уже 15 георгиевских труб и гулкие серебряные литавры, принадлежавшие еще петровской кавалергардии почти сто лет назад.

Проходит еще сто лет, и на улицах Москвы, вблизи Кремля, проходят по огромному плацу статные кавалергарды. Здесь, у Волхонки, вдоль домов Москворецкой набережной, мимо дома роты дворцовых гренадеров. Мимо старого горбатого каменного моста, что завершает улицу Ленивку, проходят парадом войска. Сто лет войны 12-го года. Сияют на солнце кавалергардские каски-шишаки с большими рельефными орлами. Отдают синевой неба белые мундиры, горит сурик красных супервестов с серебряной Андреевской звездой на груди. Еще два года – и русские кавалергарды в конном строю, стоя в стременах, устремятся в атаку. Все те же белые заметные мундиры на мушке немецких пулеметов. А год спустя, в зале старого Юридического лицея (сейчас в этом здании у Крымского моста Институт международных отношений), устанавливают два гроба. На крышках замерли хорошо знакомые по фронту фуражки. С широким ярким околышем и высокой тульей. Хоронят вольноопределяющихся – студентов лицея братьев Катковых. Кавалергардов.

Телохранители – гвардейцы

Теперь уже трудно сказать, кто появился раньше – полководцы или гвардия. Для полководца она столь же неотъемлема, как его слава или бесславие. Полководцы преображаются в повелителей, царей, императоров. Императоры иногда становятся полководцами. Гвардия же неизменна. Она всегда "при...".

Варда (Warda), или Гарда (Garda), слово старое. А точнее, старогерманское. А означает, как и положено гвардии, – стеречь, оборонять. Сначала гвардейцев немного – всего лишь несколько десятков. Первая и основная их роль – телохранители. Постепенно, век за веком, стража эта объединяется в особые отряды. Отряды перевоплощаются даже в отдельное отборное войско. Теперь это уже не телохранители полководца, царя, а "телохранители" государства. В каждой стране, в каждой армии уже прочно укрепляется отборное войско. Своеобразный резерв. На случай. На "черный день".

Древние персы. Воители, ратоборцы. Какие же у них гвардейцы? Оказывается, под персидским штандартом огромнейшее число гвардейцев. Это целый десятитысячный корпус. Персидских телохранителей называют бессмертными. Что это: таинственный талисман от гибели? претенциозность? непосредственность? Все объясняется куда проще. Просто каждая убыль тотчас замещается. Но удивительно, что бессмертных называют "атанатый". Слово греческое, не персидское. Горячо вершит свое боевое дело десятитысячный отряд отборных конных войск. Проходит время, и о нем забывают. И вот снова, уже в двадцатых годах девятнадцатого века, по улицам Афин проходит быстрым маршем полк в непривычных для глаза, оригинальных ярких мундирах. Кто такие? – раздается в притихшей толпе нетерпеливый голос. Другой, мгновенно отреагировав, уважительно отвечает: это атанаты. Сформированы для борьбы с турками. И кем же? А вон он – впереди. Высокий, стройный, светлый. Весь в пистолетах. Это и есть организатор, князь Александр Ипсиланти.

Но если даже воинственные персы берут греческое название "атанатый" для своей гвардии, то с чего же начинают сами греки? Афинский полководец Ификрат учреждает боевой корпус. Корпус пельтастов.

Интересно, что в хорошо известной Спарте охрана царей, полководцев поручается уже атлетам. И не обычным, рядовым, а лишь лучшим из лучших, получившим почетные венки на народных играх, так называемые эфоры. Число их доходит здесь до 100 человек. Однако конный отряд более мобилен. И через некоторое время здесь же, в Спарте, формируют конный отряд телохранителей – "скиритов". Александр Македонский тоже не остается в стороне от "нового веяния". У него довольно большой отряд

телохранителей-гвардейцев. Участвуют во всех войнах Александра. Спешат и пешими. и конными. Спешат следом за самыми любимыми телохранителями – за "дружиной царских любимцев".

При римских императорах 300 отборных всадников (celeres). Однако наступает время Римской республики, а охранная стража остается. Начальники войск подбирают себе телохранителей из легионов... союзников. Оказывается, так надежнее. Войска называют экстраординарными. Это прекрасный резерв армии и одновременно, как ни странно, залог верности своих соотечественников.

Несколько позже, когда гвардейцы покрывают себя славой, их называют преторианцами. А официально – преторианская стража. Сколько же их было, этих древнеримских гвардейцев? Число отборных солдат доходило до четырех с половиной тысяч, то есть до девяти когорт. Гвардия растет, мужает, но отличается неважной дисциплиной. Своевольна и необузданна.

Но что же поделаешь: ведь если нет войны, гвардия в центре внимания, в центре государства, в центре событий. Как только в столице сосредоточивается весь корпус, для него начинают строить укрепленный лагерь и казармы. Гвардия – неотъемлемая часть столицы. И даже "гвардейские ветры" влияют на государственные дела. Как быть? Римские императоры осыпают гвардию милостями и, как раньше говорили, преимуществами. Облачают их в прекрасные одежды. Увеличивают воинский строй. Уже целых 16 когорт. Чем же отвечают на доброту гвардейцы? Они, например, убивают Пертинакса и с публичного торга продают его корону. Затем история римской гвардии принимает еще более авантюрный оборот. Находится покупатель. Это один из расточительнейших людей Рима – Юлиан Дидий. Корона куплена. Юлиан спешно примеряет ее, но... через каких-нибудь десять дней лишается. Чего: короны? головы? Одиннадцать тысяч преторианцев шагают с ним не в ногу. Ну что же, кажется, пора кончать театрализованное военное представление. Император Септимий Севе́р укрощает буйный нрав гвардии. Собирает гвардейцев за городом. Всех. Вместе. Однако без оружия. Окружение. Римские солдаты. Гвардейцы расформированы и удалены из Рима. Но не проходит и года, в строю уже 50 тысяч новых гвардейцев. Теперь это уже не легионеры, нанятые вербовкой со всей Италии. Это отборнейшие воины пограничных легионов. Итальянцы? Нет уж. Сейчас это наемные варвары. Так безопасней. Предводитель дружин. Только лишь почет? Префект преториум – второй человек в государстве. После императора.

Однако помимо военной экипировки преторианская стража не расстается с гражданскими атрибутами: носят золотые кольца, берут в лагерь своих жен.

Преторианская стража шагает уже не дорогами войны, а

улицами столицы, кулуарами дворца. Они наконец единовластные хозяева. Десять лет (230 – 240 гг.) управляют Римом. Сокрушает, правда немного, гвардейский шаг Диоклетиан (284 – 305 гг.). И наконец преторианцев истребляют. Оставшихся в живых обезоруживают, изгоняют со службы или распределяют в пограничные районы. А как же первые ступени их столичной жизни – лагерь и казармы? Никакого рационализма. Уничтожены. Все. И до основания.

Воспоминание о гвардии не из приятных, однако с гвардией не расстаются. Средние века. Крайние взгляды. У монархов, у гвардии. Лениво шагают скараманы Карла Великого. Спешат гускарлы Кнута Великого. Сверкают белками тревожных глаз беникамцы и аламеры Аравитян в Испании. Печатает шаг неистовая черная гвардия Матвея Корвина. Все это телохранители. Гвардия, конечно, но малая. Это скорее даже "домашние люди" своих правителей. Своего рода внутренняя, придворная гвардия.

Но гвардия боевая, армейская все же начинает снова появляться. По улицам ломбардских городов стремительно шагают высокие, стройные солдаты в изысканных одеждах. Пока, правда, наемная, но уже стойкая и хорошо обученная. Итальянское Возрождение касается не только изобразительного искусства, но и военного тоже. Все итальянские князья мало-помалу начинают окружать себя гвардией. Облаченной на собственный вкус и манер. Пышной, яркой, как италийская радуга после свинцовых туч германских сражений.

Итальянский "сапожок гуардии" становится модным во всей Европе. И прежде всего радостно ступает на землю Франции. А следом за французской модницей оказывается в России и Пруссии. Однако уже не по итальянскому, а по французскому образцу.

Итак, "ля гард" выстраивает маленькую, одинокую шеренгу французских офицеров. Она окружает тесным кольцом короля Орлеанского, Гортрана. Дабы... дабы не погибнуть, как оба его брата. От рук дежурных "брутов".

Течет река времени. Филипп-Август. Война в Палестине. И одновременное опасение убийств. Легкомысленный француз не легковерен. Формирует охрану. Малая гвардия. Стол для них накрывают всего лишь на 50 кувертов. А как же поступает еще один француз – Карл XIV Бернадотт? Он остерегается туманного Альбиона. Вернее, самих англичан. И тоже держит при себе гвардию. Но из шотландцев.

Наконец, начинается отсчет второго десятка Людовиков. Людовик XI. Чем известен? Опять же гвардией. Много ли солдат? Четыре тысячи. И пехоты, и кавалерии. И среди них – сто особых. Швейцарцы. Впервые организованный отряд. В дальнейшем их непоколебимая преданность станет притчей во языцех. Франциск I. Его глаза заметно теплеют, когда мимо него проходят парад-

ным строем 10 тысяч французских гвардейцев. Однако все ли французы во французской гвардии? Нет, ровно половина. А другая – швейцарцы. Слава их растет. Верность – величина "константа" – постоянна.

Наконец, очередной, XIII Людовик основывает первый полк французской гвардии – "гард франсэз", который используют для баталий. В предстоящих боях он будет занимать центр. А где центр? Наверно, где король. Или правое крыло.

А через десять лет Карл IX устраивает пышный парад боевой французской гвардии. Марширует 20 рот [illegible] и 3 роты швейцарцев. Впереди чеканит шаг молодой и первый гвардейский полковник Шарл. Он независим, а главное – влиятелен. Он бельмо на глазу строевых армейских генералов. Однако как быть? Не лишаться же полковника, не лишать же гвардию привилегий! И Генрих IV спешит с указом, по которому полковник должен пользоваться всеми правами генерала армии. Не больше, но и не меньше.

Век шестнадцатый на закате. Ля [illegible]. Ля гард в зените. Славы и известности. Здесь и легкая кавалерия короля, и гвардейские жандармы, и [illegible], королевские мушкетеры. Людовик XIV снимает перед собственной гвардией собственную треуголку. Делит эту [illegible] стражу на полки, роты, эскадроны и составляет из них целых два корпуса. Это уже регулярная гвардия. "Мезон милитер дю руа" – внутренняя, дворцовая. И просто гвардия – внешняя, полевая. Лучших солдат армии переводят в гвардию. Обучают. Затем офицерский экзамен. И солдат возвращается в армию, но уже офицером.

Ветры 89-го года отбрасывают гвардию. Она, развеянная по стране, примыкает к революции – частично. Остается пассивной – частично. И только швейцарские гвардейцы продолжают, несмотря ни на что, говорить на собственном диалекте. "Последние могикане" расстреляны. Французская королевская гвардия – лишь воспоминание.

Однако и революцию тоже необходимо охранять. И вновь сформирована гвардия, но другая. "Гард дю кор лежислатиф". А затем и "гард конститюсьонель". Французы зовут ее национальной. Восемнадцатое брюмера. Роковые шаги первого консула. Обе гвардии слиты. Теперь это одна – консульская. Но проходит всего лишь 16 лет после упразднения королевской гвардии, как по конвульсивным улицам Парижа проходит новая – императорская гвардия. Личная гвардия Наполеона. Что же, она вновь организована в придачу к императорской короне, что так упрямо нахлобучена на голову? Нет, просто меняет вывеску. Превращается в императорскую из консульской. Здесь, в гвардии, не только пехота. И кавалерия, и артиллерия, и флот, и жандармы, и

велиты, то есть легкая пехота. А кроме того, яростные мамелюки и все еще молодые ветераны. Сколько же их, новых наполеоновских гвардейцев, прошедших через жерла Французской революции? Тысяча, две, три? Нет, их уже целых 10 тысяч. Что ж, приходится делить гвардию. Но теперь уже не на внутреннюю и внешнюю, а на Старую и Молодую. Но чем отличается Молодая гвардия от Старой: молодостью? Нет. Оказывается, в Молодую гвардию зачисляют солдат и офицеров, не удовлетворяющих условиям приема в Старую. Так сказать, не проходят по конкурсу. Однако имеют право рассчитывать на перевод. В дальнейшем. Как покажет служба. Итак, путь в Старую тяжел. Зато уважение. Всей армии.

1811 год. В гвардии 50 тысяч. А всего лишь через три года более 100 тысяч закаленных в боях солдат. Насколько дорога императору французов "армада" французской гвардии, подскажет Бородино. Здесь тяжелейшие для французов условия. Однако он не рискует ею пожертвовать. Даже и в качестве последнего резерва.

С годами войн французская гвардия постоянно обновляется. Десятки тысяч новобранцев уже не удерживают знамя гвардии так стойко, как их погибшие предшественники. Однако и при Ватерлоо с гвардией, разбавленной молодыми рекрутами, еще происходят удивительные истории. В ответ на предложение сдаться начальник последнего каре Старой гвардии генерал Камброн с достоинством отвечает: "Гвардия умирает, но не сдается". Так погибает вместе с Наполеоном и его гвардия. Императорская гвардия, на легких знаменах которой надолго остается мятежный отсвет республики. Но если первые шаги французской Национальной гвардии находятся под внимательным присмотром Наполеона (он значительно уменьшает ее состав, берет в свои руки назначение офицеров), в дальнейшем гвардия Национальная становится своего рода фамильной, личной гвардией Бонапарта.

А немного позже, после "ста дней", когда Бурбоны занимаются торопливой реставрацией, остатки наполеоновской гвардии остаются не у дел. Слишком сильны оппозиционные настроения бело-красно-синих солдат, исподлобья посматривающих на обновленный штандарт с трехлепестковой лилией. Однако раз остаются дворцы, нужна и дворцовая гвардия. И вновь – уж в который раз – радетельно формируют Бурбоны несколько дворцовых рот – "гард дю кор". Несколько полков гвардейской пехоты, в том числе два незабытых швейцарских, несколько полков кавалерии. Однако проходит время, и гвардия-опора постепенно превращается в гвардию-противника. Слишком много рассуждает. Реставрация. Оппозиция. И наконец роспуск. Кого? Все той же гвардии.

Тяжелый вздох Людовика-Филиппа. Племянник мечтает о славе дяди, помноженной на славу личной гвардии. Она необходима. Это признают даже противники. Что же говорят о французской гвардии "военспецы" середины девятнадцатого века? И генерал Людвиг Иванович Зедделер, и Модест Иванович Богданович, и еще десятки русских военных комментируют: "В 1830 году, после Июльской революции, и эти войска* были упразднены, и с тех пор Франция вовсе не имеет отборных резервных войск, что в случае большой европейской войны может оказаться весьма невыгодным".

Итак, гвардия Национальная возрождается вновь. Наполеон III на этом не останавливается. Дополняет гвардейские части еще одним новым подразделением. "Гард насьональ мобиль". А это еще что такое? Подвижная Национальная гвардия. Однако гвардия уже не та, что при дяде. Должна воевать с инсургентами, а они в ее же рядах. Одним словом — фронда. Идет на убыль девятнадцатый век. Идет на убыль слава гвардии "Насьональ". 1870-й. Гвардейские мундиры мелькают в Меце. Однако без оружия. Переобмундирование? Нет. Плен. Гвардия в плену. А возвращается из германского плена уже с обычными армейскими погонами. Серые строгие листки на [illegible], будто ситцевых, тумбах афиш. Устав о воинской повинности. Июль 27-е, 1872-й год. В этот день перестает существовать знаменитая французская гвардия.

А как же появляется немецкая гвардия? Немцы примеряют модный сапожок пронтальянской гвардии еще при великом курфюрсте. Вокруг него замедляет шаг чеканная почетная стража. Особая. Фридрих-Вильгельм I формирует уже гвардейский гренадерский полк. Немецкая гвардия растет, но очень медленно. К началу двадцатого века она составляет лишь один корпус. Тянут носок при церемониальном прусском марше 11 гвардейских пехотных полков. Здесь и гренадеры, и фузилеры, и егери, и стрелки. Глухо стучат по торцам берлинских мостовых копыта тяжеловесных немецких коней "гард дю кор". Проходят саксонские рейтары и уланы. Семенит легкая конница немецких драгун и гусар. Спешат конные и пешие артиллеристы-гвардейцы. И замыкает строй батальон пионеров-саперов.

Модный гвардейский сапожок оказывается совсем впору. По русской ноге. Кто же первые? Все те же преображенцы и семеновцы, преобразованные из знаменитых потешных рот. Рассматриваю архивы лейб-гвардии Семеновского полка. Рисунки военных мундиров. Эмблемы, гербы, предложения по цвету. Заказы для мануфактур. Год 1698-й. Это то время, когда Петр называет уже семеновцев гвардейцами. А через каких-нибудь два года нашу

---

* Имеется в виду гвардия.

армию жестоко бьют под Нарвой. И лишь благодаря стойкости гвардейских полков армия спасена от полного разгрома. Отныне офицеры этих двух полков браво разгуливают по улицам Питера. Ослепляют прохожих знаками отличия. Причем знак этот считается самым древним в России и доживает даже до войны 14-го года. Знак скромен, хотя память ярка. Надпись короткая: "1700, ноябрь 19". А еще через двадцать один год гвардейцев называют "Императорскою Российскою Гвардией".

Петр комплектует гвардию преимущественно дворянами. Это своего рода "солдатские университеты". Как молодому дворянину тех далеких лет стать офицером армии? Путей много. Основной и наиболее вероятный – прослужить простым рядовым в гвардии. А как же долго? На это трудно ответить. Одним словом, до тех пор, пока сам Петр не утвердит "баллотировку его в офицеры".

Год 1721-й. Туман пустынных улиц. Нахмуренные барабанщики виртуозны в деле. Кисти рук в такт взлетают, удержанные в стремительном порыве обшлагов гвардейских мундиров. Барабанная дробь доводит, доводит до слуха. Всех. Всем. Резким речитативом. Идет Кроншлотский драгунский полк. Состав? Целиком из дворян. Переименован в том же году в Лейб-регимент. Что же это за понятие, новое и незнакомое? Сказано Петром, как отрублено. Для кавалерии лейб-регимент столь же значим, как преображенцы и семеновцы для армии. Это, как говорили раньше, – рассадник (меняют же значение слова за двести лет!) офицеров для прочих армейских драгунских полков.

А если по "Табели о рангах" за 1722 год: велико ли значение чинов гвардии? Оказывается, офицеры гвардии получают старшинство (строго "по Табели") 2-х чинов против армейских.

Анне Иоанновне лейб-регимент петровской поры почему-то режет слух. Что же – следует, очевидно, упразднить или переименовать. В России, кажется, к этому привыкли. Отныне и присно это лейб-гвардии Конный полк. И не на птичьих, придворных правах. На прежних, гвардейских. Хотя полк правами не пользуется. Почему-то. Появляется и совсем молоденькая гвардейская пехота. Лейб-гвардии Измайловский полк. Измайловский – лишь одно название. Дань памяти Петра. По форме. А по существу... Все офицеры с остзейским выговором. Командир полка – генерал-адмирал граф Левенвольд. Назначен и помощник. Шотландец Кейт. Отчего все это? Оказывается, надо всем вырастает мундир всесильного временщика.

Однако мы отвлеклись от кавалергардии, то бишь лейб-гвардии Конного полка. Она не у дел. Указ о роспуске. Не нужны и гренадеры. Отныне солдаты думают уже не о строе, а о собственной печальной участи. Они не нужны. Не так ли? Миних, Бурхард-Христофор Миних, думает иначе. Ни много ни мало фельдмаршал. За спиной многоопытного солдата "начертание" нового

порядка для гвардии. Новые конные полки — измайловцы и конная гвардия. Кирасиры. Сухопутный кадетский корпус, целых двадцать полков украинской милиции. Все это создал лично он. Он принял меры и к более правильному обмундированию, и вооружению войска.

Что же: перевооружил, придумал новые мундиры и — вон из Петербурга? Нет. Ничуть не бывало.

Ночь. Ноябрь. Дворцовые покои. Студеные ветры предзимья. Глухой стук гвардейских шагов. Приближаются. Неумолимы. Озабоченные лица. Усы. Парики. Приглушенный блеск оружия. Бирон низвержен. Сослан. В Пелым. Плечи гвардии слегка расправляются. Разглаживаются складки мундиров: трудно служить не во весь рост. И странное дело — [illegible] переворот. Кто зачинщик? Шерше ля фам. А искомой этой женщиной является Елизавета Петровна. И Миних, [illegible] фельдмаршал, отправляется в тот же самый Пелым, куда незадолго до этого ссылал Бирона.

"Чары" янычар

Шейх Гаджи Бегтам величаво накладывает рукав своей мантии на голову юного воина. Медленно, отчеканивая каждое слово, внушительно и страстно он говорит: "Да именуются они Иени-Черами; да будет лицо их бело, рука победоносна, сабля остра, копье пронзительно; да возвращаются они всегда с победою и благополучием!" В память шейха — головной убор. Белая поярковая шапка — на неспокойных головах янычар.

Шаг сделан. Шаг мудрый. Кто же знал, что станет он роковым? Частые войны. Нужно войско. Хотелось бы — постоянное. Но из кого? И тогда же к чуткому уху Урхана (султана Османской империи) склоняется верховный визирь Аладдин. Продуман до мелочей, однако жесток план. Пора определить корпус войск из... христианских детей. Правда, прежде — в новую веру. Обратить. Немедленно и насильно.

Итак, Иени-Чери — новые войска. Новая вера. Новая форма. И вообще все сызнова. Сызмальства. Султан Урхан строит, создает своеобразное войско. Воспитывает для войны христианских детей. Преобразовывает прежнюю турецкую пехоту. Забывает. Старается поскорее забыть печальной славы предыдущее войско. Прежняя армия — Яни и Пиады — состоит на жалованьи: постоянное войско. Однако постоянны и беспорядки в нем. А империя Османов еще очень молода, агрессивна и строптива. Он, Урхан, всего лишь второй по счету султан. И империя-то названа Османской по имени его отца — Османа аль-Гази, то бишь завоевателя.

Но вот вопрос: откуда набрать столько детей, да еще не связанных корнями с Турцией? Покоренные христианские народы

облагаются самой жестокой данью... детьми. Живая дань моментально отдается туркам. На воспитание. В догматах ислама. В любви к оружию. К войне и походам. Предполагают, что с детьми, лишенными родительского крова, все будет значительно проще. Ни семьи, ни забот, ни воспоминаний и грусти по новому "отечеству". Молодая армия растет, мужает. Жалованье высокое, военная добыча – еще больше. Меняется и отношение к янычарам. И турок, да и самих христиан. Попасть в их ряды – честь. Крепнет шаг корпуса янычаров. Особенно на парадах.

Из сиреневой мглы терпкого утра выплывают вьющиеся по ветру вилообразные штандарты. Красный и желтый цвет. Вытканные перекрещенные сабли на знамени "ломаются" под ветром. Снова выправляются. Роты-орты все ближе, ближе. Уже видны на штандартах номера орт, эмблемы и гербы провинций. Ритмично поднимаются волны широких синих шароваров, подхваченные снизу ярким красным цветом кожаных грубых башмаков. Орты следуют друг за другом. Соблюдают дистанцию. Вот выступают янычары в зеленых платьях – долама. А следом – синий, чуть дальше – серый, сиреневый, коричневый. Мерно покачиваются стволы длинноствольных, грубо сделанных ружей, постукивают сабли, поблескивает сталь кинжала в тугих ножнах. Ждут горячих атак терпеливые зрачки многочисленных пистолетов у пояса.

Однако это еще не все, что можно разглядеть. Янычары буквально увешаны всем и вся. Теперь они уже совсем близко. Видны удобные пороховые рожки. Металлические пояса и яркие медные бляхи – ведь нужно как-то отличить их друг от друга! Похрустывает кожа небольших сумок. Что же в них? Для награбленного они слишком малы. Так все-таки: что же? Патроны и железный шомпол. Совсем маленький. Для пистолетов. Их по два, по три у каждого пояса. Ведь стрелять приходится порой с двух рук одновременно.

Пыль порывами застилает молодое войско. В редких просветах можно разглядеть и офицеров. Мелькают янычарские шапки с золотою опушкой. Плывут в знойном воздухе шишаки с перьями высших офицеров. Мелькают форменные собольи шубы с удивительно длинными, висячими вхолостую пустыми рукавами. Шубы, покрытые золотой парчой, поблескивают в беспощадных лучах стремительного солнца.

А шаг многочисленных орт все нарастает. Плавится солнце в белизне улиц. Матово поблескивает влажная синева смуглых лиц. Много светловолосых солдат. Топорщатся пропыленные усы. Редко, кое-где видны холеные бороды. Борода ведь тоже своеобразный атрибут. Отличие. Знак офицера или ветерана.

Приходится долго ждать, пока не промелькнет янычар в удивительной рысьей шубе, покрытой ярким, прямо-таки изумрудного оттенка, зеленым бархатом. Генерал. Баша.

Но стоило вниманию немного рассеяться, и тут в толпе, вокруг, возникает нарастающий, тревожный шепот. Он переходит в отдельные возгласы восхищения. Дыхание замирает, и во внезапном выдохе толпы, в парализующем восхищении округлившихся, бессмысленно замерших глаз можно угадать, что Баш-Чауша, член высшего военного совета – дивана, проходит с собственной ротой-ортой. Волны синих шаровар сменяются "красным морем" – ярких плащей из красного сукна.

Знойное утро подступает к полудню. К горячему артельному обеду общей кухни. Янычары замедляют шаг. Торопливо снимают поярковые белые шапки с медным футляром и достают оттуда... рисовые ложки.

Ближе, еще ближе к большим котлам. Они, котлы, в большом уважении. Не хуже знамен. На них присягают новобранцы. Потеря котла – пятно. Позор янычарам.

Однако раз армия называется регулярной, значит, и жалованье тоже регулярное. Раз в три месяца у шатра великого визиря поскрипывают особые, с номерами орт, кожаные кошельки, туго набитые асперами. Выборные янычары в стремительности, больше похожей на драку, выхватывают кошельки и стремглав несутся к командирам. Снова дымятся котлы. Угощенье. Пилав. По-теперешнему, плов. И вновь неимоверная быстрота. В жадном оскале рты, торопливы руки. Звон ложек.

Однако иногда ложка предпочитает оставаться в медном футляре поярковой белой шапки. Тишина. Тревожное ожидание. Чего? Замены визиря, офицеров. Возмущение. Вот этого и не предполагал, формируя корпус турецкой "казачьей вольницы", султан Урхан.

Проходит сто лет. Услуги янычар неисчислимы. Мужество необузданно. Но? Привилегии янычар ставят их над армией, а иногда и над... султаном. Тем более что янычары – инородное тело в стране. Ничто, кроме службы, не связывает их с новой родиной. Однако пример янычар заслоняет даже тени от поярковых шляп, теневые стороны службы. Француз Карл Седьмой, сын короля Франции – Карла Безумного, и сам в смятении. Почти нет королевства. Оно под англичанами. Стремительно создать армию. Такую же, как в Турции. Постоянную, регулярную. Ведь там, у Османа, она существует уже сто лет. Не попробовать ли? Англия теснит, назревает мятеж "прагерии"*. Обстоятельства вынуждают.

А тем временем в самой Турции пахнет порохом. Шаг янычара твердеет. Отдается недобрым эхом у ворот блистательной порты. Диван (высший военный совет) может быть в момент

---

* "Прагерия" – восстание дворян против Карла Седьмого (1422 – 1461 гг.).

раздавлен. Орты растут. Янычаров десять тысяч, сорок. Новый султан Мухаммед II соблюдает традицию. Восходит на престол, попутно одаривая золотым дождем янычар. Казна ведь может опустеть, растут смуты, беспорядки. Однако традиции дороже. Эта традиция "престольного одаривания" янычар восходящими султанами просуществовала 400 лет. Кстати, одаривания только подливают масла в огонь. Смуты множатся. Доходит даже до того, что свергают султанов. Летят их головы. Мустафа I, Осман II, Ибрагим Первый и последний. Султанов отрешают от власти, меняют направление верховных визирей.

Но однажды находит "коса на камень". Селим I пытается взнуздать "дичающих мустангов". Выборы заменяет назначением. Кого? Своего же придворного верного сановника взамен выбираемого аги – общего предводителя. Вскоре янычар настигает и следующий удар. Правда, скрытый. Им разрешают заниматься промыслами на стороне, а главное... жениться. Вскоре следует и разрешение – пополнять ряды свои собственными детьми.

Селим III забирает круче. Он формирует новое войско. Колоссальных размеров. Тридцать тысяч. Новые янычары? Нет. Войско строится по европейскому образцу – Низами-Джедид. В помощь янычарам? Нет. В противовес. Насупротив. Селим хочет уравнять чаши весов. Силой нейтрализовать силу. И не больше.

Однако в злых глазах янычар проскальзывают оттенки недовольства. Бешеная ненависть. Резкость к новым. Шаг Селима понят. Потому и обречен. Кровавый мятеж лишает его престола, а главное – уничтожает "новейшее" войско. И кем? Все тем же "иени-чери", то есть новым войском. Преемник Селима идет "на мировую", уничтожает все нововведения. Не хочет озлоблять янычар. И это не помогает – "новое войско" свергает и его. Снова возникает слабая попытка сформировать новые полки. Нет, не новые. Они ведь существуют уже 500 лет, эти "новые" янычары. А все те же "новейшие". Однако снова неудача.

И вот наступает 1808 год. Сопутчица Турции по формированию регулярной армии, Французская империя уже имеет прекрасных регулярных солдат. Стойких, напористых. А главное, плоть от плоти нации. Здесь же, в Османской империи, турки никак не могут справиться с собственной, выпестованной веками гвардией.

Однако "новейшая" армия медленно, даже слишком медленно, но растет. Еще шесть лет проходит не зря. В Османской империи уже 40 тысяч "новейших" полков по европейскому образцу. В одном лишь Константинополе их около 20 тысяч.

А тем временем общее число янычар еще очень велико. 196 орт-рот. В каждой орте круглым счетом по 400 человек. А если судить по всем причисляющим себя и причисляемым к янычарам

– до 400 тысяч. Это объясняется очень просто. Много среди янычар формальных членов – высших сановников, "почетных членов" и так далее. Считается даже, что первый янычар – сам падишах. Какие же его знаки отличия? Звание янычара для падишаха – это 1000 асперов жалованья и лишние лучи тревожной славы султана: "Если богу угодно, мы скоро увидимся в Риме или Регенсбурге!" Так говорит он, восходя на престол. Традиционный объезд казарм, угощение кофе и сербетом (сейчас его называют шербет). И, наконец, в мечети Эюб султан опоясывает себя саблей Пророка.

По-прежнему янычары [illegible], [illegible] на неприятеля бесформенной лавиной, толпой с саблей в правой и ружьем в левой руке. Из перекошенных злобой ртов рвется: Аллах! Спят на бивуаках на разостланных коврах или [illegible] шкурах. Стоят в карауле в колоритных чалмах, обвитых [illegible] и черной шелковой материей. Получают в награду [illegible] сабли, одежду и деньги, ордена. Выступают в [illegible], белым знаменем – байраком и военным оркестром. [illegible] султана на охоту. А самая великая честь – [illegible] удалых сегбанов, большей частью сыновья янычар [illegible], составляющих эскорт телохранителей падишаха.

Все это длится пятьсот лет. [illegible]. И вот наступает страшная весна 1826 года. "Но[illegible]" [illegible] установлена и – о ужас! – должна быть усилена [illegible]. Янычары – придаток. Это уж слишком. Снова мятеж.

Тогда султан водружает священное знамя Пророка и моментально усиливает свою "новейшую гвардию" [illegible] войсками и восемью тысячами артиллеристов. Янычары к исходу пятого столетия своего существования объявлены богоотступниками. Они оттеснены к казармам. В пожаре погибает четыре тысячи янычаров. Спасающиеся бегством изрублены. Казнят всех офицеров и солдат-янычаров, захваченных с оружием в руках. Через месяц уничтожен уже весь янычарский корпус. Шестнадцать тысяч убиты, тридцать тысяч сосланы. Срыты до основания даже казармы янычар. Разбиты котлы и полковые знамена. Раскассированы по другим полкам оставшиеся в живых.

Память о янычарах начинает медленно затухать. А через сорок лет появляется уже новый орден – "Османие Орден" четырех степеней. Им награждают за двадцатилетнюю службу тех, кто во времена разгрома янычар произошел на свет.

Он очень красив. Знак – это светло-зеленая "финифтяная о семи лучах звезда, окаймленная золотом, лента светло-зеленая с ярко-красными полосами по краям; а звезды I и II степени серебряные и граненые".

"ФОРМЕННЫЕ ПРИТЧИ"

Кокарда – когда и откуда?

Франция. Париж. Предреволюционные ветры середины XVIII века. Военные шляпы существуют так давно. Грех их не украсить и тем более французу! Чем, плюмажем? Но ведь это уже есть. Разных очертаний, размеров и цветов. Что же еще? А не украсить ли шляпу бантом? С высоты шляпы, сверху он прекрасно виден, обозреваем прохожими, а главное – соратниками, сотоварищами по службе. Знак. Признак, отличие помимо эполет. Обычай носить бант на военной шляпе нравится, приходится по вкусу (с легкой руки французов) и в других странах. Пол-Европы в бантах. И знак, и забава. Шляпы Европы приветствуют вас. Всех. Церемонно склоняясь перед половиной рода человеческого (тогда еще слабой).

А у нас в России была ли такая шляпа? Оказывается, бант на треуголку вспорхнул здесь еще раньше Европы. В 1732 году. Красивый шерстяной белый бант появляется на российских треуголках "яко российский полевой знак". И вот такой белый, незапятнанный – он существует в России очень долго. Более шестидесяти лет огромные "гербарии" белых бабочек наколоты на крутые склоны армейских треуголок.

Наконец банты-бабочки стряхивает нетерпеливая рука Павла. Со всех или, вернее, почти со всех треуголок. Исключение – офицерский корпус и кавалерия. Однако и здесь бабочки меняют окраску и превращаются в черный бант с оранжевыми узкими полосками. Бант меняет все – и форму, и цвет, и даже название. Это кокарда. Сухой язык армейского рапорта определяет ее назначение следующим образом. "Отличительный военный знак на головных уборах, большею частью круглый или овальный, делаемый из металла, фарфора (эмали) или в виде ленточной розетки и служащий показателем принадлежности воина к определенному государству". И тут-то выясняется, что кокардой стал впервые называться не бант и не металлический с фарфором знак, столь хорошо известный в наши дни, а обычный султан или пучок перьев, с достоинством носимый на шапке. И появилось это украшение – кокарда – у венгров.

Однако мы отвлеклись. На заре девятнадцатого века на шляпах русской пехоты вновь запорхали цветные крылья бабочек-кокард. На этот раз – круглая розетка из черной тесьмы с оранжевыми каемками.

Летят годы, летят бабочки-кокарды, усаживаясь на боевые, видавшие виды кивера солдат двенадцатого года. Летят, изменяясь на лету. Превращаясь в разноцветные украшения военных шапок с остроумным народным названием "репейки".

К пятнадцатому году прошлого века российские треуголки успевают уже повидать Париж. А домой, в Россию, возвращаются уже трехцветными. Нет, не отмеченные "триадой" французского республиканского флага. А сохранив строгий черно-оранжевый цвет "крыльев". Дополненный лишь белой лентой. А белый цвет трехцветья чуть позже становится серебряным. Эра русской кокарды только начиналась. В 1844 году в нашей армии вводятся каски. И бабочки кокард незамедлительно садятся на их чешуйчатые склоны. Кокарда растет. Теперь она уже круглая металлическая. Здесь и широкая белая полоска, и две оранжевые, и черная, и даже черный круг внутри — в центре кокарды. В эти же годы трехцветная кокарда начинает украшать и околыши офицерских фуражек. Затем кокарда перескакивает и на солдатские головные уборы. Впрочем, минуя фуражки солдат. Проходит еще несколько лет, и во второй половине девятнадцатого века бабочки-кокарды разлетаются по всей России. Теперь они уже и на фуражках чиновников.

Завершается век девятнадцатый, а русские солдаты и офицеры встречают войну четырнадцатого года с кокардами самых различных цветов. Они украшают и фуражки и все парадные головные уборы. Правда, кроме касок. Бабочки-кокарды продолжают порхать на военных головных уборах и всех иностранных армий тех лет, правда, кроме Англии, Испании и Турции. Немцы, как всегда, даже здесь "переходят границу". Германская армия монументально "водружает" на головы своих солдат целых две кокарды — общеимперскую и местную.

Галифе генерала Галифе

Галифе, галифе, брюки особого покроя, так именовались они в начале двадцатого века в России, Англии, Франции и далее, и далее. Не только именовались, но и усердно носились-служили и военным, и штатским, как говорится, по всему свету. Служат по сей день. Удобны. Легкого кроя. Стройнят фигуру. Скрывают дефекты — давний юмор о ногах кавалериста, "кривизна коих скрыта за пузырями галифе".

Итак, откуда родом? Чья же идея? Галифе, галифе. Слово по звучанию, кажется, французского "покроя". Шаг дальше. Французский словарь Н. П. Макарова, ребристая энциклопедия Гранд Ляросс поясняет — это, оказывается, фамилия. Еще шаг. Толстый, величавый кирпич с золотым тиснением на красных и малиновых обложках: "Кто есть кто". Есть ли? По списку фамилий парижского телефонного тома их много, этих фамилий. Однако не то. Это однофамильцы или, в лучшем случае, дальние потомки давнего протежера. Галифе, галифе, уж не лучше ли искать истоки, исходы в строю французских войск? Или точнее — в кавалерии, ее воен-

ных архивах. Есть такой. Красавец с седым ”плюмажем” волос и черными залихватски закрученными и наверняка крашеными (воронье крыло) усами. Гусарский расшитый мундир. Не строгий и холодный, как подобает по военному этикету, а смягченный, закругленный мягкостью шнуров, свитых, сшитых французскими золотошвеями. И лишь один орден, но зато Почетного легиона. Лицом кавалерист, лихой рубака. Это, оказывается, по его указанию французская кавалерия снабжена рейтузами особого покроя, известного поныне под названием ”галифе”.

Устоялась фамилия, ”осела” на век на талиях французских солдат и офицеров. Восславила или ославила род маркизов де Галифе.

Однако, чтобы предложить эту новую форму, ее необходимо было проверить, испытать в бою, в строю, в песках Африки и снегах Севера. Итак, послужной список. Дорога Гастона-Александра-Августа. Ее повороты в начале пути. Произошел на свет в год буржуазной Французской революции 1830 года. Мальчишкой вступает в гусарский, и непременно Первый, полк. Пять лет – и подпоручик гвардии. А далее сражается против нас в Севастополе и, подхваченный южным ветром, оказывается в Италии и Африке. Офицер орлеансовых батальонов Наполеона Третьего. Алжир, командир полка конных африканских стрелков. Песчаные ветры, бури, миражи пустынь и вполне реальное ощущение полковничьих эполет на плечах тридцатилетнего Гастона. Однако есть и издержки производства – тяжелейшее ранение в живот и пожизненные ”латы” на животе (постоянно носил стальную пластинку, предохраняющую поврежденное место).

Однако и Алжир, и мексиканская Пуэбла столь далеки от метрополии. А необходимо, ох как важно паблисити! И вот долгожданный случай. Рейнская армия. Свинцовая гладь притихшей воды. Война. Атаки под Седаном. Генеральский мундир и восхищение короля Вильгельма: ”Какие молодцы!”, предваряющее прусский плен, уступы крутых оград, Кобленц.

И вновь кавалерийские лавы, вометающие чины, чины, чины. Смена городов – Дижон, Тур, Лимож. И наконец инспектор всей, всереспубликанской кавалерии. И вот тут-то появляются на солдатах французской кавалерии изгибы, извивы ”гусарской грации” – проверенные в боях и походах галифе генерала Галифе. А что же дальше? Уже менее интересно. Тяжелый портфель военного министра заставляет Галифе спешиться и ”завоевывать противника” гулкими коридорами военного министерства, а не пиками драгун, за необходимость вооружения которыми он ратовал чуть раньше, с седла кавалерийской лошади.

Россия. Век восемнадцатый. Летняя легкость Зимнего дворца. Александрийский столп словно ножка циркуля еще не очерчивает полукружье Генштаба. Замкнутый полукруг?! И одновременно настежь. Распахнут всем ветрам, в том числе и западным.

Лихая рота вышагивает слегка вразвалку, даже несколько рисуясь, по Дворцовому мосту. Идут быстро, однако не в ногу — русские инженеры знали уже тогда о роковой динамической нагрузке. Ружья, руки, каски и белизна витков на правом плече. Не погон, не эполет, а многократно закрученный эдакими завитками кондитера светлый шнур. Косичка шнура вьется по плечу и вдруг у самого рукава расслаивается на несколько шнуров, раздваивается, растраивается и летит вниз к поясу металлическим наконечником.

Шнуры легкие, тонкие, их обдувает, ласкает капризный переменчивый невский ветерок. [illegible] провиантская рота. Время действия — шестьдесят второй год восемнадцатого века. Рота проходит, вызывая удивление [illegible].

Следует и новое понятие: аксельбант. Игривое, непонятно-красивое слово. А по-русски — оплечье, наплечье. Так толкует толковый Даль. Слово в [illegible], а оплечье — на плече. Утверждается Петром Третьим. И сразу пользуется успехом. У него, у солдат, офицеров и, конечно же, [illegible] девиц и дам, заполняющих улицы молодого и [illegible] русского града.

Птичка оплечья легко перелетает на широкие плечи гренадерских батальонов и полевых [illegible]. Не остаются в долгу драгуны и кирасиры. Птичка "чистит перышки", расцвечивается, становится золотой, серебряной и даже трехцветной — белой с нитями — оранжевой и черной.

И вот "венок Екатерины" падает на правые плечи лейб-гренадеров. Им, и только им, пожаловано "преимущество пред прочими полками". Золотое оплечье господам офицерам и гарусное, а по-простому нитяное — нижним чинам. Отпускается и сумма на заведение и обзаведение ежегодное. Сумма по тем временам немалая — три тысячи золотом. Ну а мотивы, или, как говаривали, мотивация? Очень просто, по чрезвычайности. "Первый, как по его степени, так и по сути, отличался воинскою дисциплиною и храбростью". Сыграла роль и частичка "лейб" — ближе ко двору, а потому, наверно, и виднее достоинства солдат.

Пятнадцать лет проходит после екатерининской привилегии, и оплечье — аксельбант перекочевывает на плечи солдат и офицеров лейб-гвардии егерского полка и конной артиллерии. Уютно размещается оплечье, захватывая петлями вторую и третью пуговицы мундира на груди рядовых легкоконного полка. Это так называемые шволежёры Польского корпуса,

который находится на русской службе. И, наконец, нависает маленькой скромной петлей над плечом унтер-офицеров драгунского, да еще к тому же и герцога д'Ангиен полка.

Однако цепкая память Павла (ли?) отвергает екатерининские привилегии – и лейб-гренадеры без аксельбантов. Сначала солдаты, а следом за ними и офицеры...

Ношение аксельбантов становится уже не только привилегией, а особой привилегией. В числе счастливцев штаб- и обер-офицеры-академики, то есть окончившие с отличием академию генштаба или инженерную Николаевскую и Михайловскую артиллерийские академии. Постепенно права ширятся. В число "носителей" включены адъютанты. Аксельбант подстраивается под цвет пуговиц мундира. Медный ряд пуговиц – и аксельбант золотой. Серебристо-белый – и аксельбант мерцает серебром шитья.

Как ни красиво золото и серебро аксельбантов, однако живописные атаки русских мундиров быстро гасит японский пулеметчик цвета хаки. Ближе к земле. Слиться с ней цветом. Распластаться, чтобы не раствориться в небытии. Уроки впрок. В девятом году двадцатого века вслед за походной одеждой защитного цвета робко появляется шерстяной защитный полуаксельбант. Но в городах России, в глубине, вдали от границ аксельбанты расцветают радугой. Здесь и красные витые шнуры с оловянными наконечниками, и желтые с наконечниками из красной меди, и, наконец, ослепительно белые аксельбанты.

Но на плече офицеров еще и погон или даже эполет. Где же место аксельбанта? А под погоном. К тому же он разделен на передний и задний плетни с петлями. Конец переднего плетня замедляет свой бег у второй пуговицы мундира, а задний плетень – у третьей. Шнур красиво провисает под правым рукавом. Германский же фасон начала двадцатого века и описать трудно. И волны двух плетней перекатываются на увешанной орденами груди, и витки шнуров, захваченных премудрой петлей. Ведь тот же аксельбант был в Пруссии значительно скромнее – как шнур, завязанный на "бантик". Две петли и два конца с наконечниками. Примерно такой же украшал и русские плечи.

Но кто же, однако, его изобрел, как и в связи с чем появился этот удивительный и загадочный шнур? Версий много. Аксель – плечо. Банд – лента, бант. Гравюры Франции – немые соглядатаи эпохи. Семнадцатый – середина, конец. И действительно яркие наплечные банты украшают придворные камзолы. У голландцев тех лет они напоминают незатянутую петлю за спиной, у плеча.

И это все? Нет, а слухи.... Их ведь тоже можно иногда принимать в расчет. Правда, с известными оговорками. Итак, еще предположение – веревки на плече носили в древности кавалеристы.

Это были так называемые фуражные веревки. Были и наконечники – служили для чистки затравок.

А есть и такое объяснение. Аксельбант происходит от старинных плечевых ремешков, или так называемых буфов. Они нашивались на правом плече солдат во время Тридцатилетней войны. А цель? Для придержания широких плечевых портупей.

И, кажется, самое романтическое предположение восходит ко временам герцога Альбы.

Альба, герцог Альба, удивительно похож на Дон Кихота. Причем это не причуды одного художника. На всех гравюрах, живописных портретах, картинах – он "рыцарь Печального Образа". Кстати, в прямом смысле печального. Оставляет по себе тяжелую память. И особенно в Голландии, иначе говоря в Нидерландах. Интересно, что одна из версий появления аксельбантов связана, правда косвенно, с жестоким герцогом.

Итак, середина шестидесятых годов шестнадцатого века. Резня, виселицы в Голландии. Глухие зарницы, предвестники мятежей, сотрясают страну. А тут еще полк валлонов (до того находился на службе испанского короля) переходит к противнику (читай голландцам) в полном составе. Бунт.

Однако, прежде чем рассказать о том, как реагировал на все это Альба, следует упомянуть о валлонах. Итак, валлонская гвардия. Кому служила и под чьими знаменами воевала? Так называется в восемнадцатом веке лейб-гвардия короля, офицеры которой принадлежат к самым знатным фамилиям страны. Кроме гвардии валлонцы служили еще в других полках Испании и Неаполя. Итог – в 1822 году гвардия распущена.

Страна валлонов – южная и восточная часть Бельгии. Народ говорит по-французски. Валлонцы – романский народ, родственны французам. В средние века валлонская провинция являлась одной из самых цветущих в Европе, славились красотой и ее женщины. Известен, в частности, старинный анекдот о жене Филиппа Красивого. Она с венценосным супругом въезжает во Фландрию и при виде разряженных фландрских горожанок, приветствующих ее, ядовито замечает: "Я думала, во Франции всего одна королева, а вот их несколько сотен".

Но вернемся к рассерженному герцогу. Альба узнает о бунте и тотчас, гонимый яростью мщения, отправляет письмо командиру перешедшего к голландцам полка. Расточает громы и молнии. Сообщает, что непременно повесит каждого чина полка, как бесчестного вора. Если, конечно, возьмет в плен.

Полковник еще раз удостоверяется в крепости духа своих подчиненных и отвечает герцогу следующее: "Чтобы испанцам не пришлось бы много хлопотать, то каждый чин полка будет иметь при себе и веревку, и гвоздь". Итак, конец цитаты и начало рождения новой формы. Валлоны тем временем с большим тор-

жеством навешивают себе на шею веревку и гвоздь. Солдаты полка удивительно храбры в бою. А кроме того, они не могут, не должны попадать в плен. Приказ Альбы еще в силе. Но все проходит. Кончается и война. А привычка остается. Привычка носить веревку у правого плеча. Носить и гордиться, с шуткой вспоминая жестокий приказ Альбы и бунт, произошедший в полку, – "аксель-бунт".

Папская гвардия по Микеланджело

Маленький, юркий "фольксваген" лихо скашивает углы итальянских улиц. Вечный Рим резко наплывает на него, кружится за ветровым стеклом, выворачивает карманы ярких, цветистых переулков, качает на брусчатых мостовых и бесцеремонно прижимает к баранке руля у светофора. И снова гонка вдоль Тибра, гонка, порой переходящая в болезненное топтание в толще стальных собратьев. Нетерпение, однако, тяготит. Улицы, лица, палитры витрин, дрожь автобусов, звон, гул, всплески гортанной речи. Мимо, мимо. Еще раз правый поворот. И совсем уже близко, почти над головой возникает "тиара" собора Петра – его огромный купол. Собор облокачивается на плечи соседних домов. Нависает над ними. Заявляет о себе за несколько улиц.

Теперь слышен лишь топот ног. Сухим щелчком хлопает дверца. Оранжевый жук – "фольксваген" – покинут. Оставлен на попечение лакированного итальянского полисмена. Почти бегом. Наискосок, срезая круг колоннады. Туда, где ее правое крыло примыкает к собору Петра. Шаг замедляется. Кажется, здесь. Бронзовые ворота. Ватикан. Вход. Папские гвардейцы. От обилия красок рябит в глазах. Сверкают, вбирая в себя все цвета улицы, блестящие нагрудные панцири – кирасы. Струятся, развеваются под легким весенним ветерком пышные султаны над касками. "Пьедесталы" ботфортов неколебимы – гвардейцы застывают перед глазами объективов.

Только на цветную! Иначе пропадет эффект. Чертовски удачная все-таки выдумка предка. Микеланджело умудрился одеть гвардию пятьсот лет назад. Наскоро. Наспех рисует, раскрашивает в три цвета одежду. Задумывает ее многослойной. Из-под одной одежды сквозь продольные длинные прорези виден другой цвет. При ветре, движении желтый, синий и красный наплывают один на другой, смещаются цветовые акценты. На глазах меняются костюмы охраны. Вечны и неизменны лишь шпаги у поясов и дуги алебард. Однако, на всякий случай, в карманах трехцветных брюк помалкивает автоматический пистолет.

Папские гвардейцы, полосатые будки – граница. Пограничная стража Ватикана. За границей и направо – папа. Стоит лишь

преодолеть лестницу Пия, что ведет во двор святого Дамаза, и вот покои главы Ватикана. Однако и здесь заслоны — дворец опоясан полукруглой казармой швейцарской гвардии. Остались ли где-нибудь сейчас наемные швейцарцы? Пожалуй, это одна из последних их служб при чужих дворах.

Однако как долго сторожат швейцарцы "Монс Ватиканус" — Ватиканский холм и что же они сторожат? Собрание стилей, эпох, мыслей, мировоззрений и, конечно, самих себя, свою спокойную службу.

Желто-красно-синяя гвардия, сотни лет меняя караулы, стучит каблуками ботфортов по двадцати дворам Ватикануса, преодолевает ступени 200 лестниц и многозначную тишину 12 тысяч комнат. Спешит галереями из старого Ватикана в Бельведер и с трепетом замедляет шаг у ватиканской библиотеки. Шум гвардии гаснет, растворяется среди золотых тиснений книг.

Продолжение следует

Статьи о литературе

Борис ТАРАСОВ

"... ОБ ИСТИНЕ... О РОССИИ"

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ

I

В дискуссиях западников и славянофилов за видимым тематическим и предметным разнообразием проявляются вполне определенная внутренняя связь, общие закономерности и парадоксы истории, культуры, народного бытия, осознание которых не только не потеряло своей актуальности, но приобретает все большее значение. Ведь без сосредоточения всего духовного внимания и всех умственных сил на таких "необъяснимых" противоречиях, когда, например, крайняя демократия порождает и крайний деспотизм (отмечено еще Платоном), когда высшие достижения культуры уживаются с самыми низменными проявлениями фашизма, когда научно-техническая революция сопровождается нравственным распадом, невозможно хоть сколько-нибудь результативное использование многовекового исторического опыта.

Адекватное восприятие причастности полемики западников и славянофилов именно к главным, как говорили раньше, "вопросам жизни" затруднено среди прочих причин и тем, что наша официальная литературная наука большей частью находилась и находится в плену "прогрессистской" логики, идеологических клише, предвзятых схем, десятилетиями внедрявшихся стереотипов. Отсюда ставшее уже привычным и незаметным искажение общего пафоса, порядка и направленности идейно-творческой деятельности писателей, мыслителей, публицистов прошлого. Вследствие произвольного усечения и тенденциозного истолкования нашей ближней и дальней истории на передний план общественного сознания насильственно выводилась линия, идущая, условно говоря, от Радищева через декабристов к революционным демократам. Мировоззрение, идеология и практика представителей этой линии, достаточно маргинальной по отношению к основному стволу русской философии и литературы (Фонвизин, Грибоедов, Пушкин, Чаадаев, Киреевский, Гоголь, Толстой, Достоевский), легли в фундамент искаженной интерпретации, которой подвергались мыслители и писатели с принципиально иным мировоззрением, идеологией, практикой.

В результате такие представители классического западничества, как Белинский и Герцен, искусственно подтягивались до вульгарно-социологических канонов, а такие представители классического славянофильства, как И. Киреевский, А. Хомяков, Ю. Самарин, К. Аксаков, не вмещались вовсе в границы утрированной идеологии, подвергались резкой критике, выводились за пределы общественного сознания и практически отсутствовали в поле зрения нескольких поколений. Потому еще бытует порою представление о славянофилах как о замшелых ретроградах, радетелях

патриархальной старины, отождествлявших народность с простонародностью, приверженцах идей национальной исключительности, нарочито противопоставлявших "гнилой Запад" и "цветущую Россию".

В настоящее время создаются предпосылки для освобожденного от спекулятивных подмен обсуждения поднятых западниками и их оппонентами вопросов. Этому в немалой степени способствует расширение публикаций славянофильских сочинений, в числе первых изъятых из умственного обихода нескольких поколений и среди последних возвращающихся в него. Столь своеобразная очередность свидетельствует, с одной стороны, об их крайней неудобоприемлемости для долголетней атмосферы подавленного духа и искривленного ума, а с другой – об их принципиальной важности для понимания насильственно прерванного органического развития жизни и мысли в России.

Можно сказать, что судьба подобных книг и идей как бы естественно разделила судьбу тех представителей русского духовенства, крестьянства, интеллигенции, дворянства, офицерства, которые менее всех вмещались в прокрустово ложе нового исторического уклада, методично изгонялись и уничтожались и память о которых с наибольшими препятствиями находит путь в современное сознание и культуру.

Между тем без отчетливого прояснения разных проявлений отмеченной несовместимости и возникающих из нее противоречий весьма сложно проследить действительные причинно-следственные связи исторического слома в России и соответственно наметить [illegible] пути ее выхода из создавшегося кризиса. Понимание [illegible] как разрушительных, так и созидательных процессов в мире человека и его истории тем более необходимо (и проблематика славянофильско-западнических споров серьезно помогает этому), что все чаще и громче звучат сейчас голоса, выводящие все террористические ужасы утопической идеологии из якобы вековечной рабской сущности русского характера или конструирующие аналогические и противоестественные понятия вроде "православного фашизма".

Но здесь сразу же возникает множество самых простых вопросов. Почему именно носители православного мировоззрения, традиционного жизнеощущения, люди долга и чести оказались самыми неугодными? И не потому ли массовым репрессиям подвергались целые сословия, воспитанные именно на тысячелетних ценностях, что они не могли не сопротивляться в той или иной степени или форме очевидным эксцессам и несправедливостям заново перестраивавшейся жизни? Да и зачем, спрашивается, нужно было почти под корень истреблять тот "рабский" народ, который, по убеждению новоявленных теоретиков, являлся оплотом и поддержкой неправедной власти?

Ответ тут может быть только один: "православие", "патриархальщина", "славянофильство", или иначе – коренные духовные ценности, высокие нравственные идеалы, основополагающие традиции русского народа не только не способствовали производству на свет уродливого дитя утопической системы, но, напротив, создавали неблагоприятную, инорпиродную атмосферу для его взращивания. Более того, в историческом плане как раз разрушение органического уклада религиозной, культурной, социальной, экономической жизни создавало в России питательную среду для искусственного заимствования чужеродных идей и их последующей нигилистической трансформации. Говоря об одном из важных проявлений подобной метаморфозы, о террористической деятельности Нечаева, Достоевский подчеркивал: "Эти явления – прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни.

Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева".

Достоевский проводит резкую грань между "нечистыми" нигилистами и "чистыми" западниками и революционными демократами, которые не признали бы в террористической деятельности неожиданную эволюцию своих идей, подобно тому как в "Бесах" Верховенский-отец открещивается от родного сына. Однако, по убеждению писателя, субъективное неприятие не отменяет подспудной объективной "преемственности" столь разных идейных течений, пересекающихся на поле пренебрежительного отношения к национальным традициям и ценностям. Для Степана Трофимовича Верховенского, как и для капитана Лебядкина, заявлявшего, что Россия представляет собою "игру природы, а не ума", родная страна также "есть слишком великое недоразумение, чтобы нам его разрешить, без немцев и труда". Мысли отца о "вреде религии", о бесполезности и комичности слова "отечество", о бесплодности русской культуры ("я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель") находят естественное продолжение в богохульстве сына, Петра Верховенского, в громких требованиях "новых людей" об уничтожении собственности, семьи, священства, в их намерениях "срезать радикально сто миллионов голов" и оставить "только кучку людей образованных", чтобы "жить-поживать по-ученому"...

Сравнивая столь нетривиальные идейные превращения в романе "Бесы" с собственными юношескими увлечениями западническими и социалистическими теориями, Достоевский признавался: "Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности права собственности, все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству как тормозу во всеобщем развитии и проч. и проч. – всё это были такие явления, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае тема казалась величавой и стоявшей далеко выше уровня тогдашних господствующих понятий – а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не те из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда *зараженных*, но которые отвергали впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, – те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться".

Достоевский обнаруживает (и предупреждает об этом) существеннейший парадокс, когда величественные "новые идеи" оборачиваются хаосом и разрушением. По его убеждению, неизбежное соскальзывание, снижение, измельчание, замутнение "великодушных идей" объясняется их "короткостью", онтологической неукорененностью, смысловой незавершенностью, нравственной скудостью, игнорированием глубинных проблем человеческой природы и свободы, что предопределялось невниманием или даже враждебностью проповедников к изначальным традициям и непреходящим ценностям народа.

С точки зрения писателя, все это и обусловливает ответственность беззаветных служителей утопического социализма за непредвиденное ими перерождение их недодуманных до конца теорий, исторгших из себя вслед за "цивилизованными русскими", ранними и поздними западниками, самобытные начала народной жизни и ее главные святыни. Отрыв "русского

культурного слоя" от "почвы" означал для писателя отказ от православия ("кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую, и Бога") и соответственно от подлинного, неискаженного жизнеустроения, основанного на абсолютных смыслах и "длинных" идеях. Таким образом, нигилистическое беснование осознавалось им как заключительное звено в трагической цепи российской истории, в которой возвышение над народом и элитизация дворянской интеллигенции создавали благоприятные условия для смещения иерархии духовных ценностей, развития болезненной гордыни ума, вызревания безграничной веры в непогрешимость "короткой" науки. В результате рассудочные теории взыскующих общего блага благородных людей драматически вели к неразличению добра и зла и тотальному безумию.

Думается, логика Достоевского, сформировавшаяся в атмосфере непрекращавшегося осмысления полемики западников и славянофилов, вносит важные дополнения в столь живо обсуждаемые ныне вопросы: "кто виноват?", "что делать?", что с нами происходит? где истоки исторических падений? по какому пути двигаться дальше? И нет правильного ответа на подобные вопросы не обойтись без той учебы, о необходимости которой писатель предупреждал еще более ста лет назад: "У нас дошло до того, что России надо учиться, обучаться нам вновь, потому что непосредственное понимание ее нами утрачено". Именно к такой учебе и в таком контексте приглашают нас давние дискуссии, в чем-то сплошь опережающие по смысловой глубине уровень наших современных споров на сходные темы.

II

Идейные разногласия и столкновения западников и славянофилов стали важным явлением русской общественно-литературной мысли XIX века, чрезвычайно богатым нравственными, социальными, политическими и иными уроками. В 40-х годах в Москве и Петербурге наблюдалось небывалое оживление умственных интересов, а философские, исторические или эстетические проблемы осознавались как вопросы жизни. То была весьма своеобразная эпоха, когда за фасадом внешне упорядоченного и регламентированного бытия осуществлялась внутренне беспокойная и напряженная духовная работа. Выразительную характеристику этого времени дал Герцен, говоря о разочаровании своих друзей-эмигрантов привезенными им из России новостями, которые "больше относились к литературному и университетскому миру", нежели к политическим сферам: "Они ждали рассказов о партиях, обществах, министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроениях студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы "всемирной революции" и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление "Мертвых душ" было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами".

Вместе с тем будораживщее умы обсуждение литературных произведений и критических работ, научных статей и публичных лекций не могло не подготавливать соответствующую почву для грядущих социально-политических перемен. Поэтому от глубины осмысления и степени проникновения в самую суть поднимавшихся философско-исторических и литературно-эстетических проблем, от их адекватного восприятия и понимания широкими кругами общественности зависело многое в будущих судьбах страны.

Это весьма специфическое и неразрывное единство "слова" и "дела", "науки" и "жизни", "искусства" и "действительности" наглядно проявилось

в полемике славянофилов и западников, затронувшей самые разные области социально-культурной деятельности прежде всего в 40-х и в меньшей степени в 50-х годах XIX столетия. Именно данный период включает в себя активность таких представителей классического или раннего западничества, как В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, П. В. Анненков, И. И. Панаев, К. Д. Кавелин, Н. Х. Кетчер, Е. Ф. Корш, П. Г. Редкин, Д. Л. Крюков. Этих писателей, историков, философов, литераторов, распространявших свои идеи на страницах журналов "Отечественные записки" и "Современник", на университетских кафедрах, в московских и петербургских салонах, объединяло стремление широко использовать все европейские достижения и буржуазные свободы в грядущих социальных преобразованиях России. Тем не менее в западничестве постепенно выявлялись либеральная и революционно-демократическая тенденции, преломившиеся, например, в эстетических спорах Белинского с Боткиным или в разном отношении Герцена и Грановского к атеизму и материализму. Надо сказать, что и настоянные на западнической идеологии социалистические убеждения Белинского и Герцена не были лишены внутренних противоречий, определявших колебания первого между вооруженным насилием и буржуазными реформами или разочарование второго в "мещанских" результатах европейских революций середины XIX века, а также его "славянофильскую" надежду на внекапиталистический, "общинный", путь развития России.

Что же касается истинного, как его называл Н. Г. Чернышевский, или первоначального славянофильства 40–50-х годов, то оно включало в свои ряды таких мыслителей, ученых, публицистов, общественных деятелей, как А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, П. В. Киреевский, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев, Д. А. Валуев, Ф. В. Чижов, И. Д. Беляев. Идейно близки к ним в эти годы были также писатели В. И. Даль, С. Т. Аксаков, Ф. И. Тютчев, Н. М. Языков, историки и слависты Ф. И. Буслаев, О. М. Бодянский, И. И. Срезневский, М. А. Максимович.

Следует отметить, что, как и "западничество", сам термин "славянофильство", введенный в оборот идейными оппонентами, носит достаточно условный характер и не обозначает всей полноты и сложности обозначаемых им воззрений. Несмотря на отдельные разногласия, например, в оценке петровских реформ и других этапов русской истории, в определении содержания и объема понятия "народность", в разграничении функций "земли" и "государства", в отношении к духовным и эстетическим исканиям Гоголя, принципиальных единомышленников сближала не только и не столько симпатия к славянским народам, сколько признание важной роли самобытных начал русской истории и культуры для настоящего и будущего родной страны. В отличие от западников, не учитывавших в должной степени или вовсе отвергавших тысячелетние традиции (религия и предания, писал Герцен, являются "путами, позаимствованными у прошлого") ради рационалистической идеи абстрактно линейного прогресса, славянофилы солидаризировались с Шеллингом, подчеркивавшим: "Идея непрекращающегося прогресса есть идея бесцельного прогресса, а то, что не имеет цели, не имеет смысла, следовательно, бесконечный прогресс – это самая мрачная и пустая мысль".

По убеждению славянофилов, чтобы предохранить от разложения реальную "живую жизнь" и не провалиться в обманчиво сияющую пустоту утопии, необходимо сохранять и восстанавливать историческую связь времен во всей ее полноте и глубине, непосредственности и прочности. Они были согласны с Шеллингом, утверждавшим: "Наше время страдает от многих бед, но спасение не в абстракциях, противоречащих всему конкрет-

ному, но в оживлении традиции, которая только потому и стала тормозом, что ее никто не понимает".

Раскрытие созидательного значения основополагающих национальных традиций в повседневном жизнестроительстве, в воспитании целостной духовной личности, в предотвращении обезбоживания и эгоизации современной цивилизации составляло существенную особенность деятельности славянофилов, которые отстаивали свои убеждения в литературных салонах, в журналах "Москвитянин" и "Русская беседа", в так называемых "Московских сборниках". Их нравственный максимализм, предъявляемые к государству высокие требования, активные выступления за отмену крепостного права вызывали недовольство правительственных чиновников, подвергавших славянофилов цензурным ограничениям и полицейским преследованиям.

В спорах, возникавших в московских гостиных в конце 30-х — начале 40-х годов минувшего столетия, поначалу вырисовывались оттенки самых разных мнений, которые постепенно поляризовались и выстраивались в твердые убеждения. Славянофилы и западники, замечал Ю. Самарин, не соглашались почти ни в чем, но почти ежедневно сходились и составляли как бы одно общество — оба крыла "нуждались один в другом и притягивались временным сочувствием, основанным на единстве умственных интересов и на глубоком обоюдном уважении".

Обоюдное уважение представителей противоборствующих течений обусловливалось высотой их нравственных запросов, личным благородством, стремлением к улучшению человеческих отношений. Единство же интересов составляли вопросы перспектив культуры и цивилизации, судьбы человека вообще в свете особенностей исторического развития и современного положения Европы и России. Неприятие отрицательных сторон окружающей действительности, вера в великое будущее родной страны устанавливали между оппонентами особую связь, которая, по словам П. В. Анненкова, "заключалась в одинаковом сочувствии к порабощенному классу людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни, допускающего это порабощение или даже на нем и основанного". Однако общие же чаяния и надежды предопределили коренное различие в подходах и оценках.

Говоря о несходстве воззрений западников и славянофилов, Герцен писал: " И мы, как Янус или двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно". Одна голова орла смотрела на западные достижения, ожидая от всеобъемлющей и целенаправленной внешней деятельности людей благотворного преображения их внутреннего мира; другая — на русские традиции, надеясь, что углубленная духовная сосредоточенность и соответствующее душевное расположение человека гармонизируют весь строй его отношений со всем окружающим.

Вслушиваясь в полемику представителей обоих направлений, Гоголь писал, что они говорят о разных сторонах российской действительности. Западник "подошел слишком близко к строению, так что видит часть его"; славянофил "отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад и, стало быть, все-таки говорит о главном, а не о частях". Пока же оба мнения окончательно не определились в понимании тех частей истины, которые в них содержатся, этим, замечает писатель, пользуются разные пройдохи. Они ищут возможность "под маской славяниста или европеиста, смотря по тому, что хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве как поборника старины, так и поборника новизны".

Между плутами, торгующими стариной и новизной, и представителями классического западничества и славянофильства лежала огромная пропасть.

И западники и славянофилы, отмечал Герцен, воодушевлялись горячей любовью к истине и к родине: "Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, – это наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему... и желание деятельно участвовать в его судьбах". Высказывая свое несогласие с духом и смыслом книги Гоголя "Выбранные места из переписки с друзьями", Белинский подчеркивал, что речь идет не о личных симпатиях или антипатиях, а "об истине, о русском обществе, о России".

Мощный толчок к выделению круга славянофильско-западнической проблематики и ее обсуждению дала публикация в 1836 году в журнале "Телескоп" первого философического письма Чаадаева. "Письмо Чаадаева, – писал Аполлон Григорьев, – ...было тою перчаткою, которая разом разъединила два дотоле если не соединенные, то и не разъединенные лагеря мыслящих и пишущих людей. В нем впервые н е о т в л е ч е н н о поднят был вопрос о значении нашей народности, самости, особенности, до тех пор мирно покоившийся, до тех пор никем не тронутый и не поднятый".

Резкие выводы Чаадаева о тусклом и мрачном существовании России на протяжении всей ее истории обусловлены его культурно-прогрессистской логикой, исходящей из идеи совершенного строя на земле. Он выражал на свой лад свойственную времени тягу людей к общественной справедливости, к социальным идеалам. С его точки зрения, эти идеалы не могут быть разумно обоснованы и воплощены вне христианских начал, которые в силу господства в них духовных и нравственных интересов над материальными являются подлинным источником по-настоящему абсолютного, прочного и бесконечного прогресса.

В этой-то точке чаадаевской логики, на пересечении религиозных и прогрессистских принципов, и получает свою роль католичество, в котором, как он писал, "развилась и формировалась социальная идея христианства". Чаадаева в католичестве и привлекает прежде всего "вдвинутость" в историю – соединение теократической мощи с политикой, наукой, литературой, общественными преобразованиями. По его мнению, европейские успехи в области материального благополучия, культуры и просвещения – научные открытия и шедевры искусства, бытовой комфорт и слаженные юридические отношения – представляют собою прямые и косвенные, попутные или побочные, плоды католицизма и оцениваются им как "зародыши" и "элементы" будущего совершенного строя на земле.

В современной ему России Чаадаев не находил ни "зародышей", ни "элементов" земного благоденствия. Причину такого положения вещей он видел в том, что, обособившись от католического Запада в период схизмы, православная церковь не восприняла социально-преобразовательное начало как внутреннее свойство христианства, а потому не собрала всех его прогрессистских плодов. Православие, сохраняя высоту и чистоту евангельского учения, сосредоточилось в храме, усилило в русском народе духовный аскетизм, самоотречение, покорность властям и оставило в стороне разнообразие культурно-исторического строительства. Чтобы достичь успехов европейского общества на всех уровнях его развития и участвовать в мировом прогрессе, Чаадаев считал необходимым России не просто слепо и поверхностно усвоить западные формы (как это и происходило), но, впитав в кровь и плоть социальную идею католицизма, от начала повторить все преемственные этапы европейской истории.

Очевидные преувеличения, заключенные в подобных размышлениях и выводах, вызвали возражения со стороны Пушкина, Жуковского, Вяземского, Баратынского и других писателей, мыслителей, публицистов. Сам Чаадаев обнаруживал впоследствии своеобразные противоречия в западной культуре и очевидные достоинства в русской, признавал недостаточность

европейско-католического аршина во всеобъемлющем изучении мировой истории, пересматривал жесткую односторонность унифицирующей логики, вступавшей к тому же в противоречие с его пониманием исторической эволюции каждого народа как органического развития особенной личности. Народы, подчеркивал он, "в такой же степени существа нравственные, как и отдельные личности, их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы... Народы живут могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекшие века".

Для Чаадаева, как и для славянофилов, любой народ является неповторимой личностью, в фундаменте которой лежат выработанные вековыми национальными традициями ценности. Насильственное изменение своих традиций и рабское подражание чужим ведут к измельчанию и утрате народной личности, чреваты катастрофическими последствиями. Поэтому каждому народу необходимо рассмотреть различные эпохи его прошлой жизни, уяснить особенности своего настоящего существования, чтобы проникнуться предчувствием и в какой-то степени "предугадать поприще, которое ему назначено пройти в будущем". В ходе подобного осмысления, утверждает Чаадаев, у всех народов выработалось бы подлинное национальное самосознание, заключающее в себе очевидные истины, глубокие убеждения и положительные идеи, освобождающее людей от пристрастий и заблуждений и ведущее их к одной цели братского сосуществования. Только от такого самосознания зависит "гармонический всемирный результат", когда нации могут протянуть друг другу руки в "правильном сознании общего интереса человечества", солидарного с "верно понятым интересом каждого отдельного народа".

Таким образом, заключает автор "Философических писем" как бы отчасти и вопреки собственным концепциям, "космополитическое будущее, обещанное нам философией, не более как химера. Надо заняться сначала выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической нравственности, надо, чтобы народы сперва научились знать и ценить друг друга совершенно так же, как отдельные личности, чтобы они знали свои пороки и свои добродетели, чтобы они научились раскаиваться в содеянных ими ошибках, исправлять содеянное ими зло, не уклоняться со стези добра, которою они идут... лишь в ясном понимании своего прошлого почерпнут они силу воздействовать на свое будущее".

III

Именно вопросам органического развития народной личности, национального самовыражения в искусстве, литературе и даже науке уделяли огромное внимание славянофилы. По их убеждению, наивысшие достижения мировой культуры несут неизгладимый отпечаток той или иной нации, зависят от наиболее полного развития самобытных начал того или иного народа. Так, К. Аксаков подчеркивал, что "дело человечества совершается народностями", которые через подлинное самоосуществление своей уникальности, а не вопреки ему становятся интересными и полезными для других национальностей, вносят свой вклад в сокровищницу общечеловеческих ценностей. Такой подход, казалось бы, свойствен его оппоненту Белинскому, писавшему, что народ, живущий за счет чужих идей и традиций, гибнет культурно и политически, что нации, "игравшие и играющие первые роли в истории человечества, отличались и отличаются наиболее резкою национальностию", что без неповторимого лица каждого отдельного народа "человечество было бы мертвым логическим абстрактом".

Однако теоретическое признание своеобразия народной личности как основы ее непосредственно-жизненного участия в культурно-историческом строительстве сочеталось у западников тем не менее с практическим невниманием или даже отрицанием ее фундаментальных начал, глубинных пластов, древних корней, устойчивых традиций. "Мы (со славянофилами) разно поняли вопрос о современности, – замечал Герцен, – мы разного ждем, желаем... Им нужно былое, предание, прошедшее – нам хочется оторвать от него Россию".

Религиозные верования, христианский быт, крестьянские обычаи казались западникам теми изжившими себя формами жизни, которые задерживают в стране отмену крепостного права, развитие демократии, расцвет науки. В собственном допетровском прошлом они не находили почти ничего достойного и призывали избавиться от его "предрассудков" ради общей для Востока и Запада гуманистической цивилизации будущего. Чтобы встать в один ряд с европейскими странами, западники считали необходимым еще раз вслед за Петром I изменить естественное русло развития "отсталой" России и искусственно внедрить в нее проросшие на иной исторической почве культурные достижения и социальные идеи.

Подобные умонастроения, установки и подходы наглядно проявились в сплаве духовно-психологических, идейно-мировоззренческих и деятельно-творческих устремлений Белинского, который отрицал всякие верования, традиции и авторитеты и всегда готов был заклеймить все "реакционное". Критические стрелы "неистового Виссариона", искренне болевшего за униженных и оскорбленных, направлялись против правящих классов, христианских убеждений, любых стеснительных оков для свободомыслия. Не сомневался он лишь в своей вере в такие времена, когда рухнут все сословные и имущественные перегородки и люди заживут по-братски на земле. В результате он отвергал все формы исторического существования, противоречившие движению к чаемому научно-гуманистическому раю. "На этом основании, – замечал П. В. Анненков, – Белинский делил мир на зрячие и слепые народы, и последние были противны ему по принципу, какими бы в прочем добродетелями, высокими качествами, знатными преимуществами ни обладали. Нужно ли прибавлять, что о какой-либо справедливости по отношению к людям, народам, и предметам не было и помину при этом..."

В спорах со славянофилами Белинский противопоставлял "более образованные" и "зрячие" народы "лапотной" России, которой следует без всяких раздумий усвоить новейшие достижения европейской мысли и науки, дабы включиться в мировое движение за освобождение личности от исторических пережитков и установление справедливого общественного строя.

По убеждению критика, такое движение не может обойтись и без гильотины, имеющейся в "еще более образованных странах", ибо трудно представить, что принципиальные перемены могут сделаться "само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови". С революционным энтузиазмом "торопя" наступление взыскуемого благоденствия, он писал В. П. Боткину: "Дело ясно, что Робеспьер был не ограниченный человек, не интриган, не злодей, не ритор, и что тысячелетнее царство божие утверждается на земле не сладенькими и восторженными фразами прекраснодушной жиронды, а террористами – обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьера и Сен-Жюстов".

Революционный демократизм и социалистические убеждения Белинского причудливо сочетались с патриотической надеждой на капиталистическое развитие полупатриархальной страны. "Теперь ясно видно, что

внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию", — писал П. В. Анненкову умиравший от чахотки критик (совершавший ежедневные прогулки к вокзалу строившейся Николаевской железной дороги и с нетерпением ожидавший завершения работ).

Белинский надеялся, что железные дороги победят тройку, просвещение одолеет невежество, а "лучшая, то есть образованнейшая часть общества", следящая "за успехами наук и искусств в Европе", выведет Россию на передовые позиции социальных отношений.

В ситуации неизбежного выбора дальнейшего пути "старой" России, глубоко охваченной "новыми" стихиями европейских начал, славянофилы как бы сравнивали и взвешивали разные ценности. Работа Хомякова, написанная в 1839 году и положившая начало славянофильскому направлению, так и называлась — "О старом и новом". Для опровержения необходимости безусловной подражательности и обоснования возможности самостоятельного развития он стремился показать объемную и противоречивую сложность исторического пути как России, так и Европы. Признавая в русской истории наличие вражды и междоусобиц, неграмотности и взяток, он находил в ней в не меньшей степени и обратные примеры, показывая отсутствие в преданиях и традициях уроков неправедности и насилия. "Эти-то лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем гордиться".

Хомяков призывал объективно разобраться в разных "плодах просвещения" и определить, нет ли в русском "старом" чего-либо такого, что утеряно в "новом" и что могло бы помочь сделать человеческие отношения более доброразумными. На его призыв откликнулся И. Киреевский, написавший статью "В ответ А. С. Хомякову", также ставшую программным документом славянофильства, в котором прозвучал призыв к большему вниманию к "былому", без чего нельзя уяснить до конца текущей действительности. В этих и других своих работах Киреевский конкретизировал историческое преломление двух разных типов просвещения для более ясного понимания их отличий, а не превозношения одного за счет другого.

Оба мыслителя отправляются от анализа религиозно-исторической и духовно-нравственной ситуации на Западе, чтобы рассмотреть, в каком направлении и до каких пределов изменяется под воздействием основополагающих результатов и исходных начал европейской культуры логика внутреннего развития отдельной личности, определяющая своеобразие ее связи с другими такими же личностями, со всеми людьми. Например, для "оторвавшейся от неба" рациональной науки, одного из главных достижений европейского общества, как считали оба славянофила, характерно одностороннее развитие отвлеченного рассудка, который не требует "ни сочувствия, ни общения, ни братства и делается единственным представителем мыслящей способности в оскудевающей и эгоистической душе". В процессе постоянного всеразлагающего анализа "самодвижущийся нож разума" превращает сердце ученого в "собрание бездушных струн", а его ум — в "счетную машину", накапливающую "мертвый капитал" для человека. Подобная деятельность не только не преображает нравственное сознание, но и становится серьезным препятствием к этому. "Мышление, отделенное от сердечного стремления, есть также развлечение для души, как и бессознательная веселость", — подчёркивал Киреевский.

Что же касается идеи права и юридического закона, организующего человеческие отношения в западном обществе, то и в ней философы славянофильства обнаруживают свою односторонность и отвлеченность, когда

внешняя формальность "съедает" внутреннюю справедливость. Ибо буква закона основана на личной пользе, хотя и ограждаемой условным договором, но направляемой "с расчетом на барыш", и поддерживает эгоистический размен услуг. Абстрактное представление о праве получает положительное содержание и подлинность лишь при зависимости от нравственных обязанностей, находящихся в прямой связи с "всечеловеческой и всемирной нравственной истиной".

И идея свободы, если она не определена этой истиной, не имеет достаточно положительного внутреннего содержания и раскрывается в славянофильском понимании как неразборчивая воля к недоосознаваемой смене разных форм практической деятельности. Отсюда презрение к бескорыстному поведению, "промышленное направление умов", накопление богатства как чувственного раздражителя бесконечного материального потребления. Отсюда дух соперничества оригинальных индивидуальностей и партийных интересов, раздробляющих всякое желание общего блага в конкуренции частных достижений.

Хомяков и Киреевский никогда не отрицали, но, напротив, высоко оценивали демократию, науку, право — все то, что составляет основу западной христианской цивилизации. Вместе с тем они не могли не замечать внутренней противоречивости и неполноты основных европейских достижений, что является, по их логике, плодом развития формализованных начал католичества, односторонне понявшего христианство как высшее принудительное единство по государственному образцу и вызвавшего столь же односторонний и опять-таки внешне определяемый пиетет перед отрицательной индивидуалистической свободой в протестантизме. По их убеждению, в этом раздвоении и установке на внешнее бессознательно сказался всеокрашивающий антропоцентризм античного элемента, подчинявший "небо" "земле" и безуспешно пытавшийся воплотить "христианскую истину" в знакомых исторических формах (юридических, политических, государственных).

Господство рационализма над "внутренним духовным разумом" вело к тому, что живая вера западной церкви, отделившейся от восточной, превращалась в схоластическую силлогистику, а инквизиция торопила внешние процессы, тормозившие духовные преобразования. Это господство объединило и последующие важные этапы европейского развития — все виды новой философии, искусства и литературы, "индустриализм как пружину общественной жизни" и комфортабельные удобства как ее цель, систему воспитания, ускоряемого "силою возбуждаемой зависти", филантропию, основанную "на рассчитанном своекорыстии". Нравственная апатия, скептицизм, ирония, недостаток высоких убеждений, всеобщий эгоизм — такова, по убеждению основателей славянофильства, современная оборотная сторона предательских обольщений и двусмысленных выгод рационального подхода к действительности. Личная независимость, укрепляющая индивидуалистическую отделенность, святость собственности и условных постановлений, препятствующих углублению духовного развития личности и братского единения людей, — таковы дальние последствия искажения западного христианства своемыслием, обусловленным его смешением с формами и сущностью классической древности.

Другими путями, в представлении Хомякова и Киреевского, просвещалось сознание и создавалась культура на Руси, где восточное христианство не смешивалось столь мощно с наследием этой древности и в чистоте святоотеческого предания воздействовало на национальные начала. Поэтому православие, в котором христианство отразилось "в полноте, то есть в тождестве единства и свободы, проявляемом в законе духовной любви",

является, по их убеждению, подлинным началом истинного просвещения, существенно преображающего нравственное сознание человека "силою извещающейся в нем истины". Отсюда особый тип образованности, направленной не на увеличение и утончение материальных удобств наружной жизни, а на очищение сердца и добролюбящее устроение ума, на подлинное единение с другими поверх писаных кодексов, теоретических программ, индивидуалистических пристрастий. Из глубины этого единства, в союзе со всеми другими получает свое значение и каждая отдельная личность, всякий вид деятельности, что не распаляло и не множило реально неизбежные сословные и индивидуалистические противоречия, а, напротив, сдерживало и смягчало их. Вместе с тем "внутреннее" просвещение, как считали славянофильские философы, давало русским людям силу духа, без которой невозможно было вынести многовековые испытания и страдания, как бы распятость на кресте истории. Оно предопределило на долгое время синкретизм в литературе и искусстве (летописи, жития, храмовая живопись, музыка), неразвитость деятельного внимания к экономике, хозяйству, технике как к подчиненным и второстепенным элементам жизни. Конечно же, такие обстоятельства и следствия имели свои соответствующие политические, социальные и иные причины. Славянофилам же важно было выделить среди них в специфическом контексте понятие "просвещения", древнерусский тип которого существенно изменился в послепетровскую эпоху.

- Инстинктом прирожденного реформатора Петр I, по их мнению, чувствовал, что добиться успехов во внешнем прогрессе и могуществе можно, лишь переключив сознание с культа на культуру и рассредоточив его в разных сферах мысли и жизнеустроения. В результате Европа стала для России, как ни для какой другой большой нации, второй родиной, источником не только приемов и методов внешнего прогресса, но и жизненных целей и идей. Жадное и некритическое усвоение не только необходимых "умственных и вещественных усовершенствований", но и "всего строя" западного просвещения в отрыве от проникновения в сущность собственного национального опыта, как полагали славянофилы, усиливало разрыв между самобытной жизнью и заимствованной культурой, увеличивало существовавшее отделение высших слоев общества от народа, приводило к забвению духовной сущности родной земли и ее истории. В итоге собственные же традиции, нравственные уроки и драматические противоречия забывались настолько, что их приходилось потом открывать, как Колумбу Америку. Именно так воспринималась, как известно, карамзинская "История Государства Российского".

Именно такую работу осуществляли и славянофилы, с которых, по словам Герцена, начинается "перелом русской мысли". Они желали "былого" как необходимость сердечно уяснить и разумно ввести в жизнь забываемые начала "истинного просвещения". Причем речь шла не о реставрации и консервации ушедших или уходящих форм жизни. По мнению И. Киреевского, "такое перемещение прошлого в новое, отжившего в живущее было бы то же, что перестановка колеса из одной машины в другую, другого устройства и размера: в таком случае или колесо должно сломаться, или машина".

К тому же К. Аксаков, И. Киреевский и в гораздо большей степени А. Хомяков отличали начала "истинного просвещения" от осложнений и противоречий их недостаточного воплощения в трагической русской истории. В их работах нередко можно встретить резкую критику отдельных сторон русской действительности, крепостного права, бюрократического своеволия государственной власти и одновременно дань глубокого уваже-

ния к "стране святых чудес", европейской культуре, которую они, по собственному признанию, всегда изучали с любовью и плодами которой охотно пользовались. Хомяков писал, что не самодовольство в мнимом превосходстве и важном похваливании русского народа, не щегольство перед обществом знанием русского быта и духа и "выдумывание чувств и мыслей, которых не знал русский народ", а понимание хотя и не проявившейся вполне нормы его нравственного закона должно составить главную задачу в изучении прошлого. А. Хомяков и И. Киреевский, К. Аксаков и Ю. Самарин призывали не к "искусственному и натянутому возвращению к погибшим формам и случайностям истории", а к сохранению корней и духа, сдерживавших напор дурного и оставлявших все положительно прекрасное и благородно доброе в тяжелейших испытаниях России, а также способных, по их представлению, обнять своею полнотою и придать ценность лучшим достижениям европейского просвещения. Речь шла именно о полноте нравственного закона в православии, который следует принять за высшую норму человеческого развития и который своеобразно проявляется в разных культурах. "...Все прекрасное, благородное, христианское по необходимости нам свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское, – подчеркивал Киреевский. – Голос истины не слабеет, но усиливается своим созвучием со всем, что является истинного где бы то ни было".

По словам Чернышевского, "истинные славянофилы" являли собой пример "образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе" и были одушевлены "горячей ревностью к основному началу всякого блага, просвещению". Хотя, отмечает он тут же, имея в виду и Белинского, их нередко обвиняли "во вражде к науке, в обскурантизме, в стремлении возвратить Россию "ко дням Кошихина" и т. д.".

IV

Система высших ценностных координат, глубинно исторических точек отсчета, предотвращающих бытийный распад нравственных категорий, которые вырабатывались славянофилами в полемике с западниками, соответствовала умонастроению представителей главного ствола русской культуры и литературы, питавшегося корнями христианских традиций. Это по-разному выраженное "избирательное сродство" можно найти, например, не только в размышлениях Пушкина в известном письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года или Тютчева в статье "Россия и революция", масштаб, направление и смысл которых очевидно предопределены, так сказать, духовно-историческим принципом, но и в самой ткани художественных образов "простых" героев "Капитанской дочки" или Татьяны в "Евгении Онегине", в "Ревизоре" или "Мертвых душах".

Если же обратиться к статьям Гоголя "Выбранных мест из переписки с друзьями" или к его ответу на критику Белинского, то в них обнаруживается прямая и естественная перекличка с самой методологией мышления славянофилов при рассмотрении различных явлений жизни. "Осмотрительность", то есть умение увидеть противоречивые оборотные стороны прогрессивных новаций, и "уважение к преданию", то есть внимание к значению исторических начал и традиционных ценностей (именно этих качеств, по мнению Пушкина, не хватало Белинскому) не позволяли Гоголю увлекаться "верхушкой верхних сведений", "заколдованным кругом познаний", скороспелыми журнальными выводами в фальшивом свете "ложных призм всяких партий". Размышления автора "Выбранных мест..." об отрицательных последствиях господства моды, распространения косвенного греха,

чисто экономических преобразований, гордыни ума свидетельствуют о нем как о подлинно передовом человеке. "Передовыми людьми можно назвать только тех, – писал сам Гоголь, – которые именно видят все то, что видят другие (все другие, а не некоторые), и, опершись на сумму всего, видят все то, чего не видят другие".

Подобная "осмотрительность" писателя, обзор, говоря его собственными словами, "нынешних запутанностей" жизни, когда человечество развивается во всех своих свойствах, как хороших, так и дурных, не поверхностным взглядом светского ученого, но взвешенным "высшим взглядом христианина", давали ему возможность оценить разную конструктивную роль западной и восточной церкви и подчеркнуть опять-таки решающее значение внутреннего просвещения и всеобъемлющей мудрости в деле преодоления всяческого нестроения и движения к подлинной гармонии в обществе.

Надо сказать, что творчество самого Гоголя стало едва ли не основным предметом собственно литературных дискуссий западников и славянофилов, которые, в отличие от погруженных в современность оппонентов, рассматривали эстетическую проблематику в органическом единстве со своими философско-историческими и социально-нравственными выводами. Логика размышлений над стержневой для славянофилов темой "Россия и Европа" естественно переходила и в сферу искусства, неразрывно связанного с главными вопросами жизни и общественным идеалом. "Атомарное" состояние мира и человеческой души, господство рационализма и прагматизма в межличностных отношениях вносили, как им представлялось, в область художественной практики чрезмерную актуализацию, излишний интерес к чисто внешней стороне человеческого существования.

Сквозь специфическую ткань эстетических рассуждений в дискуссии Белинского и К. Аксакова о "Мертвых душах" снова преломились проблемы духовного состояния людей, главных закономерностей изображаемой действительности, судьбы России. Как при рассмотрении исторических традиций, культурных достижений, особенностей внутреннего развития отдельно взятой личности западники и славянофилы видели в них разные стороны, так и при анализе одних и тех же литературных явлений критики находили разное содержание.

Еще в 1840 году в статье "Горе от ума" Белинский писал: "Действительность – вот пароль и лозунг нашего времени, действительность во всем – и в верованиях, и в науке, и в искусстве, и в жизни. Могучий, мужественный век, он не терпит ничего ложного, поддельного, слабого, расшатывающегося, но любит одно мощное, крепкое, существенное".

В этом высказывании фокусируется позитивистское и бойцовское умонастроение Белинского, распространявшееся на все сферы человеческой деятельности, в том числе и на литературу. По его убеждению, "прямая" критика, не уклоняющаяся от бросающихся в глаза фактов и берущая девизом: "Кто не за меня, тот против меня", должна показать, как в "Мертвых душах" писатель "взглянул смело и прямо на русскую действительность", изобразил с помощью "бесконечной иронии" ее разложение и самоотрицание. В этом-то Белинский и находил основную заслугу Гоголя, считая, что подняться выше отрицания и показать "вечное и неумирающее содержание национальной жизни" тот не мог, поскольку оно не выработано предшествующей русской историей и культурой. По мнению критика, "совершенное отсутствие общечеловеческого" (читай – современных европейских тем и проблем) представляемой писателем жизни обусловлено неразвитостью общественного сознания и социальных отношений, которые надо разоблачить и преодолеть, чтобы успешно двигаться вперед.

Пока же, продолжает свою мысль Белинский, по идейному содержанию и художественному исполнению автор "Мертвых душ" стоит ниже Сервантеса и Купера, Вальтера Скотта и Вольтера, Руссо и Жорж Санда, Свифта и Стерна: ему недостает "рефлектирующего элемента", который Гегель называет "выражением духа новейшего времени", не хватает эрудиции, "интеллектуального развития, основанного на неослабном преследовании быстро несущейся умственной жизни современного мира". И потому Гоголь при всей неотъемлемой великости его таланта не имеет решительно никакого значения во всемирно-исторической литературе и велик только в одной русской, а в его произведениях маловато "живого для всех веков и народов" содержания национальной жизни в противоположность Байрону, Гёте или Шиллеру, "этим колоссам, идущим во главе всемирно-исторического движения целого человечества".

Думается, нет особой необходимости доказывать историческую неистинность подобных суждений Белинского, хотя они практически не анализируются в силу ряда разных причин, в том числе и связанных с догматической канонизацией и заидеологизированной интерпретацией работ критика. Вместе с тем он, конечно же, не мог не чувствовать идейно-полемическую избыточность своих суждений, которые в его оценке "Мертвых душ" корректировались менее ригористичными и даже притиворечившими им размышлениями: это "творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта — и в то же время глубокое по мысли", не только "беспощадно сдергивающее покров с действительности", но и "выхваченное из тайника народной жизни", "дышащее страстною, нервистою, кровною любовью к плодовитому зерну русской жизни".

В таком ряду размышлений Белинский обнаруживает в Гоголе "глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность", которая одушевляет всю поэму и доходит до "высокого лирического пафоса", проявляющегося не в одних "высоколирических отступлениях", но и "среди рассказа о самых прозаических предметах". Поэтому "поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не "сюжет". Следовательно, "нельзя ошибочнее смотреть на "Мертвые души" и грубее понимать их, как видя в них сатиру, в которой сквозь видимый миру смех проступают невидимые ему слезы".

Таким образом, заключает Белинский, уже не "прямая", а "истинная" критика должна раскрыть подлинный пафос поэмы, состоящий "в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и не уловимым ни для какого определения".

Однако для раскрытия столь драматической коллизии необходим был анализ не только полноты сатирического изображения действительности как таковой, но и "высокого лирического начала", "глубокого субстанциального начала", плодовитого зерна русской жизни, выпадавших из поля активного внимания Белинского. Уловить их хоть "для какого-то определения" и пытался К. Аксаков, который в смене форм искусства видит, в отличие от оппонента, не некое прогрессистское движение от "невежественных средних веков" к "рефлектирующему" новому времени, не возрастание человечества от эпической "детскости" к романной "взрослости", а сложный и неоднозначный исторический процесс со своими обретениями и потерями, с подъемом цивилизации и ее дехристианизацией, с абсолютизацией личности и ее измельчанием, с усилением индивидуализма и ослаблением связей с

народом, с целым, с разложением единства и цельности духа, со снижением высокого строя и "серьезного" лада жизни.

По своей "неосмотрительности" Белинский не замечал "оборотной" и "комической" стороны движения человечества от "детского" к "взрослому" состоянию, от "эпоса" к "роману", от " поэтичности" к "прозе" жизни. В рассуждениях К. Аксакова о "Мертвых душах" подспудно выражен этот внутренний драматизм, позднее рассматривавшийся в том же ключе и Вяч. Ивановым. Последний отмечал, что с эпохи Возрождения роман стал питаться "глубокореволюционным ядом индивидуализма": "...в нем личность разрабатывает свое внутреннее содержание, открывает Мексики и Перу в своем душевном мире, приучается сознавать и оценивать неизмеримость своего микрокосма... Роман становится референдумом личности, предъявляющей жизни свои новые запросы, и вместе подземною шахтою, где кипит работа рудокопов сферы духа, откуда постоянно высылаются на землю новые находки, новые дары сокровенных от внешнего мира недр... Роман является или глашатаем индивидуалистического беззакония, поскольку ставит своим предметом борьбу личности с упроченным строем жизни и ее наличными нормами, или выражением диктуемого запросами личности нового творчества норм, лабораторией всяческих переоценок и законопроектов, предназначенных частично или всецело усовершенствовать и перестроить жизнь".

Вяч. Иванов надеялся, что "индивидуалистические", "бунтарские", "перестроечные" начала романа, вытекавшие из нового исторического содержания и постепенно измельчавшие жанр до среднего, беллетристического, в противоположность "большому, гомеровскому или дантовскому искусству", будут преодолены в трагедии, поднявшейся, например, у Достоевского "до высот мирового, вселенского эпоса и пророчественного самоопределения народной души". К. Аксаков, отмечая сходные явления снижения всеобъемлемости, полноты и широты связей в искусстве, выделял противостоящие им формы и произведения. С его точки зрения, дробность, фрагментарность, узость восприятия мира изнутри собственной индивидуальности, своих взглядов, пристрастий и притязаний невольно заставляет художника забывать, так сказать, о Мексиках и Перу вокруг себя, во всем многообразии самоправности, самостоятельности и различий других личностей, вещей и событий мира. В художнике соответственно распадается целостность духа, рушится та внутренняя связь, которая соответствует единству всех мировых явлений в эпохальном масштабе, во всемирно-историческом интересе. В результате внебожественное, частночеловеческое, если воспользоваться терминами Гегеля, постепенно снижалось в значении и дробилось в содержании. Потому-то в конце концов все внимание устремилось "на происшествие, на анекдот, который становился хитрее, замысловатее, занимал любопытство, заменившее эстетическое наслаждение".

Таким образом, внешнее содержание, интрига, шарада или, как сказал бы Белинский, сюжет, а не глубина и значительность мысли выдвигались на первый план в художественном произведении. По убеждению К. Аксакова, противостоять упрощению, омассовлению, опошлению творчества и могло "большое искусство", эпическое созерцание "всякого предмета с его правами", "с полною тайною его жизни".

Мировоззренческие и методологические различия лежат и в основе эстетической полемики между Ю. Самариным и Белинским, назвавшим ее "борьбой за идеи". Она как бы логически продолжала спор вокруг "Мертвых душ" и вновь поднимала сложные вопросы истины в искусстве, противоречивой связи степени критического отрицания и полноты художест-

венного отображения действительности. Появление так называемой "натуральной школы", представители которой "прямо" копировали наблюдаемые язвы и пороки, Белинский считал большим прогрессом в литературе. По его мнению, обвинения "натуралистов" в нарочитом выставлении дурных сторон русского быта если и имеют известный смысл, то тем не менее оправдываются самим ходом, порядком вещей: "...привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, когда придет время верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически". Критик был убежден, что положительное содержание еще никак не оформилось в русской истории и культуре, находится в зачаточном состоянии, подготавливает всестороннее обсуждение в русской словесности, когда она до того созреет вместе с обществом, уже давно решенных в Европе вопросов.

С точки зрения же Самарина, замкнутость авторского сознания лишь входящим в непосредственное поле зрения участком действительности, односторонность в описании ее пошлых сторон накладывает на искусство, по сути, дагерротипические черты. В таком случае художник как бы уходит от лежащих за поверхностью измерений представляемой реальности, от ее смыслового уровня и объема, что не могло не уводить его от живой глубины и подлинной сложности бытия. В результате писатель "натуральной школы" становился порою своеобразным адвокатом или прокурором, бессознательно усекающим полноту жизни до черно-белого изображения в зависимости от идеологии социального заказа. Подобный метод, подмечает оппонент Белинского, незаметно подталкивает автора уклоняться от истины, допускать, например, клевету на мерзавца или идеализацию честного человека, преувеличивать пагубные последствия в одних явлениях и не задумываться о таковых в других: "...почему не очернить настоящего и не выставить в соблазнительном свете предполагаемой будущности – ведь все это с доброй целью, а цель..."

По убеждению Самарина, благородное и невольное стремление "напереть" на темные стороны жизни для ее же совершенствования может привести к противоположному эффекту, ибо затушевывает, пусть и мало проявленные, светлые начала человеческого существования, скрадывает многокрасочную неоднозначность реального бытия. Своеобразным компасом в определении объемности писательского зрения и художественной глубины для него, как и для К. Аксакова, служит творчество Гоголя, чье видение тех же самых событий и явлений обогащено личностным переживанием коренных пороков человеческой природы и высокими требованиями внутреннего самоочищения. Поэтому такой взгляд не может ограничиться обличением действительности, а настроен "изображать предметы в их истине, как они есть".

Поставленные славянофилами вопросы о художественной истине, сверхиндивидуалистических основах творчества, национальном своеобразии и объединяющем значении искусства, духовной связи художника и народа не потеряли своей актуальности и сегодня. Однако сама масштабность поднятых проблем, известная эстетическая тенденциозность в их истолковании приводили порою к произвольности отдельных выводов и недооценке крупных литературных явлений, например, творчества Пушкина, которому, по словам Хомякова, недоставало "высших духовных стремлений" и "басовых аккордов". Издержки теоретической заданности проявлялись и в преувеличении значения целого ряда второстепенных писателей, а также в известной схематичности ряда собственных произведений.

Подобные просчеты, вытекавшие уже из иных мировоззренческих установок, свойственны, скажем, и недостаточно обоснованным суждениям Белинского о камерности поэзии Баратынского или о социальной незначительности творчества позднего Пушкина. С другой стороны, тонкое чувствование собственно художественных элементов искусства, которое и делало его выдающимся критиком, позволяло ему верно оценивать многие выдающиеся литературные произведения, ускользавшие из поля зрения славянофилов.

Думается, отчетливое осознание самих противоречий, вытекающих из рассмотрения разных аспектов полемики западников и славянофилов, из раскрытия внутренней логики путей и средств в достижении тех или иных общественных целей и эстетических задач, способно внести свой вклад в уяснение подлинного содержания и объема актуальных проблем сегодняшнего, тоже в известном роде переходного, времени. Свобода и ответственность, экономика и нравственность, личность и народ, ложный коллективизм и истинная соборность, революция и эволюция, мода и традиция, беспамятное подражательство и историческая память, плоскостная "чернушечная" литература и объемное искусство с "положительным идеалом в подкладке", Европа и Россия – все эти вопросы вновь настойчиво стучатся в умы людей, и их точное и глубокое решение может благотворно повлиять на развитие исторических событий.

Один из наиболее горьких и жестоких парадоксов истории заключается в том, что она как бы проходит мимо собственных уроков, не учитывает своих ошибок и неудач, не прислушивается к предсказаниям и предостережениям мудрых пророков. Поэтому благое сотворение будущего неразрывно связано с подлинным истолкованием прошлого, с действительно свободным, заинтересованным лишь поиском истины, диалогом между Россией и Западом, в котором бы за тяжелым занавесом страданий, ужасов, лжи, насилия, превратностей и подмен в русской истории раскрылась бы, говоря словами Тютчева, тайно светящаяся духовная красота. Гоголь, беспристрастно наблюдавший за идейными спорами своих современников, призывал их дать себе полный и глубокий отчет в значении и смысле этой красоты, увидеть "нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были различных мыслей, образов воспитания и мнений, скажут в один голос: "Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине". Пожелание Гоголя остается до сих пор его своеобразным заветом, от исполнения которого зависит многое в стране и мире.

Юрий ПАПОРОВ
Станислав РОМАНОВСКИЙ

ЭРЬЗЯ

Главы из книги *

Разве может художник
достигнуть вершин мастерства!
Как изумруд, скрыто под спудом
разумное слово.
Находишь его между тем у рабыни,
что мелет зерно.

"Из поучений" Птахотепа,
III тысячелетие до нашей эры.

ДЕТСТВО

Сложившийся биографический стереотип, будто гениальный скульптор Степан Эрьзя родился в неведомой глуши среди дремучих лесов "куда и ворон не залетывал", не соответствует действительности.

Его родина – большое мордовское село Баево, не знавшее помещиков, издревле поставлено на тракте между двумя уездными городами: Ардатовом и Алатырем, на небольшом расстоянии от них. Города эти имели свою интеллигенцию, училища, культурные традиции, сложившиеся архитектурные ансамбли, и с одним из них – с древним Алатырем – Эрьзя с юности связал свою творческую судьбу...

Гений не рождается и не воспитывается в мертвой местности. Холмогоры Ломоносова, Константиново Есенина и Баево Эрьзи не были медвежьими углами; иначе ни тот, ни другой и ни третий не поднялись бы до вершин мировой культуры. Мещанские легенды о "нутряках", "парнях из тайги", по наитию, запросто создававших шедевры, от века тешили самолюбие обывателя тем, что, мол, он, обыватель, хоть и ничего такого не создал, но зато кое-где учился, да и родился "в городу".

Стояло да и поныне стоит Баево вдоль оврага Перьгалейка, по дну которого течет речка Ладыга, по правую руку от столбовой дороги Ардатов – Алатырь, одним концом упираясь в село Ахматово.

Село в сто пятьдесят дворов в то время населяли свободные землепашцы, чьи наделы врезались в земельные владения богатого соседского помещика. Со своих полей крестьяне Баева получали и по нынешним меркам хорошие урожаи – 24 центнера зерна с гектара.

К слову сказать, если бы сегодня, сто с лишним лет спустя, такой урожай был повсеместным, то зерновая проблема в стране перестала бы быть проблемой.

Исконным жителем Баева был Дмитрий Иванович Нефедов, дед которого, правоверный некрещеный мордвин Мефодий, а по-простонародному

---

* Книга эта выходит в издательстве "Молодая гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей".

Нефёд и про прозвищу "Нефедкин Буень", в давние времена поклонялся деревянным идолам. Один из его сыновей – Иван Нефедов, уже в зрелом возрасте обращенный в православие, бурлачил на Волге, где познакомился и свел крепкую дружбу с Иваном Самаркиным, жителем порядком отстоявшего от Баева села Алтышева. Дружба двух тезок была скреплена родством – сын Нефедова Дмитрий Иванович взял в жены дочь Самаркина Марию Ивановну.

От этого брака пошли дети. Первенец был Иван, затем Ефимия, а третьим в семье, через восемь лет после Ивана, народился Степан 27 октября 1876 года, о чем четыре дня спустя во время крещения церковнослужителем села Ахматова священником Алексеевым была сделана в "Книге записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших" отметка в присутствии причетников Снегеря и Троянова и крепостных – Ивана Степанова и Пелагеи Андреевой.

В те годы управляющий обширным имением соседского помещика, проживавшего в далеком Санкт-Петербурге, исполняя волю хозяина, проводил переустройство хозяйства с учетом новой агротехники. Ему необходимы были близлежащие земли для постройки на них хлевов и амбаров, создания культурных выпасов. Он и теснил баевских мужиков, вел с ними и выигрывал тяжбы. Приезжий, городской щеголь, разъезжавший в дорогих дрожках с хлыстом в руках, навязывал им свои порядки. Тогда-то – Степану не минуло еще и двух годков, он еще не ходил и не разговаривал – семь семей баевских жителей поднялись с насиженных мест и подались за Алатырь, ушли за Суру в леса, отстоявшие от Баева в общем-то не так уж и далеко – верст с тридцать.

Новую деревушку, которая выросла разом, в одну осень, как семья грибов-боровиков, по берегу речки Бездны, сообща нарекли Баевскими выселками. Она во многом отличалась от прежнего местожительства. Здесь было приволье – леса, река, пойма и целинная земля. Окна избы, заново срубленной отцом Степана из толстых бревен, смотрели в заречье, где синел густой лес.

Со следующего лета у Степана появилась первая постоянная обязанность. Прежде с ним водилась Ефимия. Теперь ему надлежало выважить и пестовать Илью. Пестун из него получился неважный. Степан был рассеянным ребенком и, думая о своем, забывал о подопечном, пока тот громким криком и плачем не напоминал о своем существовании. Кроме того, будущий скульптор панически боялся гостей и при их появлении, забыв о своих воспитательских обязанностях, прятался на полатях за печной трубой.

Зато Ефимия была прирожденная воспитательница и охотно нянчила Илью. Тогда Степан с ее разрешения убегал к берегам Бездны...

Если вам, читатель, случится побывать на ее берегах, вас удивит, какая же она маленькая – эта речка с грозным названием Бездна!.. Первая же речка Эрьзиного детства в Баеве – Ладыга – и того меньше. Ручей, да и только! А ведь у нее название еще грознее: Ладыга в переводе с мордовского обозначает "море". Не больше и не меньше!

В лермонтовских Тарханах река, по которой плыла русалка и старалась доплеснуть до Луны серебристую пену волны, – маленькая, и пруды, воспетые в гениальных стихах, – тоже маленькие... Дело не только в том, что от людского небрежения высыхают реки, озера и пруды, но и в том, что в детском восприятии все крупно, значимо и поэтично.

Изначальное восприятие Народа, закрепленное в фольклоре, и восприятие ребенка – родственны, и в этой родственности есть глубокий смысл. Народ, как и ребенок, был ближе к природе, к земле и воде, кормился их

11*

горами и в благодарность нарекал подробности земли именами значительными, если хотите, космическими; и это шло не от лукавого, а от искреннего убеждения в том, что в природе все значимо, все важно.

В самом деле, на взгляд нынешнего стороннего наблюдателя, Бездна – речка малая, незначительная, а в восприятии многих поколений, что издревле обосновались на ее берегах, она – река великая, вешняя. Бездна кормит людей рыбой, сберегает лес, приносит топливо – плавник, а в половодье, чему был свидетелем Степан, может выйти из берегов и все сокрушать на своем пути... Вот почему она – Бездна, вот почему и в вятском, и в псковском, и в других краях просторной нашей земли текут скромные по обмерам реки, нареченные народом одним именем:

– Великая!..

Родимая природа была и осталась главным учителем Эрьзи.

...Кто из нас в детстве не пытался лепить из земли, мокрой после дождя, из глины, а ближе к нашим дням – из пластилина, которого раньше дети не знали?

Степа не просто пытался лепить – он делал открытие за открытием: глина в речных обрывах разная – то иконописно-красная, то желтая, то синеватая, то податливая и клейкая, а то жидкая. Да только ли глина?

А ил? Он тоже разный. Есть серый, течет, как кисель, а есть черный и клейкий, как вар, он и красив и хорош для лепки сам по себе и как связующий материал..

И Степа лепил – из красной, из синей, из желтой глины, порой для прочности добавляя черный ил, и из-под рук мальчика выходили красные кони, оранжевые быки и собаки, а потом пошли и люди – большей частью старики и старухи, в которых при желании можно было узнать кое-кого из жителей Баевских выселок...

Мальчик лепил то, что окружало его, что он любил, хорошо знал и почитал, – вот отсюда старики и старухи, которые в старину во всех российских деревнях пользовались исключительным уважением, по великой древней заповеди: "Почитай отца своего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле".

Задатки скульптора у мальчика проявились сразу; и живи он, скажем, в большом городе, да еще в наше время, его бы срочно записали в вундеркинды, но в Баевских выселках к его скульптурам отнеслись более чем спокойно, как к баловству.

Из какого материала лепил будущий скульптор?

"Глина", "ил" – слова общие, как общие, хотя и поэтичные, слова о том, что великий Дионисий с сыновьями Владимиром и Феодосием собирал на берегах Бородаевского озера различные камушки, толок их в ступе, готовил краски, которыми расписал храм Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре...

А какие камушки?..

Увы! – исследований на этот счет нет, как нет и исследований, какие "глины" залегают на берегах речки Бездны. Есть предположение, что маленький мордовский мальчик лепил первые свои скульптуры из красной охры, то есть глины с безводной окисью железа, и желтой охры, или "жижгила", то есть глины с водной окисью железа. Дело происходило в древнем иконописном краю, рядом с городм Алатырем, где иконописцы издавна использовали эти природные традиционные краски в расписывании храмов.

Мальчик лепил до сумерек, пока речка Бездна не окутывалась туманом; в нем проступали, меняя облик, женственные очертания неведомых существ, а в омутах по-русалочьи сильно била крупная рыба...

– Ведя-Ава, – со страхом и благоговением шептал малыш. – Хозяйка вод!

И, боясь прогневать ее резкими движениями, с колотящимся сердцем неторопливо шел от реки, чтобы, отойдя немного, припуститься во все лопатки.

А в лесу жила другая богиня – Вирь-Ава, хозяйка леса, тоже женщина. Она была всесильная и справедливая.

Она не сделает ничего худого, если человек ведет себя в лесу достойно – не берет у природы лишнего и не вырывает с корнем растения.

Мальчик входил в лес, как в храм, в многоколонное языческое святилище, где сосны бронзовыми колоннами держали небо, чтобы оно не упало на землю и синело над ней всегда, как синеют мамины очи, как очи его народа – синеглазого и беловолосого мордовского племени эрьзя. Лес был населен таинственными живыми существами от вершин и до корней; и муравейники, что к ясной погоде шумели, как самовары, виделись головами великанов; в сучках и трещинах старого дерева – лики стариков и старух; в быстрой, как солнечный лучик, белке – вестница от самой лесной богини, от лесной женщины Вирь-Авы...

А домом и домашним хозяйством управляла тоже женщина – богиня домашнего очага Нюрхта-Ава. Она хранила дом от голода, холода и болезней, и Степа не раз слышал ее голос в печной трубе, ее вздохи и побрякивание-постукивание вьюшками и заслонками в самой печи, где она жила.

В общем-то, у мальчика с ней были хорошие отношения. Когда никого не было дома, она позволяла ему беспрепятственно лакомиться запасами в погребе или угощением, приготовленным для гостей и накрытым на столе расшитыми полотенцами.

Справедливости ради Степан знал меру и первое время ел понемножку. Но однажды, проголодавшись, заметно поубавил яства, предназначенные для званых гостей, и от родителей ему попало на орехи. Степа был в полном недоумении: как это родители, которых не было дома, могли узнать, что напроказил именно он? Рискуя еще раз получить тумака, он все-таки спросил отца:

– Кто тебе сказал про меня? Кто?

– Видишь иконы? Вот Иван Креститель, Николай Чудотворец и Христос. Ну, так они же видят, как ты воруешь, и говорят нам.

Из красного угла в самую душу Степы укоризненно смотрели темные лики, и он пробормотал:

– Они же не говорят...

– Почему?

– Я ни разу не слыхал.

В очередную пятницу, как только родители заложили телегу и отправились на ярмарку, Степан мигом развернул иконы ликами к стене и с чистым сердцем принялся "пировать". Однако наказание, да еще более строгое, повторилось, а потом отец объявил:

– Боженька, он все равно видит, как его ни поверни. Видит и все скажет.

– А Нюрхта-Ава тоже скажет? – сквозь слезы спросил Степа.

Отец ответил:

– Зачем? У нее своих дел хватает. Она промолчит, а иконы скажут.

Степа учел это обстоятельство и в следующий раз, только родители уехали, не стал переворачивать образа – он выколол святым глаза.

Жестокость?

Еще какая!.. Детская жестокость особенно страшна как предзнаменование недоброй судьбы... Однако Эрьзя вырос добрым человеком, противни-

ком насилия; и тот поступок (или проступок!) был своего рода актом богоборческим. Мальчик чувствовал, что христианские святые теснят его Нюрхта-Аву, добрую хозяйку домашнего очага, которая в его представлении была родственна другим женщинам – Вирь-Аве, хозяйке леса, и Веде-Аве, хозяйке светлых вод; и, конечно же, она была прямой родней его маме – синеглазой крестьянке Марии Ивановне, а порой он путал их – богиню и маму, ибо мама умела все и поэтому была тоже домашней богиней.

Языческие богини были женщинами, а православные святые, изображенные на иконах, мужчинами, да и порол Степу за прегрешения тоже мужчина – отец; мама же стояла рядом и уговаривала пожалеть. И богоборчество ребенка, при всей его утилитарности, было защитой женщины – Вседержительницы, Всехозяйки, за которую и заступиться-то теперь некому.

... А в общем-то, после этих приключений Степа перестал лакомиться тайком и полюбил, как это заведено в крестьянских семьях, все делить поровну, по справедливости.

Любимым лакомством у детей Нефедовых был калиновый кисель. Его приготовление было настоящим священнодействием. Проросшую рожь Мария Ивановна сушила на печи, молола, и получалась коричневая мука – солод, и вот на солоде-то варили кисель с ягодами калины. Красный, пахучий, немыслимо вкусный! Его подавали на стол в огромном чугуне... А когда родители уходили на работу, то чугун с киселем ставили на пол, чтобы дети не опрокинули его, стой он на столе...

Вот тут-то, на полу, начиналось настоящее пиршество! Вокруг чугуна собирались и свои, и соседские дети с ложками. Прибегали и собаки...

Эрьзя до глубокой старости сохранил крепкое здоровье. Одна из причин этого – разумное крестьянское питание в детстве, где нет разносолов, но где все напитано витаминами, целебными соками родной земли – парное молоко, хлеб домашней выпечки, брусника, черника, калина, солод из проросшей ржи... Иных нынешних детей не удивишь калиновым киселем, им подавай бананы или пирожное поярче, от которого здоровья не прибудет. А вот ученые сегодня считают, что ягода калина, другие ягоды, проросшая рожь могут излечить от многих болезней и вернуть здоровье слабому. Мать Эрьзи была неграмотной, но о целебных свойствах даров родной земли она знала лучше нынешних ученых...

Вернемся к нашему герою.

В общем-то, Степан в детстве не очень проказничал, и отцовское сердце начинало таять в благости, когда отец, имевший явные художественные задатки и самостоятельно обучившийся грамоте, присаживался к столу и принимался переписывать церковные книги, рисуя в них по своему усмотрению заставки и заглавные буквы. Ничто тогда не могло отвлечь пятилетнего Степу от наблюдения за тем, что и как делал отец. Отец пододвигал сыну чистые листы бумаги, вручал перья и кисточки, объяснял и учил, как следует рисовать. Для ребенка было светлым потрясением, когда отец вслух читал переписанные им страницы псалтыря.

Мать, Мария Ивановна, была женщиной самостоятельной. Когда отец уходил на промысел, она сама пахала, сеяла и жала. Не боялась одна на несколько дней уходить в лес, потому ее и прозвали "Лесовой". Возвращалась она из своих походов, к радости детей, и говорила мужу: "Давай запрягай лошадь. За поворотом у бора завязан куст. За ним мох. Бери кадушку, там черника. А у трех сосен, за низиной, еще завязан куст. Там брусника. Бери еще кадушку". Дмитрий Иванович, который любил свою жену, бросал дела по дому и ехал в лес, а Степа непременно увязывался за ним. Степе очень хотелось увидеть того самого матерого, о котором мать

частенько рассказывала детям: "Иду я как-то лесом, вижу – волк стоит на тропинке. Я ему и говорю: "Ты за мной не ходи, у меня мясо старое!" Он и ушел с миром". Степа тайком прихватывал с собой кусок салмы – печева из муки, яиц и мяса, прятал его за пазуху, чтоб одарить волка, когда встретит.

Мария Ивановна была "тайница" – знала в лесу обильные ягодами тайные, труднодоступные места, которые в деревне не знал никто.

Бывало, по ягоды шли в лес всей деревней, аукались, и Мария Ивановна успевала шепнуть детям:

– Пока с бабами походите. А как я платок перевяжу – за мной в сторонку.

Бочком-бочком, она уводила детей в чащу леса, по кочкам, по болотам, по жердочкам на сухие лесные острова, где от ягод земля была – как в красном сарафане.

Здесь же, на острове, не разжигая костра, оставались ночевать, да, случалось, не на одну ночь.

Мать выбирала место для ночлега посуше, поукромнее, выстилала лапником и, шепча колдовские слова, обходила кругом.

А детям объясняла шепотом:

– Теперь леший в круг не зайдет!

Она ложилась посередке, дети – с краев; накрывала их и себя широкой, как поле, шалью. Прежде чем уснуть, вполголоса рассказывала сказки и пела песни.

Да какие песни!

О могучем дубе, хранителе эрьзянской земли, что соединяет Небо и Землю и растет при слиянии Суры и Волги, причем Волга величалась, как в Древнем Египте, Рава, – возможно, от древнеегипетского слова Ра, что значит Бог Солнца...

О встрече бога Николы с загадочным белым гусем, о волшебной яблоне, помощнице бедным, о ногайском полоне...

О красивой девушке Витова, которая предсказала свою смерть – утром в Петров день умрет она, – и наказала похоронить себя у родника, а гроб поставить стоймя...

Сладкой жутью отзывались мамины песни в душе Степы. Он пугался, прижимался к маме, слышал, как ровно стучит ее сердце, и успокаивался. Сам того не замечая, слушая мамины песни, он шел сквозь века – в песнях был и матриархат, и борьба со степными кочевниками и кровосмесительными браками, и язычество в непостижимости христианства, и рекрутчина, и проповедь почитания родителей, и космическое восприятие праматери-природы и всего мироздания...

Над лесным островом, наискось через все небо, белел Млечный Путь, касаясь вершин сосен, сверкало созвездие Лебедь, его звездные крылья были разведены широко-широко, лебедь летел в неведомые дали и не мог улететь; и Степа думал, что над ним – тот самый белый гусь, которого повстречал Никола-угодник.

– Мама, – спрашивал Степа, – а почему Витова велела похоронить себя стоя?

– Чтобы все любовались ею.

– Так она же умерла! Ты пела про ее смерть.

– Она не умерла.

– Почему?!

– Витова никогда не умрет.

– А гроб?

– Что гроб? Она все равно не умрет.

Ночью сквозь сон Степа слышал, как мама вставала и, шепотом выпевая заговорные слова, словно бы в глубоком сне, обходила место ночевки.

Утром клубились туманы, и в них угадывалась Белая Девушка, отчетливая и неуловимая, она шла к Стене и исчезала. Туманы скатывались в низины, а мама веселым голосом звала детей:

— Идите-ка сюда! Я вам что-то покажу.

Дети гурьбой бежали к маме.

— Леший-то приходил, — говорила она. — А в круг не зашел.

В белой от росы траве темнел круг — мамины следы.

А рядом на песке — огромный оттиск медвежьей лапы.

Мария Ивановна умела делать все. О ней в Баевских выселках женщины говорили: "О, Лесовая, эта умеет прясть". Мало у кого в деревне получались столь добротные домотканые холсты, крашенные настоем из ольхи и других растений. А по праздникам, на Троицу или Духов день, она бывала среди лучших певуний, знавших на память множество песен-мифов и песен-сказаний.

А Дмитрий Иванович, слывший мужиком хозяйственным и мастеровитым, лучше других плел лапти ладные, нарядные, с украшением. В отличие от русских и чувашских, головки у мордовских лаптей большие и посередине — обязательно витой ремешок ободком, а от носика кверху по головке шли пять петушков у мужчин и семь у женщин. Если у других в страду и распутицу пары лаптей хватало на неделю, Дмитриевы лапти носились месяц.

— Выбрасывать такие лапти жалко, — говорили земляки. — Уж больно они красивы.

Была у отца привычка — собирать причудливые корни, березовые наросты, плавник, выброшенный вешними водами на берега заводей, и нести домой. Этих приносов больше всего ждал Степан. Стоило немного приглядеться к таким подарениям отца, и обязательно увидишь очертание человеческого лица или животное.

В шесть лет Степа заменил в хозяйстве Ивана, ушедшего учеником с плотниками по деревням на заработки.

В старинной крестьянской семье ребенку были "рано знакомы труды". При этом приобщение к труду шло незаметно, исподволь, и некрасовский "мужичок с ноготок", что в шесть лет возил дрова из леса, не был явлением исключительным, да и, конечно же, если взглянуть на иных сегодняшних патологически раскормленных и изнеженных детей, обреченных до старости висеть на родительской шее, не был и фигурой трагической.

Именно таким "мужичком с ноготок" был и крестьянский сын Степан, который с малолетства пас овец, боронил родительское поле, а в десять лет наравне со взрослыми косил травы косой-литовкой, и это не вызывало удивления или умиления у взрослых — просто это было в порядке вещей, когда трудолюбие у крестьянского ребенка закладывается на ранней зорьке его жизни, так сказать, в дошкольном и раннем школьном возрасте, по справедливому суждению Макаренко, в пору становления Человека как личности.

До конца дней своих Степан оставался великим трудолюбом, таким, каким его воспитали родители, у которых суть воспитания составлял труд настоящий, а не игра в него, или, как это нередко бывает сейчас, имитирование труда как обязанности скучноватой и утомительной.

В семье Степана, как и в других крестьянских семьях, не было и не могло быть популярной сейчас "философии":

— Зачем так рано учить ребенка труду? Успеет еще наработаться.

В то же время в старинном приобщении к труду учитывались и возмож-

ности, и наклонности ребенка. Отец начал было обучать Степу пчеловодству, но таланта пчеловода у Степы не оказалось, и отец это заметил сразу. Зато у мальчика пробивался другой талант – ранний, настойчивый: рисовать, лепить, готовить природные краски.

Отец и это заметил и решил дать возможность Степе развить художественные наклонности, чтобы сын стал иконописцем. Дмитрий Иванович задумал отдать Степу в школу. По отцовским понятиям, труд иконописца был легок в сравнении с тяжелым крестьянским, да и намного выше оплачивался, был прибыльнее.

Немного "предыстории вопроса". Напомним, что Степа начал говорить лишь в три года, а в четыре у него проявилось пристрастие к лепке и рисованию тоже. Да так он увлекся рисованием, что гвоздем "изрисовал" весь потолок над полатями.

На темновато-золотистых сосновых потолочинах отчетливо выделялись белые линии, они сплетались, расплетались, подчиняясь детской фантазии, образовывали прихотливый и веселый узор из людей, животных и растений...

Маленький художник ожидал, что родители его похвалят, но в крестьянском быту так рисовать не принято. Отец крякнул, взял рубанок и состругал Степины прориси.

Теперь потолок над полатями стал белым, как левкас; и Степа углем и мелом с наслаждением изобразил на нем великолепие окружающего мира: людские лица, как цветы, и цветы, как людские лица, нарядный луг жизни, где никогда не бывает смерти.

Любопытно, что малолетний художник в последовательности работы своей поступил как настоящий фрескист: сначала прорись, потом рисованные изображения.

Родители долго разглядывали его работу, наконец отец сказал словно бы про себя:

– Красиво...

– Еще как красиво! – обрадовалась мать. И попросила тихонько: – Ты уж его не ругай.

– За что? – улыбнулся отец.

Первая фреска будущего Эрьзи не была состругана и долго украшала избу. Причина отцовского великодушия была не только в том, что в крестьянском быту не возбранялось рисовать по дереву – скажем, украсить рисованными цветами шкаф, посудник или сундук, – но и в том, что Дмитрий Иванович почувствовал в сыне художника.

Почувствовал, но не осознал и не сразу понял, отчего маленький Степа, как увидит какие покраше наличники новой избы, останавливается и подолгу внимательно их разглядывает.

Резьбой по дереву издавна славится Поволжье!..

Здесь нет народа, который строил бы свои жилища кое-как, лишь была бы крыша над головой. Русские, мордва, татары, чуваши, марийцы, удмурты, башкиры – все те народы, чья сторона не обижена лесом, стараются нарядить свою избу, как невесту, украсить ее крышу-чело узорчатым деревянным очельем, подзорами, очи-окна – лик ее девический! – наличниками, а полотна ворот – веселыми солнышками!.. (Кстати, на этих полотнах в старину земляки Эрьзи в определенные дни выносили на природу жреца, одетого в белые одежды, и он вещал и пророчествовал.)

Изба была не просто местом проживания – она была микрокосмосом, храмом жизни, где зачинается и умирает человек и где никогда не кончается жизнь; и красота охраняла эту жизнь: гребень крыши, называвшийся "коньком", нередко венчали деревянный конь или птица, отчего вся изба

как бы обретала крылья, движение и летела к счастливой доле как самостоятельная планета в ряду других планет.

В общем-то, Степа старался вырезать, как все, но его деревянные кокошники, жар-птицы, львы-хранители покоя и достатка, языческие боги и астральные знаки были живее, чем у взрослых, хотя это обстоятельство в деревне не замечалось, потому что там рассуждали по старинке:

– Лучше у того, кто старше.

– У Степы тоже хорошо...

– Хорошо-то хорошо, да Степа-то еще мал. Вот подрастет, тогда и узнаем, хорошо или плохо.

Степа познавал тайны древодельного мастерства; и познание их началось с откровения старших о том, что у мордвы четыре священных Древа:

Дуб – символ непобедимости и мощи.

Липа – символ плодородия.

Береза – символ девичества, невинности.

Ясень – символ юношеской чистоты и мужества.

Все деревья южные, потому что, возможно, в далекие, досюльные времена мордва пришла в эти места откуда-нибудь с юга.

Четыре дерева – как четыре евангелиста: Матфей, Марк, Лука и Иоанн в великой книге жизни, как четыре краеугольных камня мироздания.

А сосна?

Та самая сосна, из которой рубились самые добротные избы и, смолистые, стояли веками? Нет, "Хранителя от Сосны" не было, ибо она считалась символом грусти, и ее никогда не сажали на подворье. А про осину и говорить нечего – "никудышное дерево"!

Степа же любил все деревья и считал, что в каждом их них сокрыта скульптура, которая растет изнутри, как саженец из семечка, как Древо из саженца. Ему нравилась белая млечная плоть липы, мягкая, легко поддающаяся обработке и такая долговечная после умелого просушивания; и он знал, что иконы пишутся по преимуществу на липяных досках. Степа любовался мускулистой темноватой древесиной дуба и рядом с ней чувствовал себя сильнее. Но он был влюблен и в "неканоническую сосну", наслаждался созерцанием ее розоватой текстуры с коричневыми сучками-глазками, и его волновал ее скипидарный запах и смолистые слезы на срезах.

– Ты плачешь от радости? – тихонько спрашивал малыш сосновую древесину. – Конечно, от радости: ты не зря росла в лесу. Теперь ты будешь украшать нашу избу.

Он и "никудышную" осину любил и понимал ее не меньше других деревьев и знал от старых плотников: если осину срубить в сок или подержать в воде, хорошенько высушить – она делается твердой, как мосол, и не ломается.

Малыш различал деревья не только по виду, но и по запаху, и все надеялся встретить в лесу какое-нибудь необыкновенное дерево, которое никто до него еще не встретил; и будет оно тверже и красивее металла.

Он чувствовал, что рано или поздно встреча состоится; и предчувствие его сбылось: спустя много лет в лесах Аргентины он увидит смуглое кебрачо и серебряное альгарробо; и, воплотившись в скульптуры, эти деревья прославят его на весь мир и станут его добрыми гениями и судьбою.

Когда же Степа всерьез занялся резьбой по дереву, Дмитрий Иванович тут уж совсем утвердился в намерении обязательно отдать этого сына в школу.

... При церкви села Алтышево церковноприходская школа открылась в 1886 году, была она двухклассной с четырехлетним курсом обучения.

Детям алтышевцев и крестьянам близлежащих деревень повезло. Священник Алтышевского прихода был человек порядочный, образованный и с готовностью принял учителем выпускника семинарии, который в первой же беседе с ним сказал, что является сторонником педагога Ушинского и приехал в далекое мордовское село добровольно, по велению разума и не может мириться с тем, как живут в России малые народности. Он заявил, что сделает все для просвещения инородцев, чтобы как можно быстрее поднять их до своего уровня.

Пока нам не известна фамилия этого подвижника; Степа запомнил лишь, что его зовут Алексей Иванович. Алексей Иванович настоял на том, чтобы школу в Алтышеве отстроили у западного крыла церкви заново, просторной и нарядной, со светлыми венецианскими окнами.

...Итак, "первый раз – в первый класс". Огромное событие в жизни человека. Сохранились свидетельства: обычно молчаливый, Степа смеялся и плакал от радости! Ему справили обнову. Мать из своей старой овечьей шубы скроила сыну полушубок, сшила и шапку-ушанку из телячьей шкуры на вате. Отец сплел дюжину лаптей – одна пара наряднее другой.

ИКОНОПИСЕЦ

... Степана поразила Волга. Поезд шел по мосту между двумя небесами – верхним, бирюзовым, Небом-Космосом, и нижним, пожалуй, более ярким, почти синим, Небом-Волгой; и Степану показалось, что поезд идет по воздуху, как тяжелая железная птица, и дым из трубы – его черные облака, его одышливое дыхание из-за усилий навсегда оторваться от земли.

Но вот Волга кончилась, пошли поля, холмы, леса, селения, а затем и сама Казань, чей облик неуловимо родствен прекрасному и трагическому облику Петербурга, быть может, потому, что Петербург возник как окно в Европу, а Казань – окно в Азию; и оба города поставлены на костях.

Волга так поразила Степана, что по приезде в Казань он решил побывать на волжских берегах и поклониться Волге-Раве, реке-Солнцу, или, точнее, Солнцу-реке.

Это про нее пела ему мать.

Волга-Рава лежала у его ног – огромная, властная и неожиданно смирная, и ниже по течению, куда клонилось Солнце, смыкалась с небом; а Солнце постелило по ее водам широкий золотой половик, тканный руками матери, и приглашало его:

– Иди ко мне, Степан.

Половик немного не доставал до этого берега, Степан присел, умылся из Волги, почерпнул воды ладонями, напился всласть и обнаружил, что золотой половик – у самых ног...

– Спасибо, Волга-Рава, – сказал он великой реке. – Вот я и причастился тобою.

В Казани оказалось не так просто устроиться учеником в иконописную мастерскую, Степан походил, походил, да и стал было уже подумывать, как вернуться домой. Но здесь он встретил земляка-алатырца, который работал в железнодорожном депо и предложил устроить Степана в столярную мастерскую при депо, покуда суд да дело. Степан согласился. И вскоре подвернулся случай: известный мастер иконописи Ковалинский нуждался в толковом ученике-помощнике.

Вот как об этом вспоминает сам скульптор в автобиографии: "Встретил меня старик с большой бородой, очень симпатичный и спросил, как я работаю. "Азбуку" умеешь рисовать?" Я хитро ответил, что умею, хотя тогда совсем не знал, что "азбукой" на техническом жаргоне иконописцев назы-

валось лицо, и тут же добавил: "Но еще больше хочу учиться!" "Хорошо, тогда оставайся", – ответил Петр Андреевич и позвал мальчика Яшу. Это был маленький мальчик и симпатичный. Хозяин сказал, что Яша скоро кончит учение и будет мастером и укажет мне, что я должен буду делать по мастерской".

Хозяин присматривался к новому ученику и быстро убедился, что тот по левкасу и подготовке досок под иконы знает куда больше четырнадцатилетнего Яши. В конце первой недели вечером Ковалинский призвал к себе Степана и пообещал подумать о том, чем его лучше занять.

В воскресенье же, когда мастера отдыхали, Степан прошел в мастерскую и увидел подготовленное полотно большой иконы "Всех скорбящих Радости" с карандашным наброском. Краски и кисти лежали рядом, и Степан не удержал себя от соблазна порисовать...

"Вдруг в самый разгар работы кто-то тихонько положил ему руку на плечо, – рассказывает Г. Сутеев в книге биографических заметок и воспоминаний, куда вошли устные рассказы Эрьзи. – Это был сам хозяин. Молодой художник страшно смутился. Ему казалось, что его выгонят и снова придется скитаться. Однако все кончилось благополучно. Хозяин, большой знаток своего дела, был так поражен работой Эрьзи, что сразу же предложил ему место художника-иконописца".

Весной следующего года Степан с Ковалинским расписывали вновь отстроенную церковь в марийском селе Унжи. Там восемнадцатилетний Степан становится свидетелем насильственного обращения марийского народа в православие. В день праздника "Кереметь" люди собрались в священной дубовой роще на молитву, но были разогнаны солдатами, многие избиты. Рощу вырубили, а крестьян деревни насильно крестили.

Это потрясло юного художника.

Он бродил по вырубленной роще среди огромных, как столешницы, пней, среди поваленных деревьев, на которых ветер шевелил еще зеленые, еще живые листья, хотя сами деревья были уже мертвы, и говорил им:

– Вас-то за что?

У марийцев был обычай – украшать священные деревья яркими лентами; и сейчас кое-где на ветвях, как кровь, краснели ленты-украшения. Степан отвязал одну, разгладил, рассмотрел внимательно, лента была холщовая, выкрашена природными красками. Степан положил ее в нагрудный карман и не оглядываясь зашагал прочь.

Лента жгла ему грудь, как пепел Клааса, стучала в сердце; он плакал, и ветер сушил и не мог осушить его слез.

Есть, быть может, только одно средство, которое помогает человеку приглушить горе: работа.

И Степан с головой ушел в работу.

Сильнейшее влияние на юного художника оказала его встреча с иконописцем Соловецкого монастыря Дмитриевым.

Ковалинский нанял Дмитриева, чтобы они вместе со Степаном выполнили заказ церквей сел Шемякино и Майданы Курмышского уезда Симбирской губернии.

Дмитриев писал иконы профессионально, но по призванию он был светский художник и ровным, несколько грустным и одновременно гармоничным голосом, с непременным обращением на "вы" говорил Степану:

– Люди по-прежнему гибнут за металл, милейший Степан Дмитриевич! Гибель бывает разная. Иные совершают преступления и кончают жизнь в тюрьме или на каторге. Другие процветают и все-таки гибнут, потому что продали душу Дьяволу. И я гибну. Да, да, за тот самый металл! Я не

иконописец и пишу иконы только потому, что это дает верный кусок хлеба, да еще с маслом. А светская живопись не прокормит ни меня, ни мою семью. Только ради бога не думайте, Степан Дмитриевич, что я неудачник! Я – удачник, да еще какой! Просто я не заметил, как прошла юность. А в большую живопись надо идти непременно в юности! В этом смысле юностью надо дорожить, как ею дорожит невеста, чтобы не остаться в старых девах. Если хотите, я – старая дева, которая смирилась со своим положением. А вы? Вы молоды! Именно сейчас вам следует идти в большую живопись. В Древней Руси иконопись была великим искусством, и родись вы лет пятьсот назад, вам бы цены не было.

А сейчас?.. Суть вопроса вовсе не в том, что расцвела светская живопись. Весь смысл в том, что умалилась церковь. Церковь была душой народа и государства. Она поднималась над суетой и была институтом сердечным. Петр Первый... я не знаю, как вы к нему относитесь... упразднил патриаршество, лишил человека тайны исповеди, велел священникам доносить властям все, что люди в скорби и радости душевной говорят на исповедях... А церковь доносит, продает их, как Иуда Христа. Она стала департаментом полиции. Филиалом жандармского управления... Господи, до чего мы дожили!.. Из жилища Бога храм превратился Бог знает во что! Вы посмотрите на церковнослужителей. Раньше они были посредниками между Богом и людьми. Сергий Радонежский. Зосима и Савватий Соловецкие. Великомученик Гермоген... Были же! Люди получали от них духовное исцеление. А сейчас?.. Мы с вами расписываем церковь симбирского села Майданы. Мне как-то ни разу не выпала честь видеть ее настоятеля трезвым. Он постоянно ходит в синяках, и вы, добрейший Степан Дмитриевич, по его просьбе искусно закрашиваете их. Нет, нет, упаси Бог, я вас не осуждаю!

Конечно, и сейчас есть достойные священнослужители. Честные люди были всегда. Но – увы! – церковь больна. Она давно уже перестала служить Богу. Она служит чиновникам, равно и ее искусство. Прежние иконописцы считали, что их рукой движет Бог. Нынешние считают, сколько они получат за росписи...

... Казань была родиной многих талантов, составляющих гордость нашего Отечества, сосредоточением памятников архитектуры и живописи. Здесь проходили выставки передвижников, а 1 сентября 1895 года открылась Казанская художественная школа... Достаточно много и эмоционально написано о том, что Россия была тюрьмой народов, что простолюдинам и "инородцам" вход в учебные заведения был запрещен или строго ограничен и т. д. и т. п. Но вот состав учеников-стипендиатов первого приема говорит об обратном.

Кто они по социальному составу?

Дворяне – 1.
Мещане – 19.
Крестьяне – 13.
Нижние воинские чины – 5.

В последующие годы простолюдинов здесь училось еще больше. Дорога в школу была открыта людям всех национальностей. Здесь учились поляки, литовцы, украинцы, немцы, евреи, армяне. Отсюда до революции вышли художники, составляющие гордость марийской, чувашской, удмуртской, татарской нации: М. Н. Людин, Л. В. Григорьев, М. С. Спиридонов, Н. К. Сверчков, К. М. Лекомцев и другие.

Понятно, что в "тюрьме народов" такое было бы немыслимо; и подробно об этом мы пишем вовсе не для того, чтобы идеализировать прошлое, оно в этом не нуждается. Нужда есть в другом – в правде о прошлом, которая далеко не всегда укладывается в прокрустово ложе хлестких "непререка-

емых" формулировок. Правда эта, как никогда, нужна нам сегодня, в период обострения национальных отношений, и народам очень важно знать не только и не столько то, что их разъединяло, а то, что их объединяло.

Степан поступил на воскресные курсы художественной школы. Это вызвало беспокойство Ковалинского. Чтобы не потерять своего ведущего иконописца, чтобы Степан не ушел в светскую живопись, хозяин прибегает к наивернейшему в его понимании средству — рублю и резко повышает своему любимцу жалованье, а летом 1896 года посылает его за 120 верст от Казани в удмуртское село старшим артели. Способности организатора и руководителя Степан не проявил. Иконописцы его не слушались, бездельничали и пьянствовали. Эти, с позволения сказать, мастера бражничали до такой степени, что часто Степану приходилось собирать их по улицам и тащить на себе в дом, где они жили, подвергая себя риску быть искалеченным озверевшими от алкогольного бреда людьми, которые были намного старше и физически сильнее Степана. Чтобы у Ковалинского не было к нему претензий, Степан сам выполнял работу за своих товарищей-забулдыг.

"В старину, — вспоминал Эрьзя рассказы соловецкого художника Дмитриева, — прежде чем писать образа, иконописцы долго постились, смывали грехи в бане, надевали чистые одежды, работая, безмолвствовали и верили, что их кистью движет Ангел или сам Господь... А мои пьют и сами собой не владеют, и руками их движет водка или дьявол. Какое уж тут искусство. Я, как и Дмитриев, [illegible] за металл. Доколе?"

... Степан работал за всю артель, когда она запивала, и работой глушил свои сомнения и обиды. Он был одинок среди пьяных помощников, порой радовался этому одиночеству и писал по своему разумению — просторно, вольно, размашисто, как никогда прежде. В удмуртской церкви он создал воистину великанские фрески — "Нагорная проповедь" и "Моление о Чаше" — 18 аршин высотой... Они поражали не размерами — они потрясали выразительностью лиц; и в "Молении о Чаше" скорее вольно, чем невольно, было запечатлено моление самого художника о даровании ему счастливой творческой судьбы... Слава об этих росписях широко пошла по удмуртской земле, и сюда приходили верующие и неверующие из отдаленных деревень, дивились размерам фресок, а более того — их изобразительной силе.

Осенью в знак благодарности за хорошую работу Ковалинский на свой счет везет Степана в Нижний Новгород, чтобы показать ему выставку русских художников, которая открылась в связи с ежегодной осенней Нижегородской ярмаркой, и чтобы познакомить Степана с росписями и иконами знаменитых нижегородских церквей и соборов.

К этому времени хозяин начинает проявлять к Степану чисто дружеские чувства. Ковалинский бескорыстно водит Степана по музеям, по домам знакомых, показывает достопримечательности города, принимает участие как советом, так и деньгами в приобретении Степаном предметов быта и одежды.

Во время осмотра выставки русских художников, устроенной купцом Морозовым, произошло непредвиденное.

В галерее, где были выставлены картины Серова, Врубеля, Коровина, Васнецова и других великих мастеров, Степан, не осмотревший еще и половины выставки, застыл перед врубелевским "Демоном".

"Когда я вошел, то так и застыл на месте. Меня так поразило произведение Врубеля, что я не в состоянии был двигаться", — вспоминал впоследствии Степан Эрьзя.

Эрьзя не поясняет, не детализирует суть впечатления произведенного на него "Демоном". Если же заглянуть в будущее, ставшее ныне прошлым, и

сравнить картину Врубеля с вершинными достижениями Эрьзи, которые он создаст много лет спустя, то мы увидим несомненное творческое родство между двумя гениями. "Демон" космичен, словно бы исторгнут из самой плоти гор, кристаллических глыб, снежных вершин и неба, как космичны библейские работы Эрьзи, сотворенные также из каменной, но живой плоти аргентинских деревьев. В "Демоне" – боль времени, предощущение трагического века, неслыханных перемен и невиданных мятежей и безмолвное заклинание, обращенное и к самому себе, – пощадить и спасти род человеческий... В будущих работах Эрьзи – нередко! – то же одиночество и та же вселенская боль. Даже в знаменитой "эротической" скульптуре "Леда и Лебедь" виден отдаленный, но отчетливый отзвук любви Демона к Тамаре из лермонтовской космической поэмы, которая в свое время так же поразила Врубеля, как врубелевский "Демон" Эрьзю. Эрьзя смотрел на эту картину, как в волшебное зеркало или магический кристалл, где – сразу, вдруг, озаренно, быть может, еще не осознавая этого умом, но только сердцем! – увидел свою творческую судьбу, свой метод, контуры своих будущих работ.

Именно тогда он услышал властный Зов Вечности, и таким ничтожным и суетным показалось ему все, чем он занимался до сего времени.

Степан отказался от обеспеченного положения, от славы признанного иконописца и уехал из губернского города Казани в уездный Алатырь. Ему шел двадцать первый год.

А почему не в Москву на учебу, о которой он так страстно мечтал?

Расхожее мнение, будто Степан не поехал в Москву по бедности, не выдерживает критики. Оно – дань теории классового неравенства и в данном случае не подкрепляется жизнью. У Ковалинского после выполнения грандиозных заказов Степан заработал немало денег, и их хватило бы и на поездку в Москву, и на год учебы.

Но Степан не поехал.

Он устал.

Нужна была передышка. Возможность отдышаться, собраться с мыслями, внутренне подготовиться к учебе.

Кроме того, был сыновний долг: в Алатыре теперь жили родители Степана, они нуждались в деньгах; и разве мог крестьянский сын, живущий по заповеди "почитай отца и мать свою", забыть о них?

Перевернута еще одна страница жизни Эрьзи...

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Ни об одном из городов, кроме Москвы, Степан Эрьзя до конца дней своих не отзывался так тепло, как об Алатыре. На это у него были свои основания. Наверное, стоит рассказать подробнее об этом городе, чье имя – Алатырь восходит к названию сказочного драгоценного камня: латырь, или янтарь.

На рубеже XX века Алатырь, расположенный в 160 верстах к северо-западу от Симбирска на высоком, как ни странно, левом берегу Суры у впадения в нее речки Алатырь, представлял собою исключительно живописный городок.

Заложен он был на высоком бугре как крепость, воздвигнутая в защиту восточных пределов России от нападения казанских татар. Если судить по грамоте, данной Алатырской соборной церкви в 1706 году от Нижегородского и Алатырского митрополита Исакия, то видно, что уже при царе Иване Грозном в Алатыре существовала соборная церковь, в которой Грозный "по

обещанию своему, поставил образ усекновения главы Иоанна Предтечи в серебряном позлащенном окладе".

Первоначально город был заселен казаками, стрельцами, пушкарями и посадскими людьми. В конце прошлого века в нем проживало 15 тысяч душ обоего пола. Город имел более двухсот потомственных дворян, около сотни купцов, из них половина женщины, 11 каменных церквей, 2 деревянные церкви, 60 каменных зданий, почтово-телеграфную контору V класса, земскую больницу, тюрьму, мужскую и женскую гимназии, два училища, Общество взаимного кредита и Дворянское собрание.

Основное занятие горожан – торговля и ремесла. Хлеб, сушеную и мерзлую стерлядь возили в Москву. Имелось в городе более 20 малых промышленных заведений: мукомольная мельница, водочный, дегтярный и кирпичные заводики, лесоторговые предприятия.

Ко времени возвращения Степана в город в небольшой домишко брата Ивана перебралась из Баевских выселок вся семья. Иван работал помощником машиниста, а Дмитрий Иванович, оставив хлебопашество, занялся столярным делом. Илья и Михаил ему помогали. "Не при деле", как говорили в семье, оставался один Степан, который не желал слышать ни о какой работе и без устали писал портреты и пейзажи с натуры. Чтобы как-то зарабатывать на хлеб насущный, Степан приобрел фотоаппарат и необходимые принадлежности для фотографирования. Лабораторию устроил в сарае. Однако не было у Степана предпринимательской коммерческой жилки, и расходы на исходный материал поглощали все, что он получал за свои фотографии.

Мария Ивановна, так гордившаяся последние годы Степаном, теперь была разгневана... Случалось, что еду Степану, когда он возвращался с рисования на пленэре домой, приходилось подавать жене Ивана. Мать как-то в сердцах усомнилась: "Здоров ли он?" Она считала, что только человек "не в своем уме" мог отказаться от предложения стать компаньоном Ковалинского да еще отвергнуть руку его дочери.

Отец тоже был недоволен. Казалось бы, его мечта сбылась: Степан стал признанным иконописцем, хорошо зарабатывал. И вот – нате вам! – все бросил. Правда, отец помалкивал: Степан по возвращении из Казани отдал ему все свои деньги, и немалые.

В Алатыре Степана Дмитриевича знали, были наслышаны о нем и уважали как художника. Теперь он представлялся не иначе, как в этом качестве. Его внешний вид – костюм из дорогого сукна, модные штиблеты и нарядная шляпа на копне волос, ниспадавших густыми волнами, – производил впечатление на жителей Алатыря, особенно на женщин. Да и манера держаться – Казань, Дмитриев и Ковалинский, вера в свое предназначение – убеждала других в том, что он человек искусства. Степан, несмотря на то, что он по-прежнему оставался замкнутым и малоразговорчивым, быстро обзавелся знакомыми.

Первым был служащий почтово-телеграфной конторы, образованный молодой человек. Он страстно любил рыбачить и на берегу реки встретил Степана на этюдах. Вторым был приятель телеграфиста Николай Кошигин, управляющий делами состоятельного купца Попова. Тому Степан тоже приглянулся с первой же встречи. Попова забавляла его безапелляционная манера мыслить и резать правду-матку в глаза. Впоследствии Попов давал несложные поручения Степану, за которые хорошо платил. Телеграфист и управляющий просили Попова раскошелиться и послать Степана учиться в Москву, а тот не соглашался. "Не желаю терять хорошего человека", – был его постоянный ответ. Попов свел Степана с владельцем большого обувного

магазина Скоробогатовым, у которого на улице Симбирской, главной магистрали города, посетителями были все именитые люди Алатыря.

Эти новые знакомые ввели Степана в дом имущего дворянина Серебрякова, познакомили с его дочерью Екатериной Николаевной. У нее собиралась творческая молодежь Алатыря и вела беседы об искусстве.

Там Степан увидел Её.

Кто она?

Мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем ее имени, отчества и фамилии; нам известны только инициалы: А. К. Ф. – они сохранились на двух прелестных скульптурах Эрьзи.

Мы знаем, что в прошлом она была наездницей цирка, исколесила всю Россию и с труппой бывала за границей. Известно также, что она была красива, начитанна и умна и состояла в браке с лесопромышленником Солодовым; человек самолюбивый и недалекий, он богато одевал свою жену и, искренне полагая, что супружеством облагодетельствовал бывшую наездницу на всю жизнь, не вникал, да и не мог вникнуть в ее внутренний мир.

Степана познакомили с А. К. Ф.

Первое время он очень настороженно относился к ней и с недоверием слушал ее.

Степан панически боялся всего, что могло бы помешать его работе. В деревне, молодой здоровый парень, он избегал общения с девушками, чуждался молодежных игрищ. Хороводы, качели, святки, ряженые, масленица, русальная неделя, посиделки, или беседки, – все было пронизано вкрадчивой и завораживающей поэзией сватовства, а затем и женитьбы, созданием многодетной семьи, без которой крестьянский род погиб бы; но раз женитьба – прости-прощай живопись и учеба в Москве!.. Беседовать с деревенскими девушками Степану было неинтересно. Они считали его живопись пустым занятием, любили говорить все о том же – о любви да о хозяйских хлопотах.

А здесь молодая женщина свободно и изящно рассуждала о живописи, о работах самого Степана, и он, польщенный, спросил:

– Вы тоже рисуете?

– Немножко.

– Можно посмотреть?

– С собой у меня нет. Приходите ко мне в гости. Мой муж будет вам... рад...

...Муж был действительно рад появлению местной знаменитости в доме, пригласил гостя к накрытому столу, но заскучал, когда убедился, что Степан не пьет не только водку, но и мадеру, и спросил с недоумением:

– Почему? Из-за оригинальности?

– Пьяный – не смогу работать, – объяснил Степан.

Промышленник махнул рукой:

– Мудрите вы все!.. – и положил тяжелую руку на плечо Степана. – Научил бы ты мою жену рисовать. Она – талант. Я заплачу... Хорошо заплачу!..

Акварели А. К. Ф. были неумелыми и сентиментальными, и Степан, хотя и не признался себе в этом, понял, что художник из нее не выйдет, и, удивляясь, как могут в одном человеке сочетаться глубокие суждения о живописи с неумением рисовать, стал объяснять азы рисования и показывать, как следует держать кисть и вести линию...

Кисть, теплая от прикосновений, переходила из рук в руки, пока огромная ладонь Степана не легла поверх ладони А. К. Ф., такой маленькой и сильной, и не повела линию – какую-то странную параболу...

— Линия жизни! — воскликнула А. К. Ф. — Нет, нет... Линия судьбы.

...И заклубились дни, как белые яблони под ветром. Все, что еще вчера казалось Степану смыслом его жизни — поездка в Москву на учебу, жажда славы и достижение вершин в живописи, — отодвинулось далеко-далеко, а главным стало общество А. К. Ф. Степана покоряло в ней все: и ее рассказы о дальних городах и странах, и стихи по памяти, и то, что она старше, чем по первому впечатлению, и все-таки до старости еще далеко, и то, что, по ее признанию, муж не понимает ее и видит в ней лишь красивую вещь... "Взяла, отобрала сердце и пошла играть, как девочка мячиком..."

Жизнь была так прекрасна, что было абсолютно ясно: это ненадолго...

Кто-то из приятелей Солодова, а скорее всего, приятельниц его жены поведал ему о ее секретных отношениях с художником. Это вывело из себя лесопромышленника, и он решил "отвадить Степана от любви навсегда".

Ночью, когда Степан возвращался домой, его подстерег кучер Солодова и жестоко избил. Настолько, что Степан потерял сознание, а кучер, посчитав, что художник испустил дух, взвалил его на плечи, принес на берег реки Суры, где и бросил в кусты. Утром Степана подобрали рыбаки и принесли домой. Его выхаживала мать, как маленького.

От смерти Степана спасло, наверное, не только крестьянское здоровье, но и уготованное ему предназначение великого художника.

Этот случай вынудил Дмитрия Ивановича развязать кошелек и выдать сыну деньги на учебу в Москве. Притихший, непохожий на себя, почти без провожатых, он сел в поезд Казань — Москва...

А как же А. К. Ф.? Что с ней? Есть косвенные сведения, что Солодов на время увез жену из Алатыря, и на этом следы ее теряются.

Вряд ли есть смысл идеализировать эту эксцентричную, что называется провинциальную "королеву Марго" и ее чувства стареющей женщины к совсем еще молодому художнику.

В то же время ее инициалы стоят на двух скульптурах Эрьзи, сделанных с благодарностью за общение, за незабываемые часы, проведенные вдвоем у мольберта, за первую серьезную любовь, которая высветила его жизнь неестественно ярким, возвышающим пламенем и оборвалась так безжалостно и по-провинциальному нелепо.

МОСКВА

Я видел прекрасные города, громадное впечатление произвели на меня Прага и Будапешт; но Москва — это нечто сказочное!.. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать подобный город: все кругом пестреет зелеными, красными и золочеными куполами и шпицами. Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал.

Кнут Гамсун

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

...Поначалу Степан заплутался в Москве; но это было счастливейшее плутание среди множества людей, которые не шли, а куда-то бежали, словно что-то стряслось на земле; и он тоже побежал, но скоро понял, что москвичи никуда не бегут, а идут: это у них такая привычка ходить быстро, почти бегом. Они не смотрели по сторонам, не любовались старинными зданиями, особняками, каменными львами, храмами, башнями,

арками, каменной резьбой, а Степан останавливался и потрясенно рассматривал город.

Его толкали прохожие; чуть не сбила извозчичья пролетка, и извозчик обругал его: "Раззява!" А старичок с бородкой клинышком, вылитый Никола-угодник, только в очках, посоветовал ему: "Держитесь ближе к домам. В сторонкочку, молодой человек. Москвой можно спокойно любоваться в тихих улицах и переулках. Зачем вам идти в толпу? Идите сам по себе. Во-оон туда".

Совет оказался мудрым: рядом с многолюдными улицами и площадями Степан обнаружил пустынные улочки, переулки, дворы, где Москва была так же прекрасна; и в ее красоте была задушевность, что сродни задушевности леса, где каждое дерево понимает тебя; или поля, где каждый колос любит тебя, потому что ты взрастил его; или человека, о котором ты наслышан, еще не знаешь его, но чувствуешь: общение с ним – счастье.

Плутая по Москве, непостижимым образом возвращаясь на те же самые улицы и площади, Степан, по привычке лесного жителя, стал ориентироваться по солнцу, как учила его мама – лесная тайница Мария Ивановна: "Иди так, сынок, чтобы солнце светило тебе в это ухо... Вечером пойдешь домой – тоже в это ухо. И никогда не заплутаешься".

И Степан сделал открытие: по очертаниям Москва сама похожа на солнце, ее улицы лучами расходятся от золотой сердцевины – Кремля! В Алатыре, в Казани улицы шли прямо, заплутаться было нельзя, а здесь – они разбегались лучами от Кремля и сбегались обратно к Кремлю, вместе с людьми; и каждая улица вела или к храму, или к башне, отчего Степану было хорошо идти: храм или башня его ждали и держали улицу!..

И еще Эрьзя сделал открытие: Москва – это много солнц, или много годовых колец на срезе старого дерева; самый жар – Кремль; затем – красная стена Китай-города; потом – ровное зеленое пламя Бульварного кольца; просторное, как хоровод площадей, Садовое кольцо...

Город был космичен: он напоминал солнечную систему, когда вокруг Солнца-Кремля по своим орбитам-кольцам движутся люди и здания и не разлучаются с Москвой.

Какое это наслаждение – идти от кольца к кольцу, от солнца к солнцу к самой сердцевине, средоточию русской культуры!

Про него современник Эрьзи поэт Эмиль Верхарн написал следующее: "Это какое-то волшебное место, где живут чудесные существа, где вечно длится очаровательная феерия... Кремль, заключенный в огромную зубчатую сетку, откуда сотни куполов выступают, точно шеи и клювы золотых птиц, тянущихся к свету, остается в моих глазах самой красивой из всех встречающихся в действительности феерий".

Сегодня "золотых птиц" в Кремле стало меньше: до основания снесенные Чудов и Вознесенский монастыри заменены фабрично-казарменной постройкой Рерберга; уничтожена самая древняя в Москве каменная церковь Спаса на Бору (1326 году), Петропавловский, Благовещенский и другие храмы, нет великолепного Николаевского дворца.

Не будем перечислять утраты вне Кремля, сегодня они общеизвестны. Памятники русской культуры уничтожались не слепо, а планомерно, с той планомерностью, с какой фашисты взрывали Варшаву. У наших братьев-поляков хватило воли и национального достоинства восстановить свою древнюю столицу – до малого домика, до камушка. Что сегодня мешает нам последовать их примеру?

...Эрьзе повезло: в отличие от нас он застал не фрагменты древней Москвы, а цельный, красивейший город мира, пленяющий путешественников-иноземцев во все века и разрушенный впоследствии не Батыем, не

Мамаем и не Гитлером, а нашими соотечественниками — Сталиным и Кагановичем по принципу: Россию нельзя завоевать извне, Россию можно подорвать изнутри.

...Москва никогда не была "музеем под открытым небом", для музея она слишком жива, голосиста, шумна и нарядна; и именно такой застал ее Степан... Зазывали покупателей торговцы горячими пирогами, сбитнем, квасом, раками, вяленой, сушеной, соленой, копченой рыбой всех сортов, грибами; в воздухе плавали всевозможные гастрономические запахи, один ярче другого; и все это в самом центре столицы, среди арок старинных торговых рядов жило, кипело, торговало, покупало и жизнью и обилием утверждало, что храмы и дворцы, вознесенные над толпой, — не декорации и не музейные экспонаты, а — жизнь!..

Они жили вместе с живыми людьми. Десять церквей, как десять детей вокруг мамы своей, собрались вокруг шатрового храма Покрова на Рву; все в ярких одеждах, осанистые, одна семья, один хоровод, праздничный, движущийся, и люди на Красной площади, и Степан с ними виделись живым продолжением этого хоровода.

Была Казанская летняя — любимый праздник наших бабушек и дедушек; над городом и по городу, по лугам и по кругам улиц, достигая подмосковных сел, и от них по всей Руси, по Волге, по Суре и по Каме плыл благовест, колокольный звон всех "сорока сороков" — плавный, как русская песня; от него и у старого, и у малого светлело на душе, душа переставала болеть; хотелось жить по-иному, по правде — по истине, никому не причиняя зла; и думалось и чаялось, что на время звона все устроилось на маетной нашей земле и есть надежда, что скоро все устроится навсегда.

В воздухе, пронизанном малиновым звоном, очертания храмов, зданий и памятников колебались, подавались к небу; и Степан с замиранием стоял под бронзовой десницей Минина и слушал его беседу с Пожарским; обходил "посолонь" Пушкина и видел, что поэт задумчиво следит за ним; рассматривал горельефы любимца Пушкина Логановского на беломраморной глыбе храма Христа Спасителя. Горельефы шли ярусами, как ярусы-чины гигантского иконостаса, и виделись соразмерными человеку, парящими в воздухе героями библейской и отечественной истории; и Степан пытался понять, как они сделаны, из какого материала, какими инструментами пользовался скульптор. И еще он думал о том, как должно быть, счастливы люди, которые живут в Москве и могут каждый день бесплатно, сколько душе угодно любоваться этой красотой.

...Сейчас, пожалуй, почти не осталось старожилов-москвичей, которые могли бы рассказать о том, что в Москве до революции можно было сравнительно легко снять комнату или квартиру за умеренную плату, с обедом или без оного. Хозяева не писали специальных объявлений, а наклеивали на оконные стекла листочки бумаги: красный листок — с обедом, синий — без... Это было много дешевле, чем в гостинице; и Степан поселился в деревянном домике с садом у проворной старушки. Хотя на стекле была наклеена синяя бумага, старушка угощала Степана пирогами, фамильным чаем с вареньем и приговаривала:

— Кушайте на здоровье.

— А бумага-то синяя!

— Ну и что, что синяя? Нынче у нас Казанская. Нынче грех не угостить странствующих и путешествующих. Я к вам в гости приеду, разве вы меня выгоните?

А когда узнала, что Степан — художник, да к тому же иконы пишет, сама отнесла чемоданчик и связку этюдов постояльца в его комнату, указала на кровать: "Почивайте", — и удалилась на цыпочках.

Степан заснул провальным счастливым сном. Под утро ему снилась А. К. Ф.

...Степан приехал в Москву учиться, и он учился у нее.

Помните у Маяковского в поэме "Люблю":

> "...А я обучался азбуке с вывесок,
> Листая страницы железа и жести".

Степан впитывал Москву, открытую ему, как книга, как каменная и деревянная летопись, жадно и зорко вчитывался в ее страницы и не спешил поступать в Строгановку, куда он приехал учиться по совету знающих земляков и А. К. Ф. тоже.

Почему все-таки не спешил?

Биографический стереотип, будто у Эрьзи не было денег на учебу, канонизированный опять же в угоду учению о классовом неравенстве и классовой борьбе, в данном случае опять же не подтверждается жизнью.

Учеба в Строгановке (Строгановское центральное училище технического рисования) стоило на дневном отделении 8 рублей за полугодие, на вечернем – 5 рублей; прием учеников – до 5 августа (старого стиля).

Времени для подачи документов и для подготовки к экзаменам было достаточно. Деньги на полугодие у Степана были.. К тому же ему очень понравилось здание Строгановки – красивое и гостеприимное, истинно московское, почти в центре города – на Рождественке (ныне там располагается Государственный архитектурный институт).

И все-таки Степан не подал документы. Почему?

Причин тут несколько.

Натура, по-крестьянски основательная, он привык все делать наверняка. Если бы при нем было рекомендательное письмо, обещанное Серебряковым, он бы не колеблясь подал документы. А без письма, без поддержки, без протекции – не то чтобы страшновато, а ненадежно, зыбко...

Что же делать? Не возвращаться же в Алатырь за письмом.

И для себя, для внутреннего спокойствия, Степан нашел убедительное, хотя и по-детски наивное, объяснение, почему он пока не будет подавать документы в Строгановку:

– Деньги для учебы на полугодие у меня есть. А вот на год – нет. Заработаю иконописью на год и тогда стану учиться.

У такого решения есть и свой внутренний подтекст: Степана отпугивал профиль училища – "техническое рисование", а не художественное; в нем говорила гордость лучшего иконописца Казани и Алатыря; его властно тянули к себе улицы и площади Москвы, которыми он не мог надышаться.

Степан пошел разыскивать иконописные мастерские. Он не сомневался, что его примут на работу, как во все времена поэт из провинции, посылая свои стихи в столичные издания, уверен, что их "с ходу" напечатают...

Кулаковская набережная близ Чугунного моста. Добротное здание и вывеска: "Мастерская иконописца Н. М. Сафонова".

– Много желающих поступить к нам, – сказал Степану некто незапоминающийся и деловитый. – Но помощники не требуются.

Несколько внимательнее отнеслись к Степану в мастерской В. П. Гурьянова, всемирно известного тем, что он первый освободил "Троицу" Рублева от записей, и Н. А. Соколова в Средне-Тишинском переулке... Его расспросили, что он умеет делать, и вдруг сказали, что работы сейчас немного, может быть, со временем ее будет больше...

Степан не знал, что это всего лишь по-московски вежливая форма отказа, и не мог понять: если работы нет, так почему же с ним долго беседовали, расспрашивали, что он умеет делать? Может быть, он что-нибудь сказал не так? Смеялись, что ли, над ним? Ради забавы расспрашивали? Или секреты выпытывали?

На 1-й Мещанской, ныне проспект Мира, располагалась "Образцовая художественная мастерская – иконописное заведение Епанечникова Я. Е.".

Сам хозяин Яков Ефимович принял Степана, выслушал его со вниманием, не перебивая, и сказал:

– А дивные там у вас места! Волга. Кама. Сура. Корень мой оттуда. Свияжск – это ж "Сказка о царе Салтане"! Город царевича Гвидона...

Яков Ефимович предложил Степану закончить большую икону "Архангел Михаил". Она была только-только начата, белела левкасом, лик еще не написан... Каких только красок и кистей тут не было! Есть от чего растеряться да и обрадоваться тоже.

– Напишите в академической манере, – попросил хозяин. – Как все.

Степан работал полторы недели, обстоятельно и вдохновенно. Принимать работу пришла вся мастерская во главе с хозяином Яковом Ефимовичем Епанечниковым.

Сначала говорили иконописцы.

– Есть Божья искра у мужика!..

– Цвет чувствует и линию держит.

– Личное лучше, чем доличное. Складки бугрятся...

– Разве в этом дело? Искра-то есть!..

Мастера говорили и поглядывали на хозяина. Он дождался, когда они выговорятся, и сказал:

– Светская работа! Мирская! Уж больно грозен архангел Михаил! Ему бы больше мягкости, академизма. Заказчик нынче пошел очень впечатлительный, покоя просит, и я такую работу не продам. Что же, искра Божья есть, правильно. Но человек против себя не пойдет и рисовать по-другому не сможет, так что извини, земляк.

Степан ушел подавленный.

С некоторых пор он сделал грустное открытие: москвичи мягко стелют, да жестко спать. Они могут приветливо встретить, окутать ласковыми словами и, когда удача кажется совсем близкой, бесцеремонно оттолкнуть прочь. Провинция добрее, откровеннее, там, бывает, постелют жестко, а спать – мягко... Москва слезам не верит, ей выручку давай.

И все-таки...

Может быть, и в Москве, если поискать хорошенько, есть свои Ковалинские?

В Дорогомилове на улице Бережки находилась "Художественная и позолотная мастерская А. П. Петрова и сыновей". Там опять некто незапоминающийся встретил Степана и спросил:

– Откуда прибыли?

– Из Алатыря Симбирской губернии...

– Извините. До свидания!

– Почему? – поразился Степан. Но некто уже закрыл застекленную дверь и замкнул ее изнутри на задвижку.

На Лужницкой улице поставщик иконописных изделий его императорского величества Ахапкин, едва взглянув на Степана, не пустил его на порог.

Давно не испытывал Степан такого унижения. Оно было страшнее физической боли.

"Кому повем печаль свою?.."

Кому?

Только себе. Поговорить было не с кем. И человек говорил с собой:

– Тебя не принимают в московские иконописцы не потому, что ты плохо рисуешь, а потому что ты рисуешь не так, как все. Ты же сам слышал про "Божью искру"... И еще тебя не принимают потому, что ты – лапотник. На

тебе ботинки, а все в тебе видят лапотника из Алатыря Симбирской губернии. Если бы они знали, какой это красивый город Алатырь и река Сура!.. Сурскую стерлядь небось и Ахапкин вкушает да похваливает, а про Суру и слышать не хочет...

В его комнату заглянула старушка хозяйка и спросила:

– С кем это вы разговаривали? Сам с собой? Как у нас говорится: "Люблю поговорить с хорошим человеком..." Я ведь тоже, как муж помер, с собой много разговариваю. С собой, а больше – с мужем-покойником. Сегодня у нас Яблочный Спас. Преображение. Колокола-то слышите? По всей Москве красный звон стелется! Послушала и заново на свет родилась!.. Умирать неохота! Не по покойнику звонят, а во здравие земли и плодов ея... Вот яблочки ходила в церковь святить. Из своего садика. Невелики яблочки-то, а все – свои. Пойдемте выпьем чайку – позабудем тоску...

Они пили чай, и душа Степана мягчела.

Через несколько дней он уехал на родину с твердым желанием, заручившись рекомендательным письмом Серебрякова, поступить в Строгановку на будущий год.

УЧИЛИЩЕ

...Училище живописи, ваяния и зодчества располагалось в одном из архитектурных шедевров Москвы – в доме Юшкова, построенном великим Баженовым на Мясницкой в 80-е годы XVIII века, здании, как и Пашков дом, пленяющем очарованием русского классицизма в музыкальном согласии с древними сооружениями; если Пашков дом и Московский Кремль на некотором отдалении друг от друга воспринимаются как беседа через реку времени двух родственных ансамблей, то дом Юшкова возведен рядом со старинной церковью Флора и Лавра с шатровой колокольней; река времени словно бы перейдена, влюбленные встретились на одном берегу, чтобы не разлучаться, и бледно-терракотовые стены дома с белыми колоннами и синие купола храма – все в единении и радости встречи, и в этой встрече есть что-то основательное и по-детски трогательное. Дом и храм держат улицу Мясницкую и ее выход к бульварам.

Счастье Степана и всех поколений учащихся училища и в том, что они учились искусству в старинном здании, которое само по себе было высочайшим произведением искусства. Впрочем, так было принято повсеместно в Москве и Петербурге, во всех губернских и уездных городах России; и если сегодня эта традиция нарушена и многие наши высшие учебные заведения находятся в коробчатых мертвоватых постройках без корней, то мало надежды, что из них выйдут будущие Врубели, Эрьзи или Циолковские... Мертвый городской ландшафт, как и мертвая сельская местность, не способен родить и воспитать талантливого человека...

Ходить в училище для Эрьзи стало счастьем. Оно в единении с храмом Божиим было в полном смысле храмом знаний; в нем среди прохладных стен и мраморных лестниц еще витали голоса ушедших XVIII и XIX веков, а в темных зеркалах его еще дрожали отражения тех, кто составляет гордость нашей культуры и чьи имена не будем называть всуе...

Степан любил особняк Баженова, и особняк любил его. Здесь все располагало к восприятию высокого, к щемящей сладости познания и работе.

Кто были Учители Степана?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо напомнить, что Москва того времени была, по нынешним понятиям, городом небольшим: ее населяло около миллиона жителей, стало быть, она была приблизительно в девять-десять раз меньше Москвы нынешней...

Меньше-то меньше, но Москва была центром русского Возрождения, городом Гигантов! В ней жили Толстой, Чехов, Горький, Шаляпин, Суриков, Репин, Блок, философ Федоров, Циолковский, Серов, Жуковский, Бунин, Скрябин, Станиславский... Не будем продолжать этот список. Сегодня этих людей знает весь мир, их творчество изучают и постигают, они смотрят с пьедесталов памятников поверх голов новых поколений.

А тогда они жили в сравнительно небольшой, удобной для жительства древней Москве, встречались друг с другом, да и простому смертному увидеть их или даже, при желании, встретиться с любым из них было не так уж трудно. "Процент талантливости на душу населения" в тогдашней Москве был выше, чем сегодня, вовсе не потому, что "раньше было лучше", а потому, что XIX век – век Пушкина, Толстого и Чайковского – не мог календарно умереть вместе с наступлением века XX; он давал мощные благодатные побеги, и не пришло еще время лесорубов и лесоповала в искусстве.

...В совет училища входили Архипов, Серов, Коровин, Васнецов, Касаткин, Пастернак... Есть еще имена, и среди них, пожалуй, нет ни одного незначительного, которое кануло бы в небытие.

x x x

В мастерской Трубецкого талантливый молодой скульптор Иван Шукин готовил скульптуру "Молодая мать" на соискание большой серебряной медали года.

Замысел Шукина был великолепен, а вот воплощение замысла не получалось. Совет преподавателей предоставил Шукину отсрочку на несколько месяцев, а работа не шла. То есть она шла, но получалась мертвоватой, безжизненной, а в лучшем случае ординарной.

...Около "Молодой матери" Степан ходил долго-долго, молчал и вдруг посоветовал Шукину внести несколько вроде бы незначительных изменений и ушел.

Какое-то время спустя Степана разыскал взволнованный Шукин и заговорил путано и горячо:

– Простите меня...

– За что?

– За то, что тогда не сказал "спасибо"... А вот сейчас говорю: "Спасибо от всей души, Степан Дмитриевич! Скульптура ожила! Мать стала матерью. Трубецкой и Волнухин меня хвалят и говорят: "Молодчина! Искал и нашел то, что надо!" А ведь это вы нашли!

Волнение Шукина передалось Степану. Он пошел к нему в мастерскую и сказал про "Молодую мать" решительно и даже несколько сердито:

– Она не закончена!

Теперь они работали над скульптурой вдвоем. Шукин в итоге получил большую серебряную медаль и сказал в торжественной тишине:

– Эта медаль принадлежит не мне, а скульптору Степану Дмитриевичу Нефедову.

Его слова были восприняты как часть сложившегося официального ритуала награждения, где все известно наперед и собравшиеся не слушают друг друга. Только один, очень серьезный старичок, спросил соседа:

– Нефедов? Степан Дмитриевич? Что-то я не слышал про такого скульптора. А вы?

Сосед пожал плечами.

Совет преподавателей своим решением от 6 сентября в связи с успехами постановил освободить Степана Нефедова от платы за учение в 1-ом полугодии.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА

Московский период Эрьзи — это общение, сотни имен, начиная от Льва Толстого, от Саввы Морозова и до членов императорской фамилии. Степан был молод, любознателен, при внешней замкнутости жадно тянулся к людям, и его непосредственность притягивала к нему людей.

Нет возможности, да и необходимости тоже, рассказать обо всех встречах Степана со знаменитыми москвичами; один перечень его московских знакомых занял бы целую книгу... Важно, что в Москве общение было постоянным Учителем Степана, он еще не устал от людей; и в этой главке мы остановимся на двух встречах.

Ядвига Яворская познакомила его со снохой Льва Николаевича, вольнослушательницей училища, а та представила его дочери великого писателя Татьяне Львовне, которая недавно окончила то же училище.

Она-то и ввела Степана в дом властителя дум России, тот самый, в Хамовниках.

Лев Николаевич прибаливал, был не похож на свои портреты; и, замученный праздным любопытством читателей и почитателей-толстовцев, он поначалу с некоторым внутренним напряжением отнесся к званому гостю, но скоро почувствовал в нем натуру крестьянскую, лишенную всякой рисовки, и за беседой, кажется, забыл про недомогание.

Толстой мечтал о том времени, когда крестьяне сами будут создавать о своем народе художественные произведения; и вот перед ним мордвин-крестьянин, талантливый живописец и скульптор, мечта наяву, и как не порасспросить его о том, что он думает об искусстве, как идут дела в деревне, какие там земли, виды на урожай, не голодает ли народ, не спаивают ли его, какие песни поет и сказки рассказывает, где учатся ребятишки и учатся ли вообще, кто их лечит, как Степан пришел к занятиям живописью и скульптурой, что он думает рисовать и лепить?..

Спрашивал больше Лев Николаевич, а Степан отвечал — со знанием дела, обстоятельно, без малейшей рисовки, и между собеседниками возникло то тончайшее понимание, которое бывает, когда встречаются люди одной профессии, души родственные, уставшие и вдруг обретшие отдохновение в радости взаимопонимания.

Лев Николаевич рассказал об имении в Самарской губернии и радовался тому, что оно сравнительно недалеко от родины Степана — то же Поволжье; о Казани, которую оба собеседника хорошо знали; о русских, татарских и мордовских народных праздниках...

Степан иногда добавлял свои подробности, и эти подробности радовали Льва Николаевича припоминанием молодости и словно бы воплощением ее в облике собеседника — светловолосого, синеглазого, молодого крепкого мужика, не ряженого мужика, а настоящего, который все умел, как и сам Лев Николаевич, — и пахать, и сеять, и косить, и к тому же профессионально занимался искусством.

И нет в нем мистического или искусственного восторга, оттого что беседует с гением, того восторга, или, как называл его Толстой, "кочевряжения", который претил Льву Николаевичу, а были в нем крестьянское достоинство и основательность.

Была в нем естественная положительность, и эта положительность пленила писателя, который всю жизнь писал положительные характеры, так называемых "отрицательных" в его сочинениях и нет почти...

Лев Николаевич оживился, лицо его порозовело, глаза увлажнились и блестели, и он говорил с легким радостным возбуждением и, быть может,

уловил во взгляде собеседника некую спокойную, почти холодноватую зоркость художника, а быть может, и нет...

Напрасно родные делали знаки гостю, да и хозяину тоже, завершать беседу: Лев Николаевич не вполне здоров, ему надо отдохнуть, возбужденность может повредить больному.

Беседа продолжалась и продолжалась бы неизвестно сколько времени, если бы Софья Андреевна достаточно властно не заявила вслух, что хозяин устал, пора и честь знать. Тут вошел Савва Мамонтов – Лев Николаевич замолчал, словно бы очнувшись от беседы, вернулся из того крестьянского, теперь уже далекого мира в этот домашний мир, остыл от разговора и несколько погасшим голосом пригласил Степана на чай в следующую субботу.

...В субботу Эрьзя не пришел к Толстому и больше никогда с ним не встречался.

Почему?

Степан увидел воочию, как трудно живется старому больному человеку в осаде гостей, званых и незваных; почувствовал, что Льву Николаевичу не паломники нужны, не бесконечные собеседники и назойливые обожатели, а покой, и беспокоить его незачем.

– Чего не пришли, Степан Дмитриевич? – спросила его при встрече Татьяна Львовна. – Отец ждал.

– Не хотел лишний раз беспокоить...

...Пройдет много-много лет, и встреча эта воплотится в скульптуру "Лев Николаевич Толстой", созданную из альгарробо в Аргентине (1930), а спустя два года – в знаменитого "Моисея"... Между этими двумя работами – поразительное внутреннее сходство: и здесь и там – Пророк и Мыслитель, вышедший из самой праматери-природы, из корней ее лесов, из пластов ее земли, из толщи народа, чтобы спасти свой народ и привести его в обетованное будущее на своей же земле, где не будет лжи, насилия и страданий.

При встрече в Хамовниках Толстой заронил в душу Эрьзи зернышко, и оно долго лежало там, дожидаясь своего срока; и когда Эрьзя прошел через неслыханные испытания, зернышко толкнулось, ожило; и старый человек, мучимый недугами, совершенно не похожий на свои портреты и изваяния, каким запомнил великого писателя Эрьзя при встрече, вдруг увиделся Гигантом, Матерым Человечищем, рядом с которым в Европе поставить некого, и Эрьзя создал, быть может, самые значительные свои скульптуры – лучшее в скульптуре из всего того, что когда-либо было посвящено автору "Войны и мира" и "Анны Карениной".

...И еще одна встреча, которая получила в биографической литературе об Эрьзе искаженное освещение и толкование.

Вернее, встреча была не одна, а несколько.

Предыстория ее такова.

Серебряков-младший познакомил Степана с Емогоровым – личным секретарем великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры последней российской императрицы, жены брата последнего российского императора – московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

Сергей Александрович к тому же был председателем Московского художественного общества и попечителем Училища живописи, ваяния и зодчества.

Емогоров предложил Степану встретиться с великой княгиней – не ради любопытства или тщеславия, а ради дела и подать ей прошение, с соответствующими документами из училища, о выдаче материальной помощи.

Встреча состоялась в доме генерал-губернатора на Тверской-Ямской, там, где сейчас Моссовет. Степана поразили огромные иконные глаза княгини;

она улыбалась, а они, хоть и были добрыми, не улыбались, а страдали; и было во всем ее величественном облике что-то обреченное.

Степан попросил разрешения у Елизаветы Федоровны написать ее портрет. Она согласилась, и Степан стал работать в доме генерал-губернатора. Лицо Елизаветы Федоровны и огромные глаза ее были запечатлены на холсте, и все-таки душа ее оставалась далекой и не поддавалась изображению...

Во время сеансов они изредка обменивались словами.

– Откуда в мире столько злобы? – говорила великая княгиня.

– Вы боитесь? – спрашивал Степан.

– Нет, – отвечала она.

Приходили дети, на цыпочках подходили к Степану, заглядывая через его плечо, с радостью сообщали по-французски:

– Мама, очень похоже!..

И так же на цыпочках удалялись.

– Я не боюсь, – повторяла Елизавета Федоровна. И добавляла шепотом:
– Я за детей боюсь...

О том, что Степан пишет портрет великой княгини, стало известно в училище, потому что художник не делал из этого тайны.

Вольнолюбивые друзья его отнеслись к этой работе резко отрицательно. Императорская семья в глазах студенчества была безо всяких оттенков и исключений средоточием и источником общественного гнета и насилия; и пристыженный Степан вынужден был забыть дорогу в дом великой княгини.

Хотя Эрьзя порвал с императорской семьей по причине "классового несовпадения", его жизнеописателям, ортодоксальным сторонникам классовой борьбы, этого показалось мало; они исходили из того, что все "богатые – мерзавцы и аморальные типы, а все бедные – воплощенная нравственность", и в ход была пущена печатная байка о том, будто "молодая женщина Елизавета Федоровна стала строить Эрьзе глазки, и по этой причине он был вынужден прекратить с ней общение".

В этой байке – все ложь.

Великая княгиня Елизавета Федоровна, которой к тому времени было около сорока лет, отличалась величайшей нравственностью. Вскоре от бомбы эсера Каляева в Кремле погибнет ее муж; и Елизавета Федоровна раздаст все имущество, вплоть до обручального кольца, бедным, уйдет в монастырь, пожизненно возьмет на себя великий подвиг помощи убогим и больным. Это ее тонкая тень скользит по последним строкам рассказа Бунина "Чистый понедельник". 18 июля 1918 года она будет сброшена в уральскую шахту отечественными хунвэйбинами и там, изломанная, умирая, сумеет перевязать подругу по несчастью... Готовится решение нашей православной церкви о причислении ее к лику святых. Вся жизнь ее, все пятьдесят четыре года прошли на виду у людей, и нет ни одного свидетельства, которое очернило бы ее мученический облик.

– Не ведаете, что творите! – сказала она палачам перед смертью.

И биографы Эрьзи, сочиняя глумливую байку о Елизавете Федоровне, также не ведали, что творили.

А Эрьзя – ведал: он чувствовал в ней личность незаурядную, страдающую и сразу взялся рисовать портрет этой необыкновенной женщины; и не его, и не ее вина в том, что портрет не был закончен.

КОНЁНКОВ И ЭРЬЗЯ

...Во дворе мастерской в Тихвинском переулке Эрьзю поджидал Сергей Конёнков, который был достаточно возбужден.

— Степан, ты понимаешь, мы горим!

— Как? — воскликнул Степан, не видя ни огня, ни дыма.

— Хозяин-живодер заломил цену на аренду.

— Как так? А в соглашении?

— Плевать он на него хотел, так и сказал. Видит, что кругом происходит, и дерет. "Не хотите, вон со двора!" — вот его слова.

Вот что говорил об этом Сергей Тимофеевич в своих воспоминаниях: "Я помню его по Училищу живописи. Сергей Михайлович* отзывался о Степане Эрьзя как о талантливом, подающем большие надежды ученике. Мы познакомились. Навещали друг друга. Эрьзя работал в дереве и мраморе, держался независимо. Он был молод. Среди публики пользовался большим успехом. Резко выступал против консерватизма в искусстве. Его отличала особая стойкость характера.

Хозяин увеличил плату за аренду мастерских. Во избежание всяческих неприятностей (осмотра и доносов) я покорно снес хозяйский произвол, а Эрьзя твердо заявил, что ни копейки не заплатит больше той суммы, которая была обозначена, когда он въезжал в мастерскую. Прижимистый хозяин вынужден был отступить. Человек с сильным характером, Эрьзя невольно привлекал к себе всеобщее внимание. Я тоже относился к нему с большим интересом".

...Конёнков и Эрьзя.

Непросто складывались судьбы обоих; и было много родственного в этих судьбах; ровесники, плоть от плоти — российское крестьянство, они не могли не встретиться и не подружиться. Речь здесь может идти о взаимовлиянии, которое проявлялось не в подражании друг другу, а в творческой солидарности или творческом братстве сыновей одной земли и одного времени. Эрьзя как талисман носил с собой фотографию конёнковского Самсона; а Конёнков, чувствуя в скульптурах друга некую языческую тайну, пленительное бесовство и волхвование, едет за разгадкой этой тайны в Мордовию, изучает избы, деревянную резьбу, вышивки, вслушивается в мордовскую речь, в мордовские песни, напоминающие перекатный шум лесов, пение птиц и бег ручья, пьет воду из студеных родников, глядится в лесные озера и, омытый свежими впечатлениями, возвращается в Москву с желанием работать, как и прежде, черпая силы у родной земли, отзываясь на голос времени, которое криком кричит о надеждах и бедах своих.

...Они поразительно близки и поразительно разные, эти два крестьянских сына, эти два великих россиянина — Эрьзя и Конёнков; и вовсе не надо быть искусствоведом, чтобы сразу же отличить их скульптуры... Они — как две могучие реки, которые взяли начало из одного родника, а потом, ветвясь двумя руслами, пошли параллельно друг другу, впитывая в себя влагу донных родников-живунов и многочисленных притоков, малых и больших речек.

В будущем им еще предстоит встретиться при самых разных обстоятельствах.

Но время их молодости, их негромкого, не высказанного вслух взаимообожания останется вершиной их дружбы.

Потом придут другие времена.

---

* Волнухин.

ЛИРИЧЕСКИЕ

Публикация Н. Старшинова

Возьму синие ведерочки,
Пойду на сепарат.
Что-то милого не видно –
Неужели он хворат?

Ударь, братко, по баяну,
По баяновой доске,
Чтобы знали вологодских
В Ленинграде и в Москве!

По деревне идут,
Воробьи чирикают.
Парни девушек целуют,
Только зубки чикают.

Что ты ходишь возле дома?
Я тобой не дорожу.
Ухажорами такими
Я заборы горожу.

Дайте чаю, дайте чаю,
Дайте кипяченого.
Чем женатого любить –
Лучше заключенного.

Износила белы тапки
И сиреневы носки.
Меня лечат от простуды,
Я болею от тоски.

Из окошечко в окошко
Все летает белый пух.
Если парень не целует,
Он не парень, а лопух.

Яровая-то солома,
Немолоченный овес.
Мово дролечку-то ястреб
Вместо курицы унес.

Я у Коли в огороде
Сапогами топала.
Хотя Колю не любила,
А конфеты лопала.

Меня вызвали плясать –
Выхожу я просто.
Буду девушкой гулять
Лет до девяносто.

Прежнего бы милова
Из земельки вырыла.
Нового, негожева,
Туда бы я положила.

– Ты куда меня ведешь,
Такую молодую?
– На ту строну реки,
Иди, не разговаривай!

Дорогой и дорогая,
Дорогие оба.
Дорогого дорогая
Довела до гроба.

Дура я, дура я,
Дура я проклятая:
У него четыре дуры,
А я – дура пятая.

Окончание. Начало см. в № 2, 3 МВ

Эх, ночь темна,
Я боюсь одна.
Дайте провожатого,
Только не женатого!

Ой, дует-то,
Поддувает-то.
Редко ходит-то,
Забывает-то.

Балалайка, балалайка,
Балалайка, семь досок.
Подберу такие струны,
Как у милки голосок!

А мне милый изменил.
Говорит, немолода.
Он нашел себе такую –
У ней зубы в три ряда!

Я пришел на посиделки,
Девки семя шелушат.
Попросился на колени,
Посадили на ушат.

Ох, Алеша, Алексей,
Купи банку монпасей,
Приготовь вареньица,
Не бойся разореньица.

Коля, Коля, Николай,
Мою юбку не марай.
Моя юбка строчена –
Семь рублей заплочено!

У мотани моего
К поцелуям аппетит:
До тех пор меня целует,
Пока кепка не слетит.

Девочки-девчоночки
Отшибли все печеночки.
Хожу я без печеночек,
А все люблю девчоночек.

Мой миленочек – лопух:
Променял меня на двух:
Одна длинна, как верста,
Друга тонка, как шеста!

Была бабушка седой,
Стала рыжей, молодой.
Хватит, бабы, кваситься –
Надо перекраситься!

Ты, подружка, запевай,
Но меня не задевай.
Если хочешь поругаться –
Поругаемся давай.

Как пойду я в огород,
Накопаю хрену.
Затолкаю Ваньке в рот
За его измену.

Нас побить, побить хотели
На высокой на горе.
Не на тех вы нарвалися –
Мы и спим на топоре.

Если б не было весны,
Не шумела б роща.
Если б не было жены,
Не ругала б теща.

Раньше я курил махорку,
А теперь курю табак.
Раньше я ходил до девок,
А теперь хожу до баб.

Я любила повара,
Не слыхала говора.
Только выйду за порог –
Тут и масло, и творог.

Я у тещи был в гостях –
Переменна пища:
Утром – чай, в обед – чаек,
Вечером – чаище.

Загорелася солома,
Так и пыхает огонь.
Захотелось девке замуж –
Так и дрыгает ногой.

Ой, глазки мои,
Что мне делать с вами?
Как увидите ребят,
Моргаете сами.

Я купила себе туфли
На резиновом ходу,
Чтобы дома не слыхали,
Как я с улицы иду.

Я пришел в деревню вашу
Подыскать себе милашу.
Ваши девки важные,
Разрешите, граждане.

А я знаю, с кем гулять,
Знаю, где пристроиться:
У кого картошка есть
И корова доится.

Танцуй, веселись,
Чтобы курочки велись,
Петушки водилися,
На курочек садилися.

Я иду, а мне навстречу –
Веточка орехова.
Не отбить подруге друга –
Не на ту наехала!

Полюбила я его,
А он, девочки, чудак:
У него насчет любови
Не работает чердак.

Гармонисту за труды
Полтора ведра воды,
Кислых щей тарелочку
И девчонку-целочку.

Мой миленок, как теленок –
Только веники жевать.
Провожал меня до дому –
Не успел поцеловать.

Мне не надо пуд муки,
Мне не надо сита:
Меня милый поцелует –
Я и этим сыта.

Я елецкого, елецкого,
Елецкого, ельца
Никогда не позабуду,
Как шарахнулся с крыльца.

А мне милый изменил.
Я сказала: "Ох, ты!..
У тебя одна рубаха,
Да и та из кофты!"

На горе стоит изба,
Красной глиной мазана.
Там сидит моя милашка,
За ногу привязана.

Вот она пошла, пошла,
Погода сыроватая.
Сам-то парень ничего,
А девка рыжеватая.

Мой миленочек – пилот,
Я – его невеста.
Я уселась в самолет,
Самолет – ни с места.

За вечерки, за гулянье
Не ругай, родная мать.
Семерых любить не буду,
Одного – не миновать!

Адрес редакции: 121069, г. Москва, ул. Герцена, 50/5.
Телефон: 291-37-67.

Художник *Д. С. Мухин*

Технические редакторы: *Л. Л. Ежова, Е. М. Вишневская*

Корректоры *З. С. Гуляевская, Т. А. Горячева*

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Сдано в набор 4.05.90 г. Подписано к печати 9.10.90 г.
Формат 84х108 1/32. Печать офсетная. Бумага КН.-журн.
Объем 11,0 п. л. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л.24,18. Усл. кр.-отт. 18,69.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 218. Цена 1 руб. 20 коп.

Издательство "СТОЛИЦА"
Набрано в типографии Госагропрома РСФСР
143013, Москва, Можайское шоссе, 30
Отпечатано в Московской типографии № 13 ПО "Периодика"
107005, Москва, Денисовский пер., 30. Заказ № 328.

"СЛОВО – 91"

В последний год редакция "Слова" вместе с подписчиками, – полемизируя и обсуждая, – искала новый образ и тип литературно-художественного, иллюстрированного "тонкого" журнала, отвечающего высоким духовным потребностям читателей. Однако подобные издания редкость не только у нас, а и в мировой практике. Но нам кажется, что мы все же приближаемся к желаемой модели.

Широкое представительство авторов книжных новинок, разнообразие и неожиданность литературных произведений, в том числе мало или совсем недоступных, возвращаемых из зарубежья и спецхранов, из-под идеологических пломб – вот наш принцип. Мы не всегда имеем возможность печатать целиком большие произведения. Потому наше правило – представлять авторов и указывать верный адрес в выборе литературных, исторических, философских первоисточников. Это делает наше издание единственным, уникальным, своеобразным литературно-художественным "дайджестом" – путеводителем в современном отечественном и мировом книжном мире.

В оставшихся до конца года номерах читатели познакомятся
с отрывками из воспоминаний Айседоры Дункан
и "Параллельной истории СССР" Луи Арагона;
с продолжениями романа А. Дюма (отца) "Последний платеж",
повести Д. Жукова "Встречи с ясновидцами",
исторического произведения Д. Мордовцева "Великий раскол";
с окончаниями воспоминаний
фрейлины ее величества Анны Вырубовой
и личного секретаря Григория Распутина
Арона Симановича.

Наряду с постоянными рубриками, которые вызвали наибольший интерес читателей, такими, как "Духовники", "Русская мысль", "Исповедь", "История", "Народные мемуары", "Планета", "Жития святых", "Вечные спутники", "Таинства магии", "Истоки",

"СЛОВО" – 91 ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ:

"Террор и гражданская война" (продолжение рубрики "От Февраля до Октября") – свидетельства очевидцев и участников (вождей красного и белого движений) по материалам редчайших изданий 20-х годов, таких как "Архив русской революции" Гессена (Берлин), "Архив гражданской войны" (Берлин), "Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев" (сост. С. А. Алексеев, М. – Л., Госиздат). Журнал предоставит свои страницы Центральному государственному архиву Октябрьской революции, который откроет постоянный раздел – не публиковавшиеся в нашей стране материалы зарубежных архивов русской эмиграции;

"Народная жизнь" – своеобразный "Домострой XX века", сведения, как строить, как созидать свой дом, свою семью, свою жизнь, основываясь на вековых традициях, на философских и нравственных идеалах народа, причем часть публикаций составят материалы из готовящейся "Русской энциклопедии";

"Популярные издательские серии", где читатель познакомится с наиболее интересными актуальными книгами, готовящимися к печати.

1 р. 20 к.

"СЛОВО" – 91 ТРАДИЦИОННО ПОСВЯЩАЕТ

№ 6 – Александру Сергеевичу Пушкину,
№ 9 – Льву Николаевичу Толстому,
№ 12 – Федору Михайловичу Достоевскому.

А в № 5 отметит 100-летие Михаила Булгакова публикацией оригинальных материалов о жизни и творчестве писателя.

В "СЛОВЕ" – 91 БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

заинтересованный разговор о Слове, о живой речи,
о языке литературном и языке нашего общения;
вернисажи художников и фотомастеров, книжных графиков
и иллюстраторов, которым в каждом номере
отводится цветная вкладка;

викторины, игры, конкурсы,
связанные с выдающимися книгами,
известными писателями, их творчеством и судьбой.
По традиции победителей ждут призы.

В следующем году будет продолжена
"Библиотечка журнала "Слово",
начатая репринтными книгами-приложениями
"Окаянных дней" И. А. Бунина и "Воспоминаний"
фрейлины ее величества Анны Вырубовой.

В старом каталоге "Союзпечати" в разделе центральных журналов ищите **"Слово"** под прежним названием: "В мире книг", индекс 70110.

ISSN 0868-5819 "Московский вестник", № 4, 1990, с. 1–352



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190